



БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ



**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ**

Всемирно-исторический подвиг советского народа, спасшего в Великую Отечественную войну от гибели человечество, вызвал к жизни большую литературу.

В настоящем сборнике представлены избранные повести и рассказы двадцати шести писателей СССР, принадлежащих к различным поколениям, написанные в годы войны и за тридцать послевоенных лет.

Не претендуя на полноту отражения военной темы в советской прозе, сборник дает представление о народном характере Великой Отечественной войны. В повестях и рассказах, включенных в него, показана борьба народа на фронте и в тылу врага на разных этапах войны — от первых ее дней до Победы, воссоздан характер советского человека — героический, патристический, интернациональный и глубоко гуманный.

Произведения расположены внутри каждого раздела в алфавитном порядке фамилий авторов.

БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бондарев Ю. В.

Борзунов С. М.

Ильин С. К.

Клышко А. А.

Пузиков А. И.

Спнелъников В. М.

Сурков А. А.

Туркин В. П.



**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ**

**МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

1977

**Сб
П 42**

**Составление и подготовка текста
И. МОЗЛОВА**

**Оформление художника
В. САВЧЕНКО**

**Рисунок на суперобложке художника
Ю. НЕПРИНЦЕВА
(Фрагмент картины «Родная земля»)**

П $\frac{70500-337}{028(01)-77}$ 93-77

ПОВЕСТИ

ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО

КРАСНАЯ РАКЕТА

Моей матери

Автор

1

Лейтенант Горбунов в 17.30 поднял своих людей в атаку и, выполняя приказ, с боем ворвался на восточную окраину деревни. Часть его стрелков залегла в облепелых окопах, оставленных немцами. Горбунов, стреляя из автомата, вбежал в темное здание школы. Прерывистое пламя осветило пустую комнату, засыпанную битым кирпичом. Горбунов остановился и перестал стрелять. За спиной он слышал топот ног и тяжелое дыхание победителей. Бойцы занимали класс за классом, распахивая прикладами двери. «Ура» смолкло, и высоким, сорванным голосом лейтенант приказал выпустить три белые ракеты. Таков был установленный приказом знак его боевого успеха. Ракеты ушли в небо, и теперь самому Горбунову следовало ждать сигнала. Красная ракета в юго-западном направлении должна была известить его о начале общего наступления. Горбунову предписывалось поддержать атаку главной охватывающей группы, а затем соединиться с ней для уничтожения врага. Приказ был ясен и немногословен, как всякий хороший приказ.

Бойцы расположились в школе. Они перезаряжали оружие, шумели, ели снег — огромное возбуждение сжигало их. Поднятые на ноги страшной силой ожесточения и гнева, они только что бежали на ледяной вал, озаренный слепящими вспышками огня. Сила, родившаяся из воли к жизни, уничтожила боязнь за нее и теперь все еще искала выхода. На черных, припеченных морозом лицах сверкали белки жестких глаз. Пар, вылетающий из открытых ртов, носился над головами.

Горбунов стоял посреди класса и, крича, отдавал приказания. Через большой овальный пролом, пробитый в стене снарядом, было видно туманное лунное небо.

В голубоватом воздухе проносились золотые светляки трассирующих пуль. Горбунов подошел к пролому и, прижавшись к стене, выглянул наружу. Впереди, метрах в полутораста, на высоком краю оврага, отделявшего деревню от школы, были немцы. Они укрылись в темных, заваленных снегом избах; в подвалах установили свои тяжелые пулеметы. Невидимые дула были направлены оттуда в упор на школу и на окопы... За избами слабо синел заснеженный лес, похожий на упавшую тучу. Там, в ее глубине, должна была блеснуть молния главного удара, но лес был тих и непроницаем. Над передним краем неприятельской обороны время от времени повисали осветительные ракеты. Мертвенный свет заливал овраг, и на дне его Горбунов отчетливо видел колодезный сруб, обросший льдом; тропинки, протоптанные в снегу; труны, бесформенные, как чернильные кляксы. Далеко на горизонте горел хутор. Желтое, почти неподвижное пламя светилось в студеной глубине январской ночи.

Горбунов вытер лицо, нащупал на щеке сосульку, отодрал ее и почувствовал легкую боль. Оказывается, его оцарапало во время атаки, и он не заметил этого. Он собрал ладонью снег с кирпичей и приложил к щеке. Снег быстро растаял. Лейтенант посмотрел на руку, испачканную темной влагой, подумал, что щеку надо перевязать, и тотчас забыл об этом.

— Где лейтенант? — прокричал в темноте хриплый голос.

Горбунов узнал Медведовского, командира отделения.

— Что там еще? — закричал лейтенант и только сейчас понял, что он все время кричит, хотя надобности в крике больше не было.

— Товарищ лейтенант, бойцы спрашивают, почему изверги по хатам гроются, а мы на морозе топчемся?

— Закрепились? — тихо, сдерживаясь спросил лейтенант.

— Точно! — прокричал отделенный.

— Что вы кричите? — сказал Горбунов.

— Я не кричу! — крикнул отделенный.

— Закрепились — и ладно! — ответил Горбунов.

Ему было жарко, и он поднял папушки шапки. Удивительное состояние злой, веселой лихости все еще не покидало его. На секунду у лейтенанта возникла сумасшедшая мысль: по дожидаясь сигнала, броситься со

своими людьми в атаку и без чьей-либо помощи овладеть деревней. Озорное чувство, подобное чувству счастливого игрока, удваивающего ставки, подмывало его. Но приказ был приказом, и фронтальная атака укрепленной позиции с теми небольшими силами, которыми он располагал, кончилась бы кровавой неудачей.

— Держите наблюдение,— сказал лейтенант. — Думаю, до рассвета мы обогреемся.

Бойцы сбились в тесную кучу. В углу белели их макировочные халаты. После опустошающего напряжения атаки людям хотелось есть и курить. Они грызли хрустящие сухари, и огопки сигарок пламенели в темноте.

— Он на меня вскинулся,— кричал Луговых, широколицый бородатый полевод из Зауралья,— а у самого от страха виштовка всером ходит. Ну, я не стал дожидаться...

— Я ему вежливо: «Сдавайся, сволочь!»— а он за гранатой лезет. «Как вам больше нравится...»— говорю...

Двоглазов не договорил и пожал плечами.

— Стрелил? — крикнул Луговых.

— Если враг не сдастся, его уничтожают,— сказал Двоглазов.

— Верно! — закричал Кочесов. — Я сам так делаю.

Массивный, широкоплечий возчик из Баку, он шумно дышал, медленно поводя круглыми, словно пьяными, глазами. Перебивая друг друга, солдаты вспоминали бой, в котором так хорошо дрались. Они чувствовали себя счастливыми, потому что были живы и видели, как бегут от них враги. Близость товарищей доставляла им сейчас нескрываемое наслаждение. Общность пережитой опасности и общность удачи удалила все, что в иных условиях могло и не нравиться людям в своих соседях. Они матерились от возбуждения и подшучивали друг над другом.

Горбунов подозвал к себе сержанта Румянцева. Серое пятно отделилось от стены и переползло по полу. Сержант встал за спиной Горбунова, и, обернувшись, лейтенант увидел черное курпосое лицо с узкими смеющимися глазами.

— Спасибо, сержант,— сказал Горбунов. — Вас не задело?

— Живой! — с веселым удивлением ответил Румянцев.

Горбунов, улыбаясь, смотрел на сержанта. Это он, Румянцев, первым подобрался к пулеметному окопу, швырнул туда гранату и, когда уцелевшие немцы бросились паутек, закричал так, что все услышали: «Давай, ребята! Фашисты в наших руках!»

— Живой,— одобрительно повторил Горбунов, словно именно это обстоятельство было главной личной заслугой сержанта. — Ну и молодец!

Румянцеву нравился его командир. Но сейчас он с особым удовольствием видел скуластый профиль лейтенанта, крупный нос его и тонкие губы. В том сопряженном с огромной опасностью деле, которое они вместе совершили, жизнь каждого зависла не только от личного умения или счастья, но и от того, как держались и поступали все остальные. После успешного боя Румянцев испытывал безграничное доверие к лейтенанту.

Умолым действиям командира он приписывал в известной степени и личную удачу.

Он немного помолчал, не находя слов, чтоб выразить свою благодарность и восхищение.

— Живой! — повторил он еще раз с оттенком признательности.

Лейтенант поручил одному из младших командиров следить, не появится ли в юго-западном направлении красная ракета. Взяв с собой Румянцева, он отправился осматривать школу. В дверях они столкнулись с Машей Рыжковой.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант! — сказала Маша тономским, полудетским голосом. — Что новенького?

— Да ничего,— сказал Горбунов.

— Насилу добралась до вас,— сказала Маша.

— Она всегда доберется! — закричал Румянцев.

Довушка глубоко вдохнула, сняла шапку и потрянула спутанными волосами. В лунном неярком свете ее круглое лицо с утопавшими в голубой тени глазами показалось Горбунову необыкновенно красивым. Как и все в подрандомии, он гордился своим санструктором. Но Маша была молодой довушкой, и Горбунов полагал, что к ней можно обратиться с вопросом, который он никогда не задавал бы мужчине.

— Но страшно было добираться? — сказал он приветливо.

— Все меня об этом спрашивают,— сказала Маша. — Пространства вокруг много, а я в нем не такое уж боль-

шое место занимаю. Почему пуля именно в меня должна попасть?

— Пуля — дура, — ласково сказал лейтенант.

— Правильно, — засмеялся Румянцев.

— Только три перевязки и сделала, — сказала Маша. — Вот и все потери.

— Как Ивановский? — спросил лейтенант.

— Отлежится, — ответила Маша.

— Не повезло бедняге...

Политрук Ивановский был ранен в начале атаки.

— Запарилась я, — пожаловалась Маша.

— Отдыхайте пока, — сказал лейтенант.

По каменной лестнице с обвалившимися перилами Горбунов и Румянцев поднялись на второй этаж. В комнате, куда они вступили, была, видимо, школьная библиотека. Книги, покрытые залетевшим сюда снегом, кучами лежали по углам. Выбранные листы голубели на темном полу. Горбунов нагнулся и поднял одну из книг. «Гоголь. Тарас Бульба», — прочитал он на титульном листе. Лейтенант поднял другую книгу: «Жюль Верн. 80 тысяч лье под водой».

— Хорошая вещь, — сказал он Румянцеву и, смахнув рукавом иней с переплета, положил книгу обратно.

В светлом лунном прямоугольнике окна два бойца устанавливали пулемет. Длинный стол был непривычно белым от инея. Горбунов поговорил с бойцами и пошел дальше. В соседнем классе сохранились еще на стенах картонные с наклеенными на них рисунками учеников. На четвертушках бумаги летали самолеты удивительных конструкций и росли цветы, обращенные к зрителю симметричными венчиками. Люди с вывернутыми в стороны ногами стояли возле маленьких нарядных домиков, и солнце, колючее, как еж, светило им с безоблачного неба. Иней лежал на сгибах бумаги, на сломанных углах картона.

— Ну точь-в-точь как моя Лена, — заговорил Румянцев. — Девочка моя, большая художница тоже.

— Здорово рисуют! — убежденно сказал Горбунов.

Ему было двадцать четыре года, он был неженат. Но перед рисунками, на которых в разных направлениях были проставлены фамилии художников: «Витя Погорелов, II класс», «Зоя Суровцева, I класс», «Дуся Пятачкова, I класс», «С. Г. Лукашин, II класс», «Нина Волкова, II класс», лейтенант почувствовал себя если не отцом

этих ребят, то старшим братом. Он восхитился ими, как ближайший родственник. И как родственник он ощутил удовольствие от мысли, что именно он со своими бойцами возвратил Нино Волковой ее школу. Немцы выгнали отсюда детей, разгромили библиотеку, загадили классы — и, вышибая немцев, лейтенант делал святое дело. Он восстанавливал справедливость. Мысль об этом появлялась после боев как бы в награду за перенесенные испытания. В самом сражении, в грохоте рвущегося металла, в угарном дыму пороха, в напряженной до предела деятельности имело значение, казалось ему, лишь то, что происходило вокруг. Когда стихал огонь, все забытое всплывало в памяти одно за другим, словно возвращаясь вместе с жизнью, которая еще раз была сохранена. Горбунов вспоминал о том, что по профессии он метеоролог и кончил институт незадолго перед войной, что в Саратове у него живет мать, Наталья Сергеевна Горбунова, что сестра его замужем и брат в армии. Он грустил о товарищах, погибших в бою, и спрашивал, доставлепа ли почта. Он испытывал голод и посылал узнать, когда подвезут обед. Сознание величия и справедливости борьбы, участником которой он был, наполняло его строгой гордостью. Лейтенант, как все строевики, невысоко ценил мужчин, оставшихся в тылу, но иногда он думал о них с сожалением. Эти люди никогда не испытают радости, которую чувствовал сейчас Горбунов, глядя на ученические карточки.

Несколько секунд Горбунов рассматривал рисунки, потом быстро пошел, словно подхваченный чудесной силой. Он проходил по родным владениям, с боем отнятым у похитителя. Он чувствовал себя защитником слабых — Гоголи, Юлю Верна, Нины Волковой, которые вернутся сюда вслед за его бойцами. Он был человеком, возвращающим счастье. Через коридор, загроможденный партами, Горбунов прошел в комнату с пустыми полками на стенах. Он был освободителем, и ветер победы нес его вперед. Лейтенант отшвырнул ногой цилиндр немецкого противогаса, и тот со стуком ударился о стену. В соломе, наваленной на полу, поблескивали пустые консервные банки. Дверь в соседнюю комнату была закрыта, и лейтенант распахнул ее.

Угловая комната была наполнена голубым сиянием. Прямо против двери, прижавшись к стене, стоял высокий

бородатый человек в черном пиджаке. Голова его была откинута, и блестящие испуганные глаза устремлены на вошедших. Горбунов едва не крикнул: «Что вы здесь делаете?» — по осекся и сжал челюсти. Босые ноги человека не доставали до пола. В вытянутой руке была сжата фанерная узорчатая рамочка с фотографией, видимо, сорванная со стены в последних судорожных поисках опоры. Тонкий электрический шнур, перехвативший щею, уходил под потолок. Стекол в окнах не было, и снег лежал на смятой постели, на столе, на пиджаке повешенного.

Горбунов и Румянцев вынули из петли тяжелое, нестибающееся, как доска, тело и перенесли на кровать.

— Должно быть, учитель... — проговорил Румянцев.

— Да, — сказал лейтенант.

Внезапно стало очень светло. Зеленоватое пламя немецкой ракеты осветило комнату. Блеснули выпуклые белки стеклянных глаз старика, словно загорелись на мгновение жизнью. В фанерной рамочке, с которой учитель так и не хотел расстаться, была фотография девочки с двумя бантиками над висками.

— Дьяволы! — хмуро пробормотал сержант.

Они вышли и молча спустились по лестнице.

— Должно быть, внучка его, — предположил сержант.

Горбунов представил себе, как металась и скребли по стене руки старого учителя, пытаясь удержать падающее в смерть тело.

— Может быть, — сухо сказал лейтенант.

Ему было трудно говорить о замученном старике. В недавнем бою Горбунов лично застрелил одного фашистского солдата, и воспоминание об этом доставило ему некоторое облегчение. Он подошел к наблюдателю, оставшемуся у пролома. Почему-то Горбунову казалось, что сейчас он отдаст приказ об атаке. Он жаждал возмездия, немедленного и полного.

— Не было красной ракеты, товарищ лейтенант, — доложил наблюдатель.

— Вы хорошо смотрели? — спросил Горбунов.

И они оба поглядели на юго-запад, на далекий заснеженный лес, загадочный и темный, похожий на грозное облако.

Горбунов воевал уже достаточно долго, чтобы не удивляться непредвиденным помехам, часто менявшим хороший оперативный план во время его осуществления. Самое изобретательное воображение оказывалось, видимо, бессильным предусмотреть все комбинации случайностей: встречный маневр врага и неожиданное изменение погоды, безволие исполнителей или их излишнюю инициативу. Каждое из этих обстоятельств, в свою очередь, оказывало воздействие на смежные события, и количество нарушений первоначального плана стремительно увеличивалось, грозя ничем не оставить от превосходной диспозиции. Все это было известно Горбунову, но не облегчало его задачи. Тем более что успешное выполнение хороших планов было, как ему случалось видеть, вовсе не такой уж большой редкостью. Лейтенант ничего не знал о причине, помешавшей начать общую атаку, и поэтому не находил оправданий для задержки, усложнявшей его положение.

Прошло уже много времени, как он и его бойцы заняли окраину деревни, но наступление охватывающей группы не начиналось. Затянувшееся ожидание лишало Горбунова очевидных преимуществ первоначального успеха. Время, подаренное врагу для подготовки отпора, поглотило ожесточенную энергию людей.

«Они не испытывают теперь ничего, кроме усталости, холода и недоумения», — думал Горбунов.

Его начало тревожить и то, что в случае контратаки немцев он с кучкой своих бойцов может не удержаться здесь. Только что он сам обошел окопы. Его указания, как лучше закрепиться в них, были разумны, но лейтенант не чувствовал себя спокойным. Немцы, находившиеся в центре деревни, на высоком краю оврага, могли простреливать всю покинутую ими первую линию. Горбунов знал, что его бойцы понимают это не хуже, чем он сам, и хотя не жалуются, но трезво оценивают положение.

Мороз все больше давал себя чувствовать. Лейтенант опустил наушники и завязал их под подбородком. На крыльце школы он еще раз посмотрел в ту сторону, где должна была появиться красная ракета. В пустом иссиня-ледяном небе светил затуманенный лунный диск. Хутор на горизонте все еще горел. Но в заваленных голубым сне-

гом, затопленных неярким сиянием полей даже огонь казался замороженным и неживым.

Горбунов вошел в школу. Бойцы дремали или молча, втянув голову в плечи, сидели вдоль стен, стараясь не шевелиться, сберегая иссякающее тепло. Они охраняли его, как хрупкую драгоценность, которую легко разрушить неосторожным движением. Горбунов сел таким образом, чтобы в проломе с выщербленными, словно изгрызенными, краями было видно небо.

Двое связанных, посланных с донесением, все еще не возвратились, и Горбунов мысленно обругал их. Он вспомнил о капитане Подласкине, командире охватывающей группы, и с негодованием сжал кулак в рукавице. Горбунов был очень зол. Вытянув ноги, он вдруг почувствовал, что устал. Спать ему не хотелось, но тело, до сих пор не напоминавшее о себе, внезапно изнемогло, охваченное слабостью. Лейтенант продрог и проголодался. Он с трудом извлек из кармана ватных штанов ржаной сухарь и переломил его.

— Маша, хотите есть? — спросил лейтенант.

— Что за женский вопрос! — сказала Маша.

Она переползла к нему, и Горбунов отдал девушке половину сухаря. Они сидели, касаясь друг друга плечами, трудясь над твердым, как железо, хлебом. В полтора метра от них были враги. Золотые росчерки трассирующих пуль время от времени прорезали небо в проломе стены. Кто-то стонал в трудном сне, кто-то в углу кашлял и сплевывал. Горбунов и Маша старательно хрустели сухарем. Лейтенант искоса посмотрел на девушку. Он увидел голубую полную щеку, утиный носик и волосы, опущенные инеем, выбившиеся из-под шапки. Маша жевала, щека ее двигалась. В легкой стрельчатой тени длинных ресниц сиял большой влажный глаз. Лейтенант снова полез в карман, достал завернутый в бумагу кусок сахара и отдал девушке. Маша грызла сахар, и на лице ее лежала прекрасная, спокойная задумчивость.

— Вот здорово было бы: один раз поесть — и чтоб на неделю, — сказала Маша. — А то каждый день, когда нечего делать, есть хочется...

— Точно, — сказал лейтенант. — Человек — существо несовершенное.

Сахар был съеден, но они продолжали сидеть рядом.

— Теперь бы стаканчик воды газированной с сиропом... Я в Москве каждый день пила, — сказала Маша.

— После войны угощу вас шампанским, — галантно сказал Горбунов.

— Нет, я больше люблю кагор, — ответила Маша.

Некоторое время они сидели молча. Вдруг лейтенант почувствовал, что голова девушки опустилась к нему на плечо. Скосив глаза, он увидел, что Маша задремала. Она дышала ровно и тихо. Горбунов почувствовал было некоторую неловкость, но тут же успокоил себя рассуждением об особой близости, возникающей на переднем крае между командиром и подчиненными. У него заболела спина, но он не переменил позы, чтобы не потревожить девушку. Он посмотрел в пролом: красной ракеты не было. В ту же минуту лейтенант услышал глухой выстрел и нарастающий стремительный скрежет. В проломе блеснуло белое пламя. Раздался грохот, и с визгом пронеслись осколки.

— Ох, а я было уснула! — сказала Маша и поправила шапку.

Мины рвались одна за другой. В проломе вспыхивало, будто загораясь, небо. Кирпичная пыль летела в бушующем воздухе. Люди отползли от пролома и жались в темные углы, словно мрак способен был укрыть их от обстрела.

Горбунов быстро переполз и выглянул наружу. Мины ложились по всей линии окопов. Взметанный разрывами снег носился вокруг пиколы. Линия темных домов над оврагом непрерывно озарялась вспышками выстрелов. Лейтенант положил руку на автомат.

— Румянцев, ко мне! Свешников, Петренко, ко мне! — закричал он.

Каждую минуту немцы могли сунуться сюда. Горбунов разослал людей с приказом быть наготове. Сам, пригибаясь, он побежал вверх, к пулемету. Он не чувствовал уже ни усталости, ни холода. Сознание ответственности, необходимость все предусмотреть и всем распорядиться не позволяли ему подумать о себе. Он снова был очень занят, и все, что угрожало ему лично — осколок или случайная пуля, — казалось только досадной помехой.

— Обнаружили батарею? — закричал Горбунов пулеметчикам. — Почему не обнаружили?

Под ногами у них грянул гром. Две доски в полу приподнялись, ощерившись гвоздями, оторванные невидимой

рукой. Но у Горбунова не хватило времени как-нибудь отнестись к этому событию.

— Вот она! — закричал лейтенант пулеметчикам. — За третьим домом справа...

Между избами, на краю оврага, било прерывистое сильное пламя. В белых вспышках выступало из тумана черное кружесво голого зимнего сада, угол дома, резные наличники на окнах.

— По садику! — крикнул лейтенант.

Он подбежал к другому окну и, припав к раме, выпустил полный диск. Потом вернулся и, сиюсь перекричать пулемет, приказал:

— Меняй позицию!

Они перебежали в кухню. Горбунов выломал переплет в окне, и бойцы просунули наружу ствол. Они дали длинную очередь, и серый пар повалил от пулемета. Пламя между избами исчезло и не появлялось. Наступила относительная тишина.

— И все? — сказал первый номер, глядя на лейтенанта.

— Точно сработано! — серьезно сказал лейтенант.

Он вспомнил о мише, попавшей в первый этаж, и побежал вниз.

— Мы работы не боимся, — сказал первый номер, закладывая новую ленту.

Спускаясь по лестнице, Горбунов подумал, что минутой позже он, пожалуй, не вышел бы из нижней комнаты. Подобные вещи с ним уже случались, как и со всеми, кто бывал под огнем. Все же мысль о том, что он избежал смерти или ранения, поразила его, и Горбунов почувствовал запоздалое волнение.

В нижней комнате все было черно. Снег сдуло с соломы и с кирпичей. Горбунов увидел Машу. Девушка сидела у стены и подняла к нему, не вставая, растерянное лицо.

— Что с вами, Рыжова? — спросил Горбунов.

— Ой, товарищ лейтенант, — тихо, точно стесняясь, сказала девушка, — меня ранило.

Казалось, она сама не была убеждена в этом. Она смотрела на Горбунова так, будто с его приходом все должно разъясниться и снова стать таким, как несколько минут назад.

Горбунов и Румянцев перенесли девушку в соседний

класс. Они положили ее на солому, и Румянцев ушел, чтобы распорядиться переноской других раненых.

— Куда вас, Маша? — спросил Горбунов.

— Вот сюда, — сказала девушка, но не пошевелилась, чтобы показать рану.

Лицо ее осушлось и побледнело, виноватое удивление не сходило с него.

Лейтенант развязал тесемки маскировочного халата Маши. Полушубок на правой стороне груди был пробит осколком, и Горбунов осторожно расстегнул крючки. Он почувствовал теплый, тонкий запах крови. Гимнастерка девушки промокла и дымилась. Из разорванного правого кармана торчал металлический колпачок карандаша.

— Я сама, — сказала Маша, спохватившись. — Вы же не умеете.

Взглянув на нее, лейтенант увидел, что Маша улыбается. Она пошевелилась и вскрикнула.

— Лежи, Маша, лежи, — громко сказал Румянцев.

Он уже вернулся, и в руках у него была санитарная сумка Маши. Он достал ножницы и ловко разрезал гимнастерку. Действовал он уверенно, точно всю жизнь перевязывал раны и это было для него обычным делом. Казалось, он совсем не испытывал той бессильной жалости, которую так остро ощутил Горбунов.

Лейтенант вышел и пошел к пролому. Дежуривший там боец молча посторонился. Лейтенант сумрачно взглянул на него, ни о чем не спросив. Красной ракеты на юго-западе не было.

Немцы прекратили обстрел, но каждую минуту он мог возобновиться.

«Я не смогу удержаться здесь, — подумал Горбунов, — нас перебьют одного за другим без какой-либо пользы».

К нему подошли командиры отделений и доложили о потерях. Три человека были убиты и пять ранены, двое — тяжело. Услышав фамилии хорошо знакомых ему людей, Горбунов отвернулся. Командиры замолчали, внимательно глядя на лейтенанта.

— Раненых перенесите сюда, — сказал Горбунов.

Он помолчал, медленно переводя угрюмые глаза с одного лица на другое. Командир отделения Медведовский негромко спросил:

— Как дальше будем, товарищ лейтенант?

— Оставаться на месте! — жестко сказал Горбунов. — Если фрицы сунутся — уничтожить их!

— Есть оставаться на месте! — выкрикнул Медведовский.

Лицо его стало замкнутым, и было непонятно, одобряет он решение Горбунова или только подчиняется ему.

Горбунов понимал состояние своих бойцов. Каждая лишняя минута их пассивного сидения здесь грозила новыми жертвами, в необходимости которых люди не были убеждены. Они не имели понятия о причине, не позволявшей им двигаться вперед, и поэтому готовы были предполагать ее отсутствие.

Переубедить их Горбунов не мог, так как сам усматривал эту причину только в неспособности или нерешительности людей, с которыми его связывал оперативный план. Он не рисковал идти вперед, потому что по точному смыслу приказа ему следовало наступать во взаимодействии с охватывающей группой. Впрочем, с тем количеством людей, которым располагал Горбунов, он и не в силах был атаковать один. Отойти он не отважился, потому что общее наступление могло начаться каждую минуту и его уход с завоеванного рубежа оказался бы в этом случае преступлением. Остаться на месте он, видимо, также не мог, и это было понятно любому бойцу в его отряде.

Командиры ушли. Лейтенант перезарядил автомат и снова повесил его на шею.

«Что-нибудь должно же произойти, — думал он, утешая себя. — В последнюю минуту всегда пойдется какой-нибудь выход. Если Подласкин не начнет атаки, вернется мои связные... Да и полковник не мог о нас забыть...»

Вдруг Горбунов увидел одного из своих связных. Красноармеец Митькин, вывалянный в снегу, стоял в дверях, оглядывая компату. Брови, ресницы и небритая щетина вокруг рта обросли у Митькина белым льдом. Горбунов, сдерживаясь, подождал, пока боец не остановился перед ним. Но едва связной начал докладывать, Горбунов понял, что подтвердились худшие его опасения. Он опустил глаза, слушая торопливую, сбивчивую речь.

— Немцы в роще? — тихо переспросил он.

— В роще, товарищ лейтенант. Они нас обстреляли, мы в сторону, к балочке, подались... Но и там не проскочили. Мне Федюнин и говорит: «Беги к лейтенанту, доложи обстановку, а я буду до своих пробиваться. Не знаю — пробьюсь, не знаю — нет. А лейтенанту скажи — мы в окружении...»

— Федюнин не говорил этого, — сказал Горбунов.

Связной замолчал. Черное лицо его с белыми бровями было напряжено, как у человека, которому задали непосильную задачу.

— Глупости это, я Федюнина знаю. Не фрицы нас, а мы фрицев окружаем. Ясно?

— Ясно,— неуверенно сказал Митькин.

— Ну, а зачем же говорите?

Митькин машинально стащил с рук варежки и, сложив, как для молитвы, заоченевшие ладони, стал дуть на них.

«Умаялся, бодняга»,— подумал лейтенант.

На лице бойца он видел откровенное и грустное недоумение. Вдруг Митькин понимающе усмехнулся.

— Ясно,— повторил он.

«Хитрит,— подумал Митькин. — Бойтся за моральное состояние... А зачем хитрить? Мы же ему в трудной обстановке первые помощники».

Но Митькин не сказал этого лейтенанту. И хотя они оба одинаково понимали положение, в котором находился отряд, они друг для друга делали вид, что все обстоит благополучно.

— Вы сейчас снова отправитесь туда, вы знаете дорогу,— сказал Горбунов. Ему жаль было посылать измученного бойца, и поэтому он говорил строго. — С вами пойдет еще кто-нибудь. Во что бы то ни стало надо добраться до КН... На одной руке доползти, если что...

— Слушаю! — сказал связной.

Когда Горбунов отошел, чтобы снарядить еще одного бойца, Митькин подошел к Двоеглазову.

— Сверни мне, друг,— попросил он,— сам не могу — пальцы застыли.

— Прижали нас? — осторожно спросил Двоеглазов, подавая сигарку.

— Да нет,— ответил Митькин. — Окружаем помаленьку.

Отойдя в угол, он закурил, жадно и глубоко затягиваясь. Потом вместе с новым своим товарищем он стоял перед лейтенантом, выслушивая указания.

— Доложите на словах,— говорил Горбунов. — Залегли на восточной окраине. Противник готовится к контратаке, которая может начаться каждую минуту. По дороге попытайтесь узнать поточнее, сколько немцев засело в роще. Доложите об этом.

Он помолчал секунду.

— Не выполнив приказ, назад не возвращайтесь.

Он отошел к стене и снова стал глядеть в пролом. И так, немцы каким-то образом перерезали его связь с тылом.

«Надо спокойно все обдумать», — несколько раз повторил про себя Горбупов, но, в сущности, положение, в котором он оказался, не нуждалось в долгом обдумывании. Как и всякое безвыходное положение, оно было поразительно ясным.

— Пошли, что ли, — сказал Митькин товарищу.

У дверей он вдруг повернул и подбежал к Двоглазову.

— Земляк, ты мой адрес знаешь, — быстро зашептал он, — в случае чего напиши жене... Сделаешь?

— Сделаю, — сказал Двоглазов.

— Ну, бывай! — сказал Митькин.

Он торопливо затоптал окурок и выскочил за порог.

3

Маша слабела, но не замечала этого. Больше всего ее огорчало то, что она выбыла из строя в самую неподходящую, как ей казалось, минуту. Она чувствовала себя виноватой перед Румянцевым, который вместо нее возился сейчас с ранеными. Прерывисто и хрипло дыша, силясь приподняться и сердясь на собственную слабость, она говорила без умолку. Она обращалась к раненым и утешала их. Сержанту она давала советы, как лучше накладывать перевязки и как действовать, чтобы не причинять излишней боли. На просьбы лежать спокойно Маша не отвечала.

— К каждому свой подход должен быть, понимаешь, Румянцев?.. Бывают раненые пассивные, эти сразу падают духом... Бывают энергичные, они не дают с собой ничего делать... Бывают стонущие... пестонущие... И ко всем разный подход надо иметь.

— А послушные бывают? — спросил Румянцев.

— Бывают... растерянные, — сказала Маша.

Румянцев закрыл окно досками от шкафа и приказал заткнуть щели соломой.

Сопровождаемый бойцом, державшим электрический фонарик, сержант переходил от одного раненого к другому.

— Сто граммов, браток! Для здоровья! — говорил он, становясь на колени и протягивая санитарную флягу с водкой. — Сам бы выпил, да не полагается...

Узкий луч фонарика освещал его маленькое безбровое лицо с глубоко посаженными умными глазками. Он был весь в крови, и даже лицо его было измазано, потому что он утирал его руками.

— Порядок! — объявлял он, закончив перевязку, и покрывал раненого полусубком.

Если кто-нибудь начинал кричать и вырываться, на помощь к соржанту приходила Маша.

— Ну, потерпи, потерпи... Ой, какой невыдержанный! — Маше не хватало воздуха, и голос ее срывался. — Подумай лучше, как после войны... мы с тобой хорошо жить будем.

Когда все пять человек были перевязаны, Румянцев вытер руки о полу халата и достал кисет.

— Тепорь и покурить можно, — сказал он.

Маша окликнула его и попросила воды. Она давно хотела пить и терпеливо ждала, когда Румянцев освободится. Соржант принес снег в котелке, и Маша с наслаждением глотала легкие холодные хлопья.

— Лучше, чем ситро, — сказала она, улыбаясь.

Румянцев присел и закурил.

— Досада какая, — сказала Маша. — В самый горячий момент... и сдала... Пришлось тебе за меня отдуваться.

— За тобой будет, — весело сказал Румянцев. — Встаешь на ноги — разочтемся. Только я мепьше пачки легкого табаку не возьму.

— Что ты меня успокаиваешь? — ласково упрекнула Маша. — У меня же пневмоторакс! — раздельно выговорила она трудное слово.

— Что же такого, — сказал Румянцев, затанулся и выпустил дым.

— Чудак тоже... — сказала Маша. — С такой раной и в госпитальных условиях не часто выживают. — В ее тоне все время было чувство превосходства специалиста над профаном, чувство, заставлявшее ее говорить о собственной ране, как о чем-то постороннем.

— Я не доктор, — сказал Румянцев, — но от такой раны не умирают. Это я тебе говорю.

— Эх, Румянцев, — прошептала Маша. — Что ты со мной говоришь, как с пассивным бойцом. Я же ничутьюки не боюсь...

Мысль о смерти действительно не испугала ее. И хотя Маша сказала себе, что может умереть, она в глубине своего существа еще не верила этому. Она испытывала даже странный интерес к новому состоянию, словно рассчитывала наблюдать за собой и после того, как все кончится. Она задумалась и помолчала.

— Жаль темного,— сказала она вдруг тихим и каким-то новым голосом,— не услышу я про нашу победу.

— Не скучай, Маша, поспи часок,— сказал Румянцев.

Он встал, выключил фопарик, потому что надо было экономить батарейку, и вышел. Маша осталась лежать в темноте. Она подумала о том, как по Красной площади мимо Мавзолея Ленина будут проходить возвращающиеся после победы войска... И загрустила, внезапно поняв, что ей не придется шагать вместе со своими товарищами, одетыми в зеленые военные гимнастерки. Вдруг Маше показалось, что ее куда-то уносит, кружа, как в лодке. Она почувствовала тошноту и закрыла глаза. Потом она потеряла сознание.

Горбунов побывал в окопах и осмотрел разрушения. Он приказал вырубить в промерзших стенках ниши, чтобы там укрываться. Наблюдение за противником он нашел недостаточным и распорядился усилить. Затем он разрешил развести костер во дворе школы, огражденном полуразбитыми постройками. По очереди люди могли ходить туда греться. Он переползал из окопчика в окопчик, выслушивал людей и отдавал приказы. Лейтенант понимал, что все его усилия только отодвигали неизбежную развязку, но сидеть и в бездействии ждать сигнала он не мог. Кроме того, эта вызванная им привычная для бойцов деятельность придавала видимость целесообразности затянувшемуся перерыву в атаке. Занятые работой, люди меньше чувствовали опасность своего положения.

Горбунов не думал о Маше, пока ползал в окопах, по его тяготило смутное ощущение чего-то очень печального, что уже произошло. Неясное сознание беды, еще не названной, но уже свершившейся, не покидало лейтенанта.

Горбунов вошел в школу, поднял солому с пола и машинально стал смахивать снег с валенок. Подошел Румянцев, и, взглянув на него, лейтенант вспомнил о Маше.

— Устроили рансних? — спросил Горбунов.

— По возможности,— сказал Румянцев. — В госпитальных условиях было бы, конечно, лучше.

Лейтенант и Румянцев прошли в класс, к раненым. Румянцев засветил фонарик и стал водить лучом по соломе. В светлом круге одна за другой появлялись человеческие фигуры. Они лежали или сидели. У некоторых были закрыты глаза, другие щурились, ослепленные светом. Усатый человек с блестящим от пота лицом перестал стопать и натянул на голову маскировочный халат, как бы желая остаться наедине со своим страданием.

— Мучается человек, — шепнул сержант Горбунову, — а помочь ничем...

Маша легла у самой стены. Лицо ее с опущенными веками было совсем белым, таким же белым, как и волосы, покрытые инеем. И хотя ничего не изменилось в чертах этого лица, оно показалось лейтенанту чужим, может быть, более красивым, но уже не принадлежавшим живому человеку. Руки девушки были протянуты вдоль тела. Большие новые валенки высывались из-под халата, неподвижные и симметрично сложенные, как на складе.

Горбунов подумал, что Маша умерла. Он вспомнил вдруг, как два месяца назад впервые увидел ее. По осенней улице прифронтовой деревни быстро шла, перепрыгивая через лужи, девушка в ватной куртке. Руки ее были слегка отставлены в стороны, и она слабо поводила ими в ритм своему легкому шагу. Она чуть покачивалась на ходу, словно на невидимых волнах силы и свежести, песнях ее вперед. Она улыбалась, думая о чем-то своем. Лейтенант обернулся, проводил девушку глазами и двинулся своей дорогой, досаждая на себя и за то, что посмотрел ей вслед, и за то, что не пошел за ней. Потом он встретил девушку в сапчаста полка. Он узнал, как ее зовут, узнал, что в армию она пошла добровольно, что латыни она не знает, но зато хорошо бросает гранату, что она хотела стать разведчицей, но ее почему-то не взяли. В заключение она попросила подарить ей немецкий офицерский парабеллум. Через несколько дней Горбунов принес ей трофейный браунинг. Маша повертела маленький револьвер в руках и сказала: «Женское оружие... В штабах все машинистки посят». — «В следующий раз я подарю вам гаубицу», — сказал обиженный Горбунов. Он смотрел на ее круглое лицо с утиным посиком, на влажные ровные зубы и думал о том, что, в сущности, Маша похожа на многих других девушек. Он недоумевал, что заставляет его испытывать особенное удовольствие при виде Маши и смутно досадовать, не встречая ее на меди-

цинском пункте. Потом девушка была прикомандирована к его подразделению. Горбунов видел теперь ее чаще, но положение обязывало его держаться более официально. Однако когда он представлял себе свою будущую жену, она была похожа либо на красивую киноактрису из последнего видеонного им фильма, либо во всем напоминала Машу.

Все это вспомнил лейтенант, глядя на белое лицо девушки, неподвижно покоившейся на соломе, в круглом луче фонаря. Вспомнил не в стройной последовательности встреч, разговоров, событий, а в мгновенном ощущении неожиданных размеров своей утраты. Боль, которую он почувствовал, была знаком внезапного опустошения. Он жалел в эту минуту не молодую девушку, не своего сап-инструктора, храброго и милого товарища, — он терял то, что незаметно жило в нем самом и с чем расставаться поэтому было особенно трудно.

— Умерла? — спросил лейтенант.

— Дышит, — сказал Румянцев.

Только теперь Горбунов заметил легкий пар, вылетающий из полукрытого рта девушки.

— Помрет, — сказал Румянцев. — Большая потеря крови.

— Надо что-нибудь сделать, — сказал Горбунов.

— Что тут делать? — сказал сержант. — В госпитальных условиях, может, и сделали бы...

Он поднял Машину медицинскую сумку и стал в ней рыться. Он доставал одну за другой склянки с таинственными надписями, задумчиво разглядывал их и клал обратно. Извлек шприц, осторожно потрогал иголку, посмотрел на свет резервуар и осторожно уложил в вату. Он долго рассматривал коробку с ампулами, наполненными густой желтоватой жидкостью, и Горбунов с неясной надеждой следил за ним. В прозрачных пузырьках, которые держал сержант, светилась волшебная сила исцеления и жизни. Надо было только добыть ее из хрупкой скорлупы. И может быть, Румянцев — храбрец и герой, искусный слесарь, удачник, человек, умеющий делать все, — способен был постигнуть ее секрет: бывают же вдохновенные усилия, когда невозможное оказывается доступным, чудесное становится явью. Но Румянцев аккуратно закрыл коробку с ампулами и положил на дно сумки. Он достал оттуда белую бутылку со стеклянной пробкой, прочитал надпись и уверенно объявил:

— Йод.

Горбунов хмуро посмотрел на сержанта, повернулся и пошел из класса. Маша умирала, и он был бессилен помешать этому. Он прикрыл за собой дверь и оглядел темную промерзшую комнату с овальным проломом в стене. В углу тихо разговаривали люди. Горбунов постоял и сел на солому. Наблюдатель ничего не доложил ему,— значит, сигнала к атаке не было. Лейтенант подумал, что, если б атака началась сию минуту, Маша была бы, пожалуй, спасена. Соединившись с группой Подласкина, он передал бы ее врачу вместе с другими ранеными. Он уже верил во всемогущество этого неизвестного врача, потому что единственный шанс всегда кажется спасительным. Лейтенант вскочил и подошел к пролому. Тоскуя, он смотрел в голубоватый морозный туман. Успех боя и жизнь людей зависели сейчас от одного и того же. Он испытывал томительное нетерпение. Положив руки на автомат, белый от мороза, лейтенант ходил от пролома к двери и обратно. Вдруг он заметил, что красноармейцы, беседовавшие в углу, замолчали, внимательно глядя на него. Он медленно прошелся еще раз, потом повернул и сел на свое место у стены.

Горбунов как-то очень отчетливо почувствовал себя одиноким. Все люди, находившиеся здесь, видели в нем опытного боевого командира, с которым охотно шли на любые рискованные дела. В случае успеха ему по праву принадлежала главная заслуга. В трудные минуты на него смотрели с надеждой. Каждый его жест, его интонация, манеры, настроение тщательно комментировались многими людьми. «Лейтенант первичает», — могли сказать бойцы, и это было бы дурным признаком. «Лейтенант весел», — отмечали они, значит, все обстояло благополучно. Уверенность командира была как бы общим достоянием, и потому он не мог ее терять. Но ему-то не у кого было почерпнуть необходимое всем спокойствие. И хотя красноармейцы верили в твердость его характера, вера эта была необязательной для самого Горбунова. Она много требовала от него и мало помогала. Рядом не было даже Ивановского, с которым лейтенант мог хотя бы посоветоваться. Политрук, раненный в начале боя, находился уже в тылу. Горбунов был один, он один должен был принимать решение. Его воля, как воля всякого единоличного командира, подвергалась сложному испытанию, по никто из окружающих этого не должен был знать.

Горбунов сидел, положив руку на согнутое колено, и неторопливо курил. Он снова думал о капитане Подласкине, перебирая в уме все возможные причины его опоздания. И так как Горбунов выполнил свою часть задачи, он не находил никаких оправданий для другого. Он злился и ненавидел сейчас этого незадачливого капитана, единственного виновника немишуемой общей неудачи. Горбунов докурил папиросу и медленно раздавил на полу окурки.

«Помехи бывают,— подумал он,— но приказы, черт возьми, надо выполнять!..»

К лейтенанту подошел Румянцев.

— Товарищ командир,— сказал сержант,— прошу назначить меня для эвакуации.

— Для эвакуации? — спросил Горбунов.

— Раненых доставить на медпункт — Рыжову и Семеновичу.

— На медпункт? — сказал Горбунов.

— Четырех бойцов думаю взять за санитаров. Поспешим вернуться к самой обедне.

Горбунов посмотрел на Румянцева светлыми холодными глазами.

— Нет,— сказал лейтенант,— не разрешаю.

— Понятно,— сказал Румянцев, хотя ничего не понимал. — Прикажете назначить другого?

— Не надо,— сказал лейтенант.

Румянцев не предложил ему ничего утешительного. Лейтенант сам уже думал, как вынести отсюда раненых, но вынужден был отказаться от этой мысли. Чтобы пробиться сквозь огонь засевших в роще автоматчиков, четырех человек не хватило бы. Видимо, недостаточно было и десяти. Горбунов не знал, какие силы немцев проникли к нему в тыл, и дробить свой небольшой отряд он не имел права.

— Наша задача — выбить из деревни фрицев,— сказал Горбунов. — Отложим эвакуацию на час или на два.

Он подумал, что, пока Маша была здорова и он видел ее каждый день, он не спешил разобраться в своем отношении к ней. Оно стало понятным только теперь как будто для того, чтобы увеличить горечь и томление этих часов.

Немцы опять начали обстрел. Первые мины упали за школой, метрах в пятидесяти. Четыре ослепительных белых взрыва одновременно блеснули в туманном воздухе. Снег, порошенный с дымом, взвился косым вихрем. Потом все услышали дробный стук осыпающейся земли. Следующие мины упали ближе, но пескoлько в стороне. Они рвались по четыре в ряд то позади школы, то перед ней с одинаковыми интервалами между залпами. Разрывы приближались к окопам, охватывая их запахом сгорающей взрывчатки. Лейтенант снова полз по линии своих укреплений. Он задерживался возле бойцов, лежавших в снегу, и что-нибудь говорил о противнике, который, может быть, и суется сюда, но назад уже не уйдет. Командирам отделений он еще раз повторил: стоять на месте и если фрицы атакуют — уничтожить их. Часть людей он приказал перевести в школу, под укрытие стен. Мины ложились все ближе. Слыша очередной парастающий скрежет, люди вжимались в снег, некоторые закрывали глаза.

Горбунов вернулся в школу. Немцы отодвинули свою батарею, ее нельзя было обнаружить, и лейтенант приказал не открывать огня. Он сидел на соломе, прислонясь спиной к стене и поджав под себя ногу. Наружно он был невозмутим и, когда к нему обращались, отвечал спокойно и тихо. Но все, что он видел и слышал, воспринималось им сейчас с какой-то чрезмерной отчетливостью и требовало молниеносной реакции. Он с трудом заставлял себя говорить неторопливо. Время от времени он без необходимости поправлял ремень автомата. Заметив, что делает это слишком часто, он опустил руки и сжал кулаки. Он старался не думать о том, как хорошо было бы, если бы атака происходила точно по плану, и это ему почти удалось. Горбунов приказал перебросить ручной пулемет на фланг своей позиции, который казался недостаточно обеспеченным. Затем он распорядился, чтобы пулеметчики сейчас же установили прицельные ориентирьы на случай появления немцев и пристреляли их. Но за всеми этими мыслями жила другая, вытесненная из сознания, но как бы перешедшая в кровь и мускулы, сводимые бесполезным напряжением. Она стояла словно позади других мыслей, нависая над ними тенью, окрашивая их в свой цвет. Сигнала к общей атаке по-прежнему не было, и хотя

Горбунов убедил себя, что ждать ракеты больше не имеет смысла, он только пытался обмануть ставшее непосильным ожидание.

Мины падали через правильные промежутки времени. В паузах лейтенант слышал негромкий разговор. Луговых, Двоглазов и Кочесов сидели неподалеку и беседовали, не обращая особенного внимания на огонь врага.

— Махорка кончилась, вот беда,— сказал Луговых.

Двоглазов достал из кармана коробку немецких сигар, с треском разорвал целлофан и шикарным жестом протянул нарядную коробку товарищам.

— Прошу,— сказал он.

Бойцы закурили. Они удобно сидели, перебрасываясь словами, но не делали лишних движений, научившись, как и большинство старых солдат, цепить каждую минуту покоя.

— Крепкие! — одобрительно сказал Луговых.

— Гавана,— отозвался Двоглазов.

— Сейчас бы шей горячих! — сказал Кочесов.

— Обед сегодня не будет,— объявил Двоглазов.

— Завтра подвезут,— сказал Кочесов.

— А завтра, возможно, меня не будет,— ответил Двоглазов.

Совсем близко прогремели четыре разрыва. От всплеск на секунду стало светлее, и бойцы почувствовали на своих лицах порывистое движение воздуха.

— Нащупывает,— заметил Кочесов.

— Слышали вчера сводку Информбюро? — спросил Луговых. — На нашем фронте идут наступательные бои.

— Так и есть,— сказал Кочесов.

— Правильно,— подтвердил Двоглазов.

Он щелчком смахнул пепел и снова вставил сигару в рот. Худое лицо Двоглазова с живыми, веселыми глазами окуталось плывучими волокнами дыма.

— Как у тебя на родине, Кочесов,— спросил Луговых,— русские морозы бывают?

— Морозы у нас послабей,— ответил Кочесов. — Жара зато большая.

— Выходит, у тебя, Луговых, одна родина — с морозом, а у Павла другая — с жарой,— сказал Двоглазов. — Неправильно это... В отношении родины климат большого значения не имеет.

— Как так? — спросил Луговых.

— В отношении родины Советская власть значение имеет,— пояснил Двоеглазов.

Ударили новые разрывы, и с потолка на бойцов посыпалась штукатурка. Люди помолчали, втянув головы и прислушиваясь.

— Я так понимаю,— рассуждал Луговых,— родина — эта моя семья, мой дом, моя деревня...

— А весь район? — спросил Двоеглазов.

— И район.

— А область?

— И область.

— А республика?

— Само собой,— сказал Луговых.

— Родился ты, к примеру, в Сибири,— сказал Двоеглазов,— специальность свою изучил в Москве, а женился по любви на украинке, а работал все время в Поволжье. И везде ты был как у себя дома...

— Правильно,— заметил Кочесов.

— И так и говорю,— сказал Луговых.

— Климат бывает разный,— сказал Двоеглазов,— согласно законов природы... А счастье человеческое по всему Советскому Союзу живет... Вот, выходит, какая у тебя громадная родина!..

Снова прогремели разрывы, и снова бойцы прислушались.

— Любопытно, что сейчас моя Таня делает? — сказал Двоеглазов.

— Время позднее, спит,— отозвался Луговых.

— Может быть, и спит,— задумчиво сказал Двоеглазов,— и ничего не чувствует... А я тут под огнем сижу.

— Как же она может чувствовать? — спросил Луговых.

— Интересно мне знать,— размышлял вслух Двоеглазов,— соблюдает себя жена или нет? Обидно все-таки, если закрутит с тыловиком.

— Моя не закрутит,— убежденно заявил Кочесов.

— Кто их знает! — меланхолически произнес Двоеглазов.

В класс вбежал боец и доложил Горбунову, что два человека ранены.

— Опротивел мне немец! — сказал Двоеглазов.

Четыре оглушительных разрыва потрясли стены. Бойцы разом прилегли, словно придавленные сверху. Сладковатый дым вполз в пролом и медленно таял.

— Запоминающаяся ночь,— сказал Двоеглазов, поднимая голову. Затем он разыскал свою выпавшую сигару, заботливо осмотрел ее и вставил в рот.

— Нащупал-таки,— заметил Кочесов.

— По профессии я — лепщик,— сказал Двоеглазов. — Когда победим, где-нибудь воздвигнут памятник Победы. Если останусь жив, обязательно приму участие в этом строительстве.

В комнату к Румянцеву принесли раненого. Второй шел сам, держа впереди себя окровавленную руку. Потом два бойца внесли и положили на полу перед Горбуновым связанного Митькина. Они видели, как Митькин полз из рощи, оставляя за собой длинный темный след. Он передвигался на боку, загребая одной рукой и помогая ногами, повторяя все время одни и те же движения. Когда он встречал на пути сугроб или поваленное дерево, он не сворачивал, а переползал через них, хотя это и требовало больших усилий. Казалось, он просто не видел препятствий и преодолевал их, не отдавая себе в этом отчета. Но методически, с каким-то слепым постоянством, он выбрасывал руку и подтягивался на локте, перетаскивая себя на несколько сантиметров. Двигался он очень медленно. Бойцы поняли, что человек ранен, и поползли к нему навстречу.

Когда Митькина клали на плащ-палатку, он слабо, но внятно сказал:

— Где лейтепапт? Приказ у мепя.

Он вздохнул и сразу обмяк. Он был ранен несколькими пулями, истек кровью, и казалось удивительным, что он мог сюда доползти.

Митькин умирал. Его глаза были открыты, и в них стояло выражение не боли, а непереносимого физического утомления. Он пошевелил губами, и Горбунов приложил к ним ухо.

— Приказ... — не прошептал даже, а выдохнул Митькин.

— Я здесь! — сказал Горбунов. — Говорите!

Но Митькин уже ничего не слышал. Он медленно перевернулся на бок, и его здоровая рука протянулась вперед. Дыхание его стало реже. Каждый глоток воздуха, который он хватал, комом проходил в горле и судорожно распирал грудь. Перерывы между вдохами делались все длиннее, и после каждого бойцы ждали, наступит ли следующий. Они ждали и после того, как Митькин перестал

жить и его дыхание прекратилось навсегда. Солдат лежал на боку, вытянув руку и упершись в землю ногой, словно все еще полз, унося с собой недоставленный приказ.

Тело Митькина отнесли к стене и прикрыли плащ-палаткой. В карманах у него пакета не нашли — приказ, видимо, был передан на словах. Горбунов отошел к пролому и молча смотрел на юго-запад. Связной вернулся, выполнив поручение, но Горбунов по-прежнему ничего не знал. Может быть, его отряду предписывалось даже отойти, но теперь это не имело значения и он должен держаться. Горбунов вдруг заметил, что лес за деревней больше не виден. Падая снег, редкий, медленный, и линия домов на краю оврага полурастворилась в сером воздухе.

Немцы усилили огонь, и разрывы следовали теперь один за другим: по-видимому, неприятель ввел в бой новую батарею. Потери быстро увеличивались, было уже несколько убитых. Горбунов стал на колени и смотрел в щель между кирпичами. Он забыл о том, что полчаса назад убедил себя не ждать больше сигнала атаки. С каждой минутой росло количество выбывших из строя, и только красная ракета, казалось ему, могла спасти остальных. Если враги снова овладеют восточной окраиной деревни, не будет иметь успеха и запоздалая атака Подласкина. Немцы перебросят все свои огневые средства на юго-запад, и деревня останется у них в руках. Бой, потребовавший таких усилий и жертв, окажется проигранным.

Кто-то опустился на колени рядом с лейтенантом. Горбунов обернулся и увидел Румянцева. Мокрыми руками сержант утирал вспотевшее лицо, оставляя на нем темные пятна.

— Как у тебя? — спросил лейтенант.

— Рыжова дышит! — закричал Румянецв.

— Как раненые, спрашиваю? — крикнул лейтенант.

— Бинтов нет, — ответил Румянецв.

— Рвите рубахи, — приказал лейтенант.

— Ну, я побегал, — сказал Румянецв.

Он ползком добрался до двери. Стены школы дрожали от разрывов. Воздушные волны били иногда в пролом, лейтенанта валило на бок, и снег засыпал глаза. Горбунов протирал их и снова смотрел в узкую щель. Он уже никого не обвинял в том, что ракета опаздывала. Сейчас важно было, чтоб она все-таки загорелась.

Командир отделения Медведовский с трудом добрался до школы. Он падал, поднимался и полз по земле, вздрагивавшей от мгновенных судорог. Засыпанный снегом Медведовский показался на пороге и, пригибаясь, перебежал к Горбунову. Став на колени, он прокричал:

— Товарищ лейтенант, тасм!

Горбунов посмотрел на искаженное криком черное лицо с потрескавшейся кожей па губах. Он обнял Медведовского за шею и привлек его голову к себе, словно хотел поцеловать.

— Расслабило вас! — закричал он, и злые глаза его потемнели. — Зарыться в землю и стоять!

Командир отделения потянулся губами к уху лейтенанта, как будто шептал ему по секрету.

— Мои выстоят! — крикнул он и, согнувшись, побежал вдоль стены к выходу.

Немцы ввели в действие артиллерию, и обстрел достиг уничтожающей плотности. Скрежет, свист и грохот слились в одип невыносимый шум. Вспарываемый воздух визжал и ахал, валил людей, отрывал их от земли, швырял в снег. Земля колебалась под распластанными телами, утратив свою устойчивость и свою тяжесть. Подобно газам, она летела вверх, вспыхивала, свистела, сгорала и клубилась. Люди не кричали и не разговаривали, цепляясь за что-то, бывшее землей. Иногда они взглядывали друг на друга остановившимися сосредоточенными глазами и отворачивались, потому что видели в глазах одно и то же ожидание. Оно делало людей странно похожими друг на друга. Но люди эти были русскими солдатами и потому выполняли свои обязанности, даже когда это казалось невозможным. Связанные переползали из окопа в окоп, командиры знаками отдавали распоряжения. Наблюдатели разгребали снег, засыпавший их, и снова смотрели.

Красной ракеты не было, и Горбунов понимал, что защитники рубежа действительно тают. Он испытывал ярость. Мышцы его напряглись, как у человека, готовящегося к прыжку, и челюсти были стиснуты. Как в детстве, когда Горбунову казалось, что событиями можно управлять одной силой большого желания, он весь сосредоточился в требовательном «хочу». Он просил, ждал и приказывал. Он физически ощущал это свирепое усилие своей воли. Но в непроницаемом сером тумане на

юго-западе сигнала не появлялось. Горбунов услышал, как стучит его сердце. Не в силах больше сдерживаться, он вскочил и выпрямился. В то же мгновение страшный грохот потряс здание. Лейтенанту показалось, что на голову ему рушится потолок. Снаряд угодил в верхний этаж школы, и на Горбунова посыпались штукатурка, мусор, песок.

Канонада разом прекратилась, и в наступившей удивительной тишине прозвучал торопливый голос наблюдателя:

— Немцы пошли в атаку.

5

Медленно роился снег. В его однообразном сером молькании Горбунов различил неясные темные фигурки. Они скользили по склону оврага, и сверху, из сумрачной ряби падающего снега, выделялись новые разорванные вереницы теней.

— Многообещающая картина, — сказал Двоеглазов, устраиваясь с автоматом у пролома.

Горбунов почувствовал облегчение. Он твердо знал, что теперь надо делать. Он мог не думать больше ни о чем другом, потому что все заслонили сейчас эти приближающиеся бесплотные силуэты. Не оборачиваясь, он крикнул:

— По фашистским оккупантам... — И, сделав паузу, рассчитывая наивыгоднейшую дистанцию, закончил: — ...огонь!

Больше ничего не было слышно в дробном грохоте автоматов. Люди стреляли, припав к подкопникам. Комната озарялась прыгающим, лихорадочным светом, словно десяток слепящих ламп раскачивался и мигал, выхватывая на мгновение из темноты прищуренный глаз, небритую щеку, потолок с обнажившимися балками, щепень и солому под ногами. Рядом с Двоеглазовым стреляли из пролома Луговых и Кочесов. Серые дымки поднимались к потолку.

Горбунов побежал паверх. Он еще не знал, какие разрушения произвел там разорвавшийся снаряд. Несколько классов и комната, в которой лежал мертвый учитель, были завалены обломками. Проникнуть туда оказалось невозможным. Пулеметчики, к счастью, не пострадали и

уже поли огонь. Сыпались на пол и подпрыгивали горячие гильзы.

Боеприпас на исходе,— сказал первый номер в перерыве между очередями.

— Дай-ка мне,— сказал лейтенант.

Он стал на колени и поймал в прицел группу из нескольких теней. На щеках под кожей у него заходили мускулы. Он выпустил короткую очередь, и тени исчезли.

— Фашистов не хватит раньше, чем у тебя патронов,— сказал лейтенант, поднимаясь.

Он пробрался в крайнюю комнату и из окна увидел всю линию своих окопов. В зыбкой глубине под ним лежали бойцы, почти невидимые в маскировочных халатах. По вспышки выстрелов, словно электрические искры, перебегали по ледяной дуге брустверов.

Немцы залегли, и огонь стал стихать.

Горбунов спустился вниз и послал Румянцева с приказом командирам отделений внимательно следить за подступами с тыла. Потом он стал обходить бойцов.

— Как дела? — спросил он у Луговых.

— Ничего,— ответил тот, перезаряжая автомат.

Немцы начали стрельбу. Пулеметы прикрытия ударили по стенам школы. Посыпался битый кирпич, и рой невидимых пчел прожужжал в классе.

— Ложись, товарищ лейтенант! — крикнул Луговых.

— Пожалуй,— сказал Горбунов.

Он присел за кирпичами и выглядывал оттуда. Немцы опять пошли в атаку. Снова за рябую падающего снега возникли движущиеся расплывчатые фигурки. Пулеметы прикрытия били почти без перерывов. Горбунов опять поднялся в крайнюю комнату,— отсюда он лучше видел, что делается на всей позиции. Немцы ползли или перебегали, появляясь на несколько секунд, и проваливались опять.

Автоматы затрещали позади школы, и Горбунов понял, что фашисты обтекли по оврагу высоту, на которой стояло здание. Теперь немцы штурмовали школу одновременно с четырех сторон. Лейтенант рванулся в соседнюю комнату. За ним перебежали двое связанных. Большая темная птица с распластанными крыльями бесшумно вылетела навстречу и повисла под потолком. Горбунов не обратил внимания на птицу, словно ожидал ее здесь встретить. Из окна он увидел, как по пологому склону божали к школе враги. Они были уже в тридцати —

сорока метрах. Горбунов сунул автомат на переплет окна. Он уже ничего не помнил. Он видел только эти темные фигуры, мелькавшие в колечке прицела. Он стрелял, и каждая пуля была как бы частицей его самого, отделявшейся и поражающей прагов. Немцы бежали, подпрыгивали и валились. Некоторые медленно опускались на снег, другие пробегали, шатаясь, несколько шагов и тоже падали. Связные стреляли с колена. Неожиданно диск опустел, и, выругавшись, лейтенант переменял его. Но стрелять уже не пришлось. Прорвавшаяся группа была уничтожена. Горбунов обернулся, словно ожидая нападения сзади. Только теперь он заметил птицу, летевшую вверх. Он долго соображал, как она здесь очутилась и почему не улетает. Вдруг он рассмеялся, и связные с удивлением посмотрели на командира.

— Чучело,— сказал он громко. — Чучело это.

В комнате, видимо, был раньше зоологический кабинет. Мертвая птица парила под потолком. Непонятные разломанные вещи и битое стекло кучами лежали на полу.

Снег падал все гуще. Колыхающаяся неиссякаемая снежная рябь скрывала овраг и деревню. Пользуясь этим прикрытием, немцы вновь атаквали. Горбунов не мог даже воспользоваться ракетами, потому что они находились в классе, разрушенном снарядом.

Немецкие пулеметы прекратили стрельбу, и наступила тишина, прерываемая редкими выстрелами. Эта одиночная пальба казалась особенно беспокойной. Сотни врагов невидимо приближались отовсюду и каждую секунду могли появиться. Иногда казалось, что в лебяжьей мгле, обступившей школу, слышен слабый шорох и смутное позвякивание. Оно было едва угадываемым, но вловещим. Людям чудилось неясное и множественное движение со всех сторон, направленное к ним из темноты.

— Готовь гранаты,— почему-то шепотом сказал Луговых.

Горбунов спустился вниз и стоял посреди класса, глядя на товарищей. Как и полагалось, они были на местах, стояли или сидели у своих бойниц. Рядом с лейтенантом встал Румянцев. Большая широкая спина Кочесова была согнута. На кирпичах возле него лежали аккуратно разложенные диски и гранаты. Луговых, не поворачивая головы, поправил левой рукой шапку. Двоглазов вытянул шею, вглядываясь вперед; носком валенка он мелко

стучал по полу. Солдаты молчали, приготовившись ко всему. В эти минуты, каждая из которых могла стать последней, люди выглядели такими же, как всегда.

Горбунов оглянулся и неожиданно встретился с Румянцевым глазами. Оба они не подумали даже, а почувствовали одно и то же. Земля, на которой они жили, которую трудно было облететь на самолете, сузилась теперь до небольшой площадки этой школы. Они и товарищи их были здесь единственными людьми, потому что друзья не могли прийти на помощь, а в непроницаемой тьме, изолировавшей отряд, надвигались многочисленные враги. Люди здесь, по крайней мере многие из них, уже не имели будущего, ибо оно уменьшилось до размеров одного события, подошедшего вплотную. В мире, таком ограниченном в своей протяженности и иссякшем во времени, они, казалось, были одиноки и предоставлены самим себе. Они по-разному ощущали эту общность своего положения, но она с силой толкала их друг к другу. Каждый чувствовал, что все остальные близки ему сейчас в той необходимой мере человеческой близости, которой людям так часто не хватает. Они все стали как бы одним существом. Оно было вдесятеро больше каждого из них, может быть, вдесятеро печальнее, но и вдесятеро сильнее. Горбунов побледнел от волнения и закричал, повинаясь непреодолимому и странному вдохновению:

— Товарищи! Над нами красное знамя родины!

Румянцев сделал шаг вперед, и маленькие глаза его вспыхнули.

— Да здравствует наша советская родина! — крикнул сержант.

Так они боролись со своим последним одиночеством. И хотя бойцы знали, что красного знамени нет на школе, они словно слышали над собой шелест поднятого и развернувшегося драгоценного шелка.

— Да здравствует Советский Союз! — крикнул Двоеглазов; на худом лице его было неопишное возбуждение.

Солдаты часто слышали эти лозунги раньше, но привычные слова гремели и светились сейчас во всей своей первоначальной жизненности. Эти слова не только обозначали содержание человеческой жизни, — они делали ее непобедимой и бесконечной. На маленькой площадке сразу стало тесно. Родина окружила людей, и конец их жизни, подошедший вплотную, отодвинулся и стал неви-

дим. Будущее снова цвело и шумело далеко впереди, гораздо дальше сроков одной человеческой жизни.

Луговых схватил автомат и потряс им в воздухе. Горбунов счастливо улыбнулся. Из комнаты, в которой Румянцев устроил лазарет, выходили раненые. Они появлялись в дверях, поддерживая друг друга или опираясь на винтовки. Те, что еще могли двигаться, возвращались в строй, и бойцы давали им место около себя. Высокий парень, прыгавший на одной ноге, опустился на пол рядом с Кочесовым.

— Подвинься,— сказал он так, словно дело происходило в трамвае.

Кочесов отодвинулся, и раненый положил на кирпичи свою винтовку.

— Как тут у вас? Где гады? — сказал он и щелкнул затвором, досылая патрон.

Горбунов увидел Машу. Она сидела у двери, привалившись спиной к стене, держась обеими руками за грудь. И хотя было непонятно, как она могла приползти сюда, Горбунов не удивился. То, что совершалось на его глазах, уже не казалось чудом. Страдание и смерть как бы утратили свою власть над его товарищами. Он не изумился бы, если б связной Митькин вышел из темного угла в залубевевшей на груди шинели, взял автомат и встал у окна. То, что испытывал сейчас Горбунов, было похоже на чудесное освобождение. Словно все страхи и все заботы, сопровождающие человека и уродующие его, отпали, оставив лишь то, что было в нем бесценного,—его любовь, его ненависть, его волю к непрекращающейся жизни. Люди, собравшие в этой школе, были разными людьми. Еще днем, в двух-трех километрах отсюда, они отличались друг от друга характерами, привычками, склонностями, успехами или неудачами. Были среди них смелые и робкие, веселые и хмурые, общительные и злые, те, кого любили, и те, кого сторонились товарищи. Но все они сияли сейчас удивительной чистотой и страстью, которые делали их неуязвимыми в равной мере для пули и для зависти, для смерти и для тщеславия. Сейчас не было для людей ничего невозможного, потому что отечество вошло в них. Самый слабый и самый бояливый был таким же, как все, но все здесь были героями, ибо родина создает сыновей по образу и подобию своему.

Горбунов подбежал к Маше. Он наклонился к ней, и девушка тихо сказала:

— Гранату мне...

Лейтенант отстегнул гранату, и Мапа взяла ее обеими руками.

— Это я на тот случай... — сказала она.

За стеной дробно застучали выстрелы. В ту же секунду в двадцати шагах от пролома выросли черные фигуры. На груди у них сверкало скачущее пламя. Немцы бежали, стреляя из автоматов. Навстречу им ударил залп. Кочесов выпрямился и швырнул гранату.

— Хватай! — заревел он и сам не услышал своего голоса.

Граната разорвалась под ногами у автоматчиков. В острых стрелках огня мелькнули раскинутые руки, падающие тела. Хлопья снега рванулись вверх и закружились, будто отброшенные землей.

В сумрачной ряби возникли новые фигуры. Они как бы сгущались из темноты и отрывались от нее черными клочьями. Горбунов почувствовал удар в плечо, и его левая рука стала сразу тяжелой. Обжигая губы о холодный металл, он зубами отодвинул предохранитель и бросил гранату так, словно хотел устремиться за ней.

Бой шел по всей линии. Немцы почти вплотную подобрались к школе и теперь бросились на нее. Но окруженная со всех сторон высота сверкала в ледяной ночи белым пламенем и клубилась дымом. Казалось, там не было уже людей, но сказочные исполины отбивались от огромной темноты, навалившейся отовсюду. Пронизанное светом, сияющее облако стояло над их головами, и в нем трепетали молнии.

Первые ряды атакующих были срезаны. В отодвинувшемся мраке снова никого не стало видно.

Румянцев подошел к Горбунову:

— Дайте перевязку, товарищ лейтенант.

Горбунов с изумлением посмотрел на сержанта, потом вспомнил, что действительно ранен.

— Сейчас, — сказал он и побежал из класса.

Он хотел посмотреть, что делается в окопах. Он появился на крыльце и вдруг в серой мутной глубине увидел огонек, крохотный и красный, как рубин. Огонек дышал, разгорался, пламенел, поднимаясь все выше, оставляя за собой тонкий розовый след. Горбунов остановился потрясенный. Он видел наконец красный огонь на юго-западе! Ракета описала дугу и повисла, словно пурпурный лучистый цветок на сияющем изогнутом стебле.

Горбунов сошел с крыльца и стал перед фасадом школы. Здоровой рукой он зажимал левое плечо. Обернувшись, он скомандовал атаку, и его голос слышали все. Потом, не сводя глаз с красной ракеты и не оглядываясь, он двинулся вперед. Ладонью он чувствовал теплоту, исходившую от его кровоточащего плеча. Он слышал «ура» за своей спиной, сладостное, как музыка, и понял, что это поднялись солдаты. Он шел вперед, и кричащие люди справа и слева обгоняли его. Цветок, сиявший в небе, внезапно потускнел и осыпался множеством огненных лепестков. Но в ту же секунду ослепительный свет вырвался на юго-западе из мрака и забушевал, разливаясь в стороны. Казалось, упавший огонь поджег море. Бойцы догоняли Горбунова и бежали дальше. Помогая себе винтовкой, как костылем, раненый боец прыгал на одной ноге, размахивая гранатой. Впереди уже завязалась рукопашная, хлопали выстрелы, и Горбунов ускорил шаг. Группа Подласкина, вероятно, ворвалась в деревню, потому что огни большого боя неслись навстречу. Они охватывали все видимое пространство, разрывая и гоня перед собой отступающую ночь.

Утром полковник позвонил Горбунову, осведомился о его здоровье и посоветовал отправиться в медсанбат. Он выслушал донесение лейтенанта, ясное и немногословное, как все хорошие донесения.

— Бой был очень удачным, — сказал полковник. — Немцы так увлеклись атакой школы, что Подласкин взял их голыми руками. Общие потери у нас не велики, а немцев вы там навалили — дай бог каждому!

Горбунов не чувствовал уже никакой злобы к капитану Подласкину. Командир охватывающей группы действительно, как выяснилось, не в силах был атаковать раньше. Саперы, расчищавшие минные поля на подступах к деревне, выполнили свою задачу в срок. Но уже во время боя были обнаружены новые минные заграждения, закрывавшие выходы из леса. Саперы работали с профессиональной отвагой и с быстротой, беспримерной даже для профессионалов. Подласкин слышал бой, который вел Горбунов, видел горячее небо на востоке и торопил людей, не выпуская из рук ракетницу. Теперь, к удивлению Горбунова, он больше всего гордился тем, как было пре-

одолено непредвиденное препятствие. И хотя гордость эта казалась Горбунову малоосновательной, она обезоружила его. Видимо, на месте капитана никто другой не мог бы действовать лучше. Все же воспоминание о недавних часах заставляло Горбунова искать если не сочувствия, то понимания. Как и Подласкину, гордившемуся успехом, лейтенанту было о чем рассказать в свою очередь. Но говорить о часах ожидания с полковником, управлявшим в эту минуту большим наступлением своих частей, казалось неловким и мелким. Горбунов заметил только, что временный перерыв связи сделал для него общую обстановку неясной.

— Как это неясной? — сказал полковник. — Раз ты занял пункт, значит, надо держать его намертво. А врагов, где бы они ни появились, надо бить. Никакой неясности в этих вопросах я не допускаю...

Горбунов был согласен с комдивом. Бой закончился успешно, и теперь даже самому Горбунову все казалось иным, чем ночью, более простым и сравнительно нетрудным.

— Засиделся Подласкин на минных полях, — сказал полковник. — Это бывает... Но получилось так, что капитан напоролся на мины, а немцы напоролись на тебя... В общем, даже удачно получилось... Ну отдыхай, Горбунов. Автоматчиков в роще мы ликвидировали... Передай благодарность личному составу.

Полковник, судя по голосу, был в хорошем расположении духа. Его части быстро продвигались, и бой шумел уже далеко за деревней.

Горбунов, придерживая перевязанную руку, вышел из избы. За оврагом, на невысоком холме, он увидел школу. Был бессолнечный, хмурый день. Полуразбитое здание темнело пустыми окнами и большим овальным проломом в кирпичном фасаде. Снег, выпавший за ночь, прикрыл следы боя.

Лейтенант пошел по улице, думая о том, что ему надо сегодня же написать матери. Потом он подумал, что хорошо было бы отправить ей в Саратов посылку. Мимо прошли две женщины с заплаканными, счастливыми лицами. Женщины восторженно глядели на лейтенанта, и он улыбнулся им. Он увидел Кочесова и Двоглазова. Бойцы тащились навстречу с котелками и с буханками хлеба в руках. Лейтенант остановился. Ему хотелось сказать этим людям что-то очень хорошее и сильное.

— Заправляться идете? — спросил он, хотя это не вызывало сомнений.

— Точно, товарищ лейтенант, — ответил Двоеглазов; лицо у него было ссрое, как пепел.

Лейтенант и бойцы стояли, сдержанно улыбаясь друг другу и стесняясь слов. Подошел Румянцев и доложил, что сани готовы. Надо было ехать в медсанбат. Лейтенант не думал оставаться там, но ему хотелось провести Машу Рыжову. При воспоминании о ней Горбунов слова почувствовал беспокойство. Когда Машу увозили, она была в сознании и даже требовала, чтобы ее эвакуировали последней.

«Напористая девушка, — подумал лейтенант. — Отлежится».

Сани выехали за деревню, и Горбунов оглянулся. По улице ходили бойцы в грязных халатах. Он подумал, что сегодня же надо похлопотать о выдаче новых халатов его людям. Рука у Горбунова болела, и он морщился при каждом толчке. На повороте он еще раз увидел красную школу с пустыми черными окнами. Потом дорога спустилась в овраг и школы не стало видно.

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре поль-поль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... — Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. — Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплюснутую сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, ровняя капли воды с темной, намокшей плащпалатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробежала меня.

— Иди ставь к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подюжите дров и ожидайте паверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил пещку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем потянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну, что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнес он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объяснила. — Сейчас же сообщите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки. — Ну а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вз-чэ сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья пастороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — командовал я. — Ты что, стесняешься?

Он так же молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти — одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под пар старый ватник ордипарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величистой с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не

объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздраженно. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, но по-детски сосредоточенный и настороженный, он произ-

подил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает. — Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?.. — переспросил Маслов удивленно. — Какой Бондарев? Майор из оперативного,веряющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там веряющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет, — певольно улыбаясь, сказал я. — Это мальчик... понимаете, мальчик лет двенадцати.

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов. — Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, опарашенный таким оборотом дела. — Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво. — И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охрапением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял... — Я на мгновение замялся. — Говорит, что с той стороны.

— «Говорит», — передразнил Маслов. — На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он. — И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе, — я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, — приврал я, — и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позволю. — Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был пачальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холипа.

Холин — офицер разведывательного отдела штаба армия — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, — по ответив, потребовал мальчишка, — или я сам позвоню!

Отбрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, — твердо заявил я, стараясь подавить волнение. — Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, докладывай, — с каким-то безразличием сказал Маслов. — Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несolidно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно, — прервал меня Дунаев. — Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой?.. Говорите с «Волгой», — сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его

не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. — Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. — Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделikatней, учти: он парень с поровом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедленно доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом, — промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть, — поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сер-

жанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2 ...4, 5...». Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, пощипывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, — а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послунив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решился: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спицу тебе потру,— не выдержав, предложил я перешителю.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть,— и помещивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшеничную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, паверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего допайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на парках. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладонку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихоенько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была пенастная. Правда, дождь уже перестал, но северный востер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично, — как говорил наш командир полка, «для профилактики», — каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к трапшее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацапа», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями повольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темпотою полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что малепький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже $+15^{\circ}$, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже $+15$, а если примерно $+5^{\circ}$?

Нет, песомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охрапение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошел нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом, разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил стоя у пулемета и не курил.

— А что такое? — заинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая пужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок, — петоропливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). — У него пемцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует бедолага, — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет сигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. — Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я, — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. — И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую за-

никому, одолжил бы пемцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одежда его? И чего он все ж таки в воде делал? Страшно все это; и считаю — подозрительно!..

— Ишь, спрашивает, как с подчиненного, — усмехнулся пожилой. — Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стилость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбуджу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец с пакетом.

— Дошел, — сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас не знаю. Нервность во мне какая-то, — огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей, — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь, — сказал мальчик, виновато улыбаясь. — Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середине выбился, да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что, вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки паверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застучают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу — мальчика спесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком супул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на пары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязпова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вники!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастерке не было погои; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство. — Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им еда: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в сукопном чехле. На парах лежал дубленый мальчишковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьем! — весело, с какой-то удалью говорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался, — задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтоб ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик. — А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну, не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на серединку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат,— отказался Холин.— После водки не в цвет.

— Тогда поехали,— вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол.— Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедem,— с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место.— Сейчас поедem,— повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал,— словно оправдываясь, пояснил Холин.— Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько ж добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения.— Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество,— отшутился Холин.— И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтoб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Вапюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, дунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — слышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и открыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, слышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными поздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромненький, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя, — может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко

здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону пудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы и «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же приищут настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП и оказывать содействие.

— К вам, — говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь. — Немца бы посмотреть.

— Ну что ж... посмотри, — помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху

тнутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расположатся по окопам, будут постреливать в темпоту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трюнов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз, — не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на mine, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы... — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то?.. — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. — Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему непависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз. — Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается: — Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокпоте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я несколько ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, — наказывает Холин. — И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало слышал от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев дневное дело¹ и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит недалеко под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. — Посмотрите все хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежеотрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть лопатами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда с небольшого

¹ Дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

пригорка видно все, как на ладонке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. — А-а, Иван!.. Много будешь знать, скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай попробуем твое метро!

В траншее темно. Кос-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем, чуть пригнувшись, и кажется — конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тихо да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чухахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули точко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт, — угрюмо повторяет Чухахин. — Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов,

листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельпяшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно. — На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонил. Приказали вам доложиться...

Я звоню комапдиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин придет... Сделай все, что требуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладец, этот Холин!..» Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я. — А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвисься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами,— понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер, — погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопел. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах, — все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответив она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем поправляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»¹, а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, побралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санитаров и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь», — заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

¹ Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен III дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия, — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте.

И я оборачиваюсь к военфельдшеру.

— Даю вам два дня. Навести в сапслужбе порядок и доложить!

Она что-то певнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними «козла».

Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18. 30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, пожевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходя-лявая! — Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин пачинает умываться. — Если серьги вдеть, то можпо... Только днем ты к пей не ходи, — советует он, — авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев, — благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. — Дружеской подначки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки пет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Воп как! — Холин ухмыляется. — Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня пасмешливо-преснебрежительным взглядом. — Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает:

— Эх, и почка будет — как на заказ!.. Все же господь не без милости. Скажи, ты в бога веруешь?.. А ты куда это собираешься? — спрашивает он строго. — Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, почка темна,
А я боюсь,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Илия землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холип расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

-- Иван!..

-- Я, — слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

4

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы выходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданым дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сениую труху, а Холип заботливо предлагает:

— Может, ляжешь отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное, — говорит мне Холип. — Журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько померов «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холипу и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголового мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холип и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан.

Засунув узел под пары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холип вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне: «Клевые тузики!» — шепчет он.

Вот черти — пронюхали! В батальоне пять рыбацких плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Прочитав журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь, — замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу, — улыбаюсь я. — А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда — пожалуйста! — Холин с готовностью подсакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествуяюще смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться,— говорит мне Холин,— ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали,— кивает па меня Холин,— охотничек! А зачем тебе па тот берег?.. — И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять,— говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. — Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите,— указывает па меня Холин,— завелся с пол-оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится па тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам,— вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст. Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется,— натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь,— говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, биты. Перед тем как надеть

ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и восвали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотники миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек, — прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставляю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю, — обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. — Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев, — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. — Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож, — обещает ему Катасонов, осмотрев финку. — Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я. — А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж, — соглашается наконец мальчик обидчивым голосом. — А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож, и идем, — торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я. — Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем, — подталкивает меня Холин. — Я тебя возьму, — обещает он. — Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, — шепчет Холин. — Он и в партизанах был, и в Тростнице — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку, — трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает слышимым шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лезут в боевых порядках немцев не далее войскового тыла¹. А проникнуть и легализоваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять — десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику

¹ На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

это редко удастся. Дело в том, что взрослый в любом облике вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его...

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял,— шепчет Холин, вздыхая,— да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчишке он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, шупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четыре человека, не более.

— Вериги эти ни к чему. — Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. — Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продвигаясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин. — Подайте!..

Мы «подаем» — он вваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не на шуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табая, — разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт так, что того и гляди залется вода, потом, став на четвереньки, ощущая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет, — соглашается Холин. — Он, оказывается, действительно спец лодки воровать, дрянных не берет!.. Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку, — шепелявя, усмехается Катасонов. — Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом под утро ребят вытащим, — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать уметь! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-вошь разведгруппа, возможно, так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин, — пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет. — Холин указывает рукой вниз по течению. — Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем, — об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно. — Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся. — Он хлопывает меня по плечу. — Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котьякин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись, — просит меня мальчик. — Я нечаянно... честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердись? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же, — отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру. Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне, он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужины на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах.

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как подорвал?

Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпёж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. И почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем и здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то, — соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин паучил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже поповал: и в партизапах и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?..

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно. — Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается. — Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно. — Ты... ты ничего не знаешь и по лезы!.. Неприятные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Супов фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь, — недовольно замечает мальчик. Он любит ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. — От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. — Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять позился?.. Это пикуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холип, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо приподнимается. — Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холип. — Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг... — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы, что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холип.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят, — заявляет Холип. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так, что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаюсь собраться с мыслями. — Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно, — говорит Холип задумчиво. — Я бы тебя не брал, поверь: это необходимости!

Китасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два, — уверяет Холин. — Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не мили. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита... Колбасова, — подумав, говорю я. — Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный: того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься, — поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза вверх. — Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село, к бабс! Решил осчастливить какую-нибудь дуреху, — ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два, ну, максимум через три часа, — подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решил и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и на коротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катарсонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня, — отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометных и пулеметная рота — должны интенсивным артиллерийским огнем с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не потеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела.

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов, допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенское прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не спилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — невесело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули, значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— ...будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел, — с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю, — шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит. — Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание ищут письма родным и близким. Однако я первичаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время, — взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает толстые шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего, — ободряет он. — Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том бе-

рогу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты Ф-1 подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порывелый изодраный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие, всештопаные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплочная котомка, тряпки и какие-то тряпки.

В кусок рядом Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли да и хлеб не формовый, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола, — говорит он. — Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отрешыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И все.

— Попрыгали,— говорит мне Холин; проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение детской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцать сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится матерный шепот — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвуют около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти поговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, прыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай, — предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. И, еще не сообразив, приподнимаю ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то, — тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издали. — Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю: мальчик уходит на задание и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат наизготовку.

— Садись ровнее, — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. — Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край, — вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять — семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахара и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34, — шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко, — еле слышно признается он. — Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай,— вспомнив, шепчу я,— у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та, не знаю, где сейчас... — Голос его дрогнул. — И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише, видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле, еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылезь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, направляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку,— ощутив его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно,— отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежда его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают, — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы миновем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его миширован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед.

Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маск-халата, Холин смотрит на свистящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он замечен на песке метрах в трех вправо от нас, — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу, — упрашивает Холин шепотом. — Там глина — наследись. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик. — И сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи, — помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! — Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его. — Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи, — обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания!», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так, что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлюпала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось, как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten! ¹

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестящем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охраны полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они прыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание, вернее, жажду, потребность, необходимость немедленно убить их! Я завалию их как миленьких, одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он, словно тисками, сжал мне предплечье — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать, — после короткой паузы снова зашептал я встревоженно. — Если они обнаружат лодку...

— Если!.. — в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить. — А если застукают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шкура, сволочь или просто дурак?..

¹ — Проклятая погода! И какого черта...

— Придержи язык, Otto!.. Припать левое!.. (нем.)

— Дурак,— подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник,— произнес Холин раздумчиво. — Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотворный трупный запах отчего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог,— вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин. — Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохраняются, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокойство: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном навсерьняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно, услышав, заинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно. — Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облежала спину. Дождь постепенно сменился снегом,— мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел,— наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я парвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу, — подтвердил я дрожащим голосом. — А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки, — заметил я не совсем уверенно. — Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев, — вдруг прошептал Холин, — но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

— Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный. — Садись с кормы, — взяв у меня автомат, командовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руку маленькую плоскую фляжечку. Закоченевшими пальцами с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему была меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин. — Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы паходились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го,— выбивая дрожь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная почка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел,— наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закованенными погами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но беспшашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а «язык» где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой «язык»?

— Так, говорят, вы за «языком» отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник? — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово. Мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать.

— Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он. — И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за «языком»! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь. — И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа — и все было тихо.

— Что прошел? — спросил Холин с раздражением. — Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!.. — Он убрал карту со стола. — Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем, — взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч... — вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к парам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?.. — спросил он, закуривая. — И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин. — Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила, — мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной

и выгравированным на пипечке сс рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноябрю, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издали, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только выпущенного из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я жил у бабушки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представля-

люсь: мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лезли в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое, мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, лично... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить... — расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю, — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам.

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое.

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закондонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не персправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване, — как посоветовал мне подполковник, — я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны

я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены неведь как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Несдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал арзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр», относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за лапкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днестра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№..... гор. Лунинец. 26. 12. 43 г. Секретно.

Начальнику полевой полиции группы «Центр»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежавший в снегу и наблю-

давший за движением эшелонов на участке Калинин — Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию...

...установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... почевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — пирам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссипг, обер-лейтенантом Клямт и фельдфебелем Штамер «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25. 12. 43 г. в 6. 55.

...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»

Октябрь — декабрь 1957 г.

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели вперемешку с ольшаником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, — было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вот как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегалa здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой

глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинии, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глиниях они немного запаздывают, надо было поторопиться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко падвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине слышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

— А! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. — Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и запоем, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет,

и Глуценко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотников начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что, в общем, беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогрется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко,— ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздражающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его

внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поестъ бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится, — глухо согласился Сотников. — Неделю на пареной ржи...

— Да уж и парёнка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал, — сказал Рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончался лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пеньки, а там, за изгородью, будет и дом с сараями и задраным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу тоже поворачивал в сторону хутора. Очевидно, чувствуя близость жилья, волк осторожно и нешироко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание —

неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Путьки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и непла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофляпища, и стояла когда-то та самая пупька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневого посадки, где были постройки, тоже громоздились запсенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было, — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же немолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу

подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметной сегом телеги. Больше тут печем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и ничего на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот несчастный хутор.

— Подрубали называется! — бросил Рыбак, ушло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то, — силло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и, когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными, — больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носилках. А тут полиция и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Оди́п?

— Оди́н, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согрест? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали,— оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от остра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! А то, гляди, совсем очучуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кос-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворительно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, но больше. Что-нибудь расстараемся, не может быть...

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За поги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных

пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно было все его больное, простуженное тело, которое сегодня вдобавок ко всему начало еще и лихорадить.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубокий, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль грядки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, и тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну, как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода

тоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лошину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже,— подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окопчил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего. И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче,— издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной ложине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая

низина и пачнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склопа стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, но отсюда ему плохо было видно, что именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес, а вокруг было на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, взгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колесам дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых тепловых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно

донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно вгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, паверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые звуки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похожее на голос — разговор или окрик, но разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, качивал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться, — решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. — Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай, — односложно согласился Сотников и зябко передернул плечам.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пропизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, но-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, паверное, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по спешной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелкоколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Исланке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток пробиралась из-под Слоныма на восток небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или на беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показательных учениях. Думалось, развится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леса. Сотников опять приотстал, его сукожные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блеснул с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости, однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его наполнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. В тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтový бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны складывается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в грудку покореженного металла на булыжном шоссе под Слономимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность, от перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, «юнкерсы» непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей, смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их: колонна не прекращала движения. Бойцы со станций беспорядочно падали

вверх из вишенок, но пользы от такой их стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не задевая верхушки посадок.

Сотников сидел на головном в батарее тракторе и как избавления, как самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что им и не снилось. Но не было даже команды остановиться, полк все двигался и двигался, и каждую два часа над ним разгружались обнаглевшие «юнкеры» и «хейнкелы», перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитной.

Так наступила последняя ночь их блуждания по западнобелорусским дорогам.

Полк был уже далеко не тот, что вначале: несколько расчетов погибло, в его батарее почти прямым попаданием бомбы разворотило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что со вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на спарядных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери — другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге: поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак: ПНШ, закуливший из его пачки, намекнул на окружение, оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток, некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро — ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой нависшая над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне, навстречу шли пехотинцы; недалеко, видно было в ночи, зажженное авиацией, что-то горело ярким, на полнеба, пламенем — говорили, станция. Никто им не объяснил ничего, видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка майор Парахневич повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы

и глухи: за ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте не много увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только подремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбата обдало землей и горячей волной крыва, он тут же вскочил: «Комсомолец» сильно осел на правую гусеницу. И тут началось...

Как раз светало, за вербами ярко сипел край неба и серело овсяное поле, а откуда-то спереди, от головы колонны, их начали расстреливать тапки. Не успел Сотников соскочить с трактора, как рядом запылал тягач третьей батареи, провалилась в воронку гаубица. Оглушенный близкими ударами взрывов, он скомацдовал батарее развернуться вправо и влево, но не так просто было вывернуться с громоздкими орудиями на узкой дороге. Второй расчет бросился через канаву в овес и тут же получил два снаряда в трактор, гаубица опрокинулась, задрал вверх колесо. Утро осветилось ярким пламенем горящих тракторов, посадки застлало соляровым дымом — танки расстреливали полк на дороге.

Это было наихудшее, что могло случиться, — они погибали, а вся их огневая мощь оставалась почти неиспользованной. Поняв, что им отведено несколько скупых секунд, Сотников с расчетом кое-как развернул прямо на дороге последнюю уцелевшую гаубицу и, не укрепляя станин, едва успев содрать чехол со ствола, выстрелил тяжелым спарядом. Сначала нельзя было и разглядеть, где те танки: головные в колонне машины горели, уцелевшие бойцы с них бежали назад, дым и покореженные трактора впереди мешали прицелиться. Но полминуты спустя между вербами он все же увидел первый немецкий танк, который медленно полз за канавой и, свернув орудийный ствол, гахал и гахал выстрелами наискосок по колонне. Сотников оттолкнул наводчика (орудие было уже заряжено), дрожащими руками кое-как повернул толстестенный гаубичный ствол и наконец поймал это еще тусклое в утренней дымке страшилище на перекрестие панорамы.

Выстрел его грохнул подобно удару грома, гаубица сильно сдала назад, больно ударила панорамой в скулу; внизу, из-под незакрепленных сошников, брызнуло искрами от камней, одна станина глубоко врезалась сошником в бровку канавы, вторая осталась на весу на дороге. Сквозь пыль, поднятую выстрелом, он еще не успел ничего разглядеть, но услышал, как радостно закричал на-

водчик, и понял, что попал. Он тут же опять припал к панораме — едва не закрывая собой все ее поле зрения, за дорогой двигался второй танк, комбат вперил гаубичный ствол в его серое лбище — так близко тот казался в оптике — и крикнул: «Огонь!» Замковый отреагировал вовремя, выстрел опять оглушил его, но в этот раз он успел уклониться от панорамы и за пылью перед стволом увидел, как то, что за секунду до выстрела было танком, хрястнуло, будто личная скорлупа, и от мощного внутреннего взрыва частями развалилось в стороны. Неповоротливая, тяжелая, предназначенная для стрельбы из далекого тыла гаубица своим мощным снарядом разнесла танк вдребезги.

Неожиданно их охватил азарт боевой удачи. Уже не обращая внимания на потери, на убитых и раненых, что, истекая кровью, корчились на пыльном булыжнике, на огонь, пожиравший их технику, и град пуль оттуда, из танков, несколько уцелевших расчетов вступили в неравный бой с тапками. Тем временем рассвело, уже стало видать, куда целиться. Несколько пожаров дымно пылали за дорогой: немецкие машины горели.

Сотников выпустил шесть тяжелых снарядов и разнес вдребезги еще два танка. Но какое-то подсознательное, обостренное опасностью чувство подсказало ему, что удача кончается, что судьбой или случаем отпущенные секунды использованы им полностью, что следующий, второй или третий снаряд из танка будет его. Впереди живых, наверное, уже не осталось, последним притащился оттуда и упал, обливая кровью станину, командир полка; рядом в канаве бахали из карабинов несколько бойцов — метили в танковые щели. Возле ящиков уткнулся головой в землю заряжающий Коготков, сзади никого больше не было. Тогда Сотников на четвереньках сам бросился к снарядному ящику. Однако он не успел доползти до него, как сзади оглушающе грохнуло, тугая волна взрыва распластала его на булыжнике, и черное удушливое покрывало на несколько долгих секунд закрыло собой дорогу. Задохнувшись от земли и пыли, он краешком сознания все же почувствовал, что жив, и тут же под лавой земляной трухи, которая низринулась сверху, рванулся к орудию. Но гаубица уже немощно скособочилась на краю воронки, ствол взрывом свернуло в сторону, смрадно горела резина колесного обода. И тогда он понял, что это конец. Он плохо еще соображал, сам уцелел или нет, но

чувствовал, что оглох: взрывы вокруг ушли за непроходимую толстую стену, другие звуки все разом исчезли, в голове стоял протяжный болезненный звон. Из носа показалась кровь, он грязно размазал ее по лицу и сполз с дороги в канаву. Напротив, за вербами, тяжело переваливаясь на гусеницах, шел, наверно, тот самый, подбивший его танк. Свежий утренний ветер стлал черные космы дыма от пылающего трактора, жирно воняло соляркой и тротилом от взрывов, дымно тлела гимнастерка на плече уже неживого командира полка.

Потрясенный неожиданностью разгрома Сотников минуту ословело смотрел на ползающие за дорогой немецкие танки, их номера и черно-белые, выбитые по трафарету кресты. И тогда кто-то дернул его за рукав, он повернул голову — рядом появилось запачканное сажей и кровью лицо старшины батареи, который что-то кричал ему и показывал рукой в тыл, куда по канаве бежали бойцы.

Они вскочили и сквозь вонючий дым над дорогой, пригнувшись, также побежали туда...

3

Рыбак обошел мысок мелколесья и остановился. Впереди, на склоне пригорка, в едва серевшем пространстве ночи, темнели крайние постройки деревни. Как она выглядела отсюда, Рыбак уже не помнил: когда-то, в начале осени, они проходили сторопой по дороге, по в деревню не заходили. Впрочем, сейчас это его мало заботило — важнее было определить, нет ли там немцев или полицесов, чтобы непароком не угодить в западню.

Он педолго постоял возле кустарника, прислушиваясь, но ничего подозрительного в деревне вроде не было слышно. Донеслось несколько разрозненных, приглушенных ночью звуков, лениво протявкала собака. По-прежнему упруго и настойчиво дул ветер, тихо посвистывая рядом в мерзлых ветвях, пахло дымом — где-то, наверно, топили. Тем временем сзади подошел Сотников и, остановившись, тоже всмотрелся в сумерки.

— Ну что?

— Вроде тихо,— негромко сказал Рыбак. — Пошли помалу.

Было бы удобнее и короче свернуть к крайней в этой деревне избушке, что темнела невдалеке, по самые окна увязнув в сугробе,— там начиналась улица. Но возле

крайней всегда больший риск напороться на неприятность: в конце улицы обычно заканчивают свой маршрут караульщики и патрули, там же устраивает засады полиция. И он свернул по снегу в сторону. Вдоль проволоочной в две нитки ограды они перешли лощинку, направляясь к недалеким постройкам, тесно сгрудившимся в конце огорода на отшибе. Это было гумно. Там еще постояли минуту за растрескавшимся углом пуньки или тока с продранной крышей, прислушались, и Рыбак с оглядкой вышел на пригумье. Отсюда было рукой подать до низенькой, сиротливо покосившейся избушки при одном сарайчике, куда вела утоптанная в снегу тропинка. Рыбак сделал по ней два шага, но тут же соскучил в снег — на тропке пронзительно закричало под сапогами. За ним припал в сторону Сотников, и они пошли так, по обе стороны стежки, к избе.

Они еще не достигли сарайчика, как до их слуха явственно донесся стук — во дворе кто-то рубил дрова, рубил вроде бы с неохотой, вполсилы. Рыбак обрадовался: если рубят дрова — значит, в деревне, наверно, все тихо, чужих нет. К тому же не надо стучать в окно, проситься впустить — обо всем можно будет расспросить дровосека. Правда, он тут же подумал, что неосторожностью можно спугнуть человека — увидев чужих, запрется, тогда попробуй его вытащить из избы. И он как можно тише обошел сарайчик, переступил через концы брошенных на снегу жердей и вышел из-за угла.

В темновато-серых сумерках двора у ограды кто-то вошел с поленом. Он не сразу понял, что это женщина, которая, услышав сзади шаги, вдруг испуганно вскрикнула.

— Тихо, мамаша! — негромко сказал Рыбак.

Растерявшись, она замерла перед ним — низенькая пожилая тетка в грубом, толсто повязанном на голове платке — и не могла вымолвить слова. Рыбак из предосторожности взглянул на ведущую в сени дверь, та была закрыта, больше во дворе вроде никого не было. Впрочем, он не очень и опасался — он уже знал, что в этой деревне спокойно. Полицай, пожалуй, засели за самого, а немцы вряд ли тут появлялись.

— Ой, господи боже, и напугалась же! Ой, господи...

— Ладно, хватит креститься. Полицаев в деревне много?

— А нет полицаяв. Был один, так в местечко перебрался. А больше нет.

— Так. — Рыбак прошелся по двору, выглянул из-за угла. — Деревня как называется?

— Лясины, Лясины деревня, — полная внимания и еще не прошедшего испуга, отвечала тетка.

Ее топор глубоко сидел в суковатом еловом полене, которое она, очевидно, тщетно пыталась расколоть пополам.

Рыбак уже прикинул, что неплохо бы тут и отовариться: подход-выход хороший, на пути гумно, лесок — если что, все это прикроет их от чужого глаза.

— Кто еще дома?

— Так одна ж я, — будто удивившись их неосведомленности, ответила женщина.

— И больше никого?

— Никого. Одна вот живу, — вдруг пожаловалась она, все не сводя с него выжидательно-тревожного взгляда, наивно, стараясь угадать тайную цель их ночного визита.

Рыбака, однако, мало тронул этот ее жалостливо-покорный тон, ему уже были знакомы эти наивные повадки деревенских теток, разжалобить его было трудно. Теперь он изучал обстановку на дворе — увидел раскрытые ворота в сарай и заглянул в его глухой, полный павозного запаха мрак.

— Что, пусто?

— Пусто, — упавшим голосом подтвердила женщина, не отходя от топора. — Забрали все чисто.

— Кто забрал?

— Ну, известно кто. Как у красноармейской матери. Чтоб им подавиться, иродам!

Тут Рыбак с мимолетным сочувствием взглянул на женщину — если та перешла на проклятия, значит, не врет, можно верить. И он про себя недовольно чмыкнул, поняв, что и здесь, наверно, ничего не выйдет, — не до шитки же обирать ее и без того обобранную немцами. Придется искать дальше.

Сотников, ссутулясь, уныло ожидал под стеной, и Рыбак шагнул к женщине.

— Что, не расколешь?

Тетка догадалась, что он поможет, и, заметно обрадовавшись, как-то сразу сбросила с себя пугливую пасторженность.

— Да вот, лихо на него, вбила — не выдеру. С вечера бьюсь, ни туда ни сюда.

— А ну дай!

Рыбак закинул за спину карабин и обеими руками взялся за гладкое сухое топорщице. Хакнув, сильно ударил поленом о колоду, потом еще. Ударил метко, с удовольствием, ощущая силу в руках и привычную с детства сноровку, когда так же вот зимними вечерами колол на утро дрова. Пилить не любил, а колоть всегда был готов с охотой, находя как бы извечное удовлетворение в этой трудной, не лишенной мужского удалства работе.

На четвертом ударе трещина криво obeжала сук, и полено развалилось надвое. Он расколол еще и половинки.

— От спасибо, сыпок. Дай тебе бог здоровычка,— без тени недавней скованности благодарила тетка.

— Спасибом не отделаешься, мать. Продукты имеются?

— Продукты? А какие продукты? Бульбочка есть. Мелкая, правда. Если что, заходите, сварю затирки.

— Это что! Нам с собой надо. Скотину какую.

— Э, скотину. Где ее взять теперь...

— А там кто живет? — Рыбак показал рукой через огород, где за островерхим тыном белела снежная крыша соседней постройки. Кажется, там топили: петер заносил во двор запах дыма и чего-то съестного.

— А Пётра Кочан. Он теперь старостой тут,— просто-душно сообщила тетка.

— Да? Здешний староста? Ты слышишь? — Рыбак повернулся к Сотникову, который, прислонясь к бревну, терпеливо стоял под стеной.

— Ну. Поставили старостой.

— Сволочь, да?

— А не сказать. Свой человек, тутошний.

Рыбак, помедлив, решил:

— Ладно, пошли к старосте. Он-то уж, наверно, побогаче тебя.

Они не стали искать стежку, подлезли под жердь в изгороди, перенесли засыпанный золой и картофельной кожурой огород и через дыру в старом тыне пролезли во двор старосты.

Тут порядка было побольше, чем на соседнем дворе, во всем чувствовалась заботливая рука хозяина. С трех сторон двор обступали постройки: изба, сарай, легкий навес; у крыльца стояли сани с остатками сена в розвальнях — верное свидетельство того, что хозяин находится дома. Под крышей сарая высился ладный штабелек наготовленных, напиленных и поколотых дров.

Когда они еще переходили огород, Рыбак заметил

в замерзшем окошке тусклые отблески света — наверно, от коптилки — и теперь уверенно ступил на скрипучие доски крыльца.

Он не стучал — дверь была не заперта, справиться с ней ему, сельскому жителю, было привычно и просто: повернул на четверть оборота заветку, и дверь, тихо скрипнув, сама растворилась. Он прошел в темные сени, вдыхая полузабытые, густо устоявшиеся крестьянские запахи, осторожно повел рукой по стене. Пальцы его нащупались на какую-то залубеневшую от стужи одежду, ватем на дверную планку. Нащупав подле нее прокаленную морозом завесу, он легко отыскал одинаковую во всех деревенских домах скобу. И эта дверь оказалась незапертой, он потянул ее на себя и переступил высоковатый порог, передавая скобу в холодные руки Сотникова.

На опрокинутой посреди стола миске горела коптилка, огонек ее испуганно выгнулся от клуба холодного воздуха. Пожилой, с коротко подстриженной бородой человек, сидевший за столом в паброшенном на плечи тулупчике, поднял седую голову. На его широком, непривычно освещенном снизу лице коротко блеснул недовольный взгляд, тут же, однако, и потухший под низко опущенными седыми бровями.

— Добрый вечер, — со сдержанной вежливостью поздоровался Рыбак.

Конечно, можно бы и без этого приветствия немецкому прислужнику, по Рыбаку не хотелось сразу начинать неприятный для него разговор. Старик, однако, не ответил, даже не пошевелился за столом, только еще раз, уже без всякого любопытства, поглядел на них.

Сзади все несло холодом — Сотников неумело громыхал дверью, тщетно стараясь заклопнуть ее. Рыбак обернулся, с привычным приступом закрыл дверь. Хозяин наконец медленно выпрямился за столом, не меняя, однако, безучастного выражения на лице, будто и не догадывался, кто они, эти непрошеные ночные пришельцы.

— Ты здешний староста? — официально спросил Рыбак, вразвалку направляясь к столу. В трофейных его сапогах было скользко с мороза, и он невольно сдерживал шаг.

Старик вздохнул и, наверно, поняв, что предстоит разговор, закрыл толстую книгу, которую перед тем читал у коптилки.

— Староста, ну, — сказал он ровным, без тени испуга или подобострастия голосом.

В это время в запечье слышался короткий шорох, и из-за занавески, поправляя на голове платок, появилась маленькая, худенькая и, видно по всему, очень подвижная женщина — наверно, хозяйка этой избы. Рыбак снял с плеча и приставил к ногам карабин.

— Догадываешься, кто мы?

— Не слепой, вижу. Но ежели за водкой, так нету. Всю забрали.

Рыбак со значением взглянул на Сотникова: старый пенё — не принимает ли он их за полицаев? Впрочем, так, может, и лучше, подумал он и, сохраняя добродушную невозмутимость, сказал:

— Что ж, обойдемся без водки.

Староста помолчал, будто размышляя над чем-то, подвинул на край стола миску с коптилкой. На полу стало светлее.

— Если так, садитесь.

— Ага, садитесь, садитесь, детки, — обрадовалась приглашению хозяйки женщина. Подхватив от стола скамейку, она поставила ее у печки, в которой, видно было, догорали на ночь дрова. — Тут будет теплее, наверно же, озябли. Мороз такой...

— Можно и присесть, — согласился Рыбак, но сам не сел — кивнул Сотникову: — Садись, грейся.

Сотникова не надо было уговаривать — он тотчас опустился на лавку и прислонился спиной к побеленному боку печи. Винтовку держал в руках, будто опирался на нее, пилотку на голове не поправил даже — как была глубоко насажена на примороженные уши, так и осталась. Рыбаку тем временем становилось все теплее, он расстегнул сверху полушубок и сдвинул на затылок шапку. Хозяйка оставалась за столом с независимо-бесстрастным видом, а хозяйка, сложив на животе руки, настороженно и трепетно следила за каждым их движением. «Бонтя», — подумал Рыбак. Следуя своей партизанской привычке, он, прежде чем сесть, прошелся по избе, будто невзначай заглянул в темный започек и остановился возле красного фанерного шкафа, отгораживавшего угол с кроватью. Хозяйка уважительно отступила в сторону.

— Там никого, детки, никого.

— Что, одни живете?

— Одни. Вот с дедом так и коптим свет, — с заметной печалью сказала женщина. И вдруг не предложила, а как

бы запросила даже: — Может, вы бы поели чего? Верно ж голодные, а? Конечно, с мороза да без горячего...

Рыбак улыбнулся и довольно потер озябшие руки.

— Может, и поедим. Как думаешь? — с деланной перешителностью обратился он к Сотникову. — Подкрепимся, если пани старостиha угощает...

— Вот и хорошо. Я сейчас, — обрадовалась женщина. — Капусточка, наверно, теплая еще. И это... Может, бульбочки сварить?

— Нет, варить не надо. Некогда, — решительно возразил Рыбак и искоса взглянул на старосту, который, облокотясь на стол, неподвижно сидел в углу.

Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простепку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним.

— Значит, немцам служишь?

— Приходится, — вздохнул старик. — Что поделаешь!

— И много платят?

Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством:

— Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь.

«Однако! — заметил про себя Рыбак. — Видно, с характером».

В березовой раме на стене среди полдюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно-спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе.

— Кто это? Сын, может?

— Сын, сып. Толик наш, — ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо Рыбака заглядывая на фото.

— А теперь где он? Не в полиция случайно?

Староста поднял нахмуренное лицо.

— А нам откуда знать? На фронте был...

— Ой, божечка, как пошел в тридцать девятом, так больше и не видели. С самого лета ни слуху ни духу. Хотя бы знать: живой или, может, уже и косточки сгнили... — ставя на стол миску со щами, заговорила старостиha.

— Так, так,— сказал Рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику: — Опозорил ты сына!

— А то как же! И я ж ему о том твержу день и ночь,— с жаром подхватила от печи хозяйка. — Опозорил и сына, и всех чисто.

Это было несколько неожиданно, тем более что старости говорила вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с попикшим видом, и Рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты намурилось еще больше.

— Будет! Не твое дело!

Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста впериł укоряющий взгляд в Рыбака.

— А он меня не опозорил? Немцу отдал — это не позор?

— Так вышло. Не ого в том вина.

— А чья? Моя, может? — строго, без тени стеснения или страха спросил старик и многозначительно постучал по столу: — Ваша вина.

— Да-а,— неопределенно произнес Рыбак, не поддерживая малоприятный для него и не очень простой разговор, которому, знал, по нынешним временам нету конца.

Хозяйка расстелила коротенькую, на полстола, скатерку, поставила миску со щами, мясной запах от которых властно заглушил все его другие чувства, кроме враз обострившегося чувства голода. Рыбак не испытывал к этому человеку никакого почтения, его общие рассуждения и причины, почему он стал старостой, Рыбака не интересовали — факт службы у немцев определял для него все. Теперь, однако, очень хотелось есть, и Рыбак решил на время отложить дальнейшее выяснение взаимоотношений старика с немцами.

— Сядьте, подкрепитесь немпожко. Вот хлебушка вам,— с ласковой приветливостью приглашала хозяйка.

Рыбак, не снимая шапки, полез за стол.

— Давай подрубаем,— сказал он Сотникову.

Тот вяло повертел головой:

— Ешь. Я не буду.

Рыбак внимательно посмотрел на товарища, который, покашливая, ссутулился на скамейке. Временами он даже вздрагивал, как в ознобе. Хозяйка, видно, мало понимая состояние гостя, удивилась:

— Почему же не будете? Может, брезгуете нашим? Может, еще чего дать?

— Нет, спасибо. Ничего не надо,— решительно сказал Сотников, зябко пряча в рукава тонкие кисти рук.

Хозяйка чистосердечно встревожилась.

— Божечка, может, не догодила чем? Так извините...

Рыбак удобно уселся на широкой скамье за столом, зажал меж коленей карабин и не заметил, как в полном молчании опорожнил миску. Староста все с тем же угрюмым видом неподвижно сидел в углу. Хозяйка стояла невдалеке от стола с искренней готовностью услужить гостю.

— Так, хлебушко я приберу. Это на его долю,— сказал Рыбак, кивнув в сторону Сотникова.

— Берите, берите, детки.

Староста, казалось, чего-то молча ожидал — какого-нибудь слова или, может, начала разговора о деле. Его большие узловатые руки спокойно лежали на черной обложке книги. Засовывая остаток хлеба за пазуху, Рыбак сказал с неодобрением:

— Книжки почитывашь?

— Что ж, почитать никогда не вредит.

— Советская или немецкая?

— Библия.

— А ну, а ну! Первый раз вижу Библию.

Подвинувшись за столом, Рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, однако, почувствовал, что не надо было делать этого — обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной книге.

— И напрасно. Не мешало бы и почитать,— проворчал староста.

Рыбак решительно захлопнул Библию.

— Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг,— сказал Рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечающий обстановке топ. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке. — Ты враг. А с врагами у нас знаешь какой разговор?

— Смотри кому враг,— будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик.

— Своим. Русским.

— Своим я не враг.

Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить Рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом Советской державы. Заводить долгий разговор с ним Рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой:

— Что, может, силой заставили? Против воли?

— Нет, зачем же силой,— сказал хозяин.

— Значит, сам.

— Как сказать. Вроде так.

«Тогда все ясно,— подумал Рыбак,— не о чем и разговаривать». Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала, он уже пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого пачала все было ясно.

— Так! Пошли! — жестко приказал он.

Вскинув руки, к Рыбаку бросилась старостиха.

— Ой, сыночек, куда же ты? Не падо, пожалей дурака. Старик он, по глупости своей...

Староста, однако, не заставил повторять приказ и с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надел в рукава тулуп. Был он совсем седой и, несмотря на годы, большой и плечистый, встав, заслонил собой весь угол с иконами.

— Замолчи! — приказал он жене. — Ну!

Видно, старостиха привыкла к послушанию — всхлипла напоследок и подалась за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола.

— Ну что ж, воля ваша. Бейте! Не вы, так другие. Воп,— он коротко кивнул на простепок,— ставили уже, стреляли.

Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин; действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр — похоже, от пуль.

— Кто стрелял?

Готовый ко всему, хозяин неподвижно стоял на середине избы.

— А такие, как вы. Водки требовали.

Рыбак внутренне передернулся: он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то похожие на свои, восприим-

мал собственные уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал — таким топом не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиха. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином — кажется, напарнику было не до того.

— Так. Корова есть?

— Есть. Пока что, — безо всякого интереса к новому обороту дела отрешенно ответил староста.

Старостиха перестала всхлипать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал: было весьма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра.

— Так, пошли!

Он закинул за плечо карабин, староста покорно надел снятую с гвоздя шапку и молча распахнул дверь. Направляясь за ним, Рыбак кивнул Сотникову:

— Ты подожди.

4

Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу.

— Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, господи!

— Назад! — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул погу, преграждая путь к двери.

Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячей сознания, давало основание думать, что Рыбак, наверное, пристрелит старосту.

Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор — не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо. Допимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод.

— Сынок, дай же я выйду! Дай гляну, что они там...

— Нечего глядеть.

Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверное, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее

причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове.

Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал: вот хорошо! Она укажет, как попасть на тропу через болото Черные Выгоры, которое, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни.

Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченный, близко подошел к ней, сосредоточенно колупавшейся в грядках. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая темная юбка, белые, незагоревшие икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткою на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально взглядела в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы.

Потом она все очень толково объяснила — и как попасть на тропинку и перейти кладь, и по какую руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное же голодный», — торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо же было ему согласиться! Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытный деревенский завтрак.

Пока они шли, она так же ласково обращалась к нему «сыночек» и еще, помнил, раза два назвала его «горотничком» — был он небритый, как и сейчас, неумытый, мокрый по колени от росы и вообще весьма жалкий на вид. Разговаривать по-адашнему тоже не умел и скрыть свое явно армейское происхождение не мог — сразу было видеть, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было — лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись...

Старостиха тем временем все не могла успокоиться, металась по избе и плакала.

— Сыночек, ну как же это? Он же его застрелит!

— Надо было раньше о том думать, — холодно сказал Сотников, стараясь прислушаться к звукам со двора.

— А, деточка, разве я не говорила, разве мало про-
шли! На какое же лихо ему было браться? Были некоторые
помоложе. Но хорошие сами не хотели, а педобрых люди
боялись.

— А его не боятся?

— Петра? Ай, так его же тут все знают, мы же тут
весь век свой живем, нашей вон родни полсела. Он же
бояется ко всем по-хорошему.

— Так уж и по-хорошему!

— Может, и не совсем так. Может, и правда твоя, сы-
нок, не выходит ко всем по-хорошему. Его же застав-
ляют: то хлеб сдай, то одежду какую собери, то на дорогу
приказывают выгонять снег чистить. А он же где возь-
мет — людей надо принуждать. Своих же обирать.

— А вы как думали? На то и оккупанты, чтоб грабить.

— Грабят. А как же? Чтоб их бог ограбил! Приехали
на машинах, побрали свиней. А у нас телку забрали. Го-
ворят: сын в Красной Армии, так чтоб вину сгладить пе-
ред Германией. Чтоб она ясным огнем сгорела, та их
Германия!

«Проклинай, но не очень я поверю тебе», — сонно ду-
мал Сотников, не убирая вытянутой ноги. Помнится, та
тоже говорила что-то про Германию, пока собирала ему
на стол и резала хлеб. Несколько раз выбегала в сени за
салом и молоком в кувшине, а он сидел на скамье у стола
и, глотая слюну, дожидался, дурак, угощения. Правда,
однажды ему послышалось, будто в сепях кто-то тихо ото-
звался, потом долетел коротенький шепот, по тут же он
узнал в нем сонный голос ребенка и успокоился. Да и хо-
зяйка вернулась в избу спокойная и по-прежнему ласко-
вая, налила ему кружку молока, нарезала сала, и его,
помнится, почти что растрогала эта ее доброта. Потом он
с жадностью ел хлеб с салом, запивая его молоком, и так,
паверное, пропал бы ни за что, если бы какой-то инстинк-
тивный, без видимой причины, испуг не заставил его
взглянуть в заслоненное цветами окно. И он обмер в рас-
терянности: по улице быстро шли двое с винтовками, на
их рукавах белели повязки, а рядом, объясняя что-то,
бежала маленькая, лет восьми девочка.

Жаль, у него тогда отнялся язык и он ничего не сказал
той ласковой тетке, — он только оттолкнул ее от двери и
бешено рванул на огород, через забор на выгон, в овраг.
Сзади стреляли, кричали, ругались. Уже, наверное, в овраж-
ке он расслышал среди других голосов крикливый, совсем

непохожий на прежний голос той женщины — она показывала полициям, где он скрылся в кустарнике.

А теперь вот и эта — «сын»», «деточка»...

Старостиха, не слыша ничего страшного со двора, пемного успокоилась и присела перед ним на конец скамьи.

— Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его же тутешние мужики упросили. Ой, как же он не хотел! А тут бумага из района пришла — старост на совещание вызывали. А у нас, в Лясинах, еще никакого старосты нету. Ну, мужики и говорят: «Иди ты, Петро, ты в плену был». А он и взаправду в ту, николаевскую, два года в плену был, у немца работал. «Так, — говорят, — тебе их поров знаком, потерпи каких пару месяцев, пока наши вернутся. А то Будилу поставят — беды не оберешься». Будила этот тоже из Лясин, плохой — страх. До войны каким-то начальником работал, по деревням разъезжал — еще тогда его мужики боялись. Так он теперь нашел место в полиции. Влез как свинья в лужу.

— Дождется пули.

— И пусть, черт бы по нем плакал. Так это Петра, дурака, и уговорили, пошел в местечко. На свое лихо, на горюшко свое. А теперь разве ему хочется немецким холуем быть? Каждый день божий грозятся, кричат да еще нагапом в лоб тычут, то водки требуют, то еще чего. Переживает он, не дай бог.

Сотников сидел, пригревшись возле печи и, мучительно напрягаясь, старался не уснуть. Правда, бороться с дремотой ему помогал кашель, который то отставал на минуту, то пачинал бить так, что кололо в мозгу. Старостиху он слушал и не слушал, впикать в ее жалобы у него не было охоты. Он не мог сочувствовать человеку, который согласился на службу у немцев и так или иначе исполнял эту службу. То, что у него находились какие-то к тому оправдания, мало трогало Сотникова, уже знавшего цену такого рода оправданиям. В жестокой борьбе с фашизмом нельзя было принимать во внимание никакие, даже самые уважительные, причины — победить можно было лишь вопреки всем причинам. Он понял это с самого первого боя и всегда придерживался именно этого убеждения, что, в свою очередь, во многом помогало ему сохранить твердость своих позиций во всех сложностях этой войны.

Спохватившись, что дремлет, Сотников попытался подняться, но его так повело по избе, что он едва не уда-

рился о стену. Хозяйка, сама испугавшись, кое-как под-держала его, и он подобрал с пола винтовку.

— Фу, черт!

— Сынок, да что же это с тобой? Да ты же больной! Ах божечка! В жару весь! Тебе же лежать надо. Вон как кричит все в груди. Подожди, посиди, я зелья скоренько сварю...

Она с искренней готовностью помочь юркпула в запечек, зашумела там чем-то. И он подумал, что, наверно, и выпить его дело дрянь, если так забеспокоилась эта тетка.

— Не беспокойтесь, мне ничего не надо.

Ему и в самом деле не хотелось уже ни пить, ни есть и ничего не нужно было, кроме тепла и покоя.

— Как же не надо, сынок? Ты же хворый, разве не видно? Я давно уже замечаю. Если, может, некогда, то на малинки сухой, может, заварить где-либо, попьешь. А это вот зельечко...

— Ничего не надо.

Она совала ему что-то из мешочков, которые достала с печи, а он не хотел ничего брать. Он не желал этой тетке хорошего и потому не мог согласиться на ее сочувствие и ее помощь. В это время в сенях застучали, послышался голос Рыбака, и в избу заглянул староста.

— Идите, товарищ зовет.

Он встал и с гулом в голове, шатаясь от слабости, выбрался в темные сени. Сквозь раскрытую дверь на снежном дворе был виден Рыбак, у его ног лежала на снегу темная тушка овцы, которую тот, кажется, собирался поднести на плечи.

— Так. Ты иди,— ровным, без недавней неприязни голосом сказал Рыбак старосте,— и прикрой дверь. Нечего глядеть.

Староста, похоже, хотел что-то сказать, да, наверно, раздумал и молча повернулся к дому. Сенная дверь за ним плотно закрылась, потом слышно было, как стукнула дверь в избу.

— Что, отпускаешь? — сипло спросил Сотников, когда они вдвоем остались посреди двора.

— А, черт с ним.

Рыбак сильным рывком забросил на плечо овцу и шагнул за угол сарая, оттуда свернул по целине к знакомому гумну, кособокие постройки которого темнели невдалеке на снегу.

Сотников потащился следом.

Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволоочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках по-ночному сонно серели заспешенные крыши, стены, ограды, деревья в садах. Рыбак быстро шагал впереди с овцой на спине — откинутая голова ее с белым пятном на лбу безучастно болталась на его плече. Время, наверно, перевалило за полночь, месяц изобрался в самую высь неба и тихо мерцал там в круге светловато-туманного марева. Звезды на небе искрились ярче, нежели вечером, громче скрипел снег под ногами — в самую силу входил мороз. Рыбак с сожалением подумал, что они все-таки задержались у старосты. Хорошо еще, что недаром: отдохнули, обогрелись, а главное, возвращались не с пустыми руками. С овцы, конечно, не много достанется для семнадцати человек, но по куску мяса будет. Хотя и далековато, но все-таки раздобыли, сейчас успеть бы принести до рассвета.

Он споро шагал под поней, не слишком уже и остерегаясь на знакомом пути в ночном поле. Если бы не Сотников, которого нельзя было оставлять одного, он бы, поверное, ушел далеко. Пожалуй, впервые за эту ночь у Рыбака шевельнулось легкое недовольство напарником, по что поделасшь: разве тот виноват? Впрочем, мог бы где-нибудь разжиться и более теплой одежкой и тогда, поверное, был бы здоров, а теперь вот еще и помог бы пести эту овцу. Поначалу та показалась совсем нетяжелой, но как-то постепенно стала наливаться заметным грузом, который все больше давил на его плечи, заставляя пригибать голову, отчего было неудобно смотреть вперед. Рыбак начал перемещать пошу с плеча на плечо: пока груз был на одном, другое недолго отдыхало — так стало легче.

На ходу он хорошо согрелся в теплом черном полушубке, недавно совсем еще новом, который неплохо послужил ему в эту стужу. Без полушубка он бы, наверно, пропал. А так и легко, и тепло, и падеть, и укрыться где-нибудь на почлеге. Спасибо дядьке Ахрему: не пожалел, отдал. Хотя, конечно, у Ахрема были свои на это причины, и главная из них, безусловно, заключалась в Зосе, сердце которой — это он знал точно — очень уж прикипело к нему, завидному, но такому недолгому по войне примаку.

Ну что ж, если бы не война! Впрочем, если бы не война, где бы он встретил ее, эту Зосю? Каким образом старшина стрелковой роты Рыбак мог оказаться в той их Корчевке — маленькой, глуховатой деревеньке у леса? Наверно, и не заглянул бы никогда в жизни, разве что проскал невдалеке большаком во время осенних учений, и только. А тут вот пришлось притащиться с раненой ногой, толсто обмотанной грязной сорочкой, попроситься в набу — боялся, днем начнут ездить немцы и за здорово живешь подберут его на дороге. С рассветом они и в самом деле на мотоциклах и верхом начали объезжать заваленное трупами поле боя, но в то время он уже был надежно припрятан под кучей гороховин в пуньке. Ахрем и Зоська караулили его днем и ночью — сберегли, не выдали. А потом... А потом вокруг все утихло, водворилась новая, немецкая, власть, не стало слышно даже артиллерийского гула ночью; было очень тоскливо. Казалось, все прежнее, для чего он жил и старался, рухнуло навсегда. Очень горько ему было в то время, и тогда единственной утехой в его потайной деревенской жизни стала пухленькая, ласковая Зоська. И то ненадолго.

Здоровье никогда не подводило его, молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила и лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше. Особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрелял под Москвой, и, несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, Рыбак думал: наверно, еще подержится. Москва не Корчевка, защитит ее, пожалуй, сыщется сила.

А тут объявились дружки, такие же, как он, окруженцы — кто выздоровев от ран, кто просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, — начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие. Решили: надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жён. И пошли.

Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать или, еще хуже, уходить тайком — объяснил все как было, и, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Ахрем сказал: «Раз надо — так надо: дело военное». И он и тетка Гацуля собрали его как сына,

которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени, а потом стало далеко — а главное, не тянуло: наверно, отвык, что ли? А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго, а так — появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен — не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди судят как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой.

Он не любил причинять людям зло — обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того — случилось, и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело похорошему, ради пользы службы. Теперь злой, измученный простудой Сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту, но Рыбаку стало противно наказывать — черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался ему этот Петр. Если что, пусть его накажут другие.

В избе, пока шел неприятный разговор, у Рыбака еще было какое-то желание проучить старосту, но потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом, три овцы испуганно кидались из угла в угол: одну, с белым пятнышком на лбу, Петр словчился удерживать за шерсть, и тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови, в его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же: и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе...

Поле, на которое Рыбак свернул от кустарника, оказалось неожиданно широким и длинным: наверно, около часа они шли по его целине. Рыбак не знал точно, но чувствовал, что где-то на их пути должна быть дорога, та самая, по которой недолго они шли сюда, потом начнется склон в сторону речки. Однако прошло много времени, они отмерили километра два, если не больше, а дороги все не было, и он начал опасаться, что они могли

перейти ее, не заметив. Тогда нетрудно было потерять направление, не вовремя повернуть влево, в низину. Плохо, что эта местность была ему мало знакома и он даже не расспросил о ней у местных партизан в лесу. Правда, тогда он не думал, что им придется забрести так далеко.

Рыбак остановился, подождал Сотникова, который, отстав, обессиленно тащился в сумраке. На месяц наплыла сизая плотная мгла, ночь потемнела, вдали и вовсе ничего нельзя было различить. Он сбросил на снег овцу, положил на ее бок карабин и с облегчением расправил натруженные плечи. Минуту спустя заплетающимся шагом к нему притащился Сотников.

— Ну как? Ничего?

— Знаешь... Ты уж как-нибудь. Сегодня я не помощник.

— Ладно, обойдется,— отсапываясь, сказал Рыбак и перевел разговор на другое: — Ты не заметил, мы правильно идем?

Тяжело дыша, Сотников посмотрел в ночь.

— Вроде бы правильно. Лес там.

— А дорога?

— Тут где-то и дорога. Если не свернула куда.

Оба молча вгляделись в сумеречную снежную даль, и в это время в шумном порыве ветра их напряженный слух уловил какой-то далекий неясный звук. В следующее мгновение стало понятно, что это чуть слышимый топот копыт. Оба враз повернулись навстречу ветру и не так увидели, как угадали в сумерках едва заметное, неясное еще движение. Сперва Рыбаку показалось, что их догоняют, но тут же он понял, что едут не вдогон, а скорее наперерез, наверно, по той самой дороге, которую они не нашли. Ощувив, как дрогнуло сердце, он скоренько закинул за плечо карабин. Однако тут же чутье подсказало ему, что едут в отдалении и мимо, правда, останутся ли они незамеченными, он определить не мог. И он, пугнувшись, сильным рывком опять вскинул на себя косматую тушу овцы. Поле поднималось на пригорок, надо было как можно быстрее перебежать его, и тогда бы, наверно, их уже не увидели.

— Давай, давай! Бегом! — негромко крикнул он Сотникову, с места пускаясь в бег.

Ноги его сразу обрели легкость, тело, как всегда в минуты опасности, стало ловким и сильным. И вдруг в пяти шагах от себя он увидел дорогу — разъезженные

ее колеи наискось пересекали их путь. Теперь уже стало понятно, что это та самая дорога, по которой ехали, он взглянул в сторону и отчетливо увидел поодаль тусклые подвижные пятна; был слышен негромкий перезвон чего-то из упряжки, сани уверенно приближались. Совладав с коротким замешательством, Рыбак, будто заминированную полосу, перебежал эту проклятую дорогу, так неожиданно и не ко времени появившуюся перед ними, и тут же ясно почувствовал, что сделал не то. Наверно, надо бы податься назад, по ту сторону, но было уже поздно о том и думать. Проламывая сапогами наст, он бежал на пригорок и с замиранием сердца ждал, что вот-вот их окликнут.

Еще не достигнув вершины, за которой начинался спуск, он снова оглянулся. Сани уже явственно были видны на дороге: их оказалось двое — вторые почти впритык следовали за первыми. Но сѣдоков пока еще нельзя было различить в сумерках, крику также не было слышно, и он с маленькой, очень желанной теперь надеждой подумал, что, может еще, это крестьяне. Если не окликнут, то, наверно, крестьяне — по какой-то причине запоздали в ночи и возвращаются в свою деревню. Тогда напрасен этот его испуг. Обнадеженный этой неожиданной мыслью, он спокойнее раза два выдохнул и на бегу обернулся к Сотникову. Тот, как назло, шатко топал не-вдалеке, будто не в состоянии уже поднапрячься, чтобы пробежать каких-нибудь сотню шагов до вершины пригорка.

И тогда ночную тишь всколыхнул злой, угрожающий окрик:

— Э-эй! А ну стой!

«Черта с два тебе стой!» — подумал Рыбак и с новой силой бросился по снегу. Ему оставалось совсем уже немного, чтобы скрыться за покатою спиной пригорка, дальше, кажется, начинался спуск — и там бы они, наверно, ушли. Но именно в этот момент сани остановились, и несколько голосов оттуда яростно закричало вдогон:

— Стой! Стой! Стрелять будем! Стой!

В сознании Рыбака мелькнула сквернейшая из мыслей: «Попались!» — все стало просто и до душевной боли знакомо. Рыбак устало бежал по широкому верху пригорка, мучительно сознавая, что главное сейчас — как можно дальше уйти. Наверно, на лошадях догонять не будут, а стрелять пусть стреляют: ночью не очень попадешь.

лицу, которая так некстати оказалась теперь на его плечах, он, однако, не бросил — тащил на себе, не желая расставаться со слабой надеждой на то, что еще как-либо прорвутся.

Вскоре он перебежал и пригорок и размашисто помчался по его обратному склону вниз. Ноги так несли его, что Рыбак опасался, как бы не упасть с ношей. Немецкий карабин за спиной больно бил по бедру прикладом, тихонько звякали в карманах патроны. Еще издали он заметил что-то расплывчато-темное впереди, наверно, опять кустарник, и повернул к нему. Крики позади умолкли, выстрелов пока не было. Похоже было на то, что они с Сотниковым уже скрылись из поля зрения тех, на дороге.

Но вот склон пригорка окончился, стал глубже снег, и Рыбак, охваченный новой заботой, глянул назад. Сотников отстал так далеко, что показалось: вот-вот его схватят живьем. Впрочем, тот и теперь как будто совсем не спешил — не бежал, а едва тащился в снеговом сумраке. И самое скверное было то, что Рыбак ничем не мог пособить ему, он только безостановочно стремился вперед, тем самым увлекая товарища. Надо было добежать до кустарника, который вроде уже недалеко чернел впереди.

— Стой! Бандитское отродье, стой! — опять раздались сзади угрожающие, с ругательством крики.

Значит, все-таки догоняют. Не оглядываясь — неудобно было оглянуться с овцой, — Рыбак по крикам понял, что те уже на пригорке и, наверно, увидели их. Слишком невыгодным оказалось их положение, особенно Сотникова, которому до кустарников еще бежать и бежать. Ну что ж... Как всегда, в минуту наибольшей опасности каждый заботился о себе, брал свою судьбу в собственные руки. Что до Рыбака, то который уже раз за войну его выручали ноги.

▲ Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные, он, не оглядываясь, понял это по тому, как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника.

Наверно, тут начиналось луговое болотце — на снежной равнине оцетинился голыми ветвями ольшаник,

в рыхлом снегу под погами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал Сотников. Сначала это обрадовало Рыбака: значит, оторвался, теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти. Но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда сквозь серый сумрак ночи невозможно было понять, куда он двигался или, может, вовсе стоял на одном месте. После трех-четырех выстрелов с пригорка один грохнул ближе — в нем Рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого Рыбак не знал. Наверно, надо было как можно скорее уходить — кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей. Но Сотников будто не понимал этого, похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если бы не его выстрелы, можно было бы подумать, что он убит.

А может, он ранен?

От этой мысли Рыбаку стало не по себе, по чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаяи сверху, с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека, и, хотя пока не бегут к нему, они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если же Рыбак бросится на помощь, убьют обоих — в этом он был уверен. Так случилось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по четыре-пять человек за минуту, и все тем же самым примитивным способом: к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом; потом к ним полз следующий. И каждый из этих следующих понимал, что его ждет там, по и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ.

Значит, пока есть возможность, надо уходить: Сотникова уже не спасешь. Решив так, Рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустился краем болота.

Наверно, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено. Но спустя минуту

или две выстрелы раздались снова. Бабахнуло три раза, одна пуля с затухающим визгом прошла над болотом. Значит, Сотников еще жил. И именно эти неожиданные выстрелы отозвались в Рыбаке новой тревогой. Они сдерживали его бег и будоражили его обостренные опасностью чувства. Овца все тяжелела, порой ее мягкий, податливый груз казался чужим и нелепым, и он механически тащил ее, думая совсем о другом.

Через минуту впереди показался неглубокий овражек-промоина, возможно — берег замерзшей речушки. Наверно, следовало перейти на другую сторону, но только Рыбак сунулся туда, как, поскользнувшись, выпустил ношу и на спине сполз по снегу до низа. Выругавшись, вскочил, разгребая руками снег, выбрался наверх и вдруг отчетливо понял, что уходить нельзя. Как можно столько силы тратить на эту проклятую овцу, если там оставался товарищ? Конечно, Сотников был еще жив и напоминал о себе выстрелами. По существу, он прикрывал Рыбака, тем спасая его от гибели, но ему самому было очень плохо. Ему уже не выбраться. А Рыбаку так просто было уйти — вряд ли его теперь догонят.

Но что он скажет в лесу?

Вся неприглядность его прежнего намерения стала столь очевидной, что Рыбак тихо выругался и в смятении опустился на край овражка. Вдали, за кустарником, грохнул еще один выстрел, и больше выстрелов с пригорка уже не было. «Может, там что изменилось», — подумал Рыбак. Наступила какая-то тягучая пауза, в течение которой у него окончательно созрело новое решение, и он вскочил.

Стараясь не рассуждать больше, он быстрым шагом двинулся по своему следу назад.

6

■ Сотников не имел намерения начинать перестрелку — он просто упал на склоне, в голове закружилось, все вокруг поплыло, и он испугался, что уже не поднимется.

Отсюда ему хорошо было видно, как Рыбак внизу из всех сил мчался к кустарнику, руки его по-прежнему были заняты ношей, и Сотников не позвал его, не крикнул, потому как знал: спастись уже поздно. Задыхаясь от усталости, он неподвижно лежал в снегу, пока не услышал сзади голоса и не понял, что его скоро схватят.

Тогда он вытащил из снега винтовку и, чтобы на минуту отодвинуть от себя то самое страшное, что должно было произойти, выстрелил в сумерки. Пусть знают, что так просто им не дастся.

Наверно, его выстрел подействовал: они там, в поле, вроде бы остановились. И он подумал, что надо воспользоваться случаем и все же попытаться уйти. Хотя он и знал, что шансы его слишком ничтожны, он все же совладал со своей слабостью, напрягся и, опершись на винтовку, встал. В это время они появились неожиданно близко от него — три неподвижных силуэта на сером горбу пригорка. Наверное, заметив его, крайний справа что-то вскрикнул, и Сотников, почти не целясь, выстрелил второй раз. Было видно, как они там шарахнулись от его пули, присели или пригнулись в ожидании новых выстрелов. Он же, загребая бурками снег, шатко и неуверенно побежал вниз, каждую секунду рискуя снова расплатиться на заснеженном склоне. Рыбак уже был далеко, под самым кустарником, и Сотников подумал: может, уйдет? Он и сам из последних сил старался подальше отбежать от этого пригорка, но не сделал и сотни шагов, как сзади почти залпом ударили выстрелы.

Несколько шагов он еще бежал, уже чувствуя, что упадет, — в правом бедре вдруг заекло, липкая горячая мокрядь поползла по колену в бурок. Еще через несколько шагов почти перестал чувствовать ногу, которая быстро тяжелела и с трудом подчинялась ему. Через минуту он рухнул на снег. Сильной боли, однако, не чувствовал, было только нестерпимо жарко в груди и очень жгло выше колена. В штанине все стало мокрым. Некоторое время лежал, до боли закусив губу. В сознании уже не было страха, который он пережил раньше, не было даже сожаления — пришло лишь трезвое и будто не его, а чье-то постороннее, чужое и отчетливое понимание всей неотвратимости скорой гибели. Слегка удивляло, что она настигла его так внезапно, когда меньше всего ее ждал. Сколько раз в самые безвыходные минуты смерть все-таки обходила его стороной. Но тут обойти уже не могла.

Сзади опять слышались голоса — наверно, это приближались полицаи, чтобы взять его живым или мертвым. Испытывая быстро усиливающуюся боль в ноге и едва превозмогая слабость, он приподнялся на руках, сел. Полы шинели, бурки, рукава и колени были густо вываляны в снегу, на штанине выше колена расплывалось

мокрое пятно крови. Впрочем, он уже перестал обращать на это внимание — двинув затвором, выбросил из винтовки стреляную гильзу и дослал новый патрон.

Он снова увидел троих на склоне — один впереди, двое сзади, — неясные тени не очень уверенно спускались с пригорка. Сжав зубы, он осторожно вытянул на снегу раненую ногу, лег и тщательнее, чем прежде, прицелился. Как только звук выстрела отлетел вдаль, он увидел, что там, на склоне, все разом упали, и сразу же в ночной тишине загрохали их гулкие винтовочные выстрелы. Он понял, что задержал их, заставил считаться с собой, и это вызвало короткое удовлетворение. Расслабляясь после болезненного напряжения, опустил лбом на приклад. Он слишком устал, чтобы непрерывно следить за ними или хорониться от их выстрелов, и тихо лежал, приберегая остатки своей способности выстрелить еще. А те, с пригорка, дружно били по нему из винтовок. Раза два он слышал и пули — одна взвизгнула над головой, другая ударила где-то под локоть, обдав лицо снегом. Он не пошевелился — пусть бьют. Если убьют, так что ж... Но пока жив, он их к себе не подпустит.

Смерти в бою он не боялся — перебоился уже за десяток самых безвыходных положений, — страшно было стать для других обузой, как это случилось с их взводным Жмаченко. Осенью в Крыжовском лесу тот был ранен осколком в живот, и они совершенно измучились, пока тащили его по болоту мимо карателей, когда каждому нелегко было уберечь собственную голову. А вечером, когда выбрались в безопасное место, Жмаченко скончался.

Сотников больше всего боялся именно такой участи, хотя, кажется, такая его минует. Спасется, разумеется, не придется. Но он был в сознании и имел оружие — это главное. Нога как-то странно мертвела от стопы до бедра, он уже не чувствовал и теплоты крови, которой, наверно, натекло немало. Те, на пригорке, после нескольких выстрелов теперь выжидали. Но вот кто-то из них поднялся. Остальные остались лежать, а этот один черной тенью быстро скатился со склона и замер. Сотников потянулся руками к винтовке и почувствовал, как он ослабел. К тому же сильнее стала болеть нога. Болело почему-то колено и сухожилие под ним, хотя пуля попала выше, в бедро. Он сжал зубы и слегка повернулся на левый бок, чтобы с правого снять часть нагрузки. В тот же момент на пригорке мелькнула еще одна тень — сдается, они там по

всем правилам армейской тактики, перебежками, приближались к нему. Он дождался, пока поднимется третий, и выстрелил. Выстрелил наугад, приблизительно — мушка и прорезь были плохо различимы в сумраке. В ответ опять загрохали выстрелы оттуда — на этот раз около десятка, не меньше. Когда выстрелы утихли, он вынул из кармана новую обойму и перезарядил винтовку. Все-таки патроны надо было беречь, их оставалось всего пятнадцать.

Наверное, много времени он пролежал в этом снегу. Тело начало мерзнуть, нога болела все больше; от стужи и потери крови стал допимать озноб. Было очень мучительно ждать. А те, постреляв, смолкли, будто пропали в ночи — нигде на пригорке не появилось ни одной тени. Но он чувствовал, что вряд ли они оставят его тут — постараются взять живым или мертвым. И он подумал: а может, они подползают? Или он стал плохо видеть? От слабости в глазах начали мельтешить темные пятна, слегка поташнивало. Он испугался, что может потерять сознание, и тогда случится то самое худшее, чего он больше всего боялся на этой войне. Значит, последнее, для чего он должен сберечь остатки своих малых сил, — не сдаться живым.

Сотников осторожно приподнял голову — в морозных сумерках впереди что-то мелькнуло. Человек? Но вскоре он с облегчением понял, что ошибся: перед стволом мельтешила былинка бурьяна. Тогда, сдерживая стон, он пошевелил раненой ногой, которую тут же пронзила сквозная судорога боли, немного подвигал коленом. Пальцев ступни он уже не чувствовал вовсе. Впрочем, черт с ними, с пальцами, думал он, теперь они ни к чему. Вторая нога была вполне здоровой.

Времени, наверно, прошло немало, а может, и не так много — он уже утратил всякое ощущение времени. Его тревожила теперь самая главная мысль: не дать себя захватить врасплох. Подозревая, что они ползут, и чтобы как-нибудь задержать их приближение, он приложился к винтовке и опять выстрелил. Но полицаи медлили что-то, и он подумал, что, может, они заползли в лощину и пока не видят его. Тогда он также решил воспользоваться этой маленькой передышкой и мучительно перевалился на бок.

Смерзшийся бурок вообще плохо снимался с ноги, сейчас его надо было содрать, не вставая. И Сотников

окорчился, напрягся, до скрипа сжал челюсти и изо всех сил потянул бурок. Первая попытка ничего не дала. Через минуту он уже изнемог, жарко дышал, обливаясь холодным потом. Но, передохнув немного и оглядевшись, с еще большей решимостью ухватился за бурок.

Он стащил его после пятой или шестой попытки и, наконец обессилив, несколько минут не мог пошевелиться на снегу. Потом, боясь не успеть, бросил на снег бурок и приподнял голову. Сдается, перед ним никого не было. Теперь пусть бегут — он был готов прикончить себя, стоило только впереть в подбородок ствол винтовки и пальцем ноги нажать спуск. И он порадовался тихой злой радостью: все-таки живым его не возьмут. Но у него еще были две обоймы патронов — ими он даст последний свой бой. Он привстал выше — где-то должны же они быть, эти его противники, не сквозь землю же они провалились...

Почему-то их не оказалось поблизости. Или, может, он уже плохо видел в ночи? Впрочем, ночь как будто потемнела, месяц вверх опять куда-то исчез. Значит, жизнь все-таки окончится ночью, подумал он, в мрачном, промерзшем поле, при полном одиночестве, без людей. Потом его, наверное, отвезут в полицию, разденут и заркоут где-нибудь на конском могильнике. Заркоут, и никто никогда не узнает, чей там покойся прах. Братская могила, которая когда-то страшила его, сейчас стала недостижимой мечтой, почти роскошью. Впрочем, все это мелочи. У него уже не оставалось ничего такого, о чем бы стоило пожалеть перед концом. Разве что эта винтовка, безотказно прослужившая ему на войне. Ни разу она не заела, ни единым механизмом не подвела при стрельбе, бой ее был удивительно справен и меток. Другие имели скорострельные немецкие автоматы, некоторые носили СВТ — он же не расставался со своей трехлинейкой. Ползими она была его надежной защитницей, а теперь вот, наверно, достанется какому-нибудь полицаю...

Начала мерзнуть его босая нога. Не хватало еще отморозить ее — как тогда нажать спуск? Превозмогая слабость и боль, он пошевелился в снегу и вдруг заметил на пригорке движение. Только не оттуда к нему, а туда. Две едва заметные, размытые в сумерках тени медленно двигались по склону вверх. Скоро они были уже на самом верху пригорка, и он не мог понять, что там случилось. Они наверняка куда-то отправлялись — возможно, к са-

ням или за помощью, он не смел даже и подумать, что они оставляли его. Но он явственно видел: они возвращались к дороге.

Значит, он оставался один. Но ведь он все равно долго не выдержит так на морозе, посреди поля и будет лишь медленно погибать от стужи и потери крови. Будто злясь на них за это их вероломство, Сотников кое-как прицелился и выстрелил.

И тут он понял, что опасался напрасно: невдалеке под пригорком прозвучал выстрел в ответ. Значит, караульщик все же остался. Те, наверное, отиравались за помощью, а одного оставили следить за ним и держать его под обстрелом. Наверно, они сообразили, что он ранен и далеко не уйдет. Что ж, все правильно.

Однако новый поворот дела даже воодушевил его — с одним можно было побороться. Плохо, правда, что он не видел своего противника — наверно, удачно замаскировался, гад. А по выстрелам ночью не очень угадаешь, где тот засел. Полицай же, по всей вероятности, держал его на прицеле — стоило Сотникову приподнять голову, как вдали грохал выстрел. Значит, придется лежать и мерзнуть. Озноб уже тряс его непрерывно, и Сотников подумал, что долго так не протянет.

Но он тянул, неизвестно на что надеясь, хотя так просто мог бы покончить со всем. Может, он захотел спастись? По-видимому, захотел, особенно теперь, когда те сняли осаду. Только как? Ползти он не мог, раненой ногой старался не двигать даже. Но здоровая его нога уже замерзала — значит, он вовсе оставался без ног. А без ног какое спасение?

Оставив в снегу винтовку, он повернулся на бок и, не поднимая головы, искал бурок. Тот лежал близко, голенищем в снегу. Он дотянулся до бурка, высыпал снег и начал нащупывать его окоченевшей ногой, чтобы надеть. Надеть, однако, не удалось — это оказалось труднее, чем спать. Нога только вошла в голенище, как опять закружилась голова, и он сжался, стараясь перетерпеть приступ слабости и боли. В это время бахнул и гулким морозным эхом покатился по полю выстрел — оттуда же, из-под пригорка. Потом бахнуло в другой раз и в третий. Пуль, однако, он не услышал, да он и не вслушивался вовсе. Боком, скорчившись в своем снежном лежбище, он изо всех сил старался натянуть бурок. И он натянул его хотя и не до конца, кое-как, и ему стало легче. Он даже

повернул лицо, чтобы не так сильно жгло на снегу щеку и лоб.

И вдруг он услышал непонятно откуда донесшийся голос.

— Сотников, Сотников...

Это поразило его, и он подумал, что, наверное, ему уже мерещится. Тем не менее он оглянулся — сзади в темноте ворошилось что-то живое, вроде бы даже полз кто-то и повторял с тихой настойчивостью:

— Сотников, Сотников!

Ну, разумеется, это Рыбак! Сотников отчетливо слышал его низкий встревоженный голос и тогда разом обмяк в своем мучительном напряжении. Хотя еще было неясно, хорошо это или нет, что Рыбак вернулся (может, путь к отходу был также отрезан), но он вдруг понял: гибель откладывается.

7

Они поподзали к кустарнику — впереди Рыбак, за ним Сотников. Это был долгий, изнурительный путь. Сотников не успевал за товарищем, а иногда и вовсе замирал в снежной борозде, и тогда Рыбак, развернувшись, хватал его за ворот шинели и тащил за собой. Он также выбился из сил — мало того, что помогал Сотникову, еще волок на себе обе винтовки, которые все время сваливались со спины и застревали в снегу. Ночь потемнела, в сумрачной дымке совсем пропал месяц — это, возможно, и спасло их. Правда, из-под пригорка два раза хлопнули выстрелы — наверно, тот полицай все же что-то заметил.

Кое-как добравшись до края кустарника, они залегли между мягких заснеженных кочек — темные ветки ольшаника неплохо скрывали их в ночных сумерках. Рыбак был весь мокрый — таял снег в рукавах и за воротником полугубка, от обильного пота взмокла спина. Он так устал, как не уставал, наверное, никогда в жизни, и беспомощно лежал ничком, лишь поглядывая в сторону пригорка: не бегут ли за ними. Но сзади никого не было, полицай хоть и заметил что-то, но преследовать, наверно, не отважился — тут недолго было и самому схлопотать пулю.

— Ну, как ты? — подал голос Рыбак, все еще жарко дыша густым, видимым даже в сумерках паром.

— Плохо, — едва слышно признался Сотников.

Он лежал на боку, запрокинув голову в плотно облегающей ее смерзшейся пилотке. Раненая его нога была слегка приподнята коленом вверх и мелко, нервно дрожала. Рыбак тихо про себя выругался.

— Давай трогать. А то... обложут — не вырвешься.

Он приподнялся, но, прежде чем встать, вытащил из-за воротника у Сотникова смятое свое полотенце и дрожащими от усталости руками туго перевязал его ногу выше колена. Сотников раза два дернулся от боли и задержал дыхание, подавляя стон. Рыбак, привстав на колени, подставил ему спину:

— Ну, цепляйся.

— Подожди, я сам, может...

Слабо заворотившись на снегу, Сотников кое-как поднялся на одно колено, с болезненной осторожностью отставляя в сторону раненую ногу, попытался подняться совсем, но это ему не удалось.

— Куда тебе! А ну держись!

Рыбак подхватил его под руку, и Сотников наконец встал; сильно припадая на раненую ногу, сделал два шага. Это ободрило Рыбака — если человек на ногах, то, наверно, не все потеряно. А то, как приполз к Сотникову и узнал, что тот ранен, стало не по себе: что он мог сделать с ним в таком положении? Теперь Рыбак понемногу стал успокаиваться, подумав, что, может, еще как-либо удастся вывернуться.

С помощью Рыбака Сотников неуклюже переступил раз и другой. Они полезли в негустой здесь, низкорослый кустарник с его рыхлым и довольно глубоким снегом. Сотников одной рукой держался за Рыбака, а другой хватался на ходу за стелющиеся ветки ольшаника и, сильно припадая на раненую ногу, изо всех сил старался ступать быстрее. В груди у него все хрипело с каким-то пехоршим присвистом, иногда он пачинал глухо и мучительно кашлять, и Рыбак весь сжимался: их легко могли услышать издали. Но он молчал. Он уже не спрашивал о самочувствии — не давал себе передышки, настойчиво тащил Сотникова сквозь заросли.

За кустарником после лощины, оказавшейся довольно просторным замерзшим болотом, опять начался крутой подъем на пригорок. Они наискось вскарабкались на него, и Рыбак почувствовал, что силы его на исходе. Он уже не в состоянии был поддерживать Сотникова, который все грузнее оседал книзу, да и сам так изнемог, что

они, не стовариваясь, почти одновременно рухнули в снег. Потом, сосредоточенно и громко дыша, долго лежали на склонах с удивительным равнодушием ко всему. Правда, Рыбак понимал, что с минуты на минуты их могут настигнуть полицаи, он все время ждал их рокового окрика, но все равно тело его было бессильно одолеть сковавшую усталость.

Может, четверть часа спустя, несколько справясь с дыханием, он повернулся на бок. Сотников лежал рядом и мелко дрожал в ознобе.

— Патроны остались?

— Одна обойма,— глухо прохрипел Сотников.

— Если что, будем отбиваться.

— Не очень отобьешься.

Действительно, с двадцатью патронами не долго выдержишься, думал Рыбак, но другого выхода у них не оставалось. Не сдаваться же в конце концов в плен — придется драться.

— И откуда их черт принес? — Рыбак с новой силой начал переживать случившееся. — Вот уж действительно: беда одна не ходит...

Сотников молча лежал, с немалым усилием подавляя стоны. Его потемневшее на стуже, истерзанное болью лицо с заиндеветшей от дыхания щетиной вдруг показалось Рыбаку почти незнакомым, чужим, и это вызвало в нем какие-то скверные предчувствия. Рыбак подумал, что дела папарника, по-видимому, совсем плохи.

— Очень болит?

— Болит,— буркнул Сотников.

— Терпи,— грубовато подбодрил Рыбак, подавляя в себе невольное и совершенно неуместное теперь чувство жалости. Затем он сел на снег и начал озабоченно осматривать местность, которая показалась совсем незнакомой: какое-то холмистое поле, недалекий лесок или рощица, а где был большой, нужный им лес, он не имел о том никакого понятия. Закрутившись во время бегства в кустарнике, он вдруг перестал понимать, где они находились и в каком направлении можно выйти к своим.

Это отозвалось в душе новой тревогой — не хватало еще заблудиться. Он хотел заговорить об этом с Сотниковым, но тот лежал рядом, будто не чувствуя уже ни тревоги, ни стужи, которая становилась все нестерпимее на холодном ветру в поле. Разгоряченное при ходьбе тело очень скоро начал пробирать мороз. Пока, однако,

усталость приковывала их к земле, и Рыбак всматривался в сумеречные окрестности, мучительно соображая, куда податься.

Он пытался определить это, тщетно восстапавливая в памяти их путаный путь сюда, а инстинкт самосохранения настойчиво толкал его в направлении, противоположном кустарнику, за которым их настигла полиция. Казалось, полицейши опять появятся по их следу оттуда, следовательно, надо было уходить в противоположную сторону.

Когда это чувство окончательно овладело им, Рыбак встал и повесил на плечо обе винтовки.

— Давай как-нибудь...

Сотников начал с трудом подниматься, Рыбак и на этот раз поддержал его, но тот, оказавшись на ногах, высвободил локоть.

— Дай винтовку.

— Что, пойдешь?

— Попробую.

«Что ж, попробуй», — подумал Рыбак, с облегчением возвращая ему винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Сотников кое-как ступил несколько шагов, и они очень медленно побрели по снежному полю.

Час спустя они уже далеко отошли от болота и слепотащились пологим полевым косогором. Рыбак чувствовал, что скоро начнет светать, что на исходе последние часы ночи и что они теперь очень просто могут не успеть. Если утро застигнет их в поле, тогда уже наверняка им не выкрутиться.

Пока их спасало то, что снег тут был неглубокий, ноги проваливались не так часто, как на болоте. Вокруг на снегу серели высохшие стебли бурьяна, местами они казались чуть гуще, и Рыбак обходил эти места, выбирая, где было помельче. Он старался не спускаться в ложину, боясь залезть там в сугробы, на пригорках было надежнее. Но их след слишком отчетливо обозначился на снегу — раз, оглянувшись, Рыбак испугался: так просто было их догнать даже ночью. Оглядываясь вокруг, он подумал, что какой бы опасной для них ни была дорога, которая уже едва их не погубила сегодня, но, видимо, опять надо выбираться на нее. Только на дороге можно спрятать среди других два своих следа, чтобы не привести за собой полицейши в лагерь.

Из сгустившихся ночных сумерек едва проступало снежное поле с редкими пятнами кустарника, одинокими полевыми деревцами; в одном месте что-то неясно зачерпело, и, подойдя ближе, Рыбак увидел, что это валун. Дороги нигде не было. Тогда он круто повернул вверх — идти так стало труднее, но появилась надежда, что наверху, за пригорком, все-таки появится лес. В лесу удалось бы скрыться, потому что полицаи вряд ли сразу сунутся следом — наверно, сначала подумают и тем дадут возможность оторваться от преследователей.

Рыбак не впервые попадал в такое положение, но всякий раз ему как-то удавалось вывернуться. В подобных случаях выручали быстрота и находчивость, когда единственно правильное решение принималось без секунды опоздания. И он уходил. Тут тоже была такая возможность, по неизвестной причине предоставленная им полицаями, и он бы отлично воспользовался ею, если бы не Сотников. Но с Сотниковым далеко не уйдешь. Они еще не взобрались на холм, как напарник в который уж раз трудно закашлял, несколько минут тело его мучительно содрогалось, как будто в напрасных потугах выкашлять что-то. Рыбак остановился, потом вернулся к товарищу, попробовал поддержать его под руку. Но Сотников с трудом стоял на ногах, и он опустил его на твердый, выливаемый ветром снег.

— Что, плохо?

— Видно, не выбраться...

Рыбак промолчал — ему не хотелось заводить о том разговор, неискренне обнадеживать или утешать, он сам толком не знал, как выбраться. И даже в какую сторону выбираться.

Он недолго постоял над Сотниковым, который немощно скорчился на боку, подобрав раненую ногу. В сознании Рыбака начали перемешиваться различные чувства к нему: и невольная жалость оттого, что столько досталось одному (мало было болезни, так еще и подстрелили), и в то же время появилась неопределенная досада-предчувствие — как бы этот Сотников не навлек беды на обоих. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь. Правда, он старался гнать ее от себя и держаться как можно спокойнее. Он понимал, что страх за свою жизнь — первый шаг на пути к растерянности: стоит только поддаться испугу,

запервничать, как беды посыплются одна за другой. Тогда уж наверняка крышка. Теперь же хотя и пришлось туго, но не все еще, возможно, потеряно.

— Так. Ты подожди.

Оставив Сотникова, где тот лежал на снегу, Рыбак потащился по склону вверх, чтобы осмотреться. Ему все казалось, что за холмом лес. Они столько уже прошли в этой ночи, и если шли правильно, то должны очутиться где-то поблизости от леса.

Плохо, что совсем пропал месяц и поодаль ничего не было видно — ночь тонула в морозной туманной мгле: глухие предутренние сумерки обволакивали все вокруг. Тем не менее леса поблизости не было. За пригорком опять простиралось неровное, с пологими холмами поле, на котором что-то смутно серело, наверно, рощица, очень уж куцая рощица — гривка в поле, не больше. Всюду виднелись неопределенные пятна, темные брызги бурьяна, размытые, печеткие силуэты кустов. Но вот из снежного полумрака выглянула коротенькая прямая черта — обозначилась на земле и исчезла. Рыбак с неожиданной легкостью заторопился к ней ближе и не заметил, как черточка эта как-то вдруг превратилась на снегу в темноватую полосу дороги. Довольно накатанная, с уезженными колеями и следами конских копыт, она явилась как никогда кстати. Рыбак завернул назад и легко сбегал с пригорка к скрюченному на снегу Сотникову.

— Дорога тут! Слышь!

Тот вяло приподнял кругловатую, неестественно маленькую в пилотке голову, заворошился, вроде начал вставать.

— С дороги где-нибудь сошмыгнем — не найдут. Только бы успеть — не напороться на какого черта.

С помощью Рыбака Сотников молча поднялся, непослушными пальцами удобнее охватил ложку виштовки.

Они медленно побрели к дороге. Рыбак тревожно оглядывался в сумерках — не покажутся ли где люди. Его напряженный взгляд привычно обшаривал поле, с наибольшим усилием стремясь проникнуть туда, где исчезал в ночи дальний конец дороги. И вдруг совершенно неожиданно для себя он заметил, что небо над полем как будто прояснилось, сделалось светло-синим, звезды притушили свой блеск, только самые крупные еще ярко горели на небосклоне. Этот явный признак рассвета взволновал его больше, чем если бы он увидел людей. Что-то в нем

передернулось, подалось вперед, только бы прочь от этого голого, предательски светлеющего поля. Но ноги были налиты неодолимой усталостью, к тому же сзади едва ковылял Сотников. Хочешь или нет, приходилось медленно тащиться подвернувшейся дорогой — другого выхода не было.

Поняв это, он приглушил в себе нетерпение, тверже сжал зубы. Он ни слова не сказал Сотникову — тот и так едва брел, видно, расходуя последние свои силы, и у Рыбака что-то сдвинулось внутри — он уже знал: удачи не будет. Ночь кончалась и тем снимала с них свою опеку, день обещал мало хорошего. И Рыбак с поникшей душой смотрел, как медленно и неуклонно занималось зимнее утро: светлело небо, из-под ночных сумерек яснее проступал снежный простор, дорога впереди постепенно длиннела и становилась видной далеко.

По этой дороге они потащились в сторону рощи.

8

Сотников не хуже Рыбака видел, что ночь на исходе, и отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро.

Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилившее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело, стопы он не чувствовал вовсе, мокрый от крови бурок смерзся и заостенел; другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег.

Покамест они добрались до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле окрест, покатые под снегом холмы; слева, поодаль от дороги, в ложине тянулись заросли мелко-лесья, кустарник, но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого же леса, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте — будто он провалился за ночь сквозь землю.

Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно: они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все еще лежала пустая, а хвойный клочок впереди хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромя,

Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды — он жаждал скорее дойти, и не столько затем, чтобы скрыться с дороги, а больше чтобы обрести покой.

На беду, не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как Рыбак, выругавшись, будто вкопанный встал на дороге.

— Твое-мое! Это ж кладбище!

Сотников вскинул голову — действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем: под раскидистыми ветвями сосен ясно виднелись несколько деревянных крестов, оградка и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни: ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы.

Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятерней нос.

— Ну, куда деться?

Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так посреди дороги. И они, еще более приунывшие и встревоженные, потащились к деревне.

Поначалу им вроде везло: деревня, наверно, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке — на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе-брезгливое чувство при виде этого печального пристанища, всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище, казалось, послано богом для их спасения — иначе где бы они укрылись на виду у деревни.

Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки, и раскидистые суковатые сосны да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче — Сотников, усердно помогая себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толстому комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь все в нем исстрадалось, намерзлось, зашло глухой цеутихающей болью.

Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислонясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с Рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым оттого, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем Сотников, жадной жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал Сотников, несколько не удивляясь безжалостной настойчивости Рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке и не имел бы ничего против Рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи — это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог, он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от Рыбака тоже.

Однако Рыбак, видно, мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем и, немного передохнув, сказал:

— Подожди тут, а я подскочу. Вон хата близко. В случае чего в гуме перепрычемся.

«Подождать — это хорошо, — подумал Сотников, — лишь бы не идти». Ждать он готов был долго, только бы дожждаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросался в глаза, перехватил его, словно палку, за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко была видна крайняя изба деревни, развалившийся сарай при ней; на старом, покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку.

Людей там как будто не было.

Рыбак вскоре пропал из его поля зрения, но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую, в лишаях палку ограды, и та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверно, давно заброшенная, в ее ограде из-под снега торчал одинокий камень, не было даже креста. Струхлевшая оградка

доживала свой век — видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых, покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной проницательностью подумал: «Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который, по существу, не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это возможно? И зачем это надо?»

Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определяется счастьем всех его членов. А смерть, что ж — смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни.

Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?»

Сотников на всю жизнь запомнил, как летом в полевом штабле немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою, с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев, но этого человека он даже не унижал ругательством. Похоже, что он впервые услышал такое и просто опешил, потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно, ожидая решения свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли, но те несколько минут

перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверно, не менее трудным, чем на поле боя; ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих (они случайно оказались рядом, за стенкой барака).

Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел Рыбака. Вместо того чтобы пойти напрямик, Рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал под сосной.

— Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого...

— Ну?

— Так это, понимаешь... Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...

Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым, и Сотников догадался.

— Ну что ж! Я останусь.

— Да, знаешь, так лучше будет,— заметно обрадовался Рыбак. — А мне надо... Только где тот чертов лес, не пойму. Заблудились мы.

— Спросить надо.

— Спросим... А ты это, потерпи пока. Потом, может, переправим куда-нибудь. Понадежнее.

— Ладно, ладно,— нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников.

— И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели, и все прочее...

Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно, тем не менее что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости и как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, Рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах и теперь пришло время развязать ему руки.

— Что ж, тогда пошли. Пока никого нет.

Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненой ногой, как его пронзила такая

лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладал с собой и, крепко сжав зубы, поднялся.

По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка, которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая, запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка — наверно, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так, может, и лучше: по крайней мере, на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях.

Рыбак вынул щепку, пропустил в сени напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то кадки, разная хозяйская рухлядь, стоял громадный, окованный ржавым железом сундук; угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна: два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькое, затянутое паутиной окошко в стене позволило им отыскать дверь в избу.

Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери, с помощью Рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их затхлою смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи — та была свеженаотоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стопа, наверно, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, Рыбак заглянул за полосатую рогожку, которой был занавешен проход в другую половину избы, — там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух — сейчас должно было решиться самое для них главное.

— Вы одни тут? — твердым голосом спросил Рыбак, стоя в проходе.

— Ну.

— А отец где?

— Так нету.

— А мать?

— Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, а она одна.

— Ого, как ты разбираешься! А там что — едоки спят? Ладно, пусть спят, — тише сказал Рыбак. — Ты чем покормить нас пайдешь?

— А бульбочку мамка утром варила, — отозвался словоохотливый детский голос.

Тотчас на полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокоченными волосами на голове, в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на дыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу.

Под окном стоял непокрытый стол, возле него была скамья с глиняной миской; девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям — вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверно, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей.

— Ну, давай подрубаем, — подался к столу Рыбак.

Сотников еще не отогрелся, намерзшее его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный парок, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колукая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз.

— А хлеба что, нет? — спросил Рыбак.

— Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали.

Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб,

но есть не стала — отнесла за перегородку и снова вернулась к печи.

— И давно мать молотит? — спросил Рыбак.

— От позавчера. Она еще неделю молотить будет.

— Попятно. Ты старшая?

— Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уже девять.

— Много. А немцев у вас нету?

— Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябого забрали. На машине увезли.

Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут пять тот бил его так, что казалось — вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля, он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось, болезненно-сладостная истома убаюкивала, он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса Рыбака и девочки.

— А мать твою как звать? — хрустя огурцом, спрашивал Рыбак.

— Дёмчиха.

— Ага. Значит, ваш папка Демьян?

— Ну. А еще Авгинья мамку зовут.

Было слышно, как Рыбак заскрипел скамьей, наверно, потянулся за новой картофелиной, под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки:

— Дядя, а вы партизаны?

— А тебе зачем знать? Пацанка еще.

— А вот я знаю, что партизаны.

— Знаешь, так помолчи.

— А того дядю, наверно, рапили, да?

— Рапили или нет, о том ни гугу. Поняла?

Девочка промолчала. Разговор на минуту затих.

— Я за мамкой сбегая, хорошо?

— Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру.

— ...Холера на них! Люди мы или скотина?

— Были люди...

Но это уже не настоящее — это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще успевает отметить этот почти

неуловимый переход в забытие, и дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу; иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненой ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит: сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонной в лес — реденький соснячок при дороге. Под ногами пересыпается белый, с хвойными иголками песок, нещадно жжет полуденное солнце. Конные и пешие немцы сопровождают колонну.

Говорят, гонят расстреливать.

Это похоже на правду — тут те, кого отобрали из всей многотысячной массы в шталаге: политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрение у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверно, там, на песчаных холмах в сосняке, их расстреляют. Они уже чувствуют это по тому, как, свернув с дороги, настороженно подобралась, стали громче прикрикивать их конвоиры — начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке, видно было, стояли и еще солдаты, наверно, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка, как конвоиры что-то загергетали с теми, что были на краю соснячка, затем прозвучала команда всем сесть — как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнцепеке и под стволами автоматов стали чего-то ждать.

Все последние дни Сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно — обессилел без воды и пищи. И он молча, в полузабытии сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве без особых мыслей в голове и, наверно, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом: «Хоть одного, а прикончу. Все равно...» — «Погоди ты. Посмотрим, что дальше». — «Разве неясно что». Сотников осторожно повел в сторону взглядом — тот самый его сосед-лейтенант незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик, и в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал: такого не удержишь. А тот,

к кому он обращался — пожилой человек в комсоставской, без петлиц гимнастерке, — опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь вместе, прикуривали от зажигалки, один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну.

Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвою. Конвой этот был сильный приземистый немец, как и все, с автоматом на груди, в тесном, пропотевшем под мышками кителе; из-под мокроватой с краев сукопной пилотки выбивался совсем не арийский — черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурив сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому, намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею.

Коротко крикнув, немец осел наземь, кто-то поодаль крикнул: «Полундра!» — и несколько человек, будто их пружиной метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва же наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький, с указательный палец, ножик.

Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше, тотчас же в нескольких местах ударили очереди — первые пули прошли над его головой. Но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью, и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу, со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути, как можно дальше, то и дело с радостным изумлением повторяя про себя: «Жив! Жив!»

К сожалению, соснычок оказался совсем узенькой недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась, впереди разлеглось уставленное рядами крепцов сжатое поле. Однако деваться ему было некуда, и

он рванулся дальше — по стерне через поле, туда, где курчавились зеленые кусты ольшаника.

Тут его скоро заметили, сзади раздался крик, треснул подалекий выстрел — пуля, словно кнутом, хлестко стегнула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся: низко пригнувшись над гривой лошади и исканув правую, с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь, и Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног, в последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку — грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевясло — солома, туто пырснув в стороны, осыпалась на стерню. Но Сотников все же уцелел и в отчаянном порыве схватил из-под ног камень — обычный, размером в кулак, полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику, тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников пачал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, поровня выстрелить наверняка. Еще два выстрела прогремели в поле, но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился за другой ряд крестцов.

Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились, в ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним па колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо, намереваясь сшибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, екнув селезенкой, тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул — промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца круто выгнулся вверх затвором: вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец горяча резко осадил коня, и тогда Сотников, вскочив, со всех ног бросился к недалекому уже кустарнику.

Его преследователь потерял несколько очель важных секунд, пока перезаряжал пистолет — для этого надо было придержать копы,— и Сотников успел добежать до ольшаника. Тут уже копь ему был не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы, а также ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда, и он влез в кочковатую, с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за топенькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве, мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое.

Была уже почь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.

9

Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно, уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было нечего, но и уйти было нельзя — приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.

Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?

И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати — иногда на проходе отодвигалась дөржка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки.

Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край неогоро-

жонного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло, неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пустых пузырьков от лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал недоразумевое дыхание товарища, все больше сокрушаясь от того, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно,— думал он,— заболеть на войне — самое нелепое, что можно и придумать».

За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато, особенно когда дело касалось грамотности, образования — он не любил книжной науки, для которой нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты — характером его бог не обделил, энергии так же хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень не сладко, но все-таки легче, чем прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем, ему пока что везло, наибольшие беды его обходили, он понял, что главное в их тактике — не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение. Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.

— Мамка, мамка идет! — вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.

Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стезжке женщину, которая мелкими шажками торопливо семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по видимому, она еще не была и старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика вострепел за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье.

Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.

Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора — две девочки, приподняв занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к порогу навстречу:

— Мамка, мамка, а у нас палтизаны!

Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с недоумением испугом взглянула на незнакомого ей человека.

— Здравствуйте, хозяйка, — со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал Рыбак.

Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-то на ее лице передернулось.

— Здравствуйте, — холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. — Сидите, значит?

— Да вот как видите. Вас ждем.

— Это какая же у вас ко мне надобность?

Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей предлагал Рыбак, — что-то суровое, злое и сварливое слышалось в ее голосе.

Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы платок. Рыбак пристально вглядывался в нее — сваляные, нечесанные волосы, запыленные мочки ушей, утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.

— Какая еще надобность? — Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец стола с миской. — Хлеба? Сала? Или, может, лиц на яичницу захотелось?

— Мы не немцы, — сдержанно сказал Рыбак.

— А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы по зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! — крикнула она старшей, а сама, не раздвываясь, на скорую руку начала прибирать возле печи: горшки — на загнетку, ведро — к порогу, веник — в угол.

За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но промолчала; продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся, сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было поостроже, с этой сварливой, раздраженной бабой.

— Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.

— Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не хватало! — прикрикнула она на детей. — Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!

— А я, мамка, палтизанов смотлеть хочу.

— Я тебе посмотрю! — с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. — Партизаны!

Рыбак внимательно наблюдал за пей, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Дёмчихе? В голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полиция, какая-нибудь родня здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при Советской власти? Но, поразмыслив, он отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.

— А где твой Дёмка? — вдруг спросил Рыбак.

Она выпрямилась и как-то пастороженно, почти испуганно взглянула на него:

— А вы откуда знаете Дёмку?

— Знаем.

— Чего ж тогда спрашиваете? Разве теперь бабы знают, где их мужики? Побросали, вот и живи как хочешь.

Она взяла с порога веник и начала заметать возле печи. Все ее размашистые движения свидетельствовали о крайнем нерасположении к этим непрошеным гостям.

Рыбак все думал, не зная, как наконец подступить к Дёмчихе с тем главным разговором, ради которого он дожидался ее.

— Тут, видишь ли, тетка, товарищ того...

Она разогнулась, подозрительно взглянула на Сотникова в углу. Тот двинулся, попытался встать и заметно подавил стон. Дёмчиха на минуту замерла с веником в руках. Рыбак поднялся со скамьи.

— Вот видишь, плохо ему,— сказал он.

Сотников минуту корчился от боли в ноге, обеими руками держась за колено и сжимая зубы, чтобы не застонать.

— Черт, присохла, наверно.

— А ты не дергайся. Лежи. Тебя же не гонят.

Пока Рыбак устраивал на скамье его ногу, Дёмчиха все хмурилась, но мало-помалу резковатое выражение на ее лице стало смягчаться.

— Подложить что-нибудь надо,— сказала она и пошла за перегородку, откуда вынесла старую, с вылезшими ключьями серой ваты, измятую телогрейку. — На, все мягче будет.

«Так,— мысленно отметил Рыбак. — Это другое дело. Может, еще пообреет эта злая баба». Сотников приподнялся, она сунула телогрейку под его голову, и он, покашливая, тут же опустилсЯ снова. Дыхание его по-прежнему было частым и трудным.

— Больной,— уже другим тоном, спокойнее сказала Дёмчиха. — Жар, видно. Вон как горит!

— Пройдет,— отмахнулся рукой Рыбак. — Ничего страшного.

— Ну конечно, вам все не страшно,— пачала сердиться хозяйка. — И стреляют вас — не страшно. И что мать где-то убивается — ничего. А нам... Зелья надо сварить, попить, вспотеть. А то вон кладбище рядом.

— Кладбище — не самое худшее,— кашляя, сказал Сотников.

Он как-то пехорошо оживился после короткого забытья, наверно, от температуры резко раскраснелись щеки, в глазах появился лихорадочный блеск, неестественная порывистость сквозила в его движениях.

— Что же еще может быть хуже? — допытывалась Дёмчиха, убирая со стола миски. — Наверно ж, в пекло не верите?

— Мы в рай верим,— шутливо бросил Рыбак.

— Дождетесь рая, а как же.

Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунами. Однако похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что, может, как-либо все еще устроится.

— Нам бы теплой водички — рану обмыть. Рапили его, тетка.

— Да уж вижу. Не собака укусила. Вон всю ночь под Старосельем бахали, — как бы невзначай сообщила она, опершись на ухват. — Говорят, одного полиция подстрелили.

— Полиция?

— Ну.

— А кто сказал?

— Бабы говорили.

— Ну, если бабы, то верпо, — улынулся на конце скамейки Рыбак. — Они все знают.

Дёмчиха сердито оглянулась от печи.

— А что, нет? Бабы-то знают. А вы вот не знаете. Если бы знали — не спрашивали.

Она подала им воду в чугушке и паправилась за занавеску к детям.

— Ну, вы уж сами. А то не хватало мне еще вам портки снимать.

— Ладно, ладно, — согласился Рыбак и ступил к Сотникову. — Давай бурок снимем.

Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и Рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжал:

— Я сам.

Видать по всему, ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле Рыбак увидел наконец ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и с виду вовсе не страшной — типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило: пуля застряла в ноге. Это уже было похуже.

— Да, слепое, — озабоченно сказал Рыбак. — Придется доставать.

— Ладно, ты же не достанешь, — начал раздражаться Сотников. — Так завязывай, чего разглядывать.

— Ничего, что-то придумаем. Хозяюшка, может, и перевязать чем найдется? — громче спросил Рыбак, а сам мокрым полотенцем начал отирать с тела подсохшую кровь.

Пока Сотникова болезненно вздрагивала, тот, однако, напрягался и терпел, и Рыбак подумал, что, в общем, ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее было этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам.

Вскоре Дёмчиха появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках, и Сотников стеснительно съезжился.

— Не бойтесь! Нате вот, перевязывайте, чем нашла.

Все время, пока Рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон и, как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугушке руки.

— Ну вот операция и закончена. Хозяюшка!

— Вижу, не слепая, — сказала Дёмчиха, появляясь в дверях.

— А что дальше — вот загвоздка. — Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину.

— А я разве знаю, что у вас дальше?

— Идти он не может — факт.

— Сюда же пришел.

Наверно, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг другу в глаза. И эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность — что и говорить: слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если бы согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.

В довольно беглом, до сих пор ни к чему не обязывающем разговоре наступила заминка. Сотников выжидательно притих на скамье, а Рыбак озабоченно взглянул в окно.

— Немцы!

Как ужаленный, он отпрянул к порогу, за какую-то долю секунды все же успев схватить взглядом нескольких вооруженных людей, стоящих на кладбище. Они именно стояли, а не шли, хотя он даже не понял, куда были об-

ращены их лица, — он только увидел их силуэты с торчущими из-за спин стволами винтовок.

Сотников поднялся в углу, зашарил возле себя рукой, стараясь схватить оружие. Хозяйка как стояла, так и умерла, кровь разом отхлынула от ее лица, вдруг ставшего совершенно серым. Рыбак сначала бросился к двери, но тут же вернулся, чтобы еще раз взглянуть в окно.

— Идут! Трое сюда идут!

Действительно, трое с кладбища не спеша шли вниз к стожке, как раз, наверно, по их недавним следам. Как только Рыбак увидел это, внутри в нем все сжалось в немощном предчувствии беды. Никогда он не пугался так, даже сегодняшней ночью в поле. Казалось, самым разумным теперь было бежать, но он бросил взгляд на скорченного на скамье Сотникова, сжимавшего в руке винтовку, и остановился. Бежать было нельзя. Дёмчиха, наверно, также поняла это и вдруг затвердила паническим шепотом:

— На чердак! На чердак! Лезьте на чердак!

Ну, разумеется, на чердак, где же еще можно спрятаться в крестьянской избе. Они сунулись в темноватые сени, в углу которых чернел квадратный лаз на чердак, но лестницы под ним не было, и Рыбак вскочил на каменные круги жерновов. Там он перебросил на чердак винтовку и оглянулся.

— Давай твою!

Сотников, расставив руки, перебирался через порог, Дёмчиха поддерживала его. Он подал винтовку, и Рыбак также сунул ее в темную дыру чердака. Затем, едва по опрокинув жернова, втащил на них Сотникова. Верхнее бревно отсюда было еще высоко, но Рыбак все-таки дотянулся до него и, гремя по стене сапогами, как-то взобрался наверх. Тут же ухватил за протянутые руки Сотникова. Дёмчиха все время усердно, хотя и не в лад, помогала снизу. Сотников ослабело карабкался, напрягаясь из последних сил, и наконец перевалился через верхнее бревно стены.

— Там пакля! За паклю лезьте! — подсказывала снизу хозяйка.

Рыбак пробежал по мягкой чердачной засыпке. Тут, как и в сенях, господствовал полумрак, хотя из-под крыши и сквозило маленькое слуховое окошко во фронтоне пробивалось немного света, в котором был виден широкий столб кирпичной трубы, какие-то обноски на длинном

шесте, сломанная прялка внизу. Поодаль под крышей он рассмотрел порядочный ворох пакли.

— Сюда давай!

Сотников, подобрав виговку, на четвереньках подался под скос крыши в угол, куда указал Рыбак, и тот, поддев сапогом, навалил на него ворох пакли. Потом и сам затиснулся под крышу за спину товарища.

Замерев, они лежали, едва справляясь с дыханием. В нос шло резким пеньковым запахом, костра из пакли обсыпала лицо и колосась за воротником. Напрягая слух, Рыбак старался понять, шли немцы по их следам или так просто направлялись в деревню. Если по следам, то, разумеется, будут искать. Тогда вряд ли им тут отсидеться. В груди Сотникова громко хрипело, это мешало слушать, и все же они старались не пропустить ни одного звука снаружи. Голоса раздавались уже так близко, что Рыбака охватила оторопь: немцы заговорили с Дёмчихой.

— Привет, фрава! Как жисть?

Оказывается, это были полицаи, Рыбак узнал их с первого слова. Не останавливаясь, они прошагали по двору, кажется, направляясь к двери. Дёмчиха почему-то молчала, и Рыбак весь напрягся, страстно желая, чтобы они прошли мимо.

— Что молчишь? Зови в гости,— глуховато донеслось снизу.

— Пусть вас на кладбище зовут, таких гостей,— был им ответ.

«Э, не надо так,— с сожалением пронеслось в голове у Рыбака. — Зачем задирать!» Чутко вслушиваясь, он почти со страхом переживал грубые слова хозяйки и очень опасался, что та каким-нибудь неосторожным словом разозлит их, и тогда не миновать беды.

— Ого! Ты что, недовольна?

— Довольна. Радуюсь, а как же!

— То-то! Водка есть?

— А у меня лавка, что ли?

— Тогда гопи пару колбас!

— Еще чего захотели! Из кошки я их вам наделаю? Подсвинка забрали, а теперь колбас им!

— Вот как ты нас встречаешь! — ехидно заскрипел другой голос. — Партизан так, наверно, сметанкой кормила бы.

— Мои дети полгода сметаны не видели.

— А мы сейчас это дело проверим!

Ну конечно, нельзя было так задиристо обращаться с ними, вот они и не прошли мимо — их тяжелые шаги затопали уже в сениях. Но, кажется, дверь в избу еще не открывали, и Рыбак похолодел от неожиданного и такого естественного теперь предположения: а вдруг ползут на чердак за колбасами? Но нет, пока что стучали в сениях, наверно, откинули крышку сундука, что-то там упало и с громким жестяным стуком покатилося на пол. Боясь шевельнуться, Рыбак тихо лежал, вперив глаза в сухое, почерневшее стропило, и думал: нет, пришли не за ними. Ищут продукты — обычный полицейский промысел в деревне, а на кладбище, по всей вероятности, пост-засада — будут караулить дорогу.

Они все еще шарили в сениях, как Сотников рядом естественно напрягся, в груди у него что-то ужасающе исклипнуло, и Рыбак почти обмер в испуге — показалось, закашляет. Но он не закашлял, как-то сдержался, притих, а они там, внизу, уже стукнули дверью, и вскоре их голоса приглушенно зазвучали в избе.

— Где хозяин? В Московщине?

— А мне откуда знать?

— Не знаешь? Тогда мы знаем. Стась, где ее мужик?

— В Москву, наверно, подался.

— О, сука, скрывает! А ну врежь ей!

— А-яй! Гады вы! — дико закричала Дёмчиха. — Чтоб вам околеть до вечера! Чтоб вам глаза ворон повыклевал! Чтоб вы детей своих не увидели!..

— Ах, вот как! Стась!

В избе испуганно заверещала детвора, вскрикнула и умолкла девочка. И вдруг из напряженной груди Сотникова пушечным выстрелом грохнул кашель. У Рыбака как будто оборвалось что внутри, руки под паклей сами рванулись к Сотникову, но тот кашлянул снова. В избе все враз смолкли, будто выскочили из нее. Рыбак с невероятной силой зажимал Сотникову рот, и тот мучительно давился в неумных потугах. Но, видимо, было поздно — их уже услышали.

— Кто там? — наконец прозвучало внизу.

— А никто. Кошка там у меня простуженная, ну и кашляет, — слышно было, перестав плакать, испуганно заговорила Дёмчиха.

Но ее не слишком уверенный голос, наверно, не убедил полицейских.

— Стасы! — властно скомандовал громкий свирепый бас.

Рыбак на выдохе задержал дыхание, с необыкновенной ясностью сознавая, что все пропало. Наверно, надо было защищаться, стрелять, пусть бы погибли и эти наемники, но неизвестно откуда явилась последняя надежда на чудо, подумалось: а вдруг пронесет!

От удара двери о стену задрожала изба, полицаи о грохотом потревоженного стада ринулись в сени, наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом Рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрепчиваясь, заматались по соломенной изнанке крыши.

— Лестницу! Лестницу давайте! — громким басом командовал внизу полицай.

— Нету лестницы, никого там нету, чего вы прицепились? — снова заплакала Дёмчиха.

Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко — задыхающийся голос:

— Так темно там. Ни черта не видать.

— Что не видать? Лезь, я приказываю, туды-т твою мать!

— Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю! — раздалось почему-то под самой крышей.

Но шагов по потолку еще не было слышно — наверно, полицай все-таки не решался перелезть стену.

— Так он тебе и вылезет! — гудел снизу командирский бас. — Заначка там есть какая?

— Есть. Сено будто.

— Пырни винтовкой.

— Так не достану.

— От, идрит твою муттер! Тоже вояка! На автомат! Автоматом чесани!

«Это уже все, точка», — сказал себе Рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его: так ловко попались они в эту ловушку. Наверно, все уже было кончено, надо было вставать, и вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен, к тому же именно он кашлем выдал обоих, ему куда

а большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал будто неживой, выгнулся, напрягся всем телом, похоже, даже перестал и дышать.

— Ах, не лезешь!

Под крышей раздался сухой металлический щелчок — слишком хорошо знакомый Рыбаку звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, за чем ничего уж не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью, но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже. И Рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю.

— Руки вверх! — взвопил полицай.

Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот сдуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке, рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для Рыбака был этот ствол — он решал все. Искося, но очень пристально поглядывая на него, Рыбак поднял руки. Очереди пока что не было, гибель как будто откладывалась, это было главное, а остальное для него уже не имело значения.

— А, попались, голубчики, в душу вашу мать! — ласковой брабью приветствовал их полицай, взбираясь на чердак.

10

Откуда-то притащили лестницу, на чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода.

Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и покашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицейских, не очень боялся, что могут убить, — его оглушило сознание невольной своей оплошности, и он мучительно переживал оттого, что так подвел Рыбака да и Дёмчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с Дёмчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались,

пусть бы полицаи стреляли — погибли бы, но только вдвоем.

С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывала Дёмчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках, и тот старший полицай — плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шпатель, — так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил погу — в глазах потемнело, заглохло дыхание, и он не сразу, ослабело начал подниматься с пола.

— Что вы делаете, злодеи! Он же рапел, али вы ослепли! Людоеды вы! — закричала Дёмчиха.

Старший полицай важно повернулся к другому, в ку-бапке.

— Стась!

Тот, видно, уже знал, что от него требовалось, — выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины.

— Ой!

— Сволочь! — теряя самообладание, сипато выкрикнул Сотников. — За что? Женщину-то за что?

Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступить за эту несчастную Дёмчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стась, видно, не соби-рался пока стрелять, он только ухмыльнулся в ответ и точным, заученным движением вдел шомпол в винтовку.

— Будет знать за что!

Сотников понемногу совладал с собой, справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. Если не пристрелят сразу, начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал.

В сенях их обыскали: выгребли из карманов скудные пожитки, патроны, ремешными супонями туго скрутили руки — Рыбаку сзади, а Сотникову спереди — и усадили обоих на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел

и пабу к Дёмчихе, а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить.

Морозный воздух сеной обжигал большую грудь Сотникова, в голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши — пилотку он потерял где-то, наверное, на чердаке, и теперь сидел с исключоченной непокрытой головой. Мерзла и потому еще больше болела раненая нога. Колено распухло, он с трудом сгибал его, босая стопа отекала и сделалась багрово-синей. Наверно, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил: черт с ним! Теперь уж все равно — пусть отмерзает нога, скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира — молодого, ловкого парня в черной форсистой кубанке: на его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли, — может, потому, что тот был в армейском бушлате и справных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку, другим прислонялся к косяку и, поплеывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу — ждал транспорт. Но транспорта пока не было, и он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих.

— За паклю залезли, ха! Как тараканы!

Рыбак взглянул на него и снова опустил голову.

— А теперь вас помогут-побанят и того, мало-мало подвешат. Посушиться, ха-ха! — засмеялся полицей так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал: «Веселый, однако, малый!» Но смех этого малого как-то враз оборвался, и уже совершенно другим тоном полицей разразился матом: — Такие-сякие немазаные! Ходоронка убили? За Ходоронка мы вам размотаем кишки!

— Не знаем мы никакого Ходоронка, — упыло сказал Рыбак.

— Ах, не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?

— Мы не стреляли.

— Вы или не вы, а ребра ломать вам будем. Поняли?

Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его

лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой, бездушной решимости.

Рыбак негромко спросил:

— В армии служил?

— В какой армии?

— Красной хотя бы.

— С... я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще выверился полицейай, по-страшному округляя свои выразительные глаза. Затем его лицо как-то постепенно преобразилось, смягчаясь, и на нем появилась все та же подкунающая улыбка. Отставив в сторону ногу, он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу сеней.

— А бушлат?

— Ах, бушлат! У одного жидка комиссара взял. Тому не понадобится, — сказал полицейай и, продолжительно посмотрев на Рыбака, спокойно добавил: — Твой полушубочек тоже приберем. Будила возьмет, его очередь. Вот так. Понял?

— А не подавитесь? — едва сдерживаясь, тихо сказал Сотников.

Стась вскинул голову.

— Что?

— Не подавитесь, говорю? Полушубочками, и вообще?

— Это зачем нам давиться? За нас Германия, понял, ты, чмур? А вот вам точно — капут! Будьте уверены, в бога душу мать! — свирепо закончил Стась.

Что ж, и это было просто и понятно, на другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников, полулежа на боку, осторожно попробовал шевельнуться — деревенело бедро, узкая сыромятная супонь резала кисти рук.

Наконец полицейай пригнал двое саней, одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он толкнул в розвальни Рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища; сзади в розвальни влез полицейай. Возчик — староватый, напуганный дядька в рваном тулупе — осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу Сотников, преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять

становилось скверно, казалось, сознание вот-вот оставит его, огромным усилием он преодолевал немощь и боль.

Из избы почему-то не возвращался старший полицей, и ним пошел тот, что пригнал сюда сани. Вскоре оттуда слышались голоса и плач Дёмчихи. Сотников с тревогой вслушался — оставят ее или нет? Минуту похоже было, там что-то пскали: постукивала о перекладину лестница, плакали дети, а затем отчаянно запричитала Дёмчиха:

— Что вы надумали, сволочи? Чтоб вам до воскресенья не дожить! Чтоб вы своих матерей не увидели!

— Ну-ну! Живо, сказано, живо!

— На кого я детей оставляю? Гады вы немилосердные!..

— Живо!

Сотников взглянул на Рыбака, сидевшего к нему боком; заросшее щетиной лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего.

По той самой тропинке, возле ограды, они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к овчинной спине Рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было, все грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или в СД. Значит, спокойного времени осталось немного, надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут, хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Дёмчиху. Бедная тетка! Бежала домой и не думала, по гадала, что ее ждало там. Сейчас она что-то кричала сзади, ругалась и плакала, свирепый полицей вытворялся на нее отборным, бесстыжим матом. Но и Дёмчиха старалась не остаться в долгу.

— Звери! Немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети! Деточки мои родненькие, золотенькие мои! Галечка моя, как же ты будешь?!

— Надо было раньше о том думать.

— Ах ты погань несчастная! Ты меня еще упрекаешь, запроданец немецкий! Что я сделала вам?

— Бандитов укрывала.

— Это вы бандиты, а те как люди: зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я, своим детям враг? Гады вы! Фашисты проклятые!

— Молчать! А то кляп всажу!

— Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты!

— Так! Стась, стой! — послышалось с задних саней, и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой.

Рыбак и возчик обернулись, а Сотников весь съезжился в ожидании чего-то устрашающе-зверского. И действительно, Дёмчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях. Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было соскочил с розвальней, но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место.

— Хе! Рукавицу в глотку — не кричи, бешеная баба.

Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром:

— Палачи! Истязатели!

— Ты, заступник! Отверни нюхалку, а то красную жижу спущу! — заорал Стась, сделав страшное выражение лица.

Но Сотников уже знал, с кем имеет дело, и с полным безразличием отнесся к этой его угрозе.

— Попробуй, гад!

— Ха, пробовать! Да знаешь, я тебя сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не Советы!

— Шпокни, пожалуйста!

— А то слабо? — Полицай в показной решимости схватился за винтовку, но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался.

Сотников не моргнул даже — он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством — эти люди понимали только такое обхождение.

— Женщина ни при чем, запомни, — сказал он с расчетом на Рыбака, памекая тем, как надо отвечать на вопросах. — Мы без нее залезли на чердак.

— Будешь бабке сказки сказывать, — закивал головой Стась и опустил винтовку. — Небось Будила из тебя дурь выбьет. Подожди!

— Плевать мы хотели на твоего Будилу!

— Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!

«Какого черта он задирается?» — раздраженно думал Рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем.

Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню, только теперь поле не казалось ему таким длин-

ным и уныло равнинным, лошадка бодро перебирала погами, постегивая по салям жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро, ему из всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись — больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность, за то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак, что за километр не обошел той крайней избы — мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли и немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злостную деревню — лучше бы передневали где-либо в кустарнике. Да и вообще с самого начала этого задания все пошло не так, все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить.

И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в Рыбаке и которую он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо сознавал, что, если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки — можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься.

Рыбак коротко про себя выругался с досады, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу, наверно, давно уже подобрали последние крохи из карманов и теперь думают, что они гонят корову и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову. Можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками — всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас. Если бы не Сотников.

С Сотниковым он сошелся случайно неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон — его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гастиневич. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных

пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок, а немецкий огонь все усиливался, и Рыбак подумал: хана! Как на беду, придорожный лесок кончался, сзади раскинулось огромное снежное поле с кудрявым сосняком вдаль, куда торопливо вытягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев, и Рыбак с Гастиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками пропустили по полю. Сотников же открыл такой частый и меткий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снег. Наверно, он подстрелил несколько фрицев. Они же с Гастиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле и, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику.

Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать и Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок, добежать до камней, и, только упав, он погнался дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало, Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями; у остальных, наверно, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее какая-то пуля все-таки настигла Гастиновича, который как-то странно сел на снег и повалился на бок. К нему бросился Сотников, но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять Рыбака.

Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком, тут было безопаснее, отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг Рыбак вспомнил, что у Гастиновича в сумке осталась горбушка хлеба, которой тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали, и эта горбушка так завладела его вниманием, что Рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем Рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гастиновича. Они тут же разломали горбушку и, пока догоняли своих, съели ее.

Тогда все обошлось, отряд осел в Горелом болоте, и они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге,

стали держаться вместе — рядом спали, ели из одного котелка и, может, потому вместе попали на это задание.

Но теперь копец, это точно. Не важно, что они не отстреливались — все-таки их взяли с оружием, и этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое Рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за палки, но все же...

Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло, и совесть Рыбака перед ним была бы чистой — не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненого. И он все шарил глазами вокруг с той самой минуты, как поднял руки: на чердаке, потом в сенах, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности, а потом им связали руки, — сколько он незаметно ни выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал: проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть?

А может, стоило попытаться счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место, не ровнядь, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же, на беду, было чистое поле, пригорок, затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но овражек при нем был совсем неглубокий, открытый, в таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в саях, Рыбак тем не менее все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, и не находил ничего. Так шло время, и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала Рыбаком. Становилось совершенно очевидным: они пропали.

В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту. И он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом — и за Рыбака и за Дёмчиху. Особенно его беспокоила Дёмчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с

полицией, в которой досталось какому-то Ходоропку. Разумеется, подстрелил его Сотников.

Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок — два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак, потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись из труб дымы, в морозной дымке над заиждивелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди через улицу торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в сани с полициярами. В соседнем дворе выскочила из избы просто-волосая, в галошах на босу ногу девушка, плеснула на снег помоями и, прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака; бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли и Сотников и Рыбак.

Сани пересехали мостик и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать, он мучительно озяб на ветру в поле; селенье, как всегда, сулило кров и пристанище, хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости. Но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтоб хоть немного согреться.

Еще издали Сотников увидел впереди широкие новые ворота и возле них полиция в длинном караульном тулупе, с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом, паверпое, бывшая лавка или какое-нибудь учреждение, с четырьмя зарешеченными по фасаду окнами. Полицай, паверпое, ждал их, и, когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку, и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный, очищенный от снега двор, со старой, обглоданной коновязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка.

— Приеззли?

— А то как же! — хвастливо отозвался Стась. — Мы да кабы не привезли. Вот, принимай кроликов!

Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор — отсюда уже не убе-

жишь. Пока возчик и Рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почему фунт лиха. Прочные стены, высокое, покрытое жестью крыльцо, ступени, ведущие к двери и подвал. В одном из зарешеченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являло образцовый порядок этого полицейского гнезда — сельского оплота немецкой власти. Тем временем полицейский в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладной.

— Давай их сюда!

Уже все повставали из саней — Стась, Рыбак с возницей, — поодаль отряхивались полицейские и обреченно стояла Дёмчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сторбилась, согнулась, сползший платок смято лежал на ее затылке. Из рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицейские, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа.

Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней — как ни повернись, болью заходила нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Дёмчиху и, как только та поравнялась с ним, отчужденно избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы.

— Ты что? Ты что, чмур?! — взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полстел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога.

Адская боль в ноге разбежалась по его телу, потемнело в глазах, он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся — принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицейский:

— Ах ты выродец комиссарский! Ишь заступник пашелся. Стась! А ну в штубу его! К Будиле!

Все тот же ловкий, исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег, но бездушная молодая сила этого полицейского бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше — на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно

ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его по коридору, пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный, в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и с силой захлопнул дверь.

Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял от пола лицо. В помещении никого больше не было, это немного озадачило, и он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. Нет, отсюда уже не уйдешь! Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалась неудобной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое, просиженное кресло за ним и легонький стульчик возле печи-голландки, от черных круглых боков которой шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобо и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку.

«Ну вот, тут все и кончилось! — подумал он. — Господи, только бы выдержаты!» Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне, а сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле — другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу — самым привязчивым, «собачьим» кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверно, с детства, когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось, он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих двадцати шести лет. А теперь что ж — теперь здоровье уже не имело для него большой ценности. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За кашлем он не расслышал, как в помещение кто-то вошел, перед ним на полу появились сапоги, не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными голенищами. Сотников поднял голову.

Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстукe, повязанном на иссвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагональных бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное; под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усов — как у Гитлера. «Будила, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывались полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволила его все еще заходившаяся от боли нога.

— Кто это вас? Гаманюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном.

— Стась ваш, — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона.

Начальник решительно растворил дверь в коридор:

— Гаманюка ко мне!

Кашель стал утихать, оставались лишь слабость и боль, очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека.

В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобиострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог.

— Слушаю вас!

Хозяин компаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый, с залысинами лоб.

— Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?

— Виноват! — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась.

Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс.

— Разве вас так инструктировали? Разве этому учит пемецкое командование? — не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами, а тот в деланном испуге все круче выгибал грудь.

— Виноват! Больше не буду! Виноват!

— Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение...

Нет, хватит! Как немецкие власти относятся к пленным, Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их пелепую самостоятельность.

— Напрасно стараетесь!

Полицейский резко обернулся в его сторону, видно, недослышав, озабоченно нахмурил лоб.

— Что вы сказали?

— Что слышали. Развяжите руки. Я не могу так сидеть.

Полицейский еще немного помедлил, сверля его пасмурным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал его и спрятал нож. Сотников разнял отекавшие, с рубцами на запястьях руки.

— Что еще?

— Пить, — сказал Сотников.

Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уже терпеть.

Полиция кивнул Гамаюку.

— Дай воды!

Тот выскочил в коридор, а полицейский обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова.

— Можете сесть на стул.

Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет орудия пыток — должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытаются, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности и, поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.

Тем временем Стась Гаманюк принес большую эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, о чем-то все размышлял или, может, старался что-то понять.

— Ну, познакомимся,— довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. — Фамилия моя Портнов. Следователь полиции.

— Моя вам ничего не скажет.

— А все-таки?

— Ну, Иванов, допустим,— сказал Сотников сквозь зубы: болела нога.

— Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем,— согласился следователь, хотя ничего не записывал. — Из какого отряда?

Ого, так сразу и про отряд! Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше: начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более что в его ложь этот, наверно, не очень поверит.

— А вы думаете, я вам скажу правду?

— Скажешь! — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он исподлобья вопросительно посмотрел на полицейского.

— Скажешь!

Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверно, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми, этой своей неторопливостью, однако, и выдававшие тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверно, имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно наконец прорвется, хотя и не знал, как крепки нервы этого человека

и за каким вопросом следователь скинет наконец с себя маску.

— Какое имели задание? Куда шли? Как давно пособником у вас эта женщина?

— Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу, забрались на чердак. Ее и дома в то время не было,— спокойно объяснил Сотников.

— Ну конечно, случайно. Так все говорят. А к лесниковскому старосте вы также зашли случайно?

Вот как! Значит, уже известно и про старосту. Хотя донос, наверно, в тот самый вечер. «Пожалели, называется, не захотели связываться»,— подумал Сотников. Выходило, однако, что полиция знали о них куда больше, чем они предполагали, и Сотников на минуту смешался. Наверно, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил. Потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа.

— Да, случайно,— после паузы твердо сказал Сотников.

— Но оригинально. Вы же умный человек, а хотите выехать на такой примитивной лжи! Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет.

Не пройдет — видимо, так. Но черт с ним! Будто он падался, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся, только жалел несчастную Дёмчиху, которую неизвестно как надо было выручить.

— Вы можете поступить с нами как вам заблагорассудится,— сказал Сотников. — Но не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней, а я не мог идти дальше.

— Где ранен?

— В ногу.

— Я не о том. Где, в каком районе?

— В лесу. Два дня назад.

— Не пройдет,— глядя в упор, объявил следователь. — Заливаете. Не в лесу, а на большаке этой ночью.

«Черт, знает точно или, может, ловит?» — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше: неудачно соврешь в мелочах — не поверит и в правду. А правду о Дёмчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику, хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь.

— А если я, например, все объясню, вы отпустите женщину? Вы можете это обещать?

Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажутся, пронзили его насквозь.

— Я не обязан вам ничего объяснять! Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать!

«Значит, не удастся», — уныло подумал Сотников. Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай! Тогда, наверно, пропала Дёмчиха.

— Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят.

— Губим не мы. Губите вы! Вы ее в банду втянули! Почему тогда не подумали о ребятах? — ошетинился следователь. — А теперь поздно. Вы знаете законы великой Германии?

«Законы! Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок? — подумал Сотников. — Недавно еще, наверно, зубрил совсем другие законы!» Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно — похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи великой Германии.

Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну, сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в себе что-то затаенное, особенно не напирал с вопросом и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем.

В коридоре тяжело затапали, слышались голоса, ругань. По всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчея переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил:

— Так, хватит играть в прятки! Назовите отряд! Его командира! Связных. Количественный состав. Место базирования. Только не пытайтесь лгать. Напрасное дело.

— Не много ли вы от меня хотите? — сказал Сотников.

Незаметно для себя он обратился к иронии, как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами. Конечно, для Стася или еще кого-нибудь из этих предателей его ирония была за пределами их понимания — на этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался, только однажды криво передернул губами.

— Куда шли?

— Мы заблудились.

— Не пройдет. Ложь! Даю две минуты на размышление.

— Не утруждайтесь. Наверно, у вас много работы.

Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса.

— Жить хочешь?

— А что? Может, помилуete?

Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно.

— Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем,— сказал он и вдруг круто повернулся от окна; пепел с кончика сигареты упал и разбился о носок его сапога, кажется, его выдержка кончилась. — Расстреляем, это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других. Чтобы о тебе там, в лесу, не шибко беспокоились.

— Не дождетесь, не выдам.

— Не выдашь ты — другой выдаст. А спишем все на тебя. Понял? Ну как?

Сотников молчал, ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной, разом пропала вся его склонность к иронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж — они способны на все. Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали, их звериная сила оттого, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной, возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались не равными, преимущество было на стороне противника: все, что выставлял Сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь.

Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, Портнов впорил в него острый, теперь уже открыто неприязненный взгляд и ждал. Сотникову было чертовски трудно, казалось, опять уходит сознание, он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа, чувствовал: это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе.

— Ну?

— Сволочи! — не найдя ничего другого, выдавил из себя Сотников.

Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе.

— Будилу ко мне!

В коридоре зычно раздалось: «Будилу к господину следователю!», после чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена, начиналось второе отделение допроса.

Внешне стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся, как только отворилась дверь и на пороге появился Будила.

Вероятно, это был здешний полицейский палач — могучий, буйволородный детина с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинически-свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверно, по установленной здесь традиции, войдя, он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немногих косивших глаз.

— А пу!

Объятый слабостью, Сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда Будила с многозначительной неторопливостью шагнул к стулу. Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели, напряглась и оторвала его от стульчика.

— А пу, большевистская гнида!

12

«Достукался!» — почти зло подумал Рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Дёмчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Дёмчиху же оставили со связанными руками и кляпом во рту.

— Давай вниз! Быстро!

В подвале царила тьма, или, может, Рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике, шедший впереди полицай загредел железным запором, и Рыбак, наткнувшись на спину Дёмчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти.

— Марш, марш! Чего стал? — подтолкнул его тот, что шел сзади: оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту.

Делать было нечего, Рыбак протиснулся между полицасм и Дёмчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут, маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше.

Сзади тем временем лизгнул засов, Дёмчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери допосился их удаляющийся, деловой разговор.

— А бабу куда? В угловую?

— Давай в угловую.

— Что-то пусто сегодня?

— Немцы вчера разгрузили. Одна жидовка где-то сидит.

Несколько пообвыкнув в темноте, Рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился там, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду — наверно, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве.

— Садись. Чего стоять? Стоять уже нечего.

Рыбак удивился и даже вроде обрадовался — голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил: староста! Ну так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый — лесиновский староста Петр.

— И ты тут? — недоуменно вырвалось у Рыбака.

— Да вот попал. Овцу-то опознали, ну и...

«Так-так», — стучала в голове у Рыбака односложная мысль: все было понятно. Странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина.

— А при чем тут ты? Мы же забрали силой? — несколько деланно удивился Рыбак.

Староста что-то расстелил под собой, но не лег, а сел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свете из окна оставались лишь согнутые его колени.

— Как сказать? Ежли забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что!.. Теперь уже все равно.

Теперь, по-видимому, действительно уже все равно, теперь поздно выкручиваться, подумал Рыбак. Наверно, полиции уже все известно.

Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене. Было совершенно непонятно, что делать дальше, но, кроме как ждать, тут вообще, наверно, ничего нельзя было делать. Только сейчас он почувствовал, как здорово измотался за истекшую ночь, его начало клонить в сон, но мысли тревожно сновали в голове, не давая забыться. Вдруг он подумал, что неплохо бы сговориться со старостой и отрицать их заход в Лесины — пусть бы Петр сказал, что приходили другие. Если разобраться, так старосте уже все равно, на кого указывать, и им, возможно, это еще помогло бы. Какой-либо вины или даже неловкости по отношению к Петру Рыбак несколько не чувствовал — разве впервые ему таким способом приходилось добывать продукты? Да и взяли всего только овцу, и не у какой-нибудь многодетной семьи, а у самого старосты — было о чем заботиться. С этой стороны он оставался совершенно спокойным и только удивлялся, как это староста не сумел оправдаться перед полицией и позволил себя засадить в этот вонючий подвал.

Прошел час или больше, Сотников не возвращался, и Рыбак не без короткого сожаления подумал, что, может, его там и убили. Разговаривать ему ни о чем не хотелось. Он чувствовал, что вот-вот должны прийти и за ним, и тогда начнется самое худшее. Все думая и прикидывая и так и этак, он старался найти какую-нибудь возможность перехитрить полицию, вывернуться совсем или хотя бы оттянуть приговор. Чтобы оттянуть приговор, видимо, имелось лишь одно средство — затянуть следствие (все-таки должно же быть какое-то следствие). Но для этого надо было найти веские факты, чтобы заинтересовать полицию, ибо, если та порешит, что ей все

ясно, тогда уж держать их не станет. Тогда им определенно конец.

В подвале было тихо и солнно, лишь откуда-то сверху доносились голоса, топот сапог в здании. Временами топот становился довольно громким, что-то приглушенно стучало, явственно врывался чей-то крикливый голос. Вся эта суматошная возня наверху не могла не напомнить ему о Сотникове, и у Рыбака мучительно сжималось сердце — бедный, невезучий Сотников! Но, по-видимому, та же участь ждала и его... Правда, он не хотел думать об этом — он старался понять, как уйти от расправы и, может, еще и пособить Сотникову. Но, видно, все это было напрасно. Сквозь маленькое, чем-то заставленное снаружи окошко в камеру пробивались тусклые сумерки, в которых слабо брезжило светловатое пятно на затоптанной соломе да белела под окном поникшая голова старосты. Тот неподвижно сидел у стены, погружившись в свои тоже, разумеется, невеселые мысли, — теперь каждый переживал за себя.

— Говорили, кто-то полиция ночью поранил, неизвестно, выживет ли, — после долгого молчания сказал старик.

Для Рыбака это сообщение не было новостью, он только забыл об этом ранении и теперь встревожился еще больше. Однако разговор перевел на другое.

— Тебя уже брали наверх? — спросил он с робкой надеждой, что очередь на допрос, возможно, еще не его.

Но староста тут же разрушил эту его надежду.

— На допыт? А как же! Сам Портнов допрашивал.

— Какой Портнов?

— Следователь их.

— Ну и как? Здорово били?

— Меня-то не били. За что меня бить?

Рыбак, затаив дыхание, слушал: хотелось по возможности предугадать, что ждало его самого.

— Этот Портнов, скажу тебе, хитрый как черт. Все знает, — сокрушенно заметил старик.

— Но ты же вывернулся.

— А что мне выворачиваться! Вины за мной никакой нет. Что перед богом, то и перед людьми.

— Такой безгрешный?

— А в чем мой грех? Что не побег докладывать про овцу? Так я стар уже по ночам бегать. Шестьдесят семь лет имею.

— Да-а, — вздохнул Рыбак. — Значит, кокпут. Это у них просто: пособничество партизанам.

Все тем же бесстрастным голосом Петр сказал:

— Ну что ж, значит, судьба. Куда денешься...

«Какая покорность!» — подумал Рыбак. Впрочем, шестьдесят семь лет — свое уже прожил. А тут всего двадцать шесть, хотелось бы еще немного пожить на земле. Не столько страшно, сколько противно ложиться зимой в промерзшую яму...

Нет, надо бороться!

А что, если ко всей этой истории припутать старосту? В самом деле, если представить его партизанским агентом или хотя бы пособником, сказать, что он уже не впервые оказывает услуги отряду, направить следствие по ложному пути? Начнут дополнительно расследовать, понадобятся новые свидетели и показания, пройдет время. Наверно, Петру это не слишком прибавит его вины перед немцами, а им двоим, возможно, и поможет.

Предавшись своим размышлениям, он вдруг встрепенулся от неожиданности — рядом тихонько зашуршала солома, и что-то живое и мягкое перекатилось через его сапог. Староста в углу брезгливо двинул ногой: «Кыш, холера на вас!», и в тот же момент Рыбак увидел под стеной крысу. Шустрый ее комок с длинным хвостом прошмыгнул краем пола и исчез в темном углу.

— Развелось их тут, — сказал Петр. — И на людей не смотрят — посятся, как холеры какие. Наверно, еще Ицковы. Когда-то тут лавка была. Ицка конфеты продавал. Потом сельпо открыли. Сколько поменялось порядков, а крысы все шныряют.

— Крысам теперь только и шнырять.

— Ну. Кому же их выводить? Человек за человеком охотится — не до крыс. Ах ты боже мой...

Только он успел сказать это, как где-то за дверью послышался топот шагов, знакомо брякнул засов, и скоро в глаза ярко ударил свет зимнего дня. В сиянии этого света на пороге появилась поджарая фигура Стася в подпоясанном армейском бушлате, с закинутым за плечо карабином.

— Ну, где цвай бандит? К следователю!

Полидай хохотнул коротко и противно, а в Рыбаке что-то мучительно перевернулось внутри. Наверно, с излишней поспешностью он вскочил на ноги и пошел на

вызов. В сознании его нелепой тревогой промелькнул вопрос: где Сотников? Сначала же, наверно, должны были привести Сотникова, а потом уже взять на допрос его. Или, может, Сотникова уже убили?

Он покорно подошел к ступенькам, обождал, пока Стась закрыл за ним дверь, потом впереди конвоира быстро взбежал наверх. Двигался он почти механически, без всякого участия сознания, не замечая ничего вокруг. Чувствовал себя отравительно. Нет, это не было страхом: его дожимало бессилие, невозможность прибегнуть к испытанному средству — силе, чтобы по-солдатски постоять за себя. Отсутствие всякого выбора предельно сузило его возможности, мысль относительно старости осталась лишь намерением — он не продумал ее как следует, ничего не решил конкретно и теперь нес к следователю полное смятение в душе.

— Вот полупшубочек и скинешь, — с силой хлопнул его по плечу Стась. — А ничего полупшубочек, ей-богу. И сапоги! Ну, сапожки-то я заберу. А то жаль такие трепать, правда? — сказал он доверительно, взмахнув перед арестантом ногой в добротном хромовом сапоге. — У тебя какой помер?

— Тридцать девятый, — солгал Рыбак, замедляя шаг: после смрадного подвала хотелось хоть надышаться.

— Холера, маловаты! Эй, в рот тебе оглоблю! — вдруг выверился полицейай. — Шире шаг!

Остерегаясь тумака, Рыбак не стал упрямяться — быстрым шагом проскочил крыльцо, двери, недлинный полутемный коридор с мордатым дневальным у тумбочки. Стась вскиливо постучал согнутым пальцем в филенку какой-то двери:

— Можно?

Будто во сне, предчувствуя, как сейчас окончательно рухнет и рассыплется вся его жизнь, Рыбак переступил порог и вперся взглядом в могучую печь-голландку, которая каким-то педобрым предзнаменованием встала на его пути. Ее крутые черного цвета бока всем своим траурным видом напоминали нелепый обелиск на чьей-то могиле. За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке, он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полицейай-следователь, о котором говорил староста.

— Фамилия? — гаркнул человек.

Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд исподлобья жестко ощупывал арестанта.

— Рыбак,— подумав, сказал арестант.

— Год рождения?

— Девятьсот шестнадцатый.

— Где родился?

— Под Гомелем.

Следователь стошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно, энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось Рыбаку вначале.

— Садись.

Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола.

— Жить хочешь?

Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение, Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле.

— Ну кому ж жить не хочется. Конечно...

Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить, и в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами:

— Так. Куда шли?

Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа в ответах, но Рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил.

— Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы,— сказал он и подумал: «Черт с ним! Кто не знает, что партизаны тоже едят. Какая тут может быть тайна?»

— Так, хорошо. Проверим. Куда шли?

Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшее изменение в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колене полу полушубка, поскреб там какое-то пятнышко — он старался отвечать обдуманно.

— Так это... На хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошли куда глаза глядят.

— Какой хутор сожжен?

— Ну тот, Кульгаев или как его? Который под лесом.

— Верно. Кульгаев сожжен. Немцы сожгли. А Кульгай и все кульганята расстреляны.

«Слава богу, не придется взять грех на душу», — с облегчением подумал Рыбак.

— Как оказались в Лесинах?

— Обыкновенно. Набрели ночью, ну и... зашли к старосте.

— Так, так, понятно,—соображая что-то, прикинул следователь. — Значит, шли к старосте?

— Нет, почему? Шли па хутор, я же сказал...

— На хутор. Понятно. А кто командир банды? — вдруг спросил следователь и, полный внимания, замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд.

Рыбак подумал, что тут уж можно солгать — пусть проверят. Разве что Сотников...

— Командир отряда? Ну этот... Дубовой.

— Дубовой? — почему-то удивился следователь.

Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза. Но не затем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи, важно было понять: верят ему или нет?

— Прохвост! Уже с Дубовым спюхался! Так я и знал! Осенью не взяли, и вот, пожалуйста...

Рыбак не понял: кого он имеет в виду? Старосту? Но как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал... Однако размышлять было некогда, Портнов стремительно продолжил допрос:

— Где отряд?

— В лесу.

Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно-настороженные глаза следователя — пусть уверится в его абсолютной правдивости.

— В Борковском?

— Ну.

(Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового, остатки же их отряда перебрались за шестнадцать километров, на Горелое болото.)

— Сколько человек в отряде?

— Тридцать.

— Врешь! У нас есть сведения, что больше.

Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя.

— Было больше. А сейчас тридцать. Знаете, бои, потери...

Следователь впервые за время допроса довольно погряз в кресле:

— Что, пощипали наши ребята? То-то же! Скоро пух-перо полетит от всех вас.

Рыбак промолчал. Его настроение заметно тронулось в гору: кажись, от Сотникова они немного узнали, значит, можно наскзать сказок — пусть проверяют. Опять же было похоже на то, что следователь вроде начал добреть в своем отношении к нему, и Рыбак подумал, что это его отношение надобно как-то укрепить, чтобы, может, еще и воспользоваться им.

— Так! — Следователь откинулся в кресле. — А теперь ты мне скажи, кто из вас двоих стрелял ночью? Наши видели, один побегал, а другой начал стрелять. Ты?

— Нет, не я, — сказал Рыбак не слишком, однако, решительно.

Тут уже ему просто пеловко было оправдываться и тем самым перекладывать вину на Сотникова. Но что же — брать ее на себя?

— Значит, тот? Так?

Этот вопрос был оставлен им без ответа — Рыбак только подумал: «Чтоб ты издох, сволочь!» Так хитро ловит! Да и на самом деле, что он мог ответить ему?

Впрочем, Портнов не очень и настаивал.

— Так, так, понятно. Как его фамилия?

— Кого?

— Напарника.

Фамилия! Зачем бы она стала ему нужна, эта фамилия? Но если Сотников не называл себя, то, видно, не следует называть его и ему. Наверно, надо было как-либо соврать, да Рыбак не сразу сообразил как.

— Не знаю, — наконец сказал он. — Я недавно в этом отряде...

— Не знаешь? — с легким упреком переспросил Портнов. — А староста этот, говоришь, Сыч? Так он у вас значится?

Рыбак напряг память — кажется, он даже и не слышал фамилии старосты или его клички.

— Я не знаю. Слышал, в деревню его зовут Петр.

— Ах, Петр.

Ему показалось, что Портнов этот какой-то путаник, но тотчас он сообразил: следователь хочет запутать его.

— Так, так. Значит, родом откуда? Из Могилева?

— Из-под Гомеля,— терпеливо поправил Рыбак. — Речицкий район.

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Рыбак.

— Где остальная банда?

— На... В Борковском лесу.

— Сколько до него километров?

— Отсюда?

— Откуда жо?

— Не знаю точно. Километров восемнадцать будет.

— Правильно. Будет. Какие деревни рядом?

— Деревни? Дегтяря, Ульяновка. Ну и эта, как се...

Драгуны.

Портнов заглянул в лежащую перед ним бумажку.

— А какие у вас связи с этой... Окунь Авгиньей?

— Дёмчихой? Ей-богу, никаких. Просто зашли перспрятаться, ну и поесть. А тут ваши ребята...

— А ребята и нагрянули! Молодцы ребята! Так, говоришь, никаких?

— Точно никаких. Авгинья тут ни при чем.

Следователь бодро вскочил из-за стола, локтями подернул сползавшие в пояс бриджи.

— Не виновата? А вас принимала? На чердаке прятала? Что, думаешь, не знала, кого прятала? Отлично знала! Покрывала, значит. А по законам военного времени что за это полагается?

Рыбак уже знал, что за это полагается по законам военного времени, и подумал, что, пожалуй, придется отказаться от непосильного теперь памерсения выгородить Дёмчиху. Было очевидно, что на каждую такую попытку следователь будет реагировать, как бык на красный лоскут, и он решил не дразнить. До Дёмчихи ли тут, когда неизвестно, как выкарабкаться самому.

— Так, хорошо! — Следователь подошел к окну и бодро повернулся на каблуках; руки его были засунуты в карманы брюк, пиджак на груди широко распахнулся. — Мы еще поговорим. А вообще должен признать: парень ты с головой. Возможно, мы сохраним тебе жизнь. Что, не веришь? — Следователь иронически ухмыльнулся. — Мы можем. Это Советы ничего не могли. А мы можем казнить, а можем и миловать. Смотря кого. Понял?

Он почти вплотную приблизился к Рыбаку, и тот, почувствовав, что допрос на том, наверно, кончается, почтительно поднялся со стула. Следователь был ему по плечо, и Рыбак подумал, что с легкостью придушил бы этого маломерка. Но, подумав так, он почти испугался своей такой нелепой тут мысли и с деланной преданностью взглянул в живые, с пачальственным холодком глаза полицейского.

— Так вот! Ты нам расскажешь все. Только мы проверим, не думай! Не наврешь — сохраним жизнь, вступишь в полицию, будешь служить великой Германии...

— Я? — не поверил Рыбак.

Ему показалось, что под ногами качнулся пол и стены этого заплыванного помещения раздались вширь. Сквозь минутное замешательство в себе он вдруг ясно ощутил свободу, простор, даже легкое дуновение свежего ветра в поле.

— Да, ты. Что, не согласен? Можешь сразу не отвечать. Иди подумай. Но помни: или пан, или пропал. Гаманюк!

Прежде чем он, ошеломленный, успел понять, что будет дальше, дверь раскрылась, и на пороге вырос тот самый Стась.

— В подвал!

Стась дурашливо уставился на следователя.

— Так это... Будила ждет.

— В подвал! — взвизгнул следователь. — Ты что, глухой?

Стась встрепнулся.

— Яволь в подвал! Биттэ, прошу!

Рыбак вышел, как и входил, в крайней растерянности, на этот раз, однако, уже по другой причине. Хотя он еще и не осознал всей сложности пережитого и в еще большей степени предстоящего, но уже чувствовал остро и радостно — будет жить! Появилась возможность жить — это главное. Все остальное — потом.

— Гы, значит, откладывается? — дернул его за рукав полупшубка Стась, когда они вышли во двор.

— Да, откладывается! — твердо сказал Рыбак и впервые с вызовом посмотрел на красивое, издевательски-улыбчивое лицо полицейца.

Тот хохотнул хрипловатым, вроде козлиного блеяния, голосом.

— Никуда не денешься! Отдашь! Добровольно, но обязательно — требуха из тебя вон!

«Дурной или прикидывается?» — подумал Рыбак. Но Стась теперь мало беспокоил его: у него появился защитник.

13

Сотникова спасала его пемощность: как только Будила начинал пытку, он быстро терял сознание. Его отливали, но ненадолго, мрак опять застилал сознание, тело не реагировало ни на ременные чересседельники, ни на специальные стальные щипцы, которыми Будила сдирает с пальцев ногти. Напрасно провозившись так с полчаса, двое полицейских вытащили Сотникова из помещения и бросили в ту камеру, к старосте.

Некоторое время он молча лежал на соломе в мокрой от воды одежде, с окровавленными кистями рук и тихо стонал. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Когда за дверью утихли шаги полицейских, к нему на коленях подполз староста Петр.

— Ай-яй! А я и не узнал. Вот что паделали...

Сотников услышал новый возло себя голос, который показался ему знакомым, но истерзанное его сознание уже не в состоянии было восстановить в памяти, кто этот человек. Впрочем, человек вроде был расположен к нему, Сотников почувствовал это по голосу и попросил:

— Воды!

Человек, слышно было, поднялся, не сильно, хотя и настойчиво постучал в дверь.

— Черти! Но слышит никто.

Плохо соображая уже, Сотников все же понял, что помощи здесь не будет. И он ничего не просил больше, погружаясь в забытие и оставаясь один на один со своими муками. Все время очень хотелось пить. Какой-то густой знойный туман обволакивал все вокруг, Сотников долго тащился в нем на ватных ногах, пока не увидел у забора колодец с ведром на цепи. Такими же ватными, бессильными руками он опускал это ведро в колодец, как вдруг из его черной бездны с тревожным фырканием бросился врассыпную шустрый кошачий выводок. Сотников терпеть не мог кошек и почти в испуге отпрянул от сруба, медленно приходя в себя. Затем он каким-то обра-

вом очутился на улице их довоенного городка и вдруг увидел перед собой Редькина, давнишнего своего ординарца, как раз несшего связку мокрых, наполненных водой фляг. Сотников схватился за одну из них, но фляга в его руках сразу же превратилась в противогазную сумку, а в сумке какая же вода...

Спустя некоторое время он все-таки дождался котелка с водой и долго мучительно пил. Но вода была теплая, невкусная, она не утоляла жажды, только противно наполняла желудок. Вождедепное это питье не принесло ему облегчения, лишь усилило муки, его стало тошнить. Было очень жарко от полуденного солнца, в окопчике, где он стоял, всюду пересыпался раскаленный песок с клочками сухой колючей травы. Он ничуть еще не напился, как рядом послышался окрик руководителя стрельбами полковника Логинова: «Темп! Темп!» Сотникова это удивило и обеспокоило одновременно: показалось странным, как он мог отвлечься на этот водопой во время стрельбы? Он испугался, что не уложится в темп подачи команд, который вместо полагавшихся шести — десяти секунд, наверно, перевалил за минуту.

Потом его видения стали тускнеть, сознание заволокло бессмыслицей, за которой едва пробивались ускользающие причудливые образы, усиливающие и без того нестерпимые его страдания...

Когда в камеру вернули Рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и он ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра?

— Хлопец, тут это... Воды надо... — сказал из угла Петр, пока Стась запирает дверь.

— Я тебе не хлопец, а господин полицай! — злобно заметил Стась.

— Пускай полицай. Извините. Человек помирает.

— Тула и дорога бандиту. Тебе тоже.

С громовым грохотом захлопнулась дверь, стало темно, Петр, вздохнув, опустился на солому в углу.

— Зверь!

— Тихо вы! — сказал Рыбак. — Услышат.

— Пусть слышат. Чего уж бояться...

Закрылась и наружная дверь, на ступеньках заглохли шаги полиция. Сделалось очень тихо, и стало слышно, как неподалеку, в подвале, кто-то тихонько плакал — короткие всхлипывания, паузы, — наверно, ребенок, или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промывал что-то Сотников.

— Да-а, этого изувечили. Выживет ли? — сказал Петр.

Рыбак подумал: «Вряд ли он выживет». И вдруг ему открылось чрезвычайно четко и счастливо: если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать что вздумается, других здесь свидетелей нет.

Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но, сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, Рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно же не жить. А Рыбак, может, еще и вывернется и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет не просто. Но ему важно было выиграть время — все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале.

Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постанывая, и Рыбак подумал: нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнаться, где уж ему!

— А тебе, гляжу, больше повезло, — рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик.

Эти его слова неприятно задела Рыбака — какое ему дело? Но он спокойно ответил:

— Мое все впереди.

— Ясное дело — впереди. Так они не оставят.

Рыбак неприязненно посмотрел в угол — становилось не по себе от непрошенных пророчеств этого человека: откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по особому от прочих счету, в благотворную силу которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать.

Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений: только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каб-

луки. Шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась.

— На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык! А ты, старый хрен, марш к Будиле!

Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицаи круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася.

— А зачем, не знаешь?

Полицай с неподдельным весельем заржал:

— Знаю: в подкидного сыграть. Ну, живо!

Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.

Встав на колени, Рыбак начал тормозить Сотникова. Тот, однако, только стопал. Тогда он одною рукой наклонил котелок, а другой приподнял голову Сотникова и немного влил в его рот воды. Сотников вздрогнул, но тут же жадно припал губами к шершавому краю котелка, несколько раз сдавленно трудно глотнул.

— Кто это?

— Это я. Ну как ты? Лучше?

— Рыбак? Фу-ты! Дай еще.

Рыбак снова придержал его голову — стуча зубами о котелок, Сотников выпил еще и пластом слег на солому.

— Что, мучили здорово? — спросил Рыбак.

— Да, брат, досталось, — выдохнул Сотников.

Рыбак заботливо оправил на нем шинель и привалился спиной к стене, рассеянно вслушиваясь в шумное дыхание товарища, которое, однако, помалу выравнивалось.

— Ну, как самочувствие?

— Теперь хорошо. Лучше. А тебя?

— Что?

— Били?

Этот вопрос застал Рыбака врасплох. Он не знал, как коротко объяснить товарищу, почему его не пытали.

— Да нет, но очень.

Сотников закрыл глаза. Его изможденное, серое с отросшей щетиной лицо едва выделялось в сумерках на серой соломе. В груди все хрипело. И тогда Рыбаку пришло в голову, что, пока имеется такая возможность, надо бы кое о чем условиться относительно предстоящих допросов.

— Слушай, я вроде их обхитрю,— шепнул он, склонившись к товарищу. Тот удивленно раскрыл глаза — широкие белки в глазницах тускло блеснули отраженным светом. — Только нам надо говорить одно. Прежде всего — шли за продуктами. Хутор сожжен, притопали к Лесинам, ну и...

— Ничего я им не скажу,— перебил его Сотников.

Рыбак прислушался, нет ли кого поблизости, но, кажется, всюду было тихо. Только сверху доносился голоса и шаги, как раз над их камерой. Но сверху его не услышат.

— Ты брось, не дури. Надо кое-что и сказать. Так слушай дальше. Мы из группы Дубового, он сейчас в Борковском лесу. Пусть проверят.

Сотников задержал дыхание:

— Но Дубовой действительно там.

— Ну и что?

Рыбак начинал злиться: вот же несговорчивый человек, разве в этом дело! Безусловно, Дубовой с группой в Борковском лесу, но оттого, что они назовут место его расположения, тому хуже не станет — полиция до него не доберется. Остатки же их отряда как раз в более надежном месте.

— Слушай! Ты послушай меня! Если мы их не проведем, не схитрим, то через день-два нам каюк. Понял? Надо немного и в поддавки сыграть. Не рвать через силу.

Сотников, слышно было, будто насторожился, притих, дыхание его замерло — сдается, он что-то обдумывал.

— Ничего не выйдет,— наконец сказал он.

— Как не выйдет? А что тогда выйдет? Смерти достукаться легче всего.

«Вот дурила»,— подумал Рыбак. Уж такого неразумного упрямства он не ожидал. Впрочем, сам одною ногой в могилу, так ему все нипочем. Не хочет даже шевельнуть мозгами, чтобы не потащить за собой и товарища.

— Ты послушай,— помолчав, горячо зашептал Рыбак. — Нам надо их поведать. Знаешь, как щуку на удочке. Иначе перетянешь, порвешь — и все пропало. Надо прикинуться смиренными. Знаешь, мне предложили в полицию,— как-то сам не желая того, сказал Рыбак.

Веки у Сотникова вздрогнули, затаенным тревожным вниманием сверкнули глаза.

— Вот как! Ну и что ж — побежишь?

— Не побегу, не бойсь. Я с ними поторгуюсь.

— Смотри, проторгуешься,— язвительно просипел Сотников.

— Так что же, пропадать? — вдруг озлясь, едва не вскрикнул Рыбак и замолчал, выругавшись про себя. Впрочем, черт с ним! Не хочет — его дело; Рыбак же будет бороться за себя до конца.

Сотников задыхал труднее — от волнения или от хвори; попытался откашляться — в груди зашипело, как на жаровне, и Рыбак испугался: помирает, что ли? Но он не умирал и вскоре, совладав с дыханием, сказал:

— Напрасно лезешь... в дерьмо! Позоришь красноармейскую честь. Живыми они пас не выпустят.

— Как сказать. Если постараться...

— Для кого стараться? — срываясь, зло бросил Сотников и задохнулся. Минуту он мучительно кашлял, потом шумно дышал, затем сказал вдруг упавшим голосом: — Не в карты же играть они тебя в полицию зовут.

«Наверно, не в карты», — про себя согласился Рыбак. Но он шел на эту игру, чтобы выиграть себе жизнь — разве этого недостаточно для самой, пусть даже отчаянной игры? А там оно будет видно, только бы не убили, не замучили на допросах. Только бы вырваться из этой клетки, и ничего плохого он себе не позволит. Разве он враг своим?

— Не бойсь,— сказал он. — Я тоже не лыком шитый.

Сотников засмеялся неестественно коротеньким смехом.

— Чудак! С кем ты вздумал тягаться?

— А вот увидишь.

— Это же машина! Или ты будешь служить ей, или она сотрет тебя в порошок! — задыхаясь, просипел он.

— Я им послужу!

— Только начни!

«Нет, видно, с ним не сговоришься, с этим чудачком человеком», — подумал Рыбак. Как в жизни, так и перед смертью у него на первом месте твердолюбое упрямство, какие-то принципы, а вообще все дело в характере, так понимал Рыбак. Но ведь кому не известно, что в игре, которая называется жизнью, чаще с выигрышем оказывается тот, кто больше хитрит. Да и как иначе? Действительно, фашизм — машина, подмывшая под свои колеса полмира, разве можно, стоя перед ней, размахивать голыми руками? Может, куда разумнее будет подобраться

со стороны и сунуть ей меж колес какую-нибудь рога-тину. Пусть папорется да забуксует, дав тем возможность потихоньку смыться к своим.

Сотников замолчал или, может, впал в забытие, и Рыбак перестал набиваться к нему с разговором. Пусть поступает как хочет — он же, Рыбак, будет руководствоваться собственным разумом.

Он лег на бок, подобрал ноги, повыше натянул воротник полушубка. Пока суд да дело, было бы неплохо вздремнуть, чтобы прояснилось в голове, потому как скоро, наверно, будет уже не до сна. Однако он верил в свою счастливую звезду и постепенно убеждался, что его отношения с полицией обрели правильное направление, которого и нужно держаться. Если только Сотников своим нелепым упрямством не испортит все его планы. Но, видно, Сотников долго не протянет. Станным это было и противным — думать о скорой смерти товарища. Но иначе не получалось. В его смерти он видел единственный для себя выход из этой западни.

Задумавшись, Рыбак не сразу услышал, как что-то живое тихонько корябнуло по его сапогу, потом снова. Он двинул ногой и вдруг ясно увидел крысу — серый ее комок метнулся к стене и затих там; длинный и топкий хвост настороженно пролегал по соломе. Содрогнувшись, Рыбак пнул туда каблуком — крыса, топенько пискнув, проворно скрылась в темном углу. По донесшейся из соломы тихой возне Рыбак, однако, понял, что там она не одна. Наверно, надо бы чем-то бросить в них, но под руками не было ничего подходящего, и Рыбак, сорвав с головы шапку, швырнул ее в угол.

Когда там притихло, он на четвереньках сполз за шапкой и опять привалился спиной к стене. Однако спать он уже не мог, сидел и с пеленым брезгливым страхом вглядывался в крысиный угол.

Петра привели не скоро, уже на закате солнца, когда сумерки в камере совсем сгустились и окошко вверх едва светилось скудным отсветом морозного дня. Да и в двери, когда та отворилась, уже не было прежней яркости. — нагнув белую голову, староста молча переступил порог и сунулся на свое место в углу.

Полицай не спешил закрыть двери, и Рыбак у ступеней болезненно сжался, стараясь как бы исчезнуть во мраке этой вонючей камеры. Было страшно, что следующим опять вызовут его, хотя он понимал, что от полицая это ничуть не зависело. Но не вызвали никого, дверь наконец затворилась, надежно звякнул засов. Полицай, однако,— на этот раз кто-то другой, не Стась — направился не к ступенькам: его шаги в коридоре повернули в другую сторону. Вскоре в глубине подвала застучали другие засовы, раздались глуховатый окрик и женский короткий всхлип.

В этот раз брали женщин.

Как только в подвале опять все затихло, к Рыбаку начало помалу возвращаться его самообладание. Что ж, беда пока миновала его, настигнув другого, и это, как всегда на войне, вопреки всему успокаивало. Будто тем самым давало ему дополнительные шансы выжить.

Рыбак не имел ни малейшего желания вступать в разговор со старостой, которого, похоже, пытали не очень, во всяком случае, не так, как Сотникова. Но то обстоятельство, что он, не проронив ни слова, отчужденно затих в своем мрачном углу, обеспокоило Рыбака.

— Ну как? Обошлось? — нарочито бодро спросил Рыбак.

Петр после непродолжительной паузы отозвался невеселым голосом:

— Нет, уже не обойдется. Плохи наши дела.

— Хуже некуда, — согласился Рыбак.

Староста высморкался, видно было, привычно разглядывал усы и сообщил как бы между прочим, ни к кому не обращаясь:

— Подговаривали, чтоб я выведал от вас. Про отряд лу и еще кое-что.

— Вот как! — неприятно удивился Рыбак, вспомнив свой недавний разговор с Сотниковым. — Шпионить, значит?

— Вроде того. Шестьдесят семь лет прожил, а под старость на такое дело... Не-ет, не по мне это.

Рядом на соломе, как-то испуганно вздрогнув, привстал на локтях Сотников.

— Кто это?

— Да тот, лесниковский староста, — подавленно сказал Рыбак.

Разговор на этом прервался, Рыбак и Петр притихли каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на четыре квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось, каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли.

И тогда опять затопали шаги на ступеньках, слышно было, раскрылась наружная дверь и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом: за кем? Тем не менее и теперь, видно, не забирали никого — напротив, кого-то привели в эту камеру.

— Ну! Марш!

Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног Рыбака. Когда дверь со стуком закрылась и полицейай, пошвыстывая, задвинул засов, Рыбак бросил в темноту:

— Кто тут?

— Я.

Голос был детский, это стало понятно сразу, — маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала.

— Кто я? Как зовут?

— Бася.

«Бася? Что за Бася? Будто еврейское имя, но откуда она тут взялась? — удивился Рыбак. — Всех евреев из местечка ликвидировали еще осенью, вроде нигде никого не осталось — как эта оказалась тут?! И почему ее привели в камеру к ним, а не к Дёмчихе?»

— Откуда ты? — спросил Рыбак.

Девочка молчала. Тогда он спросил о другом:

— Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр.

— Это Меера-сапожника дочка. Допрашивали тебя?

— Ага, — тихо подтвердила девочка.

— Меера тогда изничтожили вместе со всеми. Вот... одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?.. — И Петр вновь тяжело вздохнул.

Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим: почему ее привели сюда? В подвале были, наверно, и еще места — где-то поблизости сидели женщины, — почему же девочку посадили к мужчинам? Какой в этом смысл?

— Чего ж они добивались от тебя? — помолчав, тихо спросил Петр Басю.

— Чтоб сказала, у кого еще пряталась.

— А-а, вон как! Ну что ж... Это так. А ты не сказала? Бася затаилась, будто обмерла, молчала.

— И не говори, — одобрил погода староста. — Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченное, а про других молчи. Если и бить будут. Или тебя уже били?

Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный плач. Он был коротеньким, но столько пеподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе, слышно было, осторожно задержал дыхание.

— Рыбак!

— Я тут.

— Там вода была.

— Что, пить хочешь?

— Дай ей воды! Ну что ты сидишь?

Нащупав под стеной котелок, Рыбак потянулся к девочке.

— Не плачь! На вот, попей.

Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога.

— Иди сюда, — позвал Петр. — Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись.

Послушно подпавшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом.

— Да-а! Попались! Что они еще сделают с нами?

Рыбак молчал, не имея желанья поддерживать разговор, рядом тихонько постанывал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам — оттуда являлась беда.

И действительно, долго ждать ее не пришлось.

Спустя четверть часа со двора донеслось злое: «Иди, иди, падла!» — и не менее обозленное в ответ: «Чтоб тебя так и в пекло гнали, негодник!» — «А ну шевелись, не то как двину!» — прорычал мужской голос. На ступеньках затопали, заматерились — сомнений не было: это возвращали с допроса Дёмчиху.

Но почему-то ее также не поволокли в прежнюю камеру — полицаи остановились возле их двери, загревели засовом, и тот самый, хорошо знакомый им Стась сильно толкнул Дёмчиху через порог. Женщина споткнулась,

упала на Рыбаковы поги и громко запричитала в темноте:

— Куда ты толкаешь, негодяй! Тут же мужичины, а, божечка мой!..

— Давай, давай! Черт тебя не возьмет! — прикрикнул Стась. — До утра перебудешь.

— А утром что? — вдруг спросил Рыбак, которому слышался какой-то намек в словах полиция.

Стась уже прикрыл было дверь, но опять растворил ее и гаркнул в камеру:

— А утром gros аллес капут! Фарштэ?

«Капут? Как капут?» — тревожно пропеслось в смятении сознания Рыбака. Но страшный смысл этого короткого слова был слишком отчетлив, чтобы долго сомневаться в нем. И эта его отчетливость ударила как оглоблей по голове.

Значит, утром конец!

Почти не ощущая себя, Рыбак механически подобрал поги, дал пристроиться у порога жепщине, которая все всхлипывала, сморкалась, потом начала вздыхать — успокаиваться. Минуту они все молчали, затем Петр в своем углу сказал рассудительно:

— Что же делать, если попались. Надо терпеть. Откуда же ты будешь, жепщина?

— Я? Да из Поддубья, если знаете.

— Знаю, а как же. И чья же ты там?

— Дёмки Окуня женка.

Стараясь как-либо отделаться от недобрых предчувствий, Рыбак под стеной стал прислушиваться к Дёмчихе. Ему не хотелось обнаруживать себя разговором, тем более что Дёмчиха, возможно, не узнала его в темноте. Они уже познакомились с ее сварливым характером, и теперь, оказавшись в таком положении, Рыбак думал, что эта жепщина очень просто может закатить им скандал — было за что. Но она мало-помалу успокоилась, еще раз высморкалась. Голос ее понемногу ровнел, становился обычным, таким, каким она разговаривала с ними в деревне.

— Да-а,— озадаченно вздохнул Петр. — А Демьян в войске...

— Ну. Дёмка там где-то горюшко мыкает. А надо мной тут измываются. Забрали вот! Деток на кого покинули? И как они там без мся? Ой, деточки мои родненькие...

Только что смолкнув, она расплакалась снова, и в этот раз никто ее не утешал, не успокаивал — было не до того. В камере продолжали звучать зловещные слова Стася, они подавляли, тревожили, заставляли мучительно переживать всех, за исключением разве что старосты, остававшегося по-прежнему внешне спокойным и рассудительным. Между тем Дёмчиха как-то неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойнее уже заметила:

— Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!

— Портнов, что ли? — поддержал разговор Петр.

— Ну. Я же его кавалером помню — тогда Павкой звали. А потом на учителя выучился. Евонная матка на хуторе жила, так каждое лето на молочко да на яблочки приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчинами за ручку здоровался.

— Знаю Портнова, а как же, — сказал Петр. — Против бога, бывало, по деревням агитировал. Да так складно...

— Гадина он был. И есть гадина. Не все знают только. Культурный!

— А полицайчик этот тоже с вашего боку будто?

— Стась-то? Наш! Филиппепок-младший. Сидел за поповщицу, да пришел в первые дни, как началось. И что выделывать стал — страх! В местечке все над свреями измывался. Убивал, говорил. Добра патаскал — божечка мой! Всю хату завалил. А теперь вот и до нас, хрищеных, добрался.

— Это уж так, — согласился Петр. — С евреев начали, а гляди, пами кончат.

— Чтоб им на ошне висеть, выродкам этим.

— Я вот думаю все, — беспокоило заворочился староста, — ну пусть немцы. Известно, фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну а паши, которые с ними? Как их вот понимать? Жил, ел который, людям в глаза глядел, а теперь занял винтовку и уже застрелить поровит. И стреляют! Сколько перебили уже...

— Как этот, как его... Будила ваш! — не сдержавшись, напомнил Рыбак.

— Хватает. И Будила, и мало ли еще каких. Здешних и черт знает откуда. Любителей поразбойничать. Что ж, теперь им раздолье, — глухим басом степенно рассуждал лесниковский староста.

Что-то вспомнив, его нетерпеливо перебила Дёмчиха:

— Это самое, говорят, Ходоронок их, которого ночью ранили, сдох. Чтоб им всем передохнуть, гадовью этому!

— Все не передохнут,— вздохнул Петр. — Разве что наши перебьют.

На соломе задвигался, задышал, опять попытался подняться Сотников.

— Давно вы так стали думать? — просипел он.

— А что ж думать, сынок? Всем ясно.

— Ясно, говорите? Как же вы тогда в старосты пошли?

Наступила пеловкая тишина, все примолкли, насто-роженные этим далеко идущим вопросом. Наконец Петр, что-то преодолев в себе, заговорил вдруг дрогнувшим го-лосом:

— Я пошел! Если бы знал... Негоже говорить здесь. Хотя что уж теперь... Отбрыкивался как мог. В район не являлся. Разве я дурак, не понимаю, что ли. Да вот этак ночью однажды — стук-стук в окно. Открыл, гляжу, наш бывший секретарь из района, начальник милиции и еще двое, при оружии. А секретарь меня знал — как-то в кол-лективизацию отвозил его после собрания. Ну, слово за слово, говорит: «Слышали, в старосты тебе метят, так со-глашайся. Не то Будилу назначат — совсем худо будет». Вот и согласился. На свою голову.

— Да-а,— неопределенно сказал Рыбак.

— Полгода выкручивался меж двух огней. Пока не сорвался. А теперь что делать? Придется погибнуть.

— Погибнуть — дело нехитрое,— буркнул Рыбак, за-кругляя неприятный для него разговор.

То, что о себе сообщил староста, не было для него не-ожиданностью — после допроса у Портнова Рыбак уже стал кое о чем догадываться. Но теперь он был целиком поглощен своими заботами и больше всего опасался, как бы некоторые из его высказанных здесь намерений не дошли до ушей полиции и не оборвали последнюю ниточку его надежды.

Сотников между тем, раскрыв глаза, молча лежал на соломе. Сознание вернулось к нему, но чувствовал он себя плохо: адски болела нога от стопы до бедра, жгло паль-цы на руках, в груди все горело. Он понимал, что староста сказал правду, но от этой правды не становилось легче. Ощущение какой-то пеловой оплошности по отношению к этому Петру вдруг навалилось на Сотникова. Но кто в том повинен? Опять получалось как с Дёмчихой, кото-

рая явилась перед ними живым укором их непростительной беспечности. С опаской прислушиваясь теперь к словам женщины, Сотников ожидал, что та начнет ругать их последними словами. Он не знал, чем бы тогда возразил ей. Но шло время, а она весь свой гнев вымещала на полицию и пемцах — их же с Рыбаком даже и не вспомнила, будто они не имели ни малейшего касательства к ее беде. На злое сообщение Стася она также не реагировала — может, не поняла его смысла, а может, просто не обратила внимания.

Впрочем, поверить в это сообщение было страшно даже для готового ко всему Сотникова. Он также не мог взять в толк: то ли полицаи просто пугал, то ли действительно они подумали покопчить в один раз со всеми. Но неужели им не хватило бы двух смертей — его с Рыбаком, какой был смысл лишать жизни эту несчастную Дёмчиху, и незадачливого старосту, и девочку? Невероятно, но, видимо, будет так, думал Сотников. Скорпион должен жалить, иначе какой же он скорпион? Очевидно, для того и позаталкивали их в одну камеру. Камеру смертников.

15

Как-то незаметно Рыбак, сдаётся, заслул, как сидел — сторбившись под стеной. Впрочем, вряд ли это был сон — скорее усталое забытие на какой-нибудь час. Вскоре, однако, тревога разбудила его, и Рыбак открыл глаза, но сразу поняв, где он. Рядом в темноте тихоенько звучал разговор, слышался детский знакомый голос, сразу же напомнивший ему про Басю. Изредка его перебивал хриловатый старческий шепот — это вставлял свое слово Пётр. Рыбак прислушался к их тихой почной беседе, напоминавшей шуршание соломенной крыши на ветру.

— Сперва хотела бежать за ними, как повели. Выскочила из палисадника, а тетка Прасковья машет рукой: «Ни за что не ходи, говорит, прячься». Ну, побежала назад, за огороды, вошла в лозовый куст. Может, знаете, большой такой куёт в конце огородов у речки? Густой-густой. За два шага стежечка на кладку — как сидишь тихо, не шевелишься, писколечко тебя не видно. Ну, я и залезла туда, выгребла местечко в сухих листьях и жду. Думала, как мамка вернется — позовет, я услышу и выбегу. Ждала-ждала — не зовет никто. Уже и стемнело,

стало страшно. Все казалось, кто-то шевелится, крадется, а то станет, слушает. Думала: волк! Так волков боялась! И не заснула нисколечко. Как стало светлеть, тогда немного заснула. А как проснулась, очень есть захотелось. А вылезть из куста боюсь. Слышно, на улице гомон, какие-то подводки, из хат местечковых все выгружают, куда-то везут. Так я сидела и сидела. Еще день, еще ночь. И еще не помню уже сколько. На стежечке, когда бабы полоскать идут, так мне их ноги сквозь листву видать. Все мимо проходят. А мне так есть хочется, что уже и вылезть не могу. Сижу да плачу тихонько. А однажды кто-то возле куста остановился. Я затаилась вся, лежу и не дышу. И тогда слышу, тихонько так: «Бася, а Бася!» Гляжу, тетка Прасковья нагнулась...

— А ты не говори кто. Зачем нам про все знать,— спокойно перебил ее Петр.

— Ну, тетка одна дает мне узелок, а там хлеб и немножко сала. Я как взяла его, так и съела все сразу. Только хлеба корочка осталась. А потом как схватил живот... Так больно было, что помереть хотела. Просила и маму и бога — смерти просила.

Рыбак под стенкой зябко поежился — так это прозвучало по-житейски знакомо, будто перед ним исповедовалась какая-нибудь старушка, а не тринадцатилетняя девочка. И сразу же этот ее рассказ вызвал в нем воспоминание об одной девяностолетней бабке из какой-то лесной деревушки по ту сторону железной дороги. Они тогда вышли из лесу спросить про немцев, часок отдохнуть в тепле, ну и перекусить, конечно. В избе, что стояла на отшибе, никого не оказалось, лишь одна забытая богом глухая бабка сидела на печи, свесив на полки босые ноги. Пока они курили, бабка устало сетовала на господ бога, который не дает ей смерти и так мучительно растянул ее ничемную старушечью жизнь. Оказавшись одна и без родственников, она еще после той войны прижилась возле малознакомых чужих людей, которым надо было растить детей, досмотреть возле хаты. Видно, хозяева рассчитывали, что лет пять старушка еще продержится, тем временем подрастут дети, а там, гляди, придет срок — и на кладбище. Но срок этот не пришел ни через пять, ни через пятнадцать лет, задержалась старушка у чужих людей. За это время повзростали малые, погиб на финской войне хозяин, хозяйка сама едва сводила концы с концами — что ей было до немощной чужой старухи. А смерть

все не шла... Прощаясь тогда, Рыбак в шутку пожелал ей как можно скорее окончить свое пребывание на этом свете, и она искренне благодарила его, молясь все об одном. А теперь вот опять то же самое. Но ведь это ребенок.

Что делается на свете!

— А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот. Огромный такой серый котище из местечка, наверно, остался один, ну и ищет себе прокорму. Рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет! Вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот, думаю, если бы мне так наловчиться! Хотела я отнять рыбину, да не успела: удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. И глажу его и немножечко сплю. А он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уже знаю: надо бояться. А когда очень голод донял, выбралась почью на огород поблизости. У Кривого Залмана огурцы еще остались, семенные которые, морковка. Но кот же не ест морковки. Так мне его жаль станет...

— Пусть бы мышей ловил,— отозвалась из темноты Дёмчиха. — У нас, в Поддубье, у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не лгу. А как-то приволокла зайца огромного, да на чердак не встала — видно, не осилила. Утречком вышел Змитер, глядь: заяц под углом лежит.

— А, так то, наверно, у нее котята были,— догадался Петр.

— Ну, котятки.

— Так это понятно. Тут уж для котят старалась. Как мать все равно... Ну а потом как же ты?

— Ну так и сидела,— тихонько и доверчиво шептала Бася. — Тетка... Ну та, которая... еще несколько раз хлеба давала. А потом очень холодно стало, дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по зауголью, а под утро забралась в чей-то овин. Там пересидела три дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь и меня едва не нашли. Так я

перешла в сарай — свиньи там были. Ну и я возле них. Затаюсь ночью между свиньей и подвинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался...

— А, господи! Вот намучалась, бедная! — вздохнула Дёмчиха.

— Нет. Там тепло было.

— А как же с едой? Или послал кто?

— Так я же не показывалась никому. А ела... Ну там в корыте выбирала что-то...

— Ой, до чего людей довели, боже, боже!.. А хозяйка что, так и не заметили?

— Заместили, конечно. Заспала однажды — уже спел был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу — там дом был пустой, ну я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен, притаилась. Толстый такой клен там...

— Ой, паверно, что против аптеки? — догадалась Дёмчиха. — Так там же Игпаля Супрон жил...

— А тебе что? — неласково перебил ее Петр. — Кто ни жил, не все ли равно? Зачем спрашивать.

Дёмчиха, похоже, обиделась.

— Да я так. Если и сказала, так что?

— А ничего! А что потом... Ни к чему теперь и тапться — все равно... Свет не без добрых людей: Басю ко мне переправили, в деревню. Рассудили верно — у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались: меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли...

Рыбак совсем не удивился и этому, подумал только: плохо прятал, значит. Спрятал бы хорошо — не нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому не известно, что иногда и стены имеют уши? Впрочем, черт с ними! Что они все ему? К тому же, паверно, всем им уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть.

В камере настала гнетущая, сторожская тишина, которую погода парушила Бася.

— Под полом мне было хорошо: тетка Арипа мне сепничек положила. Я слышала, как те дяди заходили. А дяди ушли, я только уснула и сразу слышу — ругаются. Полицай!.. Ой-ой!

Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и Рыбак понял: крысы. Обнагтели или изголода-

лись так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу. Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собой светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга.

— Они же кусаются. Они же ножки мои обгрызли. И же их страх как боюсь. Дяденька!..

— Ничего, не бойся. Крысы что? Крысы не страшны. Укусят, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол садись. И я тут... Я их, чертей!..

Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася пригнулась на его насиженном на соломе месте. Сотников вроде спал. Напротив то вздыхала, то сморкалась Демчиха.

— Так что ж... Теперь сделаешь? — спрашивал в темноте Петр и сам себе отвечал: — Ничего уже не сделаешь. Терпи. Недолго осталось.

Стало тихо. Рыбак свободнее вытянул ноги, хотел было вздремнуть, но сон больше не шел.

Перед ним был обрыв.

Он отчетливо понял это, особенно сейчас, ночью, в минуту тишины, и думал, что ничего уже исправить нельзя. Всегда и всюду он ухитрялся пайти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь выхода не было. Исподволь его начал одолевать страх, как в том памятном с детства случае, когда он спас девчат и коня. Но тогда страх пришел позже, а в минуту опасности Коля Рыбак действовал больше инстинктивно, без размышлений, и это, возможно, все и решило. Впрочем, это случилось давно, еще до колхозов, в пору его деревенского детства — что было вспоминать о том? Но почему-то вот вспоминалось, вопреки желанию, — видимо, тот давний случай имел какую-то еще непроясненную связь с его нынешним положением.

Жили они в деревне, не хуже и не лучше других, считались середняками. У отца был ладный буланый коник, молодой и старательный, правда, немного горячий, но Коля с ним ладил неплохо. В деревне ребята рано прикипаются за крестьянский труд, в свои неполные двенадцать лет Коля уже пробовал понемногу и косить, и пахать, и бороновать.

В тот день возили с поля снопы.

Это считалось совсем уже мальчишечьим делом. Дорога была знакомой, изученной им до мельчайших подробностей. Почти с закрытыми глазами он помнил, где надо взять чуть-чуть стороной, где держать по колеям, как

лучше объехать глубокую, с водой, рытвину в логу. Самым опасным местом на этой дороге была Купцова гора — косогор, поворот и узкий овражек под высоким обрывом. Там падо было смотреть в оба. Но все обходилось благополучно. Отец подобрал последние крестцы в конце пивы и, видно, нагрузил телегу с избытком — едва хватило веревки, чтобы увязать воз. К нему наверх взобрались еще семилетняя сестренка Маня и соседская девочка Люба.

Всю дорогу, переваливаясь из стороны в сторону, он тихо сехал на высоком возу, как всегда уверенно управляя конем. Миповали Купцову гору, дорога пошла в лог. И тогда что-то случилось с упряжью, конь не сдержал, телега высоко задралась левой стороной и стала клониться направо. Коля бросил взгляд вниз и скатился с воза.

Ясно поняв, что должно произойти затем, он в каком-то бездумном порыве бросился под кренящийся тяжелый воз, подставляя под его край свое еще слабое мальчишеское плечо. Тяжесть была неимоверной, в другой раз он, паверное, ни за что бы не выдержал, но в этот момент выстоял. Девочки скатились на землю, его завалило снопами, но лошадь все же как-то справилась с возом и отвернула передок в сторону от угрожающей крутизны оврага.

Потом его хвалили в деревне, да он и сам был доволен своим поступком — все-таки спас от беды себя, коня и девчонок — и начал думать тогда, что иначе поступить не мог. И еще Коля поверил, что он человек смелый. Самым важным было, конечно, не растеряться и не струсить.

И вот теперь перед ним опять тот самый обрыв.

Только здесь не растеряться мало, и никакая смелость здесь не поможет, здесь нужно что-то другое, чего ему явно не доставало. Тут он связан по рукам и ногам и, видно, ничего уже сделать не сможет.

Но неужели тот следователь врал, когда что-то обещал ему, даже как будто уговаривал? Наверно, напрасно Рыбак тогда не согласился сразу — завтра как бы не было поздно. Впрочем, оно и понятно. Следователь тут, наверно, не самый большой начальник, есть начальство повыше, оно приказало, и все. А теперь поправить что-либо, переиначить, паверно, уже поздно.

Нет, на гибель он не мог согласиться, ни за что он не примет в покорности смерть — он разнесет в щепки всю их полицию, голыми руками задушит Портнова и того Стася. Пусть только подступят к нему...

После короткого разговора со старостой, который тем не менее совершенно обессилил его, Сотников ненадолго заснул. Проснувшись, он неожиданно почувствовал себя мокрым от пота; столько времени паливший его жар сменился потливой прохладой, и Сотников зябко поежился под своей волглой шинелью. Но голове стало вроде бы легче, горячая одурь, туманившая его сознание, исчезла, общее самочувствие улучшилось. Если бы не искалеченные, распухшие кисти рук и не набрякшая застаревшей болью нога, то он, возможно, посчитал бы себя здоровым.

В подвале было тепло и тихо, но никто, наверно, не спал, это ощущалось по частым, напряженным вздохам, скупым движениям, притихше-настороженному дыханию людей. И тогда Сотников вдруг понял, что истекает их последняя почь на свете. Утро уже будет принадлежать не им.

Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством встретить смерть. Разумеется, иного он и не ждал от этих вырожденков: оставить его живым они не могли — могли разве что замучить в том дьявольском закутке Будилы. А так, возможно, и неплохо: пуля мгновенно и без мук оборвет жизнь — не самый худший из возможных, во всяком случае, обычный солдатский конец на войне.

А он, дурак, все боялся погибнуть в бою. Теперь такая гибель с оружием в руках казалась ему недостижимой роскошью, и он почти завидовал тысячам тех счастливых, которые нашли свой честный конец на фронте великой войны.

Правда, в эти несколько партизанских месяцев он все-таки что-то сделал, исполняя свой долг гражданина и бойца. Пусть не так, как хотел, — как позволили обстоятельства: несколько врагов все же нашло смерть и от его руки.

И вот наступил конец.

Все сделалось четким и категоричным. И это дало возможность строго определить выбор. Если что-либо еще и заботило его в жизни, так это последние обязанности по отношению к людям, волею судьбы или случая оказавшимся теперь рядом. Он понял, что не вправе погибнуть прежде, чем определит свои с ними отношения, ибо эти

отпошения, видно, станут последним проявлением его «я» перед тем, как оно навсегда исчезнет.

На первый взгляд это казалось странным, но, примирившись с собственной смертью, Сотников на несколько коротких часов приобрел какую-то особую, почти абсолютную независимость от силы своих врагов. Теперь он мог полной мерой позволить себе такое, что в другое время затруднилось обстоятельствами, заботой о сохранении собственной жизни, — теперь он чувствовал в себе новую возможность, не подвластную уже ни врагам, ни обстоятельствам и никому в мире. Он ничего не боялся, и это давало ему определенное преимущество перед другими, равно как и перед собой прежним тоже. Сотников легко и просто, как что-то элементарное и совершенно логическое в его положении, принял последнее теперь решение: взять все на себя. Завтра он скажет следователю, что ходил в разведку, имел задание, в перестрелке ранил полиция, что он — командир Красной Армии и противник фашизма, пусть расстреляют его. Остальные здесь ни при чем.

По существу, он жертвовал собой ради спасения других, но не менее, чем другим, это пожертвование было необходимо и ему самому. Сотников не мог согласиться с мыслью, что его смерть явится чепой случайностью по воле этих пьяных прислужников. Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком чепегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу.

Было холодно, время от времени он вздрагивал и глубже залезал под шинель. Как всегда, принятое решение принесло облегчение, самое изнурительное на войне — неопределенность больше не досаждала ему. Он уже знал, когда произойдет его последняя битва с врагами, и знал, на какие станет позиции. С них он не отступит. И хотя этот посидинок не сулил ему легкой победы, он был спокоен. У бобиков оружие, сила, но и у него тоже есть на чем постоять в конце. Он их не боялся.

Немного пригревшись под шинелью, он снова незаметно уснул.

Приснился ему странный, путанный сон.

Было даже удивительно, что именно такой сон мог присниться в его последнюю чепь. Он увидел что-то из детства и среди прочего незначительного и малопонятного

какую-то нелепую сцену с отцовским маузером. Будто Сотников начал вынимать его из кобуры, неосторожно повернул в сторону и сломал ствол, который, как оказалось, был не стальной, а оловянный, как в пугаче. Сотникова охватил испуг, хотя в то время он был уже совсем не мальчишкой, а почти что пынешним или, возможно, курсантом — действие почему-то происходило в ружейном парке в училище. Он стоял возле пирамиды с оружием и не знал, как быть: с минуты на минуту здесь должен был появиться отец. Сотников бросился к пирамиде, но там не оказалось ни одного незанятого места, во всех гнездах стояли винтовки. Тогда он дрожащими руками рванул жестяную дверцу печки и сунул пистолет в черную, с окурками дыру топки.

В следующее мгновение там засветился огонь — раскаленные пылающие уголья, в которых как будто плавилось что-то яркое, и он в совершенной растерянности стоял напротив, не зная, что делать. А рядом стоял отец. Но Сотников-старший даже не вспомнил про маузер, хотя у сына было такое ощущение, что он знал обо всем происшедшем за минуту до этого. Потом отец опустил перед топкой па корточки и вроде сожалеюще сказал шепелявым, старческим голосом: «Был огонь, и была высшая справедливость на свете...»

Сотникову показалось, что это из Библии — толстая ее книга в черном тисненном переплете когда-то лежала на материнском комод, мальчишкой он иногда листал со желтые, источавшие особенный, обветшалое-книжный запах страницы. Теперь ему было удивительно слышать, как Библию цитировал отец, который не верил в бога и открыто не любил попов.

Неизвестно, как долго горел тот огонь в печке, сознание Сотникова опять погрузилось во мрак. Наверно, не скоро еще он стал приходить в себя, начав различать поблизости какие-то невнятные звуки: стук, шорох соломы и тихий старческий голос. Когда же вернулось ощущение реальности, Сотников понял, что это гоняли крыс. Окончательно очнувшись, он долго, мучительно откашливался, все размышляя, что бы мог значить этот его сон. И как-то постепенно и естественно его мыслями завладело щемящее воспоминание о его давнем, далеком детстве...

Маузер не странная причуда этого сна, он действительно хранился у старого Сотникова, бывшего краскома, а до того — кавалерийского поручика с двумя «георгиями» на

широкой груди — офицерское фото отца он не раз видел в красивой, замысловато расписанной павлинами маминной шкатулке. Иногда по праздникам отец доставал из комода свой пистолет, и тогда сыну было позволено придержать его за желтую деревянную кобуру, чтобы отец мог вытянуть из нее маузер — вынуть его самому отцу было неловко, его искалеченная на войне рука постепенно отнималась. Это были самые счастливые в жизни мальчишки минуты, но потом он мог лишь наблюдать, как отец протирает оружие — ни разу ему не было разрешено даже поиграть с пистолетом. «С оружием и наградами играть запрещено», — говорил Сотников-старший, и мальчик не упрямился, не просил. Слово отца в семье было законом, в большом и в малом дома царил его культ. Впрочем, это никому не казалось странным: отец его пользовался в городке известностью и даже славой героя гражданской войны, который лишь по причине своего увечья и чрезмерной гордости, как однажды объяснила мать, зарабатывал на хлеб починкой часов.

Вороненый, в деревянной кобуре маузер был затаенной мечтой Сотникова-младшего, но напрасно было просить его также и у матери.

И тогда мальчишка решился взять пистолет сам.

Как-то, проснувшись утром, он услышал глухую тишину в доме. Отец, наверно, куда-то ушел из каморки, откуда по дому разносилась привычная разноголосица часовых механизмов; мать, он уже знал, отправилась рано в церковь — над городом плыл колокольный перезвон утренней службы.

Торопливо потянув коротенькие, до коленей, штанишки, оставив на потом умывание и чистку зубов, он скорее всего пропрыгнул в мамину спальню. Заветный ящик комода был плотно задвинут, но в замочной скважине беспечно торчал маленький медный ключик, который мальчишка тут же повернул на один оборот и вынул скользкую, лакированную, неожиданно тяжелую кобуру. На ее деревянном боку блестела знакомая пластинка с надписью, которую он знал наизусть: «Красному комэску А. Сотникову от Реввоенсовета Кавармии». Первое же прикосновение к оправленной деревом рукоятке взбудоражило мальчишку. Руки его уверенно управились с защелкой, и вот уже весь маузер туго, но податливо вышел из кобуры, сдержанно и таинственно засияв своими воронеными частями. Никогда прежде не испытанное тревожно-

полнующее чувство охватило мальчишку, минуту он изучил пистолет — подвинул прицел, попытался отвести затвор, заглянул в ствол. Но самым большим наслаждением, конечно, было прицелиться. Только не успел он как следует обхватить рукоятку и пальцем нащупать спуск, как совершенно неожиданно и пепоятно из-под его рук куда-то под стол оглушительно грохнуло выстрелом.

Минуту он стоял помертвевший, слушая болезненно-острый звон в ухе. Отскочив от стены, по полу катилась гильза, под столом, появившись неизвестно откуда, валялась толстая, источенная жучком щепка с темным и ко-сым следом пули.

Поняв наконец, что случилось, он сунул пистолет в кобуру, запер все в комод и не мог себе найти места, пока не вернулась мать. Та сразу почувствовала недоброе, кинулась к сыну с расспросами, и он рассказал все как было. Разумеется, справиться с такой бедой не могла и мать, которая очень испугалась за него, даже заплакала, чего никогда прежде с ней не случалось, и сказала, что он должен во всем признаться отцу.

Решиться на это признание было непросто. Пока набирался решимости, минул час или больше, и наконец сам не свой он открыл дверь отцовской каморки.

Отец работал. Как всегда, низко склонившись над подоконником, сосредоточенно ковырялся в часовом механизме. Правая его рука в черной перчатке бессильно покоилась на коленях, а левая ловко колупала, вытислила, разбирала и складывала разные маленькие блестящие шпучки, из которых состояли часы. На стенах не в лад друг другу размахивали маятниками, звякали и тикали два десятка дешевых, размалеванных по циферблату ходиков, несколько будильников, угол занимал громоздкий, принесенный накануне из райкома деревянный футляр с тяжелыми гирями. Отец не обернулся на появление сына, но, как всегда безошибочно узнав его, совершенно нестати теперь спросил бодрым голосом:

— Ну как дела, молодой человек? Одолеет мариинста?

Мальчик проглотил неожиданно подскочивший к горлу комок — накануне он принялся читать Станюковича. Из других книжек, лежавших в огромном дедовском сундуке, уже мало что осталось им неп прочитанного, разве что собрание сочинений Писемского и несколько разрозненных томов Станюковича, один из которых третьего дня

и выбрал ему отец. Но теперь было не до книг, и он сказал:

— Папа, я брал твой маузер.

Отец как-то странно мотнул головой, отложил пипцет, привычным движением руки снял очки и строго посмотрел на сына.

— Кто разрешил?

— Никто. И это... Он выстрелил,— упавшим голосом произнес сын.

Ничего не говоря больше, отец встал и вышел из комнаты. Он же остался стоять у двери с таким чувством, будто его сейчас должны положить под нож гильотины. Но он знал, что виноват, и готов был принять самую беспощадную кару.

Вскоре отец вернулся.

— Ты, щенок! — сказал он с порога. — Какое ты имел право без разрешения притрагиваться к боевому оружию? Как ты посмел по-воровски лезть в комод?

Отец долго и нещадно отчитывал его — и за неосторожность, и за выстрел, который мог причинить несчастье, и больше всего за тайное его ссоеволие.

— Единственно, что смягчает твою вину, так это твое признание. Только это тебя спасает. Поцял?

— Да.

— Если сам, конечно, подумал. Сам?

Чувствуя, что окончательно гибнет, мальчик кивнул, и отец успокоенно, протяжно вздохнул.

— Ну и за то спасибо.

Это было уже слишком — ложью покупать отцовское спасибо, в глазах у него потемнело, кровь прилила к лицу, и он стоял, не в силах сдвинуться с места.

— Иди играй,— сказал тогда отец.

Так, в общем, легко обошлось ему то послушание — наказание ремнем его миновало, но его малодушный кивок болезненной царапиной остался саднить в его душе. Это был урок на всю жизнь. И он ни разу больше не солгал ни отцу, ни кому другому, за все держал ответ, глядя людям в глаза. Видно, и мать не сказала отцу, по чьей инициативе произошло то объяснение. Так, со счастливой уверенностью в добропорядочности сына и окончил свой путь на земле этот кавалерийский командир, инвалид гражданской войны и часовой мастер, твердо надеясь, что сыну достанется лучшая доля.

И вот досталась...

В дремотной утренней тишине наверху застучали шаги, глуховато донеслись голоса, загрохали двери. Здесь, в подвале, особенно слышны были эти двери, временами от их громкого стука даже сыпалось с потолка. Рыбак не спал — подогнув ноги, молча лежал на боку под стеной и слушал. Теперь все его внимание сосредоточилось в слухе. Окошко вверху поемному светлело, на дворе, наверно, уже рассвело, и в камере также становилось виднее. Из ночных сумерек медленно выступали тусклые, измятые, как бы изжеванные, фигуры арестантов — присмиревшей Дёмчихи напротив; в углу неподвижно, с угрюмым видом Петра; Баси, правда, еще не было видно в темноте под окном. Сотников, как и прежде, лежал на спине рядом и шумно дышал. Если бы не это его дыхание, можно было бы подумать, что он неживой. Наступал трудный, наверно последний, их день, они все предчувствовали это и молчали, каждый в отдельности переживая свою беду.

Сапоги наверху затопали чаще, непрерывно грохала дверь. И вдруг в подвал ворвался разговор со двора. Рыбак поднял голову, слегка прислонился затылком к стене. Слов невозможно было разобрать, но было очевидно, что там собирались, видимо, строились. Но почему никто еще не спустился в подвал? Будто забыли о них.

Кто-то прошел возле самой стены, послышался близкий скрип подошв на снегу. Невдалеке от окна что-то звякнуло, затем громко раздался грубый, с хрипотой голос:

— Да тут три всего.

— А шуфля еще была. Шуфлю посмотри.

— Что шуфля! Лопаты нужны.

Снова что-то металлически зазвякало, потом проскрипели шаги, и опять поблизости все стихло. Но этот короткий разговор всколыхнул Рыбака: зачем лопаты? Лопаты только затем, чтоб копать. А что теперь можно было копать по зиме? Окоп? Канаву? Могилу? Наверно, могилу. Но для кого?

И тут он вспомнил: видно, действительно умер тот полицай.

Он повернул голову, вопросительно взглянул по сторонам. Дёмчиха из-под смятого платка также тревожно-попыхивающе смотрела на него, в углу в напряженном ожидании застыл Петр. Никто не проронил ни слова, все вслушивались, сдерживая в душах страх и неуверенность.

Эта их неуверенность продолжалась, однако, недолго. Спустя минуту за той же стеной снова затопали, да так решительно и определенно, что ни у кого уже не возникло сомнения — шли к ним, в подвал. Когда загрела первая дверь, Рыбак скоренько сел, почувствовав, как вдруг и недобро заколотилось в груди сердце. Рядом завожился, принялся кашлять Сотников. «Откроют — рвануть, сбить с ног — и в дверь», — с запоздалой решимостью подумал Рыбак, но тут же понял: нет, так не выйдет — за дверью ступеньки, не успеть.

А дверь в самом деле уже отворялась, в камеру шло стужей, ветреной свежестью, и яркий свет со двора сразу высветил пять серых встревоженных лиц. В дверном проеме появился расторопный Стась, за ним маячил еще кто-то с винтовкой в руках.

— Генуг спать! — во все горло заревел полицейский. — Отоспались. Выходи: ликвидация!

«Значит, не ошиблись, действительно конец, — пронеслось в сознании Рыбака. — Если бы кого одного, а то всех значит...» На минуту он как-то обмяк, вдруг лишившись всех своих сил, вяло подобрал ноги, поправил шапку на голове и только затем оперся о солому, собираясь встать.

— А ну выскакивай! Добровольно, но обязательно! — крикливо понукал Стась.

Петр в углу первым встал на ноги, заохал, начала подниматься Дёмчиха. Пытаясь встать, залапал руками по стене Сотников. Рыбак невидящим взглядом скользнул по его бледному, еще больше осунувшемуся за ночь лицу, на котором темнели глубоко провалившиеся глаза, и не додумав чего-то, чего-то не прочувствовав, направился к выходу.

— Давай, давай! Двадцать минут осталось! — подгонял полицай, входя в их вонючее, усталое соломою лежбище. — Ну ты, одноногий, живо!

— Прочь руки! Я сам! — прохрипел Сотников.

— А ты, жидовка, что ждешь? А ну выметаись! Не хотела признаваться — будешь на веревке болтаться, — сострил Стась и тут же вызверился: — Гэт, юда паршивая!

По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал погами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После почти, проведенной в смрадном подвале, в голове за-

кружилось, будто от хмельного. Во дворе напротив стояло человек шесть полицаев с оружием наизготовку — они ждали. Утро выдалось пасмурное, был небольшой морозец, над крышами из труб стремительно рвались в пространство сизые клочья дымов.

Рыбак нерешительно стал перед крыльцом, рядом остановилась Дёмчиха и с ней вместе Бася, которая, будто к матери, потянулась теперь к этой женщине. Зябко прижимая одну к другой босые закоревшие ступни, она со страхом оглядывала полицаев. Петр с мрачной отрешенностью во всем своем седовласом старческом облике стал чуть поодаль. Тем временем Стась, грязно ругаясь, втащил по ступенькам Сотникова, которого тут же устало бросил на снег. Не дав себе передышки, Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой, окровавленной шинсли.

— Где следователь? Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым, срывающимся голосом и закашлялся.

Рыбак спохватился, что и ему тоже необходим следователь, но в отличие от Сотникова он произнес спокойно:

— Да, отведите нас к следователю. Он вчера говорил...

— Отведем, а как же! — с издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу: — А ну, руки! Руки!

Делать было нечего, Рыбак протянул руки, тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно, грубо и больно. Рыбак поморщился — не так от боли в запястьях, как от охватившего его отчаяния: ведь это был в самом деле конец.

— Доложите следователю. Нам надо к следователю, — проговорил он не очень, однако, решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног.

Но полицай сзади только зло выругался.

— Поздно. Отследовались уже.

— Как это отследовались! — закричал Рыбак и глянул через плечо: небритая, в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему, — такого, наверно, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить: — Ну позовите Портнова. Что вам стоит? Люди вы или пет?

Но до Портнова, наверное, было дальше, чем до его, Рыбака, смерти. Никто ему даже не ответил.

Между тем руки его были умело и туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу, и его оттолкнули в сторону. Взялись за Дёмчиху.

— Ты, давай сюда следователя! — кашляя, настырно требовал Сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Дёмчихи.

Но тот даже не взглянул в его сторону, он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам, будто это уже были не люди. И это еще больше убедило Рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки?

Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности, и он растерянным взглядом заметался вокруг. Но спасения нигде не было. Напротив, судя по всему, быстро приближался конец. На крыльцо из помещения один за другим начало выходить начальство — какие-то чины в еще поветской, видно, только что напяленной, полицейской форме: черных коротковатых шинелях с серыми воротниками и такими же обшлагами на рукавах, при пистолетах; двое, наверное, немцы, были в длинных жандармских шинелях и фуражках с высоко поднятым верхом. Несколько человек, одетых в штатское, с шарфами на шеях, держались заметно отчужденно — будто гости, приглашенные на чужой праздник. Полицейские на дворе уважительно притихли, подобрались. Кто-то торпливо посчитал сзади:

— Раз, два, три, четыре, пять...

— Ну, все готово? — спросил с крыльца плечистый полицейский с маленькой кобурой на животе.

Именно эта кобура, а также фигура сильного видного среди других человека подсказали Рыбаку, что это начальник. Только он подумал об этом, как сзади сипло выкрикнул Сотников:

— Начальник, я хочу сделать одно сообщение.

Остановясь на ступеньках, начальник впери в арестанта тяжелый взгляд.

— Что такое?

— Я партизан. Это я ранил вашего полицейского, — не очень громко сказал Сотников и кивнул в сторону Рыбака. — Тот здесь оказался случайно — если понадобится, могу объяснить. Остальные ни при чем. Берите одного меня.

Начальство на крыльце примолкло. Двое, шедшие впереди, недоумевающе переглянулись между собой, и Рыбак ощутил, как в душе его вспыхнула маленькая спасительная искорка, зажегшая слабенькую еще надежду: а вдруг поверят? Это его обнадежившее чувство тут же породило тихую благодарность Сотникову.

Однако минутное внимание на лице начальника сменилось нетерпеливой строгостью.

— Это все? — холодно спросил он и шагнул со ступеньки на снег.

Сотников заикнулся от неожиданности.

— Могу объяснить подробнее.

Кто-то недовольно буркнул, кто-то заговорил по-немецки, и начальник махнул рукой.

— Ведите.

«Вот как, не хочет даже и слушать», — опять впадая в отчаяние, подумал Рыбак. Наверное, все уже решено загодя. Но как же тогда он? Неужели так ничем и не поможет ему это героическое заступничество Сотникова?

Осторожно ступая по прогибающимся деревянным ступенькам, полицаи сходили с крыльца. И вдруг в одном из них, что на этот раз также был в полицейской форме, Рыбак узнал Портнова. Ну, разумеется, это был тот самый вчерашний следователь, который так обнадежил его своим предложением и теперь как бы отступился. Увидев его, Рыбак встрепнулся, весь подался вперед. Была не была — теперь ему уже ничто не казалось ни страшным, ни даже неловким.

— Господи! следователь! Господи! следователь, одну минутку! Вы это вчера говорили, так я согласен. Я тут, ей-богу, ни при чем. Вот он подтвердил...

Начальство, которое уже направлялось со двора кулице, опять недовольно, по-одному стало останавливаться. Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и необмято топорщилась на его маленькой, тощей фигуре, черная пилотка по-петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него, и следователь что-то бойко объяснил по-немецки.

— Подойдите сюда!

При пристальном внимании с обеих сторон Рыбак подошел к крыльцу. Каждый его шаг мучительным ударом

отзывался в его душе. Ниточка его еще не окрепшей надежды с каждой секундой готова была навсегда оборваться.

— Вы согласны вступить в полицию? — спросил следователь.

— Согласен, — со всей искренностью, на которую был способен, ответил Рыбак.

Он не сводил своего почти преданного взгляда с свежего, немолодого, хотя и тщательно выбритого лица Портнова. Следователь и немец обменялись еще песколькими фразами по-немецки.

— Так. Развязать!

— Сволочь! — как удар, стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова, который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем.

Но пусть! Что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться, Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно: будет жить! Развязавшие руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих, — теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик Дёмчихи:

— Ага, пускаете! Тогда пустите и меня! Пустите! У меня малые, а божечка, как же они!..

Ее исполненный дикого отчаяния крик снова заставил всех остановиться, и ближе других к ней оказался Портнов. Высокий немец недовольно прокартавил что-то, и следователь взмахнул рукой.

— Ведите! — сказал он и повернулся в сторону Рыбака. — Вы подсобите тому, — вдруг указал он на Сотникова.

Рыбаку это мало понравилось, от Сотникова теперь он хотел бы держаться подальше. Но приказ есть приказ, и он с готовностью подскочил к недавнему своему товарищу, взял его под руку.

Сквозь пастежь раскрытые ворота их повели на улицу. Полицай с виптовками наготове шли по обе стороны. Начальство, растянувшись, приотстало, пропуская их впереди себя. Первым шел Петр — высокий и старый, с белою, без шапки головой и заломленными назад руками.

На нем, давясь плачем, тащилась Дёмчиха. Рядом в какой-то темной, с чужого плеча одежке с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася.

Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу. Почерневшая его стопа, будто неживая, костью ковыряла пальцами снег, оставляя на нем неестественным отпечатки. Он молчал, и Рыбак не отважился заговорить с ним. Идя вместе, они уже оказались по разные стороны черты, разделявшей людей на друзей и врагов. Рыбак хотя и чувствовал, будто виноват в чем-то, но старался себя убедить, что большой вины за ним нет. Виноват тот, кто делает что-то по своей злой воле или ради выгоды. А у него какая же выгода? Просто он имел больше возможностей и схитрил, чтобы выжить. Но он не изменник. Во всяком случае, ставиться немецким прислужником не собирался. Он все ждал, чтобы улучшить удобный момент — может, сейчас, а может, чуть позже, и только они его увидят...

18

Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло, как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках у немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию — наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве.

Едва держась на ногах, он ослабело тащился за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его — такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство, но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможностей перебежать в полицию, да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно. По крайней мере, не хуже других. Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства.

Сотникову было мучительно обидно за свое наивное фантазерство — сам потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасти других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека снесет в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны по меньшей мере чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью.

Сотников понемногу приходил в себя, его начала понимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и голова оттого стыла до ломоты в мозгу. И вообще, студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.

На пустой местечковой улице они перешли мосток, дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревьев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом; широкое полотнище фашистского флага развевалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился: какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар. А может, что-либо случилось? Или скорее всего согнали население, чтобы устроить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком, и тем не менее борьба разгорается. На смену казенным придут другие. Смелые всегда найдутся.

Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу, нога вся горела непрестанной глубиной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличивал свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам, — теперь он почти виснул на твердой руке Рыбака. От мостика начался пологий подъем, и ему стало еще труднее, не хватало дыхания, в глазах темнело, дорога

то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится, и тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса, в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе — даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством — это стало главной целью его последних минут.

Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились, впереди послышался разговор по-немецки — несколько человек из пачальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживающего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения — дальше дороги уже не было.

И тогда Сотников увидел веревки.

Пять гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых, со знанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, еще довоенной уличной арки. «Пригодилась», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение — точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздниками ее убрали березой и хвоя. прилаживали паверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом перед исполкомом собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из двух школ, рабочих льпозавода, мастеровских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда из фанеры или развевался на ветру флажок, придававшие особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было, только на столбах из-под почерпевших реек-лучин выглядывали бумажные обрывки да трепыхался на ветру какой-то вылинявший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, паверно, специально ради такого случая выписанных со склада, веревок.

А он думал, будет расстрел...

Двое — полицаи и еще кто-то в серой суконной поддевке — несли через улицу старую, колченогую скамью,

и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову — беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенным, да и от всей этой унижительной, бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвилось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петель.

Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя: ничего, ничего!.. В конце концов это их право, их звериный обычай, их власть. Теперь последняя его обязанность — терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают.

Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный, вездесущий Стась, а также здоровенный, пиже хлястика подпоясанный по шинели Будила и другие полицаи повели их под арку. Наступая на закорючавшую, болезненную ступню, Сотников прикинул: оставалось шагов пятнадцать — двадцать, и он отнял у Рыбака руку — хотел дойти сам. Они прошли между полицаев, возле группы немецкого и штатского начальства, которое терпеливо топталось под стеной здания. Начинался спектакль, местная полицейская самодеятельность на немецкий манер. Полицаи поторапливались, суетились, что-то у них не получалось как следует. Некоторые из начальства хмурились, а другие незло и беззаботно переговаривались, будто сошлись по будничной, не очень интересной надобности и скоро возвратятся к своим привычным делам. С их стороны доносился запах сигарет и одеколона, слышались обрывки случайных, ничего не значащих фраз. Сотников, однако, не смотрел туда — притаившись к арке, чтобы не упасть, прислонился плечом к столбу и в изнеможении прикрыл глаза.

Нет, наверно, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно, только жизнь может противостоять злу и насилию. Смерть же лишаст всего. И если тому лейтенанту в сосняке своей гибелью еще удалось чего-то добиться, то вряд ли он на это рассчитывал. Просто такая смерть была необходима ему самому, потому что он не хотел погибать овцой. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности ты лишился малейшей возможности? Что можно сде-

лать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобикам?

Да, награды не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с Рыбаком он не мог, это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того широкий круг его возможностей становился все уже и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она, единственная, в самом деле зависела только от него и никого больше, только он повластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была его последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь.

По одному их пачали разводил вдоль виселицы. Под крайнюю от пачальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников изглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине.

Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверно, и здесь заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам вскочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанно и значительно, как в церкви, поклонился людям. Потом к скамье подтолкнули Басю. Та проворно взобралась на свое место и, зябко переступая замерзшими, потрескавшимися погами, с детской непосредственностью припалась разглядывать толпу у штакетника — будто высматривала там знакомых.

Скамьи на всех, однако, не хватило. Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежестопленные от бревна чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Дёмчиху, а его Рыбак с полицаем потащили на край, к чурбанам.

Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик Дёмчихи. От неожиданности Сотников оглянулся — женщина, упираясь погами, всячески отбивалась от полицая, не желая лезть под петлю.

— Ай, папочки, простите! Простите дурной бабо, я ж не хотела, не думала!

Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то командовал Будила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на Рыбака, а сам бросился к Дёмчихе. Несколько полицасов потащили ее на ящик.

Рыбак, оставшись с Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему под аркой чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с узковато затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. «Одна на двоих», — почему-то подумалось Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство: «Эх, была не была!» Бросив упыло застывшему Рыбаку: «Держи!», он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия Сотников слегка оперся локтем о его спину, папрягся и, сжав зубы, кое-как взобрался паверх.

Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, ледящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полущубке спина Рыбака, заскорузлые его руки плотно облапили основую кору чурбана. «Выкрутился, сволочь!» — недобро, вроде бы с завистью подумал про него Сотников и тут же усомнился: надо ли так? Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой. Рыбак был неплохим партизаном, наверно, считался опытным старшипой в армии, но как человек и гражданин, безусловно, недобрал чего-то. Впрочем, он решил выжить любой ценой — в этом все дело.

Рядом все плакала, рвалась из рук полицасов Дёмчиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках — приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казней. Шли последние минуты жизни, и Сотников, застыв на чурбане, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, по такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, чахлыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колодки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись об-

парпаппые степы недалекой церквушки, се проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были паспех заколочены неокоренным суковатым горбылем...

Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке, бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю и, обдирая его болезненные, замороженные уши, надвинули ее на голову до подбородка. «Ну вот и все», — отметил Сотников и опустил взгляд вниз, на людей. Природа сама по себе, она всегда без усилия добром и миром ложилась на душу, но теперь ему захотелось видеть людей. Печальным взглядом он тихонько повел по их перовному настороженному ряду, в котором преобладали женщины и только изредка попадались пемолодые мужчины, подростки, девчата — обычный местечковый люд в тулупчиках, ватниках, армейских обносках, платках, самотканых свитках. Среди их безликого множества его внимание остановилось на топковатой фигурке мальчика лет двенадцати в низко надвинутой на лоб старой армейской буденовке. Тесно запахнувшись в какую-то одежду, мальчопка глубоко в рукава вбирал свои озябшие руки и, видно было отсюда, дрожал от стужи или, может, от страха, с детской заворуженностью на бледном, болезненном личике следя за происходящим под виселицей. Отсюда трудно было судить, как он относится к ним, но Сотникову вдруг захотелось, чтобы он плохо о них не думал. И действительно, вскоре перехватив его взгляд, Сотников уловил в нем столько безутешного горя и столько сочувствия к ним, что не удержался и одними глазами улыбнулся мальцу — ничего, браток.

Больше он не стал всматриваться и опустил взгляд, чтобы избежать ненавистного ему вида начальства, немцев, следователя Портнова, Стася, Будицы. Их дьявольское присутствие он ощущал и так. Объявление приговора, кажется, уже закончилось, раздались команды по-немецки и по-русски, и вдруг он почувствовал, как, будто ожив, напряженно дернулась на его шее веревка. Кто-то в том конце виселицы всхрапнул раз и другой, и тотчас, совершенно обезумев, завопила Дёмчиха:

— А-а-а-ай! Не хочу! Не хочу!

Но ее крик тут же и оборвался, морозно хрястнула вверху поперечина арки, сдавленно зарыдала женщина в толпе. На душе стало пестерпимо тоскливо. Какая-то еще не до конца израсходованная сила внутри подмывала

его рвануться, завопить, как эта Дёмчиха,— дико и страшно. Но он заставил себя сдержаться, лишь сердце его болезненно сжалось в предсмертной судороге: перед концом так захотелось отпустить все тормоза и заплакать. Вместо того он вдруг улыбнулся в последний раз своей, паверное, жалкой, вымученной улыбкой.

Со стороны начальства раздалась команда, видно, это уже относилось к нему, чурбан под ногами на миг ослабел, пошатнулся. Едва не свалившись с него, Сотников глянул вниз — с искривленного, обросшего щетиной лица смотрели вверх растерянные глаза его партизанского друга, и Сотников едва расслышал:

— Прости, брат!

— Пошел к черту! — коротко бросил Сотников.

Вот и все кончено. Напоследок он отыскал взглядом застывший стебелек мальчишки в буденовке. Тот стоял, как и прежде, на полшага впереди других, с широко раскрытыми на бледном лице глазами. Полный боли и страха его взгляд следовал за кем-то под виселицей и вел так, все ближе и ближе к нему. Сотников не знал, кто там шел, но по лицу мальчишки понял все до конца.

Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скорчился вниз, боясь и, паверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади матерно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездну.

Рыбак выпустил подставку и отшатнулся — ноги Сотникова закачались рядом, сбита им шапка упала на снег. Рыбак отпирнул, но тут же нагнулся и выхватил ее из-под повешенного, который уже успокоенно раскручивался на веревке, описывая круг в одну, а затем и в другую сторону. Рыбак не решился глянуть ему в лицо: он видел перед собой только зависшие в воздухе ноги — одну в растоптанном бурке и рядом вывернутую наружу пяткой, грязную, посиневшую ступню с подсохшей полоской крови на щиколотке.

Оторопь от происшедшего, однако, недолго держала его в своей власти — усилием воли Рыбак превозмог растерянность и оглянулся. Рядом, между Сотниковым и

Дёмчихой, болталась налегке пятая веревка — не дожидется ли она его шеи?

Однако ничто, кажется, не подтверждало его опасения. Будила вытаскивал из-под Дёмчихи желтый фанерный ящик, убирали из-под арки скамью. Ему издали что-то крикнул Стась, но, все еще находясь под впечатлением казни, Рыбак не понял или не расслышал его и стоял, не зная, куда податься. Группа немцев и штатского начальства возле дома стала редеть — там расходились, разговаривая, закуривая сигареты, все в бодром, приподнятом настроении, как после удачно оконченного, в общем не скучного и даже интересного занятия. И тогда он несмело еще поверил: видать, пропесло!

Да, вроде бы пропесло, его не повесят, он будет жить. Ликвидация закончилась, снимали полицейское оцепление, людям скомандовали разойтись, и жепципы, подростки, старухи, ошеломленные и молчаливые, потащились по обеим сторонам улицы. Некоторые ненадолго останавливались, оглядывались на четырех повешенных, жепципы утирали глаза и торопились уйти подальше. Полицай наводили последний порядок у виселицы. Стась со своей неизменной винтовкой на плече отбросил ногой чурбак из-под лишней пятой петли и опять что-то прокричал Рыбаку. Тот не так понял, как догадался, что от него требовалось, и, достав из-под Сотникова подставку, бросил ее под штaketник. Когда он повернулся, Стась стоял напротив со своей обычной белозубой улыбкой на лице-маске. Глаза его при этом оставались настороженно-холодными.

— Гы-гы! Однако молодец! Способный, падла! — с издевкой похвалил полицай и с такой силой ударил его по плечу, что Рыбак едва устоял на ногах, подумав про себя: «Чтоб ты окошел, сволочь!» Но, взглянув в его сытое, вытянутое деревянной усмешкой лицо, сам тоже усмехнулся — криво, одними губами.

— А ты думал!

— Правильно! А что там? Подумаешь: бандита жалеть!

«Постой, что это? — не понял Рыбак. — О ком он? О Сотникове, что ли?» Не сразу, но все отчетливее он стал понимать, что тот имеет в виду, и опять неприятный холодок виновности коснулся его сознания. Но он еще не хотел верить в свою причастность к этой расправе — при

чем тут он? Разве это он? Он только выдернул этот обрубок. И то по приказу полиции.

Четверо повешенных грузно раскачивались на длинных веревках, свернув пабок головы, с неестественно глубоко пересхваченными в петлях шеями. Кто-то из полицейских повесил каждому на грудь по фанерке с надписями на русском и немецком языках. Рыбак перестал читать тех надписей, он вообще старался не глядеть туда — пятая, пустая, петля пугала его. Он думал, что, может, ее отвяжут да уберут с этой виселицы, но никто из полицейских даже не подошел к ней.

Кажется, все было окончено, возле повешенных встал часовой — молодой длинношейный полицейский в серой сукопной поддевке, с немецкой виштовкой на плече. Остальных начали строить. Чтобы не мешать, Рыбак взобрался на мостовую на узенький под спегом тротуарчик и стал так, весь в ожидании того, что последует дальше. В мыслях его была путаница, так же как и в чувствах, радость спасения чем-то омрачалась, но он еще не мог толком понять чем. Опять заявило о себе примолкшее было, но упрямое желание дать деру, прорваться в лес. Но для этого надо было выбрать момент. Теперь его уже ничто тут не удерживало.

Полиции привычно строились в колонну по три, их набралось тут человек пятнадцать — разного сброда в новельских форменных шинелях и пилотках, а также в полшубках, фуфайках, красноармейских обносках. Один даже был в кожанке с обрезанной до пояса полой. Людей на улице почти уже не осталось — лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький, болезненного вида мальчишка в будепокке. Полураскрыв рот, он все шмыгал носом и вглядывался в виселицу, похоже, что-то на ней его озадачивало. Минуту спустя он пальцем из длинного рукава указал через улицу, и Рыбак, от неловкости передернув плечом, шагнул в сторону, чтобы скрыться за полицейскими. Вся группа уже застыла в строю, с радостной исполнительностью подчиняясь зычной команде старшего, который, скомандовав, и сам обмер в сладостном командирском обладании властью, на немецкий манер выставив в стороны локти.

— Смирно!

Полиции в колонне встрепнулись и снова замерли. Старший повел по рядам свирепым строевым взглядом, пока не паткнулся им на одинокую фигуру на тротуаре.

— А ты что? Стать в строй!

Рыбак па минуту смешался. Эта команда обпадежи-пала и озадачивала одновременно. Однако размышлять было некогда, он быстренько соскочил с тротуара и стал в хвост колонны, рядом с каким-то высоким, в черной ушанке полицаем, неприязненно покосившимся на него.

— Шагом марш!

И это было обыкновенно и привычно. Рыбак бездумно шагнул в такт с другими, и, если бы не пустые руки, которые неизвестно куда было девать, можно было бы подумать, что он снова в отряде, среди своих. И если бы перед глазами не мелькали светлые обшлага и замусоленные бело-голубые повязки на рукавах.

Они пошли вниз по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уже был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности — рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, и не удивляло: он был среди победителей. На полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием совершенного возмездия или, может, до конца исполненного долга; некоторые вполголоса переговаривались, слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад, на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акции вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью в покрасневших от слез женских глазах проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это нимало не трогало, паверное, сказывалась привычка, па бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, па повороте, прыг-путь за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо овраг или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь.

Поскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу, рядом по узкому тротуару шел старший — крутоплечий, мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался пизковато подвешенный милицейский паган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придерживав шаг, приняли в стору — кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе

прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь, — какой-то дядька в пустых розвальнях перасторопно сдал под самые окна вросшей в землю избушки. И Рыбак вдруг со всею реальностью представил: броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади — может бы, и вырвался. Но дядька! Придерживая молодого, петерпеливого коника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что Рыбак понял: нет, с этим не выйдет! Но с кем тогда выйдет? И тут его, словно обухом по голове, оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации — некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было.

От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, пропуская шаг, но снова попал не в ногу.

— Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед.

— Ничего.

— Мабуть, без привычки? Научисься!

Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидацией его скрутили надежнее, чем ремсипой супонью. И хотя оставили в живых, по в некотором отношении также ликвидировали.

Да, возврата к прежнему теперь уже не было — он погибал всерьез, пасовсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому себе тоже.

Растерянный и озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен. Немцы? Война? Полиция? Очень не хотелось оказаться виноватым самому. Да и в самом деле, в чем он был виноват сам? Разве он избрал себе такую судьбу? Или он не боролся до самого конца? Даже больше и упорнее, чем тот честлюбивый Сотников. Впрочем, в его несчастье больше других был виноват именно Сотников. Если бы тот не заболел, не подлез под пулю, не вынудил столько возиться с собой, Рыбак, наверное, давно был бы в лесу. А теперь вот тому уже все безразлично в петле на арке, а каково ему-то живому!..

В полном смятении, с туманной пеленой в сознании Рыбак пришагал с колонной к знакомым воротам полиции. На просторном дворе их остановили, по команде всех враз повернули к крыльцу. Там уже стояли начальник, следователь Портнов и те двое в немецкой жандармской

форме. Старший полицай громогласно доложил о прибытии, и начальник придирчивым взглядом окинул колонну.

— Вольно! Двадцать минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами Рыбака. — Ты зайдешь ко мне.

— Есть! — сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступило к нему, промолвил Рыбак.

Сосед толкнул его локтем в бок.

— Яволь, а не есть! Привыкать падо.

«Пошел ты к черту!» — выругался про себя Рыбак. И вообще пусть все летит к дьяволу. В тартарары! Навски!

Команду распустили. Рыбак метал вокруг смятенные взгляды и не знал, на что можно решиться. Полицай во дворе загалдели, затолклись, беззлобно поругиваясь, принялись закуривать, в воздухе потянуло сладким дымком сигарет. Некоторые направились в помещение, а один пошел в угол двора к узкой дощатой будке с двумя дверками на деревянных закрутках. Рыбак боком также подался туда.

— Эй, ты куда?

Сзади с чуткой встревоженностью в глазах стоял Стась.

— Сейчас. На минутку.

Кажется, он произнес это довольно спокойно, затаив в себе свой теперь единственно возможный выход, и Стась беспечно отвернулся. Да, к чертям! Всех и все! Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно настланных досок вверх чернели полосы толя, за поперечипу легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный — на брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицай. Руки его заматались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было.

За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь — уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой! Непреодолимое отчаяние охватило его, он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завывать, как собака.

Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание.

— Ну, ты долго там? — прокричал издали Стась.

— Счас, счас...

— Начальство зовет!

Конечно, начальство не терпит медлительности, к начальству надлежит являться бегом. Тем более если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой.

Рыбак высморкался, рассеянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. Наверно, ничего уже не поделасшь — такова судьба. Коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с рассеянностью, вышел из уборной.

На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее.

То, что не удалось ни немецким танкам, ни пемецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна-одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неуверенней, и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад.

Противник исчез.

Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют: они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишённые души.

Одну такую группу догнал на своем «виллисе» командир дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной, разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь.

Разведчики, увидев комдива, остановились.

— Ну что, — спросил он, — потеряли противника, орлы? Где противник, что он делает?

Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина (комдив помнил в лицо всех своих офицеров) и укоризненно замотал головой:

— И ты, Травкин? — И едко продолжал: — Веселая война, нечего сказать, — по деревням молоко пить да по бабам шататься... Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а? — спросил он неожиданно весело.

Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в поведении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за пераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом.

Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил Георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Неотступно друг за дружкой идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или — как это говорится на торжественном языке воинских уставов — дать ему *оторваться*, — это для разведчиков крупная неприятность, почти позор.

В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Он боялся встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться наконец с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и, кроме того, просто пора было остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла.

А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий.

— Вот они, твои глаза и уши,— пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел в машину. «Виллис» тронулся.

Разведчики постояли еще минуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним двинулись и остальные.

По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе.

Как и комдив, лейтенант и желал и боялся встречи с противником. Желал потому, что так ему повелевал долг, и потому еще, что дни вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. Боялся же потому, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего двенадцать. Правда, среди них — известный всей дивизии Аниканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики — Бражников и Быков. Однако остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей в ходе наступления. Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят орлами, но каковы они будут в деле — неизвестно.

Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого, опытного разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали лет и судеб как бы говорил испытующе: «Ну, посмотрим, каков ты, молодой, против меня, старого».

Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, разбросанная по-хуторскому. С огромного, в три человеческих роста, креста смотрел на солдат распятый Иисус. Улицы были пустынные, и только лай собак по дворам и едва приметное движение домотканых холщовых занавесок на окнах показывали, что люди, запуганные бандитскими шайками, внимательно присматриваются к проходящим по деревне солдатам.

Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. Она отогнала

большого пса и неторопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-под густых седоватых бровей.

— Здравствуйте,— сказал Травкин,— мы к вам отдохнуть на часок.

Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз в этих краях, были не такие, как в России,— без риз, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщовых юбках, с сухонькими, жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрый светом колющих глаз.

Однако, несмотря на ее угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого, как сливки, соленых огурцов и полный чугунок картошки. Но все это — с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло.

— Вот бандитская мамка! — проворчал один из разведчиков.

Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареного свиного сала и квасу в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий станок, занимавший полкомнаты.

Сержант Иван Аниканов, спокойный человек с широким простоватым лицом и маленькими, великой проницательности глазками, сказал ей:

— Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, что ли, да рассказала чего-нибудь.

Сержант Мамочкин, сутулый, худой, нервный, насмешливо пробормотал:

— Ну и кавалер же этот Аниканов! Охота ему поболтать со старушкой!..

Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дому и остановился возле крыльца. Деревня дремала. По кособоку ходили стреноженные крестьянские кони. Было совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне после стремительного прохода двух враждующих армий.

— Задумался наш лейтенант,— заговорил Аниканов, когда Травкин вышел. — Как сказывал комдив? Веселая война? Молоко пить да по бабам шататься...

Мамочкин вскипел:

— Что там комдив говорил, это его дело. А ты чего лезешь? Не хочешь молока — не пей, вон вода в кадке. Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте. А кто ты такой? Деревенщина. Попался бы ты мне в Керчи, я бы тебя за пять минут раздел, разул и рыбкам на обед продал.

Аниканов беззлобно рассмеялся:

— Это верно. Раздеть, разуть — это по твоей части. Ну и насчет обедов ты мастер. Про это и говорил комдив.

— Ну и что? — наскикивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова. — И пообедать можно. Разведчик с головой обедает лучше генерала. Обед смелости и смекалки прибавляет. Понятно?

Розовощекий, с льяными волосами Бражников, круглолицый, веснушчатый Быков, семнадцатилетний мальчик Юра Голубовский, которого все звали «Голубь», высокий красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко — широкоплечий, белозубый, смуглый — все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухожильные ручки:

— Это же целая фабрика!

В спорах Мамочкина с Аникановым — то веселых, то яростных спорах по любому поводу: о преимуществах керчепской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто сволочь, и о сроках открытия второго фронта — Мамочкин был нападающей стороной, а Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием.

Мамочкина, с его несдержанностью бузотера и певрастеника, раздражали аникановская деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной зависти. У Аниканова был орден, а у него только медаль; к Аниканову командир относился почти

как к равному, а к нему почти как ко всем остальным. Все это уязвляло Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов — партиец и поэтому, дескать, пользуется особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбия у Мамочкина было хоть отбавляй, за ним утвердилась слава хорошего разведчика, и он действительно участвовал во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов.

Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных шароварах и хромовых желтых сапожках, ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с ярко-зеленым верхом. Куда было до него массивному, широколицему и простоватому Аниканову!

Происхождение и довоенное бытие каждого из них — колхозная хватка сибиряка Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность Мамочкина — все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав, но прошлое уже казалось чрезвычайно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с головой. Война стала для них бытом и этот взвод — единственной семьей.

Семья! Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались совместной жизнью. Одни отправлялись в госпиталь, другие — еще дальше, туда, откуда никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая из «поколения» в «поколение». Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Аниканов. Долгое время он не участвовал в деле — никто из старших не решался брать его с собой. Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством, — он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Аниканов был так огромен и тяжел, что разведчики боялись: а что, если его убьют или ранят? Попробуй вытащи такого из огня. Напрасно он упрашивал и клялся, что, если его ранят, он сам доползет, а убьют: «Черт с вами, бросайте меня, что мне немец, мертвому-то, сделает!» И только сравнительно недавно, когда пришел к ним

новый командир, лейтенант Травкин, сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось.

Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова. И «эта громадина» сгреб здорового немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что в плащ-палатке Аниканова бьется полузадушенный немец, «язык», — мечта дивизии на протяжении целого месяца.

В другой раз Аниканов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана, при этом Марченко был ранен в ногу, и Аниканову пришлось тащить немца и Марченко вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь повредить обоих в равной степени.

Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных разговоров, они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия, вдали от противника, люди пообленились.

Плотно поев и сладко затянувшись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне на ночь и раздобыть самогону. Марченко неопределенно сказал:

— Да, спешить тут нечего... Все равно не догоним. Здорово утекает немец.

В это время дверь отворилась, вошел Травкин и, показывая пальцем в окно на стрепожённых лошадей, спросил хозяйку:

— Бабушка, чьи это копи?

Одна из лошадей, большая гнедая кобыла с белым пятном на лбу, принадлежала старухе, остальные — соседям. Минут через двадцать эти соседи были созваны в старухину избу, и Травкин, торопливо нацарапав расписку, сказал:

— Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят, он приведет лошадей обратно.

Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск немец не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они не стали чинить препятствий Травкину и тут же выделили подпаса, который должен был отправиться с отрядом. Шестнадцатилетний паренек в овчинном тулупчике был и горд и напуган возложенным на него ответственным поручением. Распутав

лошадей и взнуздав их, а затем напоив из колодца, он вскоре сообщил, что можно трогаться.

Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов подъехал к Травкину и, косясь на скачущего рядом паренька, тихо спросил:

— А не нагорит вам, товарищ лейтенант, за такую реквизицию?

— Да,— ответил Травкин, подумав,— может и нагореть. А немца мы все-таки догоним.

Они понимающе улыбнулись друг другу.

Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Штаб дивизии расположился на почлег в обширном лесу, в центре забывшихся беспокойным сном полков. Костры не зажигались: над лесами на большой высоте назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллеями, четкими стрелками указок и опрятными, покрытыми хвоей шалашами. Сколько таких недолговечных «потешных» городков построено было за годы войны саперами дивизии!

Командир саперной роты лейтенант Бугорков дожидая приема у начальника штаба. Подполковник не отрывал глаз от карты. Зеленые пространства ее с нанесенным на них положением частей дивизии выглядели очень странно. Обычных линий, проведенных синим карандашом и обозначающих противника, не было вовсе. Тылы паходились черт знает где. Полки казались угрожающе одинокими в несчетаемой зелени лесов.

Лес, в котором дивизия остановилась на ночлег, имел форму вопросительного знака. Этот зеленый вопросительный знак словно дразнил подполковника Галиева издевательским голосом командарма: «Ну как? Это вам не Северо-Западный фронт, где вы полвойны сиднем просидели и немецкая артиллерия стреляла по часам! Маневренная война-с!»

Галиев, не спавший уже которую ночь, кутался в бурку. Подняв наконец глаза от карты, он заметил Бугоркова.

— Тебе чего?

Лейтенант Бугорков не без удовольствия оглядывал построенный им превосходный шалаш.

— Я пришел узнать, где разместится завтра штаб, товарищ подполковник, — ответил он. — На рассвете я вышлю туда взвод.

Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу хотя бы еще на сутки. Веселый шалашный городок был бы хоть немного обжит и хоть кто-нибудь да похвалил бы Бугоркова за это чудо шалашного строительства. А то и оглянуться не успеешь, как повенькио шалаши будут покинуты и в них начнет хозяйничать весенний ветер. Бугорков был сыном и внуком прославленных плотников и каменщиков, неудовлетворенная гордость строителя говорила в нем.

Подполковник кратко сказал:

— Дай свою карту.

И начертил на карте Бугоркова флажок — на опушке какого-то другого леса, километрах в сорока от нынешней стоянки. Бугорков подавил вздох и направился к выходу, но в эту минуту плащ-палатка, занавешивающая вход, раздвинулась, и в шалаш вошел начальник разведки капитан Барашкин. Подполковник Галиев встретил его очень не приветливо:

— Командир дивизии недоволен разведкой. Сегодня мы встретили лейтенанта Травкина с его людьми. Что за вид! Незаправленные, обросшие. О чем вы думаете?

Подполковник помолчал и вдруг выкрикнул отчаянным голосом:

— И будьте любезны, капитан, скажите мне наконец, где противник?

Лейтенант Бугорков выскользнул из шалаша и пошел готовить взвод саперов к предстоящему выступлению. Он решил по дороге отыскать Травкина, чтобы предупредить его о слышанном. «Пусть срочно пострижет и побреет разведчиков, — благожелательно думал Бугорков, — не то ему будет здоровая нахлобучка».

Бугорков любил Травкина, своего земляка, волжапина. Прославленный разведчик, Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был при их первой встрече. Встречались они, правда довольно редко —

у каждого хватало собственных служебных забот,— но приятно было иногда вспомнить, что здесь, где-то недалеко, ходит приятель и земляк Володя Травкин — скромный, серьезный, верный человек. Ходит вечно на виду у смерти, ближе всех к ней...

Травкина Бугоркову найти не удалось. Сунулся он в шалаш Барашкина, но тот был еще не в себе после полученного нагоняя и на вопрос Бугоркова ответил градом ругательств:

— Черт его знает, где он! Охота мне получать за него замечания...

Капитан Барашкин славился в дивизии как сквернослов и лентяй. Зная, что начальство относится к нему плохо, и каждый день ожидая, что его отстранят от работы, он и вовсе перестал что-либо делать. Где его разведчики и чем они занимаются, он так толком и не знал в течение всего наступления. Сам он ехал в штабном грузовике и «крутил роман» с только что прибывшей новой радисткой Катей, светловолосой задумчивой девицей-солдатиком с красивыми глазами.

Бугорков вышел от Барашкина и очутился в самом центре построенного им недолговечного человеческого гнезда. Слоняясь по прямым аллеям, он думал о том, что хорошо бы покончить наконец с этой войной, поспать в свой родной город и там снова делать свое дело: строить новые дома, вдыхать сладкий запах строганных досок и, взбираясь по лесам, обсуждать с бородатыми мастерами замысловатые чертежи на помятой синьке.

С рассветом Бугорков, уложив на повозку лопаты, кирки и прочий инструмент, отправился в путь во главе своих саперов.

Болтовня первых птиц разнеслась по лесу, смыкавшему над узкой дорогой кроны старых деревьев. По обочинам дороги ходили в накинутах поверх шинелей плащ-палатках продрогшие за ночь часовые. У дороги и вокруг стоянки были вырыты окопы, и в них дежурили у своих пулеметов сонные пулеметчики. Солдаты спали на земле на елочном лапнике, тесно прижавшись друг к другу. Утренний холод будил людей, и они бросались собирать шишки и ветки для костров.

«Вот она, война,— думал Бугорков, поеживаясь,— великая бездомность сотен и тысяч людей».

Пройдя километров десять, саперы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трех всадников. Бу-

горков встревожился: он знал, что впереди нет ни одного красноармейца. Всадники неслись галопом, и вскоре Бугорков с облегчением узнал в одном из них Травкина.

Не сходя с лошади, Травкин сказал:

— Немцы недалеко, с артиллерией и самоходками.

Он на карте Бугоркова показал расположение немецкой обороны, проходившей как раз по опушке того леса, где Бугорков собирался строить очередной шалашный городок.

— А два немецких броневика и самоходка стоят вот здесь, наверное, в засаде... — Напоследок Травкин сказал: — Вот видишь... Аниканов... ранен в стычке с немцами.

Аниканов неловко сидел на лошади, виновато улыбаясь, словно он по неосторожности причинил всем большую неприятность.

Бугорков спросил растерянно:

— А мне что делать?

Условились, что саперы подождут здесь, Травкин доложит начальнику штаба, а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева. Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу и снова пустился вскачь.

Посреди шалашного городка, возле своего «виллиса», стоял полковник Сербиченко, вокруг собрались командиры полков, подполковники и майоры, а немного поодаль — адъютанты и ординарцы. Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая посло непривычно долгой верховой езды, доложил:

— Товарищ комдив, немцы недалеко.

Его обступили, и он кратко рассказал, что на ближайшей речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. Он видел там же артиллерийские позиции и шесть самоходов. Траншеи заняты немецкой пехотой. Километрах в двадцати отсюда два броневика и самоходка стоят в засаде.

Комдив отметил на карте данные Травкина; началась легкая суматоха; командиры полков и штабные тоже вынули карты, подполковник Галиев скинул с плеч на землю свою бурку, вдруг перестав зябнуть, а начальник политотдела пошел собирать политработников.

— Значит, ты думаешь, что оборона серьезная? — спросил наконец комдив, проведя последнюю черту синим карандашом на карте, развернутой по капоту «виллиса».

— Так точно.

— И самоходки ты сам видел?

— Так точно.

— А ты не сочиняешь трошки? — неожиданно заключил свои вопросы полковник, вскидывая на Травкина зеленовато-серые прищуренные глаза.

— Нет, не сочиняю, — ответил Травкин.

— Ты не обижайся, — примирительным тоном сказал комдив, — это я для верности спрашиваю, ибо знаю, козаче, что разведчики приврать любят.

— Я не вру, — повторил Травкин.

Где-то уже давали команду «в ружье», лес глухо зашумел. Это подымались подразделения.

Комдив, глядя на карту, приказывал:

— Полки идут походным порядком, как раньше. Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Полковая артиллерия следует с пехотой. На фланги выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108,1, передовой полк разворачивается в боевой порядок. Его командный пункт — высота 108,1. Я — на западной опушке этого леса, возле дома лесника. Галиев, готовь боевое распоряжение. Доложи в корпус. — И вдруг сказал негромко: — Смотрите, товарищи начальники! Артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг.

Офицеры быстро разошлись по своим делам, и у машины остались только комдив, Галиев и Травкин. Полковник Сербиченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмехнувшись, произнес:

— Добрый козак.

— У меня Аникапов ранен, — смутившись, поведал ни с того ни с сего полковнику Травкин.

Комдив ничего не ответил, отдал последние распоряжения Галиеву и уехал к полкам.

Вокруг Галиева забегали штабные офицеры. Он был неузнаваем. Повеселевший, шумливый, он вдруг стал похож на проказливого бакинского мальчишку, каким был лет тридцать назад. «Галиев немца чует», — говорили про него в такие минуты.

— Поезжай к своим людям! Следи за немцем и присылай нарочных! — крикнул он Травкину.

— Есть! — крикнул в ответ Травкин и снова вскочил на лошадь.

Сопровождавший его разведчик между тем сдал Апи-канова санинструктору и, ведя в поводу лошадь без седока, присоединился к лейтенанту.

Травкин застал Бугоркова на прежнем месте в тревожном ожидании. Он спешил, рассеянно выпил предложенную Бугорковым водку и показал ему на карте месторасположение штаба дивизии.

— Значит, снова война начинается, — сказал Бугорков и посмотрел в серьезные глаза Травкина.

Разведчики прищипорили лошадей и пустились вскачь навстречу неизвестному.

А саперы тронулись в путь, тихо рассуждая о том, что вот снова начнутся бои и конца этим боям не видать. Не видать конца этим боям. Бугорков сказал:

— Ну, ребята, теперь вместо шалашстрой будет нам блиндажстрой.

Травкин вскоре присоединился к своим людям, ожидавшим его на лесистом холме, неподалеку от безымянной речки, за которой окопались немцы.

Марченко, наблюдавший немцев с верхушки дерева, слез и доложил лейтенанту:

— Эти немцы в броневиках и самоходка покрутились здесь полчаса, потом повернули и переехали речку. — к своим, значит, убрались. Речка мелкая, я видел. Вода доходила броневикам до середины.

Разведчики поползли к речке и залегли в кустах. Паренька с лошадьми Травкин отправил домой.

— Езжай все прямо по этой дороге. Лошадей возьмишь не всех, две останутся у меня еще на день, пришлю их завтра, а то донесения не на чем посылать.

Затем Травкин подполз к своим людям и стал наблюдать немецкую оборону. Траншея была вырыта недавно и еще не закончена. Перебегающим по ней немцам она едва доходила до плеч. Впереди траншеи — проволочное заграждение в два кола. Разведчиков отделяла от немцев неширокая речка, поросшая камышом. На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль.

— Сейчас отправлю его к гитлеровой маме, — шепнул Мамочкин.

— Не дури, — сказал Травкин.

Он смотрел на немецкую оборону, оцепивая ее. Да, вот та неясственно различимая серая полоска земли — вторая траншея. Место для обороны немцы выбрали хорошее —

западный берег гораздо выше восточного и густо порос лесом. Высота возле разбросанных домиков хутора — командная, на карте она обозначена цифрой 161,3. Немцев в траншее много. На восточной окраине хутора стоит самоходная пушка.

Травкин вдруг вспомнил об Аниканове, но вспомнил как-то вскользь, неопределенно. Так вспоминают сошедшего ночью с поезда пассажира, недолго побывшего среди остальных и сгинувшего неизвестно куда.

Мамочкин прошептал:

— Глядите, товарищ лейтенант. Фрицы выходят на экскурсию.

Человек тридцать немцев вышли из леса и двинулись к реке. Здесь они рассредоточились и, с опаской вглядываясь в противоположный берег, вошли в мутную воду.

Травкин сказал лучшему стрелку взвода — Марченко: — Пугни-ка их.

Последовала длинная очередь из автомата, фонтанчики подскакивали от пулевых ударов. Немцы выскочили из реки обратно на свой берег и, суетливо оглядываясь и гогоча, как гуси, залегли. В траншее заволновались, забегали, раздалась гортанная команда, засвистели пули. Самоходная пушка, стоявшая на окраине хутора, вдруг затряслась, заверещала и выпустила один за другим три снаряда. Через секунду ударили немецкие орудия. Их было не меньше десятка, и они в течение трех-четырех минут били по бугру. Снаряды яростно взрывали землю, оглушая странным воплем молчаливые леса.

Гул артиллерийского палета услышал передовой отряд дивизии — усиленный батальон. Люди остановились. Командир батальона капитан Муштаков и командир батареи капитан Гуревич замерли на своих лошадях. Муштаков сказал:

— Вот что значит отвык... Больше месяца не слышал этой музыки.

Взрывы следовали равномерно, один за другим.

Постояв с минуту, усиленный батальон двинулся дальше. На повороте солдаты увидели паренька в овчинном тулупчике, с лошадьми. Он сидел, сторбившись, верхом на лошади и, вытянув шею, прислушивался к мощному гулу орудий.

Командир батальона, поравнявшись с ним, спросил:

— Ты что тут делаешь?

— Поспишайте,— испуганным шепотом сказал паренек. — Там на ричци немцев багато-багато, а разведчиков двенадцать чоловік.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

То, что на военном языке называется *переходом к обороне*, происходит так.

Части разворачиваются и пытаются с ходу прорвать фронт противника. Но люди измотаны непрерывным наступлением, артиллерии и боеприпасов мало. Попытка атаковать не имеет успеха. Пехота остается лежать на мокрой земле под неприятельским огнем и весенним дождем вперемешку со снегом. Телефонисты слушают яростные приказания и ругань старших командиров: «Прорвать! Поднять пехоту и опрокинуть фрицев!» После второй неудачной атаки поступает приказ: «Окопаться».

Война превращается в огромную землеройку. Земляные работы ведутся по почам, освещаемые разноцветными немецкими ракетами и пожаром зажженных немецкой артиллерией ближних деревень. В земле растет запутанный лабиринт звериных нор и норок. Вскоре вся местность преобразается. Это уже не лесистый берег небольшой реки, заросшей камышом и водорослями, а изъязвленный осколками и разрывами «передний край», разделенный на пояса, как Дантов ад, лысый, перекопанный, обезличенный и обвеваемый пездешним ветром.

Разведчики, сидя по ночам на бывшем берегу реки (теперь это зовется нейтральной полосой), слушают стук немецких топоров и голоса немецких саперов, тожо укрепляющих свой передний край.

Между тем нет худа без добра. Понемногу подтягиваются тылы, на скрипучих повозках подвозятся снаряды, патроны, хлеб, сено, консервы. Подъехали наконец и остановились где-то поблизости, маскируясь в ближних лесах, медсанбат, полевая почта, обменный пункт, ветеринарный лазарет.

Прибывает и арtpолк, встречаемый всеми с великой радостью. Орудия вкапываются в землю и ведут правильную пристрелку по целям, производя, к полному удовольствию наших солдат, буйные налеты на немецкие трапшеи и блиндажи.

Начинается сравнительно тихая жизнь, мокрая жизнь, жизнь липкая, дрянная, земляная, но все-таки жизнь. А когда подходит ближе полевая почта и накопившиеся за месяц паступления письма целыми пачками доходят до продрогших солдатских рук,— это уже почти счастливая жизнь.

Сидя в окопчике на самом берегу реки, среди камыша и гниловатых водорослей, прочитал свои письма и Травкин. Писала мать, учительница из небольшого волжского городка, и сестра из Москвы. Все письма матери, в сущности, были невысказанной горячей и жалкой просьбой: не погибнуть.

Сестра Лена, студентка Московской консерватории по классу скрипки, писала о своих успехах. Она писала о Бахе и Чайковском с юношеской фамильярностью: дескать, старик Чайковский оказался не так уж труден, как я думала раньше... этот старый немец Бах... и так дальше. Лепет юности, ровный свет электрических плафонов, тусклый блеск скрипок — как все было далеко! Травкин даже, по правде сказать, обиделся, что люди ходят в театр, слушают музыку, влюбляются, учатся, в то время как он, Травкин, и другие сидят здесь под страхом смерти и — что еще хуже — под проливным дождем.

— Что вам нишут, товарищ лейтепант? — спросил сидящий рядом с биноклем в руках Марченко.

Травкин ответил:

— Живут помаленьку и на нас посматривают — скоро ли мы кончим.

Марченко, улыбнувшись, кивнул головой; при этом он, не отрываясь, глядел в бинокль на вражеские позиции и заметил:

— Немцы что-то шевелятся.

Травкин взял бинокль. Немцы выкатывали из лесу орудие. И он засмеялся, вспомнив слова сестры, которые звучали так: этот старый немец Б-бах! Ба-бах!

Травкин сообщил по телефону Гуревичу:

— Смотрите, Гуревич, они орудие выкатили на прямую наводку — два пальца правой разрушенного дома. Видите?

— Спасибо, Травкин, — глухо прозвучал в телефонную трубку голос вечно бодрствующего артиллериста, — сейчас накрою.

Просунув голову сквозь влажный камыш, появился Мамочкин.

— Кушать будете, товарищ лейтенант?

Он принес Травкину полгуся на завернутой в газету фарфоровой тарелке.

Травкин, поделив гуся с Марченко, вдруг подумал о том, что Мамочкин последнее время частенько приносит различные лакомства «невоенного образца», вроде яиц, гусей, кур и сметаны. Он хотел спросить Мамочкина, откуда вся эта снедь, но тут же забыл, отвлеченный новым замечанием Марченко насчет поведения немцев.

Мамочкин действительно разбогател. Никто не знал, откуда он добывает всю эту пропасть яиц, масла, птицы, соленых огурцов и квашеной капусты. На вопросы разведчиков Мамочкин, ухмыляясь, отвечал:

— Что ж, сумею.

А дело было простое и очень даже некрасивое. Получив приказание Травкина отвести оставшихся двух лошадей в деревню, Мамочкин не доставил их по назначению, а отдал «на время» старику вдовцу в ближайший хутор, не взяв платы, но выговорив право получать у старика различные продукты. Время было горячее, надо пахать и сеять, и старик не скупился.

Молодые разведчики смотрели на Мамочкина с восторгом, удивляясь его хитроумию и удачливости. В лице красавца Феоктистова он имел верного адъютанта, старавшегося походить на Мамочкина во всем и даже отпустившего усики по примеру своего кумира. По вечерам Мамочкин рассказывал новичкам устную летопись взвода, особо выделяя, конечно, свои собственные заслуги. Правда, и Аниканова он снисходительно похваливал: Аниканов уже стал историей и не мог повредить славе Мамочкина.

Разведчики, слушая Мамочкина, часто ловили его на несуразностях и противоречиях. Он мало смущался этим. Только в присутствии Травкина красноречие Мамочкина сразу же тускнело: Травкин непаவிдал неправду. Иногда в свободные вечера он сам начинал рассказывать эпизоды боевой жизни, и такие вечера были для новичков настоящим праздником.

При этом их поражала его скромность. Он рассказывал об Аниканове, о погибшем старшине Белове, о Марченко и о Мамочкине, а себя как-то обходил, выставляя неким очевидцем.

— Надо учиться действовать так, как Аниканов,—

нередко заканчивал он свой рассказ, и Мамочкин ревниво ерзал в своем углу.

Молоденький Юра Голубь в эти вечера усаживался у ног лейтенанта и глядел на него влюбленными глазами. Он мог сколько угодно восторгаться преувеличенной лихостью Мамочкина, по образцом для него был только этот замкнутый, юный и немножко непонятный лейтенант.

Впрочем, Мамочкин тоже любил эти вечера. Лейтенант, обычно молчаливый, в эти редкие минуты как-то раскрывался, он знал много разных историй и иногда рассказывал о жизни ученых и полководцев, а Мамочкин был любознателен.

Травкину он послал яства из своего никому не ведомого источника не потому, что хотел задобрить командира. Разбираясь в людях, Мамочкин понимал, что добиться таким путем от лейтенанта каких-то там льгот или поблажек невозможно: Травкин ел гусей, даже не замечая толком, что он ест. Мамочкин «покровительствовал» Травкину потому, что любил его. Любил именно за те качества, каких не хватало ему самому: за самозабвенное отношение к делу и за абсолютное бескорыстие. Он с удивлением наблюдал, с какой точностью Травкин делит получаемую водку, себе наливая меньше, чем всем остальным. Отдыхал он тоже меньше всех. Мамочкин не мог этого понять. Он чувствовал, что лейтенант правильно и хорошо поступает, но прекрасно знал, что на место командира действовал бы далеко не так.

Отнеся лейтенанту очередную порцию «конины», как он про себя называл гусей, кур и прочую снедь, получаемую за «прокат» коней, Мамочкин отправился к овину, где обосновались на жительство разведчики. И тут он чуть не наткнулся на командира дивизии полковника Сербиченко, встречи с которым всячески избегал из-за своей зеленой кубанки и желтых сапожек: комдив не терпел отклонений от установленной формы одежды.

Рядом с полковником стояла беленькая девушка со стриженными по-мужски волосами, одетая в обычный солдатский костюм с нашивками младшего сержанта на погонах. Мамочкин не знал ее, а он знал здесь всех женщин наперечет. Комдив разговаривал с девушкой, ласково улыбаясь.

Полковник Сербиченко относился к женщинам с покровительственной нежностью. В глубине души он считал, что женщинам не место на войне, но он не испытывал

к ним поэтому пренебрежения, как многие другие, а жалел их жалостью старого солдата, хорошо знающего тяготы войны.

— Ну как? Нравится тебе у нас? — спрашивал полковник.

Девушка застенчиво отвечала:

— Ничего... как всюду.

— Разве как всюду? У меня не так, как всюду. У меня, милая моя, дивизия прославленная, краснознаменная! Никто тебя не обижает?

— Нет, товарищ полковник.

— Гляди. Будут обижать, приставать — приходи и жалуйся смело. Девушек у нас мало, и я их в обиду не даю. А ты не крутишь с парнями?

— Зачем они мне? — засмеялась девушка.

— Эге, не обманывай... все знаю. Тебя с капитаном Барашкиным не раз видели. Смотри, держись хорошо, — сказал он вдруг серьезно, — мужчины — народ хитрый и не говорят того, что думают.

Он попрощался с ней и пошел по направлению к своей избе, а девушка осталась стоять под деревом.

Тут перед ней и предстал Мамочкин.

— Мое почтение, барышня!

Она удивленно оглядела его с ног до головы.

— Разведчик сержант Мамочкин! — лихо пристукнул он каблуками.

Девушка улыбнулась.

— Я вас раньше, так сказать, не встречал, — увязался он за ней. — Вы из другой части или с неба упали?

Она рассмеялась и пояснила, что ее перевели сюда из другой дивизии.

— А с разведкой вы там дружили?

— Я в штабе тыла работала.

Они шли рядом. Она беззаботно похохатывала, а он, блистая портовым остроумием, прикидывал, куда бы ее повести.

— Советую вам, Катюша, — он уже узнал ее имя, — в дальнейшей жизни дружить с разведкой. Кто лучший кавалер? Ясно, разведчик. У кого всегда выпивка плюс закуска и часы? Обратно у разведчика. Кто самый самостоятельный и отчаянный? Безусловно, разведчик! Понятно? И неужели вы никого из разведчиков не знаете? — продолжал он, игриво ухмыляясь. — А пёбезызвестный пам капитан Барашкин как? А?

— Вы откуда знаете? — удивилась она.

— Разведчики всё знают!

Идти гулять с ним в лес она отказалась, но обещала зайти как-нибудь в гости. Мамочкин обиделся было, но потом снова развеселился, и они расстались друзьями.

Придя в овраг, Мамочкин застал там негромкую, но напряженную возню, как всегда перед выходом на задание, и вспомнил, что Марченко сегодня отправляется на поиск во главе группы в четыре человека.

Марченко только что пришел с переднего края и, сидя в углу, у старой ржавой молотилки, писал письмо. Люди, отправлявшиеся с ним, надевали маскхалаты, привешивали гранаты, как-то сосредоточенно суетились и ежеминутно взглядывали на Марченко: не пора ли идти?

Марченко писал жене и своим старикам в город Харьков. Он сообщал им, что жив и здоров, что напрасно жена заподозрила его в том, что у него тут «завелась краля», ничего подобного, он писал часто, но почта отстала из-за наступления. Хотя все это были обычные вещи, но писал он на этот раз по-особому, за каждой строкой подразумеваемая другая, более проникновенную. Когда он кончил писать, он был взволнован. Письмо отдал дневальному, а сам негромко сказал:

— Ну, ребята, пошли, значит. Все готово?

Он выстроил свою четверку, испытующе осмотрел ее, затем спросил:

— А саперов-то нет?

Из дальнего угла, из глубин наваленной соломы, слышался спокойный веселый голос:

— Как так нет? Саперы на месте.

Облепленные соломинками, поднялись два сапера, присланные Бугорковым для сопровождения группы Марченко.

— Я старший,— произнес ранее говоривший голос, принадлежавший невысокому, коренастому солдату лет двадцати.

— Тебя как звать? — осведомился Марченко, одобрительно оглядев сапера.

— Максименком звать, земляк твой,— отвечал «старший» под общий смех.

— Откуда? — засмеялся, блеснув жемчужными зубами, Марченко.

— З Кременчуга.

— Да, почти земляк... Задачу свою знаешь?

— Знаю,— так же бойко отвечал Максименко,— розминировать немецьки мины, розризаать немецьку проволоку, пропустыть вас у цей розриз и идты до дому на комсомольске собрание, бо у нас завтра вранку собрание, а я комсорг. Такая наша задача.

— Молодец, хлопец,— еще раз засмеялся Марченко. — Мы, значит, дважды земляки, я тоже у нас тут комсоргом. Пошли.

И группа гуськом по обочине дороги двинулась к переднему краю, где ее ожидал Травкин.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На пятый день после ухода Марченко Мамочкин снова встретил Катю и пригласил ее к разведчикам в овиц. Там у него была припрятана бутылка самогона.

Он расстелил в углу сарая белую скатерть, разложил аппетитную закуску и, пригласив Феокистова и еще нескольких друзей, уселся рядом с Катей на солому.

В разгар пира в овиц зашел Травкин, которого никто не ждал.

Приход лейтенанта вызвал некоторое замешательство, во время которого Мамочкину удалось спрятать бутылку и кружку. По правде сказать, Мамочкину не очень-то приятно было обнаруживать при девушке свою робость перед командиром, но было еще менее приятно получить от лейтенанта суровое замечание.

Травкин покосился на сидящих в углу разведчиков и незнакомую девушку. Разведчики встали, но он тихо сказал «вольно» и лег на свою постель, в дальнем углу. Он не спал третьи сутки. Позапрошлой ночью должен был вернуться Марченко, но Травкин напрасно ждал его в траншее, борясь с тяжелой полудремотой. Странно и тревожно было, что не вернулись и два сапера, которым надлежало вернуться немедленно после прохода разведчиками минного поля. Вся группа, бесшумно скрывшаяся в непроглядной темени, пропала, исчезла, и следы ее замыл дождь.

Травкин улегся на байковое одеяло и заснул беспокойным сном.

Притихшие разведчики снова выпили по чарке, а Катя негромко спросила:

— Это ваш командир? Тихий такой и молодой.

Травкин метался во сне и вдруг заговорил:

— Ты чего не приходил так долго? Странный ты человек. И саперы не приходили. А мы Чайковского слушали. Чудак. А ты все не приходил. Ч-чудак.

Речь его не была похожа на речь говорящего во сне. Он произносил слова обыденным, нормальным голосом бодрствующего человека. Разведчикам стало не по себе. Они поодиночке разбрелись по овину, оставив Мамочкина одного перед белой скатертью.

Кати неслышными шагами подошла к Травкину и остановилась над ним. Его глаза были полуоткрыты, как у спящего ребенка, выцветшая гимнастерка расстегнута, а на лице застыло выражение горькой обиды. Она тихо сказала:

— Какой он у вас хорошенький.

— Не буди его! — грубо отозвался Мамочкин, но она не обиделась, почувяв в его словах такую же нежность к спящему, какая охватила и ее. — Беспокоится наш лейтенант, — пояснил Мамочкин угрюмо.

Да, вечеринка была вконец испорчена, — это почувствовали все.

И только Катя вышла из овина в каком-то приподнятом, печально-торжественном настроении. Идя по зеленоющему лесу, она с беспокойством и даже с некоторым удивлением ощущала это свое настроение. Что могло ее так задеть, разнежить, наполнить такой радостной грустью? Перед глазами ее стояло почти детское лицо лейтенанта. Может быть, она увидела в нем свое собственное отражение, что-то похожее на боль, глубоко затаившуюся в ее душе, еще не утихшую боль девушки из маленького города, встретившейся на войне с тяжестью жизни в самом ее жестоком проявлении.

Катя все чаще и чаще стала забегать в овин разведчиков. Мамочкин, да и все остальные прекрасно разобрались в душевном состоянии девушки. Мамочкин даже обрадовался. Считая себя покровителем лейтенанта в житейских делах, он решил, что небольшой роман с Катей отвлечет лейтенанта от тяжких дум. А Травкин заметно затосковал после очевидной гибели Марченко и его группы.

Разведчики паперебой приглашали Катю в гости, рассказывали ей все новости о лейтенанте, бегали в роту связи сообщить: «Наш-то с передовой пришел», — одним словом, всячески старались сблизить Катю с Травкиным.

Единственный, кто не замечал всей этой кутерьмы, был сам Травкин.

Однажды он, придя в овин, увидел, что угол его отгорожен плащ-палатками и вместо одеяла, разостланного на сене, там стоит настоящая кровать и столик, а на столике — вазочка со свежими подснежниками. Он спросил:

— Это что такое?

— А что? — с невинным видом ответил Бражников. — Это Катя, связистка, для вас старается, товарищ лейтенант.

Травкин густо покраснел и спросил:

— Почему вы впускаете в расположение взвода посторонних людей?

Бражников виновато промолчал, а Мамочкин, узнав об этом разговоре, развел руками.

— Что за человек! Все о немцах думает — и больше ни о чем! Всё схемы немецкой обороны рисует, над картой сидит и по переднему краю целыми днями рыщет...

Что касается Кати, то она вначале была обескуражена замкнутостью и юношеской застенчивостью Травкина. Нет, к такому отношению к себе она не привыкла. Она привыкла быть всегда желанной, хотя и знала, что причиной этого легкого успеха были вовсе не ее достоинства, а скорее то, что мужчин здесь много, а жепщины считанные.

Потом она вдруг почувствовала себя вдвойне счастливой: ее любимый был не обычный человек, нет, он суровый, гордый и чистый. Таким он и должен быть. Она непривычно робела в его присутствии, сама удивляясь своей робости. Она ли это, считавшая себя опытной маленькой грешницей? Поцелуй и объятие, полученные и возвращенные вскользь, в суматохе походного быта, из-за мимолетной симпатии или просто от скуки — и это она называла жизнью!

Она вспоминала об этом как о чем-то некрасивом, но уже давно прошедшем.

Каждый день приходила она в овин с цветами и веточками пушистой вербы. Но не в цветах было дело: она приносила с собой благоухание милой женственности, по которой тосковали одинокие сердца бойцов. Разведчики даже порицали своего командира за равнодушие к девушке, хотя одновременно и гордились его неприступностью.

Приехавший в дивизию начальник разведотдела армии полковник Семеркин застал Катю в момент, когда она ставила свежие цветы в синюю вазочку. Полковник зашел в овин посмотреть, как живут разведчики, но там никого не оказалось, кроме повара, дневального и этой девушки.

— Вы кто такая? — спросил полковник.

— Радист младший сержант Симакова, — отпартовала она.

— А я думал, что вы тут цветами торгуете, — пробормотал желчный полковник и вышел.

Затем он долго беседовал с командиром дивизии. Они вежливо, но основательно поспорили.

— Вы ничего не знаете о противостоящем противнике, — упрекал командира дивизии полковник Семеркин. — Разве у вас есть ясное представление о его группировке и замыслах?

Полковник Сербиченко, стараясь сдерживать себя, отшучивался:

— А откуда я могу знать? Командир дивизии иногда не знает, что у него самого в войсках творится. Откуда же ему знать, что делает противник? Вот послал я разведчиков в поиск, а они не вернулись. Для вас семь человек — это так, мелочь. Вы — армия. А я человек маленький, для меня гибель семи — большая, очень большая потеря. Разведчиков у меня повыбило в боях.

— Это верно, — возражал полковник Семеркин. — А вы посмотрите, что у вас в разведке делается. Прихожу к ним в овин — никого нет. Дневальный и не знает, где они. Правда, девица там с цветами ходит. Какая идиллия! А следователь вашей прокуратуры только что мне сказал, что к нему поступила серьезная жалоба на ваших разведчиков. Да, товарищ полковник, вы не знаете, а я узнал. Жалоба какого-то села. Вот вам и причина плохой работы разведки.

Полковник Сербиченко велел вызвать следователя.

Незаметный, спокойный, чуть рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился следователь прокуратуры капитан Еськин.

Следователь подробно рассказал о жалобе жителей недалежного села на то, что разведчики забрали у них — самовольно! — тринадцать лошадей, из которых вернули только одиннадцать. К заявлению приложена расписка с неразборчивой подписью.

— А почему вы думаете, что это сделали именно наши разведчики?

Следователь, не робея под грозным взглядом комдива, ответил:

— Это еще точно не установлено.

— Так установите точно, потом доложите. Можете идти.

Следователь вышел, а комдив устало сказал полковнику Семеркину:

— Что ж, группу в тыл мы пошлем. А вы постарайтесь пополнить нас разведчиками.

Когда все разошлись, полковник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочившему в прихожей ординарцу:

— Скоро приду.

Полковник пошел по направлению к лениво вертящейся мельнице и, подойдя к одному из разбросанных здесь овинов, спросил у дневального возле входа:

— Разведчики?

— Так точно, товарищ полковник, — ответил дневальный и громко крикнул в полутемный овин: — Встать! Смирно!

Овин зашевелился и замер. Комдив пытливо осмотрелся. В сумерках овина стояло человек восемь разведчиков руки по швам. Один из углов был отгорожен плащ-палатками. Комдив молча подошел к этому углу, приподнял плащ-палатку и увидел там Катю, тоже стоявшую «смирно». На столике лежали книжки и тетрадки, в синей вазочке стояли цветы.

Сердитый взгляд комдива чуть смягчился. Он внимательно посмотрел на Катю и спросил:

— Ты что тут делаешь? — затем, обращаясь к подбегавшему с рапортом дежурному сержанту, осведомился: — Где ваш командир?

— Лейтенант на передовой.

— Когда придет, пришли его ко мне.

Он направился к выходу, потом оглянулся:

— Побудешь здесь, Катя, или со мной пойдешь?

— Я пойду, — сказала Катя.

Они вышли вдвоем.

— Ты чего застеснялась? — спросил комдив. — Ничего плохого тут нет. Травкин — парень хороший, разведчик смелый.

Она промолчала.

— Что? Влюбилась? Хорошо! А капитан Барашкин как? В отставку?

— То — ничего,— сказала она,— то было просто так, глупость...

Полковник заворчал, потом, внимательно поглядев на опущенные ресницы девушки, вдруг спросил:

— А он, Травкин, что? Рад? Девка хоть куда, да еще цветы приносит!

Она ничего не ответила, и он понял:

— Что? Не любит?

Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой пичужки с погонями младшего сержанта. Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка пад крокодилей пастью. Полковник усмехнулся.

Они встретили военфельдшера Улыбышеву, и комдив пригласил ее с Катей к себе пить чай.

Придя в избу полковника, Улыбышева с Катей принялись хозяйничать при помощи ординарца — вскипятили самовар и сели за стол, весело болтая о всякой всячине.

Через некоторое время пришел Травкин.

— Садись,— сказал комдив.

Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину, но он не проронил об этом ни слова. Разговор шел о каких-то лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое серьезное лицо, слушала его ясные, четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл. И ей стало нестерпимо горько.

«Ну какая я ему пара? — думала она. — Он такой умный, серьезный, сестра у него скрипачка, и сам он будет ученым. А я? Девчонка, такая же, как тысячи других».

Травкин ни в малейшей степе не догадывался об истинных чувствах этой девушки. Она вызывала в нем досаду и недоумение. Ее неожиданные появления в овине, непрошенные заботы о его удобствах — все это казалось ему чем-то неприличным, навязчивым и глупым. Он стыдился своих разведчиков, которые при ее появлении многозначительно переглядывались, неуклюже стараясь оставлять его с ней наедине.

Теперь он крайне удивился, увидя ее в комнате командира дивизии, да еще за самоваром. И когда комдив заговорил об истории с лошадьми, Травкин сначала поду-

мал, что это Катя, узнав о лошадях из разговоров разведчиков, насплетничала комдиву.

Он вкратце объяснил полковнику, как было дело, и поред комдивом вдруг воскресли дни наступления, беспрестанные марши, короткие схватки и тот мартовский полдень, когда он, полковник, стоял посреди разбитой дороги, так насмешливо упрекал разведчиков. Из зеленовато-серых глаз комдива на Травкина глянул одобряющий прищуренный взгляд разведчика прошлой войны унтер-офицера Сербиченко.

— Молодец, Травкин.

Полковник спросил:

— А точно ты вернул всех лошадей крестьянам?

Травкин утвердительно ответил:

— Точно.

В дверь постучали, и на пороге показался капитан Барашкин.

— Тебе чего? — недовольно спросил Сербиченко.

— Вы меня не вызывали, товарищ полковник?

— Вызывал часа три назад. Говорил с тобой Семеркин?

— Говорил, товарищ полковник.

— Ну и что?

— Пошлем группу в тыл противника.

— Кто пойдет старшим?

— Да вот он, Травкин, — со скрытым злорадством ответил Барашкин.

Но он ошибся в расчете. Травкин и глазом не моргнул, Улыбышева спокойно разливала чай, не зная, в чем дело, а Катя совершенно не поняла, что произнесенные слова находились в прямой связи с судьбой ее любви.

Единственный, кто понял выражение глаз Барашкина, был командир дивизии, но он не имел оснований не соглашаться с Барашкиным. Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычайно трудной операцией был Травкин.

— Хорошо, — сказал комдив и отпустил Барашкина.

Поднялся вскоре и Травкин.

— Ну что ж, иди, — напутствовал его полковник. — Готовься смотри, дело серьезное.

— Есть, — сказал Травкин и вышел из избы.

Прислушиваясь к удаляющимся шагам разведчика, полковник невесело сказал:

— Хорош парень.

После ухода Травкина Кате не сиделось. Вскоре она попрощалась и вышла. Была теплая лунная ночь, и тишина, глубокая, полная, лесная, лишь изредка прерывалась дальними разрывами или тарахтеньем одинокого грузовика.

Она была счастлива. Ей казалось, что Травкин смотрел на нее сегодня ласковей, чем всегда. И ей думалось, что всемогущий командир дивизии, который относится к ней так доброжелательно, конечно, сможет убедить Травкина в том, что она, Катя, не такая уж плохая девушка и что у нее есть достоинства, которые можно цепить. И она в этой лунной ночи всюду искала своего любимого и шептала старые слова, почти такие же, как в Песни Песней, хотя она никогда не читала и не слышала их.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Здравствуйте, товарищ лейтенант, пишу вам я, Иван Васильевич Аниканов, ваш разведчик, сержант и командир первого отделения. Могу вам сообщить, что живу хорошо, чего и вам желаю от всей души. В госпитале мно вырезали пулю, каковая находилась в мягких тканях ноги. И из госпиталя попал я в запасный полк. Тут сперва плоховато было, потому что кормят похуже, чем на фронте, а я покушать люблю и к фронтовому пайку слишком привык. И приходилось целый день изучать военное дело и устав, все сначала, а также бегать, кричать «ура», немцев же, конечно, нет, а стрелять — патронов не дают. И вот еще беда. Отобрали у меня мой пистолет «вальтер», что я отобрал, если помните, у того немецкого капитана с черной повязкой на глазу. Ходил я жаловаться к здешнему комбату, но тот сказал, что сержанту пистолет не положен. А что я не просто сержант, а разведчик, и таких пистолетов у меня перебывало, может, две сотни, — он об этом и знать не хочет. Потом перевели меня в подсобное хозяйство, и вот тут мне живется, как зажиточному колхознику. У меня все есть — и сметана, и масло, и овощи всякие. Тем более я тут заместо главного, как бывший председатель колхоза. Значит, мы все пашем и сеем. И по вечерам, покушав и запивши молочком, лежу я на перине, а хозяйкина муж, между прочим, пропал еще по первому году, она так и ходит вокруг.

И думаю я про вас, товарищ лейтенант Травкин, и про товарищей моих в моем взводе, вспоминаю наши боевые дела, а главное — мучения ваши и как вы бьетесь за нашу великую родину, и сердце обливается кровью. И прошу вас, товарищ лейтенант, поговорить с тов. Сербиченко, может быть, он пошлет на меня требование, чтоб отпустили меня к вам. Не могу я здесь без вас, потому, товарищ Травкин, совестно, что не довел до конца эту войну вместе с вами, а живу, как зажиточный колхозник, и вроде вы меня защищаете от немца. С приветом к вам и ко всему нашему славному взводу

Иван Васильевич Аниканов».

В который раз перечитав это письмо, Травкин растроганно улыбнулся и снова вспомнил, каков был Аниканов и как хорошо было бы иметь его сейчас здесь, у себя. Чуть ли не с пренебрежением всматривался он в лица спящих разведчиков, сравнивая их с отсутствующим Аникановым.

«Нет,— думал Травкин,— эти все не такие, как он. Нет в них той спокойной отваги, неторопливости и ясного ума. В Аниканове я был всегда уверен. Он не знал, что такое паника. Мамошкин смел, но безрассуден и корыстен. Быков рассудителен, но слишком. Бывают острые моменты, когда рассудительность не лучше трусости. Бражников недостаточно самостоятелен, хотя есть в нем и хорошие задатки. Голубь, Семенов и другие — еще не разведчики пока. Марченко — тот был человек, золотой человек, но он, очевидно, погиб и не вернется больше».

Одолеваемый этими горькими мыслями, не совсем, впрочем, справедливыми и навешанными взволновавшим его письмом Аниканова, Травкин вышел из овина в холодный рассвет. Он побрел к тому яру, который был им облюбован для тактических занятий с разведчиками.

Это место довольно точно воспроизводило подлинный передний край. Яр пересекался широким ручьем, пад которым свесились уже зслеповшие плакучие ивы. Неглубокая траншея, вырытая разведчиками специально для занятий, и два ряда колючей проволоки обозначали передний край «противника».

На этом «театре» Травкин теперь еженощно проводил занятия. Со свойственным ему упорством он гонял разведчиков через студеной ручей вброд, заставлял их резать проволоку, щупать длинными саперными щупами

песамделишние мипные поля и прыгать через траншею. Вчера он придумал новую игру. Посадив нескольких разведчиков в траншею, он заставлял остальных подползать к ним как можно тише, чтобы приучить людей к бесшумному движению. Сам он тоже сел в траншею и прислушивался к почным звукам, но мысли его были не здесь, а на подлинном переднем крае, где немцы успели возвести мощную систему инженерных заграждений, которые ему придется вскоре преодолевать.

К тому же взвод получил пополнение — десять новых разведчиков, — так что Травкину приходилось, кроме специальных занятий с отобранными им для операции людьми, заниматься и с остальными, да еще ежедневно наблюдать за противником на переднем крае, изучая его режим и поведение.

В результате этого непрерывного тяжелого труда он стал очень раздражителен. Ранее склонный прощать разведчикам мелкие грешки, он теперь наказывал их за малейшую провинность. В первую голову досталось Мамочкину. Травкин строго спросил его, где он добывает вскую снедь. Мамочкин что-то пробормотал про добровольные даяния крестьян, и Травкин посадил его под арест на трое суток, сказав:

— Пусть местное крестьянство отдохнет от тебя хоть три дня.

Катю он вежливо, но твердо попросил пока, — он так и сказал: пока, — посещения овина прекратить. Правда, он испытал некоторую неловкость, когда встретил со испуганный взгляд, хотел было вернуть ее, но сдержался.

Но больней всего другого его уязвил небывалый случай с новичком Феоктистовым, высоким красивым парнем откуда-то из-под Казани.

В то утро шел дождь, и Травкин решил дать отдых разведчикам. Он вышел из овина и направился к блиндажу Баранкина, где переводчик Левин давал ему уроки немецкого языка. В кустарнике возле мельницы он увидел Феоктистова. Высокий, ладно скроенный Феоктистов лежал на траве, голый по пояс, под проливным дождем. Травкин удивленно спросил, что это значит. Феоктистов, вскочив, смущенно ответил:

— Принимаю, товарищ лейтенант, холодные ванны... Так я и дома делал.

Но этой же ночью, во время занятий по бесшумному ползанию, Феоктистов сильно закашлялся. Сначала Трав-

кий по обратил внимания на это, но затем, когда Феоктистов раскашлялся снова, лейтенант все понял. Феоктистов нарочно старался простудиться. Из рассказов старых разведчиков он, конечно, знал, что человека, страдающего кашлем, на задание не возьмут, так как кашель может выдать всю группу немцам.

Травкин никогда в своей короткой жизни не испытывал такого страшного приступа ярости. Ему стоило большого усилия воли не пристрелить этого высокого, красивого, испуганного мерзавца тут же при лунном свете, на глазах у недоумевающих разведчиков.

— Так вот что за холодные ванны, подлый трус!

На следующий день Феоктистова отчислили.

Вспомнив этот случай, Травкин и теперь не мог избавиться от чувства гадливости.

Всходило солнце, и надо было идти на передний край. Взяв двух разведчиков, он отправился в обычный путь, к реке.

Чем ближе к переднему краю, тем напряженнее и сдавленнее воздух, словно это атмосфера не Земли, а какой-то неизмеримо большей неведомой планеты. Мощные всплески пулеметного огня, оглушительное кряхтение минометных разрывов, а затем недобрая тишина, чреватая новыми возможностями внезапной смерти. Гуськом, в зеленых халатах, мимо разбитых снарядами деревьев, мимо позиций артиллерии, разведчики подходили все ближе и ближе к войне.

В траншеях второго батальона Травкина встретил Мамочкин. После гауптвахты Травкин прислал его сюда для постоянного пребывания старшим на наблюдательном пункте — «поближе к немцам, подальше от кур». Лихо пристукнув каблуками, Мамочкин передал ему схему наблюдения и записи о поведении противника за прошедшие сутки.

Из пулеметного дзота Травкин наблюдал в стереотрубу немецкий передний край. В его дзот обычно заходили командир батальона капитан Муштаков и артиллерист капитан Гуревич. Они знали о предстоящей задаче Травкина, и он не без досады читал в их глазах какое-то извиняющееся выражение: тебе, мол, идти *туда*, а мы вот спокойно сидим в защищенных накатах блиндажах.

Даже их предупредительность, постоянная готовность помочь ему раздражали его. Он внутренне протестовал против их мыслей, похожих на смертный приговор ему.

Он усмехался, глядя в стереотрубу, и думал: «Подождите, друзья, еще вас переживу».

Не то чтобы он желал им зла, наоборот, оба они были ему глубоко симпатичны. Муштаков был лучшим комбатом в дивизии — молодой, красивый. Особенно правился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти, наблюдая за немцами, и всегда снабжал Травкина ценнейшими данными. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фапатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле, — так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга «земляками», ибо они были из одной страны — страны верящих в свое дело и готовых отдать за него жизнь.

Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения.

С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне! Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике, и, если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обликом.

Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова.

Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военные училища и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в кирзовые сапоги с широкими голенищами.

Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себе любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них.

Жизненная задача этих молодых людей часто оказывается необычайно краткой. Они растут, учатся, наде-

ются, испытывают обычные горести и радости, порой для того, чтобы в одно туманное утро, успев только поднять своих людей в атаку, пасть на влажную землю и не встать более. Иногда бойцы даже не могут помянуть их добрым словом: знакомство было слишком кратковременным и черты характера остались неизвестными. Какое под этой гимнастеркой билось сердце? Что творилось за этим юным лбом?

Травкин, будучи примерно одних лет с ними, чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было сознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать, его помянет даже командир дивизии. «И эта девушка,— подумал он вдруг,— эта Катя».

Так он,— сам, быть может, пахануе собственной гибели,— с чувством превосходства и снисходительной жалости наблюдал за молодыми лейтенантами.

Один из них, юноша с большими голубыми глазами, восторженно глядевшими на Травкина, особенно понравился ему. Встретив взгляд Травкина, он робко сказал:

— Возьмите меня с собой. Я с удовольствием пойду в разведку.

Так он и сказал: «с удовольствием». Травкин улыбнулся.

— Ладно, я попрошу начальника штаба дивизии, чтобы вас пустили со мной. У меня людей маловато.

Придя в штаб дивизии, он действительно обратился к подполковнику Галиеву с этой просьбой. Галиев согласился и велел позвонить об этом в полк.

Так в овине поселился младший лейтенант Мещерский — стройный голубоглазый двадцатилетний мальчик в широченных кирзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского.

Когда не было Травкина, в овин приходила Катя. Мещерский встречал ее приветливо, здороваясь за руку и вежливо приглашая садиться. Это нравилось разведчикам и немного смешило их, отвыкших от такого вежливого обращения.

Как-то раз Мещерский сказал Травкину:

— Замечательная девушка эта связистка.

— Какая?

— Катя Симакова. Она часто приходит сюда.

Травкин промолчал.

— Вы разве не знаете ее? — спросил Мещерский.

— Знаю. А чем она замечательна, по-вашему?

— Добрая она. Разведчикам стирает, они ей письма из дому читают, делятся с ней своими новостями. Когда она приходит, все очень довольны. Поет красиво.

В другой раз Мещерский с обычной своей восторженностью сказал:

— Да она же вас любит! Честное слово, любит! Неужели вы не замечали? Это же так ясно... Как это хорошо! Я очень рад за вас.

Травкин птянуто улыбнулся.

— Вы почему это знаете? Она вам сказала, что ли?

— Нет, зачем... Я и сам заметил. Замечательная девушка, я вам говорю.

— Да она любого полюбит,— сказал Травкин грубо.

Мещерский болезненно сморщился и даже руками замахал:

— Что вы, что вы... Как вы можете так думать? Неправда.

— Пора на ночные запытия,— прервал Травкин этот разговор.

Мещерский занимался ревностно, находя во всем, что делал, почти детское удовольствие. Он ползал до изнеможения, храбро лез в студеной ручей и целыми ночами готов был слушать бесконечные рассказы о боевых делах взвода.

Мещерский все больше нравился Травкину, и он, одобрительно глядя на голубоглазого юношу, думал:

«Это будет орел...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Значит, завтра ночью выступаем. Дай бог, чтобы ночь была темная,— это для разведчиков главней всего,— разглагольствовал Мамочкин, рисуясь перед молодыми разведчиками.

Он порядочно выпил. Ввиду предстоящей операции он был отпущен Травкиным с передового края отдыхать и сразу пошел к «своему» старику вдовцу. Он принес в овин крынку с медом, бутылъ самогона, консервную банку с маслом, яйца и килограмма три вареной свиной

колбасы. На робкие возражения старика по поводу размеров требуемой дани Мамочкин с некоторой грустью отвечал:

— Ничего, старик. Не исключена возможность, что я никогда больше не приду к тебе. Попаду же я, конечно, в рай. А там твою бабушку встречу, расскажу, какой ты добрый человек. Ты лучше не спорь, я с тебя, может, последний взнос получаю...

В связи с особыми обстоятельствами Мамочкин решил даже рассекретить свою «базу». Он взял с собою Быкова и Семенова и, нагрузив их продуктами, самодовольно улыбался, ежеминутно спрашивая:

— Ну, как?

Семенов восхищался непостижимой, почти колдовской удачливостью Мамочкина:

— Вот здорово! Как ты это так?..

Быков же, догадываясь о том, что тут дело нечисто, говорил:

— Гляди, Мамочкин, лейтенант узнает.

Проходя мимо старикова поля, Мамочкин покосился на «своих» лошадей, запряженных в плуг и борону. За лошадьми шли сын старика, сутулый молчаливый идист, и сноха, красивая высокая баба.

Мамочкин обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Он вспомнил, что эта лошадь принадлежала той странной старухе, у которой взвод останавливался на отдых.

«Ну и ругается та божья старушка!» — промелькнуло в голове у Мамочкина, и он испытал даже нечто похожее на угрызения совести. Но теперь все это было уже не важно. Впереди — задание, и кто его знает, чем оно кончится.

Придя в овин, Мамочкин увидел Травкина, который сидел у старой молотилки с карандашом в руке, собираясь писать письма матери и сестре. Мамочкин вдруг побледнел и тихо подошел к лейтенанту. В глазах Мамочкина появилась необычная робость. Травкин с удивлением посмотрел на него.

— Товарищ лейтенант, — сказал Мамочкин, — а как рация? Будет с нами рация?

— Будет. Бражников пошел за ней.

— А радист?

— Я сам буду передавать радиogramмы. Радиста брать не стоит. Еще трус попадется или вообще

неумелый солдат. Нет, мы сами обойдемся, я в радио понимаю немного.

— Ага...

Мамочкину явно не о чем было больше говорить, но он не уходил.

— Товарищ лейтенант,— промямлил он,— хотите свиной колбаски?

Он рассчитывал, что Травкин пакинется на него: снова, мол, крестьян грабиль... Но Травкин коротко поблагодарил, отказался и снова припнулся за письмо. Тогда Мамочкин решился. Внезапно дрогнувшим голосом он сказал:

— Товарищ лейтенант, не пишите письмо.

Травкин удивленно спросил:

— Что с тобой?

Мамочкин ответил скороговоркой:

— Вот так же, на молотилке, писал Марченко перед уходом. Это плохая примета. У нас на море рыбаки приметам верят... и, честное слово, правильно делают.

Травкин насмешливо, но мягко сказал:

— Брось, Мамочкин, эти бабьи сказки.

Когда Мамочкин отошел, Травкин снова взялся за карандаш, но тут его взгляд вдруг упал на темную кучу соломы неподалеку от выхода. У изголовья этой военной постели лежал небольшой, потемневший от времени, пота и непогоды вещевого мешок. То была постель Марченко.

Травкин так и не дописал письмо. Пришел Бражников, неся маленькую рацию. Вслед за ним явились начальник связи дивизии майор Лихачев, Катя и два других радиста. Лихачев еще раз объяснил Травкину правила пользования кодированной картой и таблицей:

— Гляди, Травкин. Танки противника обозначаются цифрой сорок девять, пехота — цифрой двадцать один, а карта расчерчена на квадраты. Вот, например, нужно сообщить, что танки вот в этом районе. Ты передаешь: сорок девять квадрат Бык четыре. Если пехота, значит: двадцать один Бык четыре и так далее.

Они устроили последнее тренировочное занятие. Позывная разведгруппы была окончательно установлена: «Звезда»; позывная дивизии — «Земля».

В тишине овина раздались странные слова, полные таинственного значения. Разведчики, стоявшие молча во-

круг Лихачева и Травкина, с невольным трепетом прислушивались к этому разговору.

— Земля, Земля. Слушай Звезду. Говорит Звезда. Двадцать один Буйвол три. Двадцать один Буйвол три. Прием.

И Лихачев, тоже взволнованный, замогильным голосом отвечал:

— Звезда, Звезда. Земля у аппарата. Правильно ли я понял? Повторяю: двадцать один Буйвол три. Прием.

— Земля, у аппарата Звезда. Понял правильно. Дальше. Сорок девять Тигр два.

Под темными сводами овина раздавался таинственный межпланетный разговор, и люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве. А ласточки, выющие гвезда под крышей овина, весело шелестели крыльями, ведя свой семейный беззаботный разговор.

Напоследок Лихачев крепко пожал руку Травкина и спросил:

— Может, возьмешь все-таки с собой радиста? Ребята у меня хорошие и просятся в разведку. Сегодня я даже получил, — он улыбнулся немного сконфуженно, — докладную от младшего сержанта Симакowej, — она с тобой хочет идти.

Травкин нахмурился и сказал:

— Да что вы, товарищ майор, не нужно мне радиста. Но на прогулку идем.

Катя, услышав такой оскорбительный отказ в ответ на свою горячую просьбу, выбежала из овина. Она была глубоко уязвлена презрительными словами Травкина.

«Какой грубый, нехороший человек! — думала она о Травкине, и раздражение накапливало в ней. — Только дура может полюбить такого...»

Проходя мимо блиндажа капитана Барашкина, она замедлила шаги. «Вот возьму вазло и зайду». Она с внезапной приятной вспомнила неотступные слащавые ухаживания Барашкина, его предупредительность, дрожащий тенорок и страшно обычные, но всегда приятные для одинокого сердца любовные объяснения. Даже его толстую тетрадь с выписанными в ней стишками и песнями она вспомнила теперь с теплым чувством. В Барашкине все было обычно, просто и ясно, и это казалось ей теперь именно тем самым, что нужно человеку для счастья.

Она зашла. Барашкин встротил ее немного удивленной, но довольной улыбкой. Он смутно подумал о том, что вот Травкин уходит и она, хитрая бабенка, решила пока хоть его, Барашкина, не упустить. Появилась и барашкинская заветная тетрадка — тут были и песенки из кинофильмов, и разные чувствительные романсы. Впрочем, Кате не пелось сегодня.

Барашкин всячески старался выжить из блиндажа переводчика Левина. Но когда Левин ушел и Барашкин, сладко улыбаясь, дрожащими руками обнял Катю, ей вдруг стало невыносимо противно, и, оттолкнув его, она выбежала из блиндажа в шумящий лес. Нет, это «обычное» уже было ей чуждо и отвратительно. Глаза ее были полны слез.

Травкин между тем имел весьма неприятный разговор.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, зашел в овин следователь прокуратуры капитан Еськин. Это уже был не межпланетный разговор. Следователь уселся с Травкиным за плащ-палатками и стал подробно расспрашивать его: как и когда лошади были взяты, на каком основании взяты, когда и при каких обстоятельствах отосланы обратно и почему не получена назад расписка...

Травкин угрюмо, но обстоятельно рассказал, как было дело. Когда речь зашла о расписке, он на минуту задумался, вспоминая. Ах да, двух лошадей, задержанных еще на сутки, отводил Мамочкин!

Он вызвал Мамочкина, но того в овине не оказалось. Следователь сказал, что придет позднее. Перед уходом он как бы невзначай оглядел овин, увидел белую скатерть, покрывающую постель Мамочкина, в отличие от других постелей, покрытых плащ-палатками, пичего не сказал, ушел.

Когда Мамочкин появился в овине, Травкин вызвал его к себе, но в последний момент, пораздумав, ничего не спросил о лошадях: ведь Мамочкин должен был идти с ним выполнять задачу. Лейтенант спросил только, где пропадал Мамочкин последние два часа. Тот ответил, что у саперов. На этом разговор кончился.

Травкин вместе с Мещерским пошел в гости к Бугоркову. По дороге Мещерский, чем-то обеспокоенный, вдруг сказал:

— Травкин, как хотите, я пойду позову Катю. Вы не видели, а я видел. Мне очень ее жалко. Она ушла в ужасном состоянии. Ах, Травкин, вы напрасно обидели ее!

Он пришел в блиндаж к Бугоркову, ведя за руку совсем оробевшую Катю.

Она заметила виноватый взгляд Травкина, и это переполнило ее самыми радужными надеждами. Для Травкина вечер окончился неожиданным счастливым событием.

Оживленную беседу прервал запыхавшийся Бражников, вбежавший в блиндаж. Его глаза блестели, он забыл надеть пилотку, и прямые льняные волосы падали ему на лоб.

— Товарищ лейтенант, вас зовут! Идемте скорее, там увидите.

Возле овина была радостная суета. Разведчики бросились к Травкину, крича:

— Смотрите, кто приехал!

Травкин остановился. Широко улыбаясь, поблескивая мудрыми глазками, к нему шел Аниканов. Не решаясь обнять лейтенанта, он затоптался на месте.

— Вот, значит, товарищ лейтенант, приехал.

Ошеломленный, смотрел Травкин на Аниканова. Сказать он ничего не мог. Он вдруг ощутил огромное чувство облегчения. И в это мгновение он по-настоящему понял, в какой бездне сомнений и неуверенности находился последние недели.

— Как же ты? Совсем или проездом в другую часть? — спросил он, когда они наконец уселись за столик.

Аниканов ответил:

— Направление у меня в другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта. Мне солдат один проезжий из нашей дивизии сказал, что вы здесь по-прежнему. — Он помолчал, потом закончил, улыбнувшись: — А там видно будет.

Аниканову поднесли водки и закусить. Травкин с наслаждением смотрел, как он медленно ест — с чувством, но без жадности, с милой сердцу деревенской учтивостью. Так же медленно рассказал он, как, закончив посевную в подсобном хозяйстве запасного полка, попросился на фронт, и вот его и послали с маршевой ротой.

— Значит, идете к немцу в тыл? — переспросил он лейтенанта. — А кто с вами?

— Вот младший лейтенант Мещерский, Мамочкин, Бражников, Быков, Семенов и Голубь.

— А Марченко, Марченко-то где?

Он осекся, увидя потемневшие лица окружающих. Узнав, в чем дело, он осторожно отодвинул тарелку, закрутил сигарку и сказал:

— Что ж... вечная ему память.

Замолчали. И тогда Травкин, исподлобья оглядев Аниканова, спросил:

— А ты как? Пойдешь со мной или по своему направлению в часть?

Аниканов ответил не сразу. Ни на кого не глядя, но чувствуя, что окружающие его люди с напряжением ожидают ответа, он сказал:

— Думаю с вами пойти, товарищ лейтенант. Придется тогда в мою часть написать, что не дезертир, дескать, сержант Аниканов. В общем, написать все, что нужно.

Мамочкин, стоя в дверях овина, слушал разговор со смешанным чувством восхищения и зависти. Так мог только Аниканов, это было ясно. Стоило отдать жизнь за то, чтобы оказаться в этот момент Аникановым.

Аниканов огляделся, увидел плащ-палатки на соломе, зеленые маскхалаты, кучу гранат в углу, висящие на гвоздях автоматы, ножи на поясах бойцов и подумал со вздохом философа и жизнелюбца: вот мы и дома.

Травкин, успокоенный и подобревший, развернул карту, чтобы объяснить Аниканову суть их задачи и план действий, но посыльный из штаба, внезапно появившись в дверях овина, передал ему приказание идти к командиру дивизии. Поручив Мещерскому вести Аниканова в курс дела, Травкин пошел к полковнику.

В избе комдива было темновато. Полковник Сербиченко хворал и, лежа на койке у окна, слушал доклад начальника штаба.

— Да ты в лаптях! — обратил он прежде всего внимание на необычную обувь Травкина.

— Привыкаю, товарищ полковник. У меня Семенов, рязанец, сплел лапти для моей группы. Бесшумно ходишь, и ногам легко.

Полковник одобрительно заворчал и торжествующе посмотрел на подполковника Галиева: гляди, мол, что за умные ребята эти разведчики!

Полковник Сербиченко уже много раз отправлял людей на рискованные дела, но сегодня ему стало почти жалко этого Травкина. Он подумал о том, что вот полковник Семеркин был прав, но для армейских разведка — просто вид штабной службы со сводками, донесени-

ями, картами обстановки и решением задач крупного масштаба. Для него же кое-что значил и этот человек в лаптях, в зеленом маскхалате, молодой, небритый, похожий на красавца лешего.

Его так и подмывало сказать Травкину то, что обычно говорят отец или мать, отправляя сына на опасное дело.

«Берегите себя,— сказал бы он Травкину,— дело делом, а не при на рожон. Будь осторожен, скоро войне конец».

Но он сам был когда-то разведчиком и прекрасно знал, что такого рода напутствия к добру не приводят,— они расхолаживают даже самых верных своему долгу людей. При выполнении задач люди многое могут забыть, по этих слов: «береги себя», сказанных старшим начальником, человек никогда не забудет,— а это почти наверняка провал всего дела. И полковник, пожав руку Травкину, сказал только:

— Смотри...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть.

Выслав вперед своих людей, Травкин в сопровождении Мещерского и Бугоркова пошел к переднему краю. Мещерский имел несчастный вид. Дело в том, что подполковник Галиев, узнав о приезде Аникапова, после короткого размышления решил оставить Мещерского здесь — заместителем Травкина.

— Мало ли что может случиться, а разведчики без офицера остаются, — сказал он комдиву, и тот согласился с ним.

Шагая по лесным просекам, трое офицеров вполголоса разговаривали. Собственно, говорил Бугорков, опечаленный Мещерский слушал, а Травкин глядел вперед отсутствующим взглядом.

— Скорее бы войне конец, — ни с того ни с сего вдруг закончил Бугорков, сбоку глядя на серьезный профиль Травкина.

Травкин молчал. Выходя на задание, он становился особенно молчаливым. Это напускное спокойствие, почти сонливость, стоило ему немалых усилий воли. Отдаваясь судьбе, он как бы выражал всем своим видом: все, что можно было сделать, сделано, а там пусть идет, как идет.

На широком гребне, поросшем молодым ельником, располагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского полка. Артиллеристы возились подле вкопанных в землю орудий. Завидев Травкина, они замахали руками и закричали:

— Опять на работу?

— Опять, — скупое ответил Травкин.

В траншее его уже ожидали. Там были капитан Муштаков, капитан Гуревич и командиры двух минометных рот. Аникапов и другие разведчики сидели на корточках в траншее и тихо разговаривали.

Капитан Гуревич уточнил взаимодействие:

— Значит, я делаю артналет по цели номер шесть для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин, не уклоняйтесь влево, а то попадете под мои разрывы. Вслед за тем я ударю вместе с минометчиками по цели номер четыре. В случае вашей красной ракеты бью по целям два, три, четыре, пять, семь и прикрываю ваш отход.

— Минометчики пристрелялись? — спросил Травкин.

— Да, все готово, — заверили минометчики.

— Готовы и мои пулеметы на всякий случай, — сказал Муштаков.

Все были заметно взволнованы.

Травкин высунулся за бруствер и прислушался к немецкому переднему краю. Где-то там, далеко, патефон играл фокстрот. Левее то и дело вздымались к небу белые осветительные ракеты.

Он спрыгнул обратно в траншею, повернулся к своим разведчикам и саперам и сказал:

— Слушайте боевой приказ.

Разведчики медленно встали.

— Противник обороняет этот участок силами сто тридцать первой пехотной дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. Командир дивизии приказал произвести разведку в тылу противника, выяснить характер этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника и сообщить все данные командованию по радио.

Объяснив разведчикам порядок движения и сообщив им, что заместителем своим он назначает Аниканова, Травкин молча кивнул остающимся в траншее офицерам, перелез через бруствер и бесшумно двинулся к берегу реки. Затем то же самое один за другим проделали Бражников, Мамочкин, Голубь, Семенов, Быков и три сапера, выделенных для сопровождения группы. Последним исчез Аниканов.

Оставшиеся в траншее постояли несколько минут неподвижно. Затем Гуревич, вдруг длинно и замысловато выругавшись, попросил Мустакова дать ему водки и действительно выпил, гадливо морщась, полный стакан. Гуревич никогда не ругался и никогда не пил водки. Мустаков удивился, но промолчал.

А Травкин между тем остановился в низком кустарнике у самого берега. Разведчики ждали, но Травкин почему-то медлил. Так они стояли минуты три. Внезапно немецкая белая ракета врезалась в темноту, с шипением распалась на ослепительные кусочки, осыпала молочным светом речушку, а затем погасла так же внезапно. Этого, видимо, и ждал Травкин. Он вошел в темную холодную воду реки. Следом за ним остальные. Быстро пройдя речку, они в тени ее западного берега снова остановились и пореждали вспышку очередной ракеты. Затем Травкин пустил вперед саперов, а сам с разведчиками пошел следом.

Миновав ложбинку, оказавшуюся гораздо более обширной, нежели представлялось Травкину при наблю-

денни, саперы остановились. Тут начинались минные поля.

Щупая землю длинными шестами и прислушиваясь к миноискателю, висевшему на груди у одного из них, саперы медленно пошли вперед.

Снова вспыхнула ракета. Инстинктивный страх прижал разведчиков к земле. Они лежали на высоком ровном месте, и им казалось, что их видит весь мир в этом страшном безжизненном свете ракеты. Но ракета погасла, и всюду была тишина.

Саперы, осторожно действуя руками в темноте, отвинтили взрыватели с нескольких мин. Мощная пулеметная очередь трассирующих пуль пронеслась над головами и умчалась вдаль. Разведчики замерли. Такая же очередь пронеслась левей, сопровождаемая сухим треском. С наших позиций тоже одиноко затарахтел «максимка», и пули его, последний привет от своих, прошелестели где-то справа.

Передний сапер увидел в темноте проволоку и обернулся к Травкину, ползущему за ним.

— Давай,— шепнул Травкин. Саперы начали резать проволоку большими ножницами, и тут опять зажглась ракета, а следом за ней снова пронеслась волна быстро мелькающих в кромешной темноте трассирующих пуль.

В свете ракеты Травкин разглядел немецкий бруствер, какие-то бревна, наваленные поблизости, опушку леса за второй траншеей и три ободранных спарядами дерева: его обычный ориентир во время наблюдения. Он несколько уклонился вправо. Компас в наступившей темноте зеленым фосфором показывал азимут.

Вокруг стояла почная тишина. Однако он знал, как она обманчива и сколько глаз, может быть, следят за тобой в этом мраке. Он даже легонько вздрогнул от прикосновения руки сапера к его плечу. Ага, проволока разрезана. Саперы останутся здесь, чтобы охранять проход на случай, если Травкину и его людям придется отходить. Если же все будет тихо, они могут через полчаса ползти «домой».

Один из них на прощание крепко пожал руку Травкина. Глазами, уже привыкшими к темноте, Травкин внимательно взглянул на него, увидел большие усы и темные добрые впадины глаз. «Меджидов,— узнал его Травкин,— лучший сапер дивизии. Бугорков не покусился».

Разведчики поползли сквозь прорезанную проволоку и уже почти у самого немецкого бруствера замерли: слева раздались взрывы. Земля тяжело задрожала. Через секунду взрывы раздались справа.

«Гуревич даст», — подумал Травкин.

Он услышал слева немецкий говор. Аниканов и Бражников уже были в траншее. Говор приближался. Травкин заатаил дыхание. Два немца шли по ходу сообщения совсем близко. Один из них что-то ел. Слышалось громкое чавканье. Они повернули в другую сторону. Над бруствером показался Аниканов. Он помог Травкину соскочить вниз.

Все семеро рядышком стояли в немецкой траншее.

Травкин прислушался, затем пошел по ходу сообщения, из которого только что вышли эти два немца. Ход сообщения разветвлялся. На повороте Травкин вдруг почувствовал предупреждающую руку идущего впереди Аниканова. Вдоль бруствера шел немец. Разведчики прижались к стенке траншеи. Немец исчез в темноте. Пока все шло хорошо. Только бы им выбраться в лес.

Травкин вылез из хода сообщения и осмотрелся. Он узнал темные очертания домика лесника, виденного им часто в стереотрубу. Возле дома находился немецкий пулеметный дзот. Оттуда доносился голос о чем-то горячо спорящих немцев. Прямо должна быть дорога в лес. Левее же дороги — бугор с двумя соснами, а слева от бугра — болотистая низина. По этой низине и нужно пройти.

Через час разведчики углубились в лес.

Мещерский с Бугорковым, стоя в траншее, неотрывно вглядывались в тьму. То и дело к ним подходил Муштак-ов или Гуревич, негромко спрашивая:

— Ну, как?

Нет, красная ракета — сигнал «обнаружены, отходим» — не появлялась. Раза три начинали работать немецкие пулеметы, но это была, по-видимому, обычная стрельба «на бога». Мещерский, Бугорков, оба капитана и дежурящие в траншее молчаливые солдаты пристально вглядывались в реку, в ее западный высокий берег, в камыши, в кустарник, в немецкую проволоку, в немецкий бруствер. Но ничего не было видно особенного, ровным счетом ничего.

— Черт возьми! — восхищенно сказал Муштаков. — Как лешие.

— Прошли, кажется, — облегченно вздохнул Мещерский и вдруг почувствовал, что он весь в поту.

Капитана Муштакова вызвал по телефону штаб полка. Телефонист не без волнения сказал:

— С вами будет говорить шестьсот.

Из ночной дали раздался знакомый всей дивизии глухой голос полковника Сербиченко:

— Ну, как Травкин?

— Кажется, все в порядке, товарищ шестьсот.

— Значит, у тебя тихо?

— Тихо, товарищ шестьсот.

— Люди Бугоркова еще не вернулись?

— Нет еще, товарищ шестьсот.

Комдив секунду помедлил, потом сказал:

— Что ж, хорошо. Иди спать, Муштаков.

— Есть идти спать.

Потом снова, после некоторого молчания:

— Значит, псемец спокоен?

— Тишина.

— Ракеты?

— Да, но не очень часто.

— Постреливает?

— Временами.

— Но не так, чтобы?..

— Нет, нет, товарищ шестьсот. Нормально, как всегда.

Положив трубку, Муштаков сказал:

— Тревожится старик.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Это был холодный и туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетанья.

Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами: куда ни глянь — огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые пароконные повозки с высоченными бортами. И повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривая. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то кар-

манным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные прижимались к земле, горевшей под их ногами. Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев, в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не в самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Он сел оправляться, кряхтя и вздыхая.

Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его руку.

Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше.

Нужно поскорей выбраться из этого леса.

Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу выработалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю. Их даже два раза освещали фонарем, но принимали, как Травкин и предполагал, за своих. Так они, ползая, притворяясь спящими немцами и снова ползая, выбрались из леса, и на опушке их застал этот туманный рассвет.

Тут случилось нечто страшное. Они буквально напоролись на трех немцев, на трех неславящих немцев. Эти трое полулежали на грузовой автомашине и, кутаясь в одеяла, разговаривали между собой. Один из них, случайно бросив взгляд на ближнюю опушку, остолбенел. По тропе, совершенно бесшумно и не глядя по сторонам, какой-то странной печальной чередой шли семь необычно одетых людей, — не людей, а семь теней в зеленых балахонах, со смертельно серьезными, до жути бледными, почти зелеными лицами.

Нездешний вид этих зеленых теней, а может быть, неясные очертания их фигур в утреннем тумане произвели на немца впечатление чего-то нереального, колдовского. Он сразу даже не подумал о русских, не связал это видение с мыслью о противнике.

— Grüne Gespenster, — испуганно пробормотал он, — зеленые призраки...

Если бы Травкин или кто-нибудь из его людей сделали хоть малейшее движение удивления или испуга, хоть малейшую попытку к нападению или защите, нем-

цы, вероятно, подняли бы тревогу, и эта туманная лесная опушка превратилась бы в арену короткой и кровавой схватки, где все преимущества были на стороне многочисленных врагов. Спасло Травкина его хладнокровие. Он моментально рассудил, что, пока его видят только три немца, ему нет никакого расчета первому лезть в драку, а достигнув ближайшей рощи, где немцев, быть может, нет, он имеет шанс спастись даже в том случае, если эти трое поднимут запоздалую тревогу. Бежать он тоже не решился. Он скорее инстинктом, чем разумом, понял, что бежать нельзя, как нельзя бежать от собаки: она сразу поймет твой страх и подымет оглушительный лай.

Разведчики прошли ровным, неспешным шагом мимо оторопевших немцев. Скрывшись в роще, Травкин лихорадочно осмотрелся, оглянулся и побежал. Они быстро перебежали рощу, очутились на лугу и, испугнув болотных птиц, углубились в следующую рощу. Здесь они отдышались. Аникапов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обессиленные, они уселись на траву, закурили, и Травкин впервые со вчерашнего вечера открыл рот:

— Чуть не попались.

И улыбнулся. Ему трудно было говорить, язык не поворачивался, — так отвык он разговаривать за эту ночь.

Они имели удовольствие видеть, как человек десять немцев цепочкой осторожно прочесали оставленную разведчиками рощу и, вышедши на западную ее опушку, довольно долго приглядывались к болотистому лугу, по которому только что пробежали разведчики. Затем немцы собрались в кучку, поговорили, посмеялись, — очевидно, над теми тремя, которым померещились эти зеленые призраки, — закурили и ушли.

Новички — Семенов и Голубь — смотрели на немцев с пренебрежительным удивлением. Они впервые видели врага так близко. Травкин же, в свою очередь, пристально следил за попичкамп. Они вели себя хорошо, делая то, что делали другие. Семенов, хоть и молодой разведчик, был опытным солдатом, имел два ранения и приобрел за войну обычное солдатское хладнокровие. Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную пена-

внсть к убийцам отца с романтическими историями о следо-
допытах, индейцах и дерзких путешествиях и, по-
нав в эти необычайные условия, вся трепетала от по-
сторга.

Мамочкин не мог не оценить железной выдержки
Травкина и вдруг впервые за последние дни преиспол-
нился уверенности в успехе опасного предприятия. Он
вспомнил свое вчерашнее прощание с Катей. Она про-
сила его беречь лейтенанта, а он, самодовольно улыба-
ясь, успокоительно хлопал ее по спине и говорил:

— Не сомневайся, Катюша. С Мамочкиным твой лей-
тенант — как в Государственном банке.

«Пожалуй, наоборот, с этим лейтенантом Мамочкину
не пропасть», — сознался теперь перед своей совестью
Мамочкин и смотрел на Травкина повеселевшими, спова
слегка пахальными глазами. Он роздал всем по куску
колбасы, причем Травкину дал самый большой кусок и
налил ему из фляги целую кружку самогоцу.

Окопчательно убедившись, что в роще немцев нет, и
выставив на всякий случай охрану, Травкин спял со
спицы Бражникова рацию и передал первую радио-
грамму.

Он долго не мог добиться ответа, в эфире раздавался
треск и смутный гул, доносились обрывки разговоров и
музыки, а по соседству со своей волной он уловил твер-
дую и властную немецкую речь. Услышав ее, Травкин
невольно вздрогнул — такое близкое соседство волн, ка-
залось, может открыть немцу тайну Звезды.

Наконец он услышал неясный отклик, голос,
твердивший одно и то же слово:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.

И Травкин, и далекий радист Земли — оба радостно
вскрикнули.

— Передаю, — сказал Травкин. — Двадцать один Фи-
лин два. Двадцать один Филин два.

Далекая Земля, помолчав, сообщила, что она поняла.
Хорошо поняла.

— Много, очень много двадцать один, — твердил
Травкин, — только что прибывшая двадцать один.

Земля и это поняла и повторила, как эхо:

— Много, очень много двадцать один.

Все повеселели. Пройти такой передний край, а за-
тем начиненные немцами леса и потом связаться по ра-

дио и передать своим об этих немцах,— нет, так стоит жить!

Травкин еще и еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи, от каждого из них зависела жизнь всех остальных, и он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на Земле он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой Звезде, они и он составляли одно целое.

Травкин был доволен собой,— собой, увеличенным в семь раз.

Посоветовавшись с Апкаповым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному плану населенному пункту, где скрещиваются железная и шоссейная дороги. Правда, двигаться днем опасно, но можно было держаться болот и лесов, подальше от проезжих дорог и деревень. Обычно немцы таких мест избегают.

Однако, очутившись на западной опушке рощи, разведчики сразу же увидели немецкий отряд, идущий по болотистому проселку. На немцах были не темно-зеленые, а черные мундиры, грозно поблескивало пенсне шагавшего впереди офицера.

За эсэсовским отрядом проследовал обоз из двадцати огромных повозок, доверху нагруженных кладью.

Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам, подошли к лесной поляне, по краям которой, замаскированные, стояли гусеничные бронетранспортеры, двенадцать штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки — одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте.

Разведчики отползли от этой опасной поляны и обошли ее далеко справа, но тут снова набрали на немецкий лагерь, полный грузовых автомашин со снарядами.

В лесу на молодой траве валялись пустые сигаретные коробки, консервные банки, грязные обрывки напечатанных готическим шрифтом газет, порожние бутылки — следы чужой, ненавистной жизни. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра пять и буква W. Повсюду был запах немца, фрица, ган-

са, германца, фашиста,— запах постылый и презпрас-
мый. Следовало дожидаться темноты, днем двигаться
было невозможно: кругом полно немцев, горлающих,
свистящих, идущих и едущих, полно *сосредоточивающихся*
немецких войск.

Травкин, да и все разведчики понимали, что против-
ник что-то готовит, укрывая свежие войска во мраке
огромных здешних лесов. Они, может быть, впервые по-
няли всю важность своей задачи и всю меру своей ответ-
ственности. Передремав в небольшом яру остаток дня,
разведчики к ночи двинулись дальше.

Вскоре они вышли в красивую озерную местность.
Здесь простирались озера, большие и маленькие, про-
хладные, окруженные березовым лесом, оглашаемые ква-
каньем лягушек.

В ложбине, поросшей густым орешником, недалеко
от озера, Травкин сделал привал. На противоположном
берегу стоял большой двухэтажный каменный дом. Из
дома доносились немецкая речь. Правее проходил неши-
рокий проселок, а на горизонте, между телеграфных
столбов,— шлях.

Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Ма-
шины шли здесь почти непрерывным потоком. Стоило
понаблюдать за ними. Иногда движение на час прекра-
щалось, чтобы затем возобновиться с прежней интен-
сивностью. Автомашины были полны немцев и каких-то
упрятаных под брезент таинственных грузов. Два раза
на мощных тягачах проследовали орудия, общей числен-
ностью двадцать четыре ствола.

Травкин беспрерывно наблюдал за этим потоком,
остальные разведчики дежурили по очереди: одни спали,
другие вместе с Травкиным вели счет проходящей мимо
немецкой силе.

— Товарищ лейтенант,— вдруг вынырнул из мрака
Мамочкин,— там на проселке немецкая подвода и всего
два немца. А в подводе жратва. Разрешите, мы их без
выстрела кончим.

Травкин осторожно пошел за ним и действительно
увидел на проселочной дороге медленно двигавшуюся
повозку. Два немца курили и лениво переговаривались.
В подводе похрюкивала свинья. Да, заманчиво было уло-
жить этих фрицев. Они сами так и лезли в руки. Не без
сожаления махнул Травкин рукой:

— Пускай едут.

Мамочкин даже слегка обиделся. Ввиду столь удачно складывавшихся обстоятельств он был настроен очень воинственно и хотел показать разведчикам, а особенно Аниканову, свою прыть.

«И зачем мы ходим да смотрим, когда вокруг так и шныряют «языки»!»

Медленно наступал рассвет, и движение по пляху прекратилось.

— Двигаются только ночью,— заметил Аниканов,— хороются от нашей авиации. Готовят что-то, сволочи.

Травкин снова повел своих людей в густой орешник, и разведчики, ежась на утреннем холоде, задремали. Вдруг со стороны дома на озере раздался протяжный не то стон, не то крик.

Сам не зная почему, Травкин вдруг вспомнил о Марченко. Крик раздался снова, потом все утихло.

— Пойду посмотрю, что там такое,— предложил Бражников.

— Не надо,— сказал Травкин,— светает.

Действительно, уже светало. По озеру пошли красно-ватые блики. Пожевав сухари с колбасой, которую Мамочкин извлек из своих бездонных карманов, разведчики снова впали в дремоту.

Травкину не спалось. Он пополз ближе к озеру и застыл в кустах почти на самом берегу. Дом на озере просыпался. По двору сновали люди.

Вскоре из ворот вышли трое. Один из них, самый высокий, приложил руку к козырьку фуражки и стал медленно удаляться от дома. Поднявшись на пригорок, он повернулся к оставшимся у калитки, махнул им рукой и быстро пошел по проселочной дороге. В этот момент Травкин заметил ранец на спине немца и белую повязку на его левой руке.

Мысль о том, что этого немца следует захватить, пришла Травкину сразу. Это была даже не мысль, а импульс воли, который появляется у любого разведчика при одном лишь взгляде на всякого немца. А затем Травкин неожиданно понял, какая связь между забинтованной рукой этого немца и ночными воплями, испугавшими разведчиков. Дом на озере служил госпиталем. Длинный немец, шагающий по проселку, выписан из госпиталя и направляется в свою часть. *Этого немца искать никто не будет.*

Аникапов и Мамочкин не спали. Подойдя к ним и указывая рукой на мелькнувшую среди редких деревьев длинновязую фигуру, Травкин сказал:

— Этого фрица нужно взять.

Оба были удивлены. Лейтенант, обычно такой осторожный, приказывает взять немца среди бела дня. Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил:

— Там госпиталь.

Они заметили мелькнувшую на солнце белую повязку на руке немца и тогда поняли.

Разбудили спящих разведчиков и пошли в лес наперерез немцу. Он шагал, насвистывая песенку и, видимо, наслаждаясь весенним утром. Все оказалось чрезвычайно просто. Маленький Голубь, берущий «языка» впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться фрица. Того скрутили, заткнули ему рот платочком и потащили, прежде чем страшно взволнованный Голубь успел опомниться.

В поросшей орешником ложбине немец лежал острым, как будто чуть вытянутым, носом кверху. Вынули платочек из его рта. Немец застонал. Травкин спросил, твердо, по-русски выговаривая слова:

— Zu welchem Truppenteil gehören Sie? ¹

— Infanteriedivision einhunderteinunddreißig, Pionierkompanie ², — ответил немец.

Это была известная разведчикам пехотная дивизия, стоящая на переднем крае.

Травкин присмотрелся к пленнику. То был молодой человек лет двадцати пяти, блескучий, с водянистыми голубоватыми глазами, типичными для немецких лиц.

Пристально глядя в эти водянистые глаза, Травкин задал следующий вопрос:

— Haben Sie hier SS-Leute gesehen? ³

— О ja, — ответил немец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелей глядя на окружающих его русских, — eine ganze Menge, überall ⁴.

— Was sind das für Truppenteile? ⁵ — спросил Травкин.

¹ Ваша воинская часть? (нем.) (Перевод иностранного текста и примечания принадлежат автору.)

² Сто тридцать первая пехотная дивизия, саперная рота (нем.).

³ Эсэсовцев вы тут видели? (нем.)

⁴ О да, их здесь очень много, везде (нем.).

⁵ Что это за части? (нем.)

— Die Panzerdivision «Wiking». Eine sehr berühmte, starke Division. Himmlers Elite ¹.

— А... — произнес Травкин.

Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии «Викинг» и цели ее сосредоточения немец не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого немца и просматривал его бумаги. А немец, глядя на молодого человека, русского с чуть печальными глазами, вдруг почувствовал надежду: неужели этот славный юноша прикажет его убить?

Травкин оторвал глаза от солдатской книжки немца и вспомнил, что немца надо копчаты. Пленный, как бы поняв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу:

— Herr Kommunist, Kamerad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir, ich schwöre: bin kein Nazi. Bin selbst Arbeiter und Arbeitersohn ².

Аниканов примерно понял сказанное немцем. Он знал слово «арбайтер».

— Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий,— задумчиво сказал Аниканов. — Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет же все-таки...

Травкин с младенческих лет был воспитан в любви и уважении к рабочим людям, но этого наборщика из Лейпцига надо было убить.

Немец почувствовал и эту жалость, и эту непреклонность в глазах Травкина. То был неглупый немец: будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего, с большими жалостливыми и непреклонными глазами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Что творилось у них в душе? Вряд ли они сами могли бы ответить на этот вопрос. Все постороннее, все прошлое исчезло из памяти, а если и появлялось в ней време-

¹ Танковая дивизия «Викинг». Знаменитая, сильная дивизия. Отборные части Гиммлера (нем.).

² Господин коммунист, товарищ, я рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, кляпсу — я не нацист. Я рабочий и сын рабочего (нем.).

нами, то в виде бесформенных обрывков. Они жили *задачей* и думали только о ней.

Впереди двигались Аниканов с Голубем, метрах в сорока позади — Травкин и Семенов с радиостанцией, слева, почти по обочине проходящей параллельно движению разведчиков шоссейной дороги, — Мамочкин и Быков, а справа, охраняя группу со стороны леса, — Бражников. Это был равнобедренный треугольник, в котором Травкин являлся центром основания, а Аниканов — вершиной. Иногда, почуяв присутствие немцев, треугольник смыкался и двигался медленней, люди останавливались и прислушивались к почным шорохам. Аниканов издавал птичий крик, и все они замирали.

По шоссе слева проходили машины и гусеничные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, что казалось — стоит протянуть руку, и ты поймаешь немца, уткнешься в немецкое лицо, обожжешься об огонек немецкой сигареты.

Травкин твердо решил больше «языков» не брать. Он чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полужадашенный вскрик — и нагрянет вся эта эсэсовская орава. Он знал, что здесь сосредоточивается тапковая дивизия «Викинг». Однако он не знал ее состава и ее размеров. Состав можно приблизительно установить, если вести учет частям, танкам и артиллерии, но намерения командования могут быть известны только хорошо осведомленному немцу. Такого немца необходимо будет достать после разведки железнодорожной станции.

Однако этот осторожный план Травкина был похищен нарушен. Травкин вдруг услышал слева шум, затем из темноты появился Мамочкин и вполголоса сообщил:

— Тут немец один лежит возле дороги. Пьяный как сапожник...

При одном взгляде на «пьяного» немца Травкин понял, в чем дело. Немец поосторожно углубился в чащу, был оглушен, сбит с ног и обезоружен Мамочкиным.

Мамочкин сконфуженно оправдывался:

— Он так и пер на меня. Что мне было делать?

Долго рассуждать не приходилось. Они схватили пленного па руки и пырнули в лес. Уже слышны были странные для русского уха крики немцев, зовущих пропавшего товарища:

— У-ух!.. У-ху!..

— Виллибальд! Виллибальд!

— Герр Беппекел!..

Пленного уложили па траву возле озера, Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогону из фляги. Мамочкин снял и суетился вокруг «своего» немца, расхваливая его на все лады:

— Ну, это настоящий эсэсовец, этот все знает... Глядите, товарищ лейтенант, — офицер, ей-богу, офицер!

Юра Голубь с любопытством оглядывал немца, досадливо морщил маленький нос и сокрушенно вздыхал:

— Все берут «языка», а мне все не попадается.

— Ничего, Голубок, — тревожно прислушиваясь к замирающим вдали крикам, говорил Аниканов. — Этого добра здесь много. Успеешь.

Па Травкина с ужасом смотрели глаза эсэсовского гауптшарфюрера¹. Дрожка и заикаясь, эсэсовец сказал, что он служит в 9-м мотополку «Вестланд» 5-й танковой дивизии СС «Викинг», — то есть сообщил то, что было написано в солдатской книжке, вынутой из его кармана Мамочкиным. Он рассказал далее, что полк «Вестланд» состоит из трех батальонов, по четыре роты в каждом, в «ротах тяжелого оружия» имеются шести- и десятиствольные минометы. Танков в полку нет, а есть ли в других полках, он не знает. Дивизия прибыла из Югославии. Штаб стоит в деревне недалеко отсюда, по названию деревни он не помнит, потому что не в состоянии запоминать русские и польские названия. Он помнит только «Москау» и «Варшау», заявил он со странным вызовом.

Получив удар по лицу от своего «покровителя» Мамочкина, он сразу же потерял за минуту до этого обретенное хладнокровие и по-звериному завыл. Вообще он боялся Мамочкина пуще смерти: как только тот наклонялся к нему, немец начинал мелко дрожать и умоляюще глядел на Травкина.

¹ Обер-фельдфебель войск СС.

Когда гауптшарфюрера сбросили в озеро, Травкин связался с Землей. Слышимость на этот раз была прекрасная, и Травкин передал все установленное им.

По голосам с Земли Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключение с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения.

— Мы горячо обнимаем вас,— закончила она дрожащим от волнения и гордости за его успех голосом и, как будто сказав нечто имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: — Поняли вы меня? Как вы меня поняли?

— Я понял вас,— ответил он.

К рассвету разведчики очутились возле полустанка, в семи километрах от пужной им станции. Полустанок этот — одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет,— был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен. Такое же укрепление с двух сторон ограждало и деревянный железнодорожный мостик недалеко от полустанка. Это пемцы охраняли свои коммуникации от набегов партизан.

На дороге к полустанку стояла длинная шеренга автомашин, хвостом достигая леса, из которого в этот ранний час выползали разведчики. В глубокой тишине слышались звонки телефонного аппарата в помещении станции и грубый немецкий голос.

Приятно было после двухдневных скитаний по лесам увидеть уходящий в туманную даль рельсовый путь, семафор, черное колено железнодорожной стрелки.

Аниканов, остановив разведчиков условным птичьим криком, подполз к заднему грузовику и заглянул в шоферскую кабину. Она была пуста. Пустыми оказались и второй и третий грузовики. Они почти доверху были завалены порожними мешками из-под муки.

Вернувшись к своим, Аниканов сообщил об этом Травкину.

— Грузиться пришли,— сказал Аниканов,— ждут поезда.

Решил дожидаться поезда и Травкин, но поезд все не показывался. Через некоторое время из станционной будки высыпали заспанные шоферы и стали расходиться по машинам, лениво галдя.

Из обрывков разговоров, хорошо слышных в тишине

утра, Травкин уловил, что машины будут грузиться не здесь, а на станции, и сейчас тронутся в путь. Подумав мгновение, он решил послать на станцию только двух разведчиков, остальные же будут дожидаться здесь. Немцев на станции полным-полно, и незачем рисковать всеми людьми.

Он выделил для этой цели Аникапова и Быкова, а после многократных просьб Юры Голубя назначил его третьим.

— На попутных поезде, что ли? — спросил Аниканов деловито.

Они с Быковым и Голубем поползли к задней машине и быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешками, Аниканов и сам зарылся в мешки, оставив отверстие для глаз и взяв автомат наизготовку.

Вскоре к грузовику неторопливо подошел немец-шофер. Он сел в машину и, дождавшись, пока тронутся передние, включил зажигание и нажал на стартер. Мотор затарахтел.

Колонна двигалась по лесной дороге. Машины подскакивали на выбоинах. Так они ехали минут пятнадцать. Вдруг шофер затормозил.

Аниканов услышал немецкий говор и увидел фигуры двух уцепившихся за борт, а затем прыгнувших в кузов немцев. На счастье разведчиков, немцы, видимо, были не склонны пачкать черные эсэсовские мундиры в мучной пыли и так и остались сидеть на заднем борту, держась подальше от мешков. Все же это было неприятное соседство. Машину подкидывало, и под мешками то и дело обозначались очертания человеческих тел. Аниканов уже начал беспокоиться. Непрошенные попутчики, возможно, собрались ехать до самой станции, а это грозило серьезными осложнениями.

Но вот раздался страшный шум, грузовик остановился, вокруг него поднялась суета, и немцы, сидевшие на борту, быстро спрыгнули на землю.

Тотчас же Аниканов услышал ровное гудение моторов. Он тоже инстинктивно пригнул голову, но вдруг, улыбнувшись, понял: это же наши!

И он весело, как будто советская бомба не в силах причинить вред своим, сказал выглянувшему из-под мешков товарищам:

— Ребята, наши летят.

Самолетов было шесть, они делали низкие круги над лесом, угрожая рокоча.

Аниканов осмотрелся. Немцы все попрятались в лесной чаще. Явственно доносились тревожные гудки паровозов. Станция была близко.

— За мной! — скомандовал Аниканов, и они прыгнули.

Юркнув между машинами, разведчики очутились в кювете и, вынырнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться в лес. Но в то мгновение, что они находились в кювете, их заметил лежащий там немец. Испугавшись, он замер, но затем поднял голову и отчаянным голосом закричал:

— Fallschirmjäger! ¹

Поднялась беспорядочная стрельба. Разведчики ответили несколькими автоматными очередями.

Перескочив широкую прогалину, Аниканов увидел посеревшее лицо Голубя. Голубок падал на землю, сморщив маленький нос.

— Того немца можно было схватить... — сказал он, лежа на широкой спине Аниканова.

Это были первые после ранения и последние в его короткой жизни слова. Разрывная пуля попала ему в грудь, ниже сердца. Бедное сердце еще билось, но все слабей и слабей. Позже он очнулся еще раз, увидел над собой сосредоточенное лицо лейтенанта и большие глаза Мамочкина, из которых лились, не переставая, слезы.

В лесу начиналась гроза. Дубы, покрытые молодой листвой, гудели под порывами ветра, и тысячи ручьев забегали под ногами, подобно стайкам мышей.

Неподвижно сидя перед умирающим Голубем, Травкин ждал возвращения Аниканова, вторично ушедшего — на этот раз с Мамочкиным — к станции. Нет, Травкин после этого печального случая не хотел делить группу на две части, но Голубя, еще живого, нельзя было здесь оставить одного, а дело надо делать.

Он попытался связаться с Землей, но безуспешно. Может быть, мешали электрические разряды. Эфир истошно кричал в трубку, время от времени сухо потрескивая.

Под ногами струились ручейки, на плечи падали тяжелые капли. Ливень смыл с окостеневшего лица мальчика следы пыли и тревог, и оно светилось в темноте.

Аниканов и Мамочкин подползли совсем близко к стационарным постройкам. При свете часто вспыхиваю-

¹ Парашютисты! (нем.)

щих молний они увидели два груженных состава. На платформах одного из них чернели мощные громады танков.

Паровозы пыхтели, испуская клубы пара и осыпая искрами рельсовый путь. Возле пакгаузов, огороженных колючей проволокой, сновали люди, разговаривая на осточертевшем немецком языке. Потом раздались крики часовых, отгонявших от полотна железной дороги группу крестьянок с мешками за спиной. Доносились возгласы и причитания этих крестьянок:

— Ось, бисови души, никуды не пускають...

Аникапов был недоволен собой. И зачем он полез в этот проклятый грузовик? Может быть, не лезь он туда, Голубь был бы жив. Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину?..

Немцы разгружают танки. Видно, готовят большое наступление. А где — неизвестно. Если бы захватить еще одного, можно было бы узнать задачу эсэсовской дивизии.

«Ну вот они, немцы, ходят, — думал Аникапов. — А кто из них знает задачу своей дивизии? Возьмешь какого-нибудь замухрышку и опять ничего не выведаешь толком».

Внимание Аникапова привлекли два тощих немца в широких черных блестящих плащах. При свете молний он видел их то вместе, то по отдельности, — они громко, отрывистыми голосами распоряжались здесь. Эти офицеры, видимо, сошли с той легковой машины, что остановилась возле задней стены ближайшего пакгауза. Ежась под потоками дождя, Аникапов подумал про Голубя: жив ли он еще? Лежит, бедняга, под дождем. Хорошо бы раздобыть для него вот такой плащ, как на этих фрицах.

— Возьмем офицера? — спросил Аникапов Мамочкина. Тот сказал:

— А лейтенант? Он не говорил, чтобы «языка» брать. Аникапов внимательно поглядел в лицо товарища.

— Мы это мигом обтяпаем, — ласково сказал он, — а потом домой сразу.

Мамочкин вздрогнул. Они были вдвоем против сотен деловито снующих немцев. И среди этих сотен захватить — вдвоем — офицера?.. Его затрясло. А Аникапов все так же внимательно смотрел на него, повторяя:

— Да мы это мигом...

Мамочкин отчаянно махнул рукой и вдруг, набрав в легкие воздуха, приподнялся. В восторге от себя са-

мого, подняв лицо под хлещущие струи дождя, он начал твердить скороговоркой, как в лихорадке:

— Давай, Ваня... Давай! Ладно, Ваня. Сделаем. Неужели не сделаем?

Они поползли к машине, пролезли под проволокой и затаились. Дождь беспрерывно лил, стекая по полированному кузову машины.

— Один из этих фрицев генерал, по-моему, — взвинчивая себя, шептал Мамочкин.

— Ясно, генерал, — успокаивающе бормотал Аникапов. Прошло не меньше часа, прежде чем послышались шаги и один из офицеров сказал:

— Wir fahren sofort¹.

Он упал, получив от Аникапова удар ножом в грудь. А второй, оглушенный и прижатый лицом к бурно вздымающейся груди Мамочкина, потерял сознание.

Немцы вокруг все так же сновали от наклаузов к составам и обратно и ежились под потоками дождя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пятая танковая дивизия СС «Викинг» была одной из отборнейших дивизий эсэсовского отборного войска.

Под командованием группенфюрера (генерал-лейтенанта войск СС) Герберта Гилле дивизия в составе 9-го мотополка «Вестланд», 10-го мотополка «Германия», 5-го танкового полка, 5-го дивизиона самоходной артиллерии и 5-го полевого артиллерийского полка, во всем блеске своей первокласснейшей техники, тайно сосредоточилась в этих огромных лесах, с тем чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный русскими город Ковель, расчленив русских на изолированные группы и, уничтожая их, отбросить на рубеж двух знаменитых рек — Стоход и Стирь.

Последнее время дивизия с обычной своей свирепостью усмирляла непокорную Югославию.

Получив сильное пополнение в людях и шестьдесят танков нового типа «тигр», о котором господин рейхсминистр Шпеер отозвался как о «короле танков», дивизия насчитывала пятнадцать тысяч человек. Полками командовал неоднократно отмеченный фюрером штандартен-

¹ Едем сейчас же (нем.).

фюрер Мюллеспкамп, бывший личный адъютант Гитлера штандартенфюрер Гаргайс и другие гиммлеровские волки, высоко стоящие на лестнице национал-социалистской и военной иерархии, удачливые и безжалостные интриганы.

Вслед за дивизией «Викинг» готовилась к прибытию из Франции на этот участок фронта отборная, хотя и не столь блестящая 342-я гренадерская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Никкеля. Ей предстояло развить успех эсэсовцев.

Вся эта операция проводилась в глубокой тайне.

— Русские слишком близко прорвались к генерал-губернаторству, — сказал группенфюреру Гилле его покровитель фон дем Бах, командир корпуса СС, приняв его в своем особняке на острове Пфауенинзель близ Берлина. — Последствия, партайгеноссе Гилле, вам понятны. Это будет означать активизацию всех антигерманских сил в Европе и, пожалуй, может заставить действовать англичан и американцев... Фюрер придаст вашей операции первостепенное значение. Главная квартира заинтересована в глубокой тайне данной перегруппировки. Соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь, сосредоточив свою дивизию в сумрачных лесах западной части города Ковель, Гилле ожидал дальнейших распоряжений, полный уверенности в успехе порученной ему операции. Конечно, он знал, что его дивизия — совсем уже не та, какой она была в 1940 или даже в 1943 году. Пришлось отказаться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки и хорваты. Правда, эти иностранцы были проверенными сторонниками нового порядка, но все же людьми чужой крови, равнодушными к интересам империи. Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты дивизии, воины Черного корпуса, были уже не те чуть по двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно.

Группенфюрер с ужасом заметил во время осмотра мотополка «Германия» несколько одпоглазых, хромых и даже одного горбуна, а маленьких, щуплых солдат — больше половины полка. Да, это уже не те разъяренные кровью и легкой наживой гитлеровские ландскнехты, ко-

торые прошли с огнем и мечом Голландию, Францию и дорвались до Кавказского хребта.

Герберт Гилле с удовольствием вспоминал те времена, кажущиеся теперь уже такими далекими. Больше всего понравился ему Кавказ — эта прекрасная южная местность была красивее и величественнее Швейцарии. Господин группенфюрер одно время даже мечтал о спокойном месте губернатора или штатгальтера этих плодородных горных областей и нащупывал почву для такого выгодного назначения через своих покровителей в личном штабе фюрера. К сожалению, в силу известных всему миру обстоятельств, мечты эти пришлось вскоре оставить.

Странно, но беспокойство завладело им в этот веселый день с самого утра. Прежде всего появилась авиация противника. Нет, она не бомбила, но она вела разведку. Русские самолеты просматривали леса, много раз летали вдоль железной дороги, подолгу кружась над главной станцией выгрузки. Правда, войска были хорошо замаскированы, но беспокойство вызывал сам факт усиленной разведки русскими этих мест.

Беспокойство стало еще более ощутимым, когда сделалось известным, что ночью в районе озер был похищен с дороги во время марша гауптшарфюрер Беннеке, уроженец Мекленбурга, ветеран и один из храбрейших воинов мотополка «Вестланд». После долгих поисков труп его обнаружили в маленьком озере, в восьми километрах от местопребывания штаба дивизии. Господин гауптшарфюрер был заколот ножом в сердце, а голова его повреждена тяжелым предметом.

Не приходится удивляться, что последовавший за этой находкой налет советских бомбардировщиков на деревню, где разместился штаб, был поставлен группенфюрером в связь с убийством Беннеке. Он срочно перевел свой штаб в лес и велел окружить его тремя рядами колючей проволоки.

К вечеру, в то время когда штабс-арцт Линдемманн докладывал группенфюреру результаты вскрытия трупа гауптшарфюрера, из мотополка «Вестланд» доложили, что недалеко от имевшего место прискорбного случая с гауптшарфюрером Виллибальдом Эрнстом Беннеке солдаты, прочесывавшие лес, нашли в густом орешнике, под кучей веток, тело, оказавшееся трупом ефрейтора из 131-й пехотной дивизии Карла Гилле (однофамильца командира

дивизии «Викинг», что неприятно поразило господина группенфюрера).

Несколько позднее позвонил по телефону командир мотополка «Германия» штандартенфюрер Мюлленкамп, доложивший, что в имевшей место перестрелке его солдат с неизвестными, таинственными, одетыми в зеленое людьми, ранены двое рядовых — Гесснер и Мейсснер, причем первый, видимо, смертельно. В качестве курьеза штандартенфюрер сообщил, что солдаты в один голос говорят о том, что незнакомцы были обсыпаны... снегом.

Группенфюрер приказал тщательно расследовать эти случаи и решительно заняться поисками неизвестных, для чего выделить из каждого батальона — роту, а также пустить в ход весь разведывательный отряд дивизии.

Среди солдат, как узнал с неудовольствием группенфюрер, поползли панические слухи о неких «зеленых призраках» (*grüne Gespenster*) или «зеленых дьяволах» (*grüne Teufel*), появившихся в здешних местах.

Группенфюрер Гилле не верил в трансцендентальность этих призраков. Он толковал вызванному им начальнику разведки и контрразведки капитану Вернеру, что на войне призраков не бывает, а бывают враги, и предложил Вернеру лично возглавить операции по поимке «призраков».

Ночью на самой станции, где сгружался в то время танковый полк, часа через два после посещения станции самим группенфюрером, был убит штурмбанфюрер¹ Дилле (эта созвучность с его собственной фамилией снова покорила господина Гилле) и похищен оберштурмфюрер² Артур Вендель, один из руководителей квартирмейстерского отдела дивизии. Бедный господин Дилле убит ударом пожара, причем удар нанесен с такой огромной силой, что пропорол тело штурмбанфюрера пасквозь. Это случилось почти на виду у большого количества находившихся на станции офицеров и солдат.

Группенфюрер приказал посадить начальника караула и часовых на пятнадцать суток в карцер, а капитана Вернера вызвал к себе и отчитал за недостаточное рвение по розыску злоумышленников.

Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее скорее всего из-за ветхости железнодорожного полотна, от-

¹ Майор войск СС (*нем.*).

² Обер-лейтенант войск СС (*нем.*).

равление трех солдат полка «Германия» недоброкачественной пищей, исчезновение двух солдат того же полка, дезертировавших из армии, — все эти случаи молва тоже отнесла за счет деятельности «зеленых призраков», и трудно уже было отличить правду от вымысла, досужую выдумку от реальных фактов.

Встревоженный возможными последствиями, группенфюрер приказал информировать штаб корпуса и командующего центральной группой армии генерал-фельдмаршала Буша в том смысле, что русские заслали в тыл германских войск соединение («Einheit») разведчиков-диверсантов, которым из-за халатного несения службы 131-й пехотной дивизией удалось проникнуть в центр расположения дивизии «Викинг» и, что вполне вероятно, вывести кое-что о целях и задачах перегруппировки.

Подумав, господин группенфюрер написал также частное письмо обергруппенфюреру фон дем Баху в Берлин, дабы позабавить своего покровителя и одновременно обеспечить себе поддержку на случай провала операции. В берлинском резерве околачивалось немало генералов, которые охотно заняли бы место господина Гилле.

В конце следующего дня, когда группенфюрер лег отдыхать после обеда, его разбудил сильный телефонный звонок.

Капитан Вернер сообщал о только что разыгравшемся бое взвода солдат с «зелеными призраками». Взвод этот под командой унтерштурмфюрера¹ Альтенберга, прочесывая согласно приказу командира дивизии окружающую местность, набрел на одинокий сарай на опушке леса. Несколько человек вошли в сарай, но там никого не оказалось. Однако благодаря бдительности унтерштурмфюрера «зеленые призраки» были обнаружены на чердаке сарая. Да, они находились там. К сожалению, им удалось, забросав взвод Альтенберга ручными гранатами и уничтожив самого унтерштурмфюрера и семерых солдат, убежать. Но, во-первых, все находящиеся в том районе части подняты по тревоге и началась настоящая травля «зеленых призраков», которая, надо надеяться, окончится их поимкой или уничтожением; во-вторых, один из этих бандитов попал в руки солдат. Нет, не живой, а убитый, к сожалению.

¹ Лейтенант войск СС (нем.).

Гилле, подумав, приказал подать машину и в сопровождении конвоирующего танка отправился к месту происшествия.

На опушке леса, возле догорающего сарая, группенфюрера встретили капитан Вернер и эсэсовцы из разведывательного отряда.

Не ответив на приветствия, Гилле молча подошел к убитому врагу. Это был молодой русский, не старше двадцати трех лет, с прямыми льняными волосами и большими, широко открытыми мертвыми глазами, спокойно глядящими на господина группенфюрера. Под зеленой одеждой («боевая летняя форма советских разведчиков», — определил группенфюрер) была надета выцветшая красноармейская гимнастерка с погонями советского младшего сержанта.

Неподалеку, положенные рядом, как в строю, со сложенными крест-накрест руками, лежали восемь эсэсовцев. Поморщившись, господин группенфюрер подумал, что пятеро из этих восьми — низкорослые, щуплые... И это солдаты Черного корпуса — СС1..

Травкин не знал, что он причинил столько хлопот такому множеству высокопоставленных лиц германской армии. Правда, шагая треугольником в обратный путь, разведчики иногда видели шныряющие группы эсэсовцев и слышали их переключку, но не относили это на свой счет, предполагая, что эсэсовцы занимаются тактическими учениями.

К вечеру четвертого дня пребывания в немецком тылу разведчики набрали на одинокий сарай. Травкин решил дать людям часок отдохнуть, а кстати связаться по радио с Землей. Из-за предосторожности и для лучшего наблюдения за окрестностями они забрались по прогнившей лесенке, едва не обломившейся под тяжестью Аниканова, на чердак сарая.

Приладив рацию и даже успев обменяться с Землей позывными, Травкин услышал восклицание Бражникова, стоявшего на часах возле выломанного в крыше сарая отверстия. Подойдя к нему, Травкин увидел идущих к сараю развернутым строем человек двадцать эсэсовских солдат.

Травкин разбудил только что заснувших тяжелым сном людей, но прыгать вниз и бежать в лес, пожалуй,

было уже слишком поздно. Эсэсовцы приближались. Четверо вошли в сарай, поковыряли в навозе и вышли, но тут же вернулись, и один из них стал взбираться по гнилой лестнице, негромко ворча и ругаясь.

Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательней, чем когда-либо прежде. Они были страшны. Обросшие, худые, с ввалившимися глазами, стояли они, готовые к смертному бою. Гнилая лестница поскрипывала, немец тихо ругался.

Раздался страшный грохот. Это Аниканов швырнул в отверстие крыши противотанковую гранату на стоящих кружком возле сарая эсэсовцев. Одновременно Бражников, раскrojив автомат показавшуюся в отверстии чердака голову эсэсовца, прыгнул вниз, а вслед за ним прыгнули остальные, вздымая пыль и щебень.

С мимолетным одобрением Травкин подумал о гепилальном, с точки зрения разведчика, замысле Аниканова, разметавшего гранатой врагов, стоящих снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. С тремя эсэсовцами, находившимися в сарае, справиться было легко, — напуганные взрывом, они вообще в темноте не разобрали, в чем дело.

Через минуту разведчики, сопровождаемые пулями и воплями немцев и взрывами запоздалых немецких гранат, бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. О Бражникове ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая.

Погоня не затихала. Казалось, гонятся со всех сторон. Выстрелы и крики громким эхом отдавались по всему лесу. Затем раздался лай собак. Затем рычание мотоциклов где-то справа. Аниканов, раненный в спину, задыхался. Семенов начинал хромать все сильнее и сильнее.

Лес, промытый ливнями, сладко благоухал. Напоенные влагой листья и травы наконец сбросили с себя отдающую зимой апрельскую прохладу. Так наступала настоящая весна. Мягкий ветер, как бы тоже очищенный прошедшими ливнями, колыхал всю эту по-весеннему шуршащую массу зелени.

Шум погони приутих, раненым наскоро сделали перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю

флягу и поболтал ею во все стороны. Самогону оставалось самая малость. Он отдал флягу Аниканову.

Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятком пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам.

Они медленно шли, шатаясь, как пьяные.

Шедший позади с Травкиным Мамочкин внезапно сказал:

— Прошу у вас прощения, товарищ лейтенант.

Покаянно бия себя в грудь, а может быть, и плача — в темноте не разобрать, — он хрипло, вполголоса заговорил:

— Из-за меня, все из-за меня. Недаром рыбаки у нас приметам верят. Почти всегда бывает правильно. Я тех двух лошадей не довел в деревню, а взаем сдал, за продукты...

Травкин молчал.

— Простите, товарищ лейтенант. Если приду здоровым...

— Придешь здоровым — пойдешь в штрафную роту, — сказал Травкин.

— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Знал, что все равно вы так скажете! — восторженно вскричал Мамочкин. И он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви.

Звуки погои раздались совсем рядом. Разведчики притаились. С грохотом пронеслись мимо два броневика. Потом стало тихо, и люди пошли дальше. Впереди темнела массивная фигура Аниканова. Раздвигая могучими плечами ветки деревьев, он медленно шел вперед, огромным усилием воли отгоняя от себя туман полубытья, одолевавший его.

И может быть, только он, во всеоружии своего жизненного опыта, догадывался, что наступившая тишина обманчива. Правда, он не знал, что весь разведывательный отряд эсэсовской дивизии «Викинг», передовые роты подходящей ускоренным маршем 342-й гренадерской дивизии и тыловые части 131-й пехотной дивизии подняты на ноги в погоне за ними; он не знал, что телефоны непрерывно звонят, что рации непрерывно разговаривают жестким шифрованным языком, но он чувствовал, что

вокруг них все уже и уже стягивается петля огромной облавы.

Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем «Викинг» обречена на гибель. И машины, и танки, и бронетранспортеры, и тот эсэсовец с грозно поблескивающим лезвием, и те немцы в подводе с живой свиньей, и все эти немцы вообще — жрущие, горлающие, загадившие окружающие леса, все эти гилле, мюлленкампы, гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы — идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рация, работающая со Звездой, стояла в уединенном блиндаже. Младший лейтенант Мещерский проводил здесь круглые сутки. Он почти не спал, изредка склоняя голову в тяжелой полудремоте, но и тогда ему мерещилось характерное хлюпанье эфира в ушах, и он вдруг просыпался, моргая длинными ресницами, и ошатаело спрашивал дежурного радиста:

— Говорит, кажется?

Радистов работало трое. Но Катя, кончив свою смену, не уходила. Она сидела рядом с Мещерским на узких нарах, склонив светлую голову на смуглые руки, и ждала. Иногда она вдруг начинала сварливо спорить с дежурным, что тот якобы потерял волну Звезды, выхватывала из его рук трубку, и под низким потолком блиндажа раздавался ее тихий, умоляющий голос:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.

По соседству с волной Звезды кто-то без умолку бубнил по-немецки, а чуть подальше говорила, пела и играла на скрипке Москва — вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая.

По несколько раз в день в блиндаж заходил командир дивизии. От овина к блиндажу и обратно сновали разведчики. Ежедневно приходил, иногда в сопровождении старшины Меджидова, лейтенант Бугорков. Он простаивал часок у стены, молчаливо наблюдал работу дежурного радиста и снова уходил.

Часто, отобрав трубку у дежурного, сидел в блиндаже майор Лихачев. Иногда на несколько минут забегал и капитан Барашкин. Он становился возле маленького оконца, барабанил пальцами по стеклу и напевал что-то из своей знаменитой тетрадки. Как-то наведались пришедшие с переднего края неразлучные капитаны Муштаков и Гуревич.

Спокойный, незаметный, чуть рябой, с выпуклым лбом над внимательными глазами, в блиндаж вошел следовательно прокуратуры капитан Еськин. Он спросил Мещерского:

— Вы командир разведчиков?

— Временно замещаю его.

Следователь сказал, что он должен допросить несколько лиц по делу о незаконно взятых у крестьян лошадях. Он кратко изложил суть дела и спросил, понимает ли Мещерский все значение этого проступка, роняющего авторитет Красной Армии в глазах местного населения.

— Так вот,— продолжал следователь, не дожидаясь ответа Мещерского,— мне нужно допросить разведчиков, присутствовавших при совершении этих незаконных действий, в особенности лейтенанта Травкина и сержанта Мамочкина.

— Их сейчас здесь нет,— уже нетерпеливо возразил Мещерский.

— Никого из них?

— Никого.

Следователь с минуту подумал.

— А я должен с ними поговорить,— сказал он. — Скоро ли они вернутся?

— Не знаю,— ответил Мещерский медленно.

Катя, внезапно встав с места, сказала:

— А вы, товарищ капитан, лучше сходите туда, где они находятся, и допросите их.

— А где они находятся? — спросил следователь.

— В тылу у немцев.

Следователь внимательно посмотрел на Катю спокойными, лишенными юмора глазами.

Она, со злой, торжествующей улыбкой выдержала этот взгляд.

Мещерский тоже улыбнулся, но вдруг подумал, что прикажи этому человеку начальство идти к немцам в тыл для допроса — и он пойдет.

На третьи сутки Звезда заговорила, — вторично после того, как Травкин перешел фронт. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял:

— Здесь сосредоточивается Пятая танковая дивизия СС «Викинг». Пленный Девятого мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредоточивается Пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Затем он сообщил состав полка «Вестланд», местопребывание штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял, повторял бесчисленное количество раз:

— Здесь сосредоточивается, тайно сосредоточивается Пятая танковая дивизия СС «Викинг».

Сообщение Травкина наделало шума в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии.

Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. «Галиев почуял немца», — говорили про него.

На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии «Викинг». Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в Ставку Верховного Главнокомандования, в Москву...

Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как событие особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение. Командарм приказал прибывающее пополнение дать именно тем дивизиям, которые могут оказаться под ударом эсэсовцев. Он также перебросил свой резерв на опасный участок.

Штаб фронта взял эти сведения на заметку, как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу. И штаб фронта предложил авиации разведывать и бомбить указанные районы и придал энской армии несколько танковых и артиллерийских частей.

Верховное Главнокомандование, для которого молчок были и дивизия «Викинг», и, в конечном счете, весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контруда-

ром отбросить прорыв наших войск на Польшу. И было отдано распоряжение усилить левый фланг фронта и перебросить именно туда танковую армию, конный корпус и несколько арtdивизий РКК¹.

Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле: до самого Берлина и до самой Москвы.

Ближайшим следствием этих событий для дивизии было: прибытие танкового полка, полка гвардейских минометов и большого пополнения людьми и техникой. Получили пополнение и разведчики.

Мещерский начал проводить усиленные занятия и полдня пропадал на переднем крае, ведя наблюдение за противником. Бугорков со своими саперами минировал местность перед передним краем. Майор Лихачев целыми днями суетился, получая новые рации, телефонные аппараты и провод. Полковник Сербиченко уехал на свой наблюдательный пункт и оттуда руководил действиями частей. Он как-то помолодел и посуровел, как всегда перед большими боями. Серьезно и подолгу изучал он только что прибывшие новые карты, обнимающие почти всю Польшу, вплоть до Вислы. В этих далеких краях он бывал однажды в 1920 году в составе Первой Конной армии Буденного.

В уединенном блиндаже оставалась только Катя.

Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он «я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступней простым, человеческим чувствам, что его последние слова по радио — результат этой перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение торжественной серьезности, как подобает — это слово она даже произнесла вслух — невесте героя.

А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревущий эфир нежно, весело и печально, смотря по настроению:

— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда.

¹ РКК — Резерв Главного Командования.

Через два дня после того разговора Звезда вдруг снова отозвалась:

— Земля. Земля. Я Звезда. Слышишь ли ты меня? Я Звезда.

— Звезда, Звезда! — громко закричала Катя. — Я Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя.

Она протянула руку и настежь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать, поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила карандаш и приготовилась записывать. Однако Звезда на полуслове замолчала и уже больше не говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но Звезда молчала.

Молчала Звезда и на следующий день, и позднее. Изредка в блиндаж заходили то Мещерский, то Бугорков, то майор Лихачев, то капитан Яркевич — новый начальник разведки, заменивший снятого Барашкина. Но Звезда молчала.

Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку ради. Ей мерещились какие-то странные сны, видения, Травкин с очень бледным лицом в зеленом маскхалате, Мамочкин, двоящийся, с застывшей улыбкой на лице, ее брат Леня — тоже почему-то в зеленом маскхалате. Она опоминалась, дрожа от ужаса, что могла пропустить мимо ушей вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку:

— Звезда. Звезда. Звезда.

До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения.

В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с дежурства у ради. не решался. Так она сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже.

Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери, только что полученное с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь. Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник, — с такой точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном двигателе, который он придумал двенадцатилетним маль-

чиком? Она пашла эти чертежи и много смеялась с тетей Клавой над ними.

Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал:

— Скорей бы войне конец... Нет, не устал. Я не говорю, что устал. Но просто пора, чтобы людей перестали убивать.

И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь, у аппарата, и ее бесконечные вызовы Звезды. Звезда закатилась и погасла. Но как она может уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине лесов?

И, полная надежды и железного упорства, она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Летом 1944 года войска, сметая сопротивление слабеющей немецкой армии, проходили по польской земле.

Генерал-майор Сербиченко догнал па своем «виллисе» группу разведчиков. В зеленых маскахалатах, друг за дружкой, шли они по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмолвии полей и лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.

В идущем впереди разведчике генерал узнал лейтенанта Мещерского. Остановив машину и просветлев, как всегда при виде разведчиков, генерал спросил:

— Ну что, орлы? Варшава на горизонте. А видали, до Берлипа пятьсот километров осталось! Чепуха. Скоро там будем.

Он внимательно разглядывал разведчиков, потом, охваченный каким-то печальным воспоминанием, хотел еще что-то сказать, но осекся и махнул рукой:

— Ну, счастливо, разведчики!

Машина тронулась, а разведчики, постояв немного, снова двинулись в путь.

РАССКАЗЫ

СВИДАНИЕ С СЫНОМ

Старик Чордон вернулся домой каким-то странным. То ли он был чем-то смятен и встревожен, то ли, наоборот, подавлен и опечален,— словом, жена сразу догадалась: с ним что-то случилось.

И когда она выведала, в чем дело, то была настолько поражена, что и не знала, как быть. Он задумал странную вещь, которая на трезвый взгляд могла показаться стариковским чудачеством, вздором, чем угодно, но никак не поступком здраво рассуждающего человека.

Был у старика сын, лет двадцать тому назад погибший на фронте. Погиб он совсем молодым, и, кроме самого Чордона, пожалуй, его никто уже не помнил. Да и сам Чордон, сколько они живут вместе, вроде бы никогда не говорил о нем. И вот теперь старик вдруг решил ехать туда, где до войны сын работал учителем.

— Мне все время кажется, что он жив, что он как будто бы и сейчас там. Тянет меня туда, я хочу увидеть его,— сказал он.

Жена с испугом глянула на него, сначала хотела высмеять: «Да в уме ли ты своем, не рехнулся ли?»— но вовремя сдержалась. По тому, как были сказаны эти слова, как просто и спокойно смотрели его глаза, по убежденности и правдивости интонации она поняла, что сказал он это вполне серьезно и, конечно, был в своем уме. Она почувствовала в ту минуту, что при всей несуразности его желаний оборвать его, как ребенка,— этого человека со старым коричневым лицом, с морщинистым прищуром добрых глаз, с убеленной бородой, крупными усталыми руками, которые покоились у него на коленях, как большие рыбы,— было бы грешно. Ей стало жаль его, и все же она сознавала всю нелепость этой затеи.

— В таком случае почему же ты раньше не ездил туда? — осторожно спросила она.

— Не знаю,— со вздохом ответил Чордон. — А вот теперь потянуло. Должен я съездить туда, пока жив, сердце так подсказывает. Завтра с зарею я выеду.

— Ну, смотри, дело твое.

Она полагала, что старик одумается. В самом деле, зачем ему туда ехать, что он может найти теперь там, в незнакомом далеком аиле, что он может там увидеть? Но ожидания ее не оправдались. Чордон и не собирался раздумывать.

Село под пригорьем давно уже спало, все окна были темны, и только в доме Чордона то и дело загорался свет. Старик прямо-таки не находил себе покоя. За ночь несколько раз вставал, одевался, выходил во двор и каждый раз подбрасывал в ясли лошади по полснопа клевера. И не какого-нибудь, а самого лучшего, облиственного, с первого укуса. И не пожалел для этого преждевременно разобрать прикладок сена на крыше сарая, аккуратно сложенный там еще с лета. В другое время вряд ли он позволил бы себе такую роскошь: до самой зимы никогда не разрешал прикасаться к сену — и корову и лошадь выгонял пастись на задворье, по пустым огородам, по отаве, по осенним кураям да по стерне. А теперь ничего не жалел, и даже овес для дороги был насыпан в переметный курджун.

Вот так колготился он всю ночь, и жена не спала. Она прикидывалась спящей, чтобы не мешать старику заниматься своим делом, а сама, когда он выходил из дому, тяжело вздыхала. Отговаривать его было бесполезно. Она и сейчас сказала бы ему: «Ну, подумай, куда ты едешь? Зачем? Неужто ты стал дитятей, ведь люди тебя на смех поднимут!» И, однако, она молчала. Она боялась, что старик скажет ей: «Если бы ты была ему родной матерью, не стала бы меня отговаривать». Ей не хотелось слышать таких слов. Да, она не видела его сына, не знала, какой он был. Старуха Чордона умерла лет десять тому назад, а она была его второй женой. Ей и без того было неловко, она постоянно испытывала чувство незаслуженной вины перед мужем за то, что двое его замужних дочерей, живущие в городе со своими семьями, почему-то никогда не приезжали, не имели с ними никаких связей, если не считать того, что сам Чордон иногда, очень редко, заезжал к ним, когда бывал в городе. О них он почти ничего не рассказывал, и она старалась не расспрашивать. Мачехе в таких случаях

лучше держаться в стороне, так спокойнее. Отчасти потому и примирилась она с этой необыкновенной выдумкой старика. А потом поразмыслила и решила: «Может, такая тоска у человека. Так пусть в самом деле съездит, душу отведет, охладит сердце. Полегче будет казаться свое горе...»

Чордон подвинулся чуть свет. Пошел оседлать лошадь, затем вернулся, надел свой новый чешкен, взял со стены камчу и, пригibasь в потемках над постелью жены, сказал шепотом:

— Насипкан, я уезжаю. Ты не беспокойся, я завтра к ночи вернусь. Ты слышишь? Ты что молчишь, а? Пойми: сып ведь мой. Хотя я все знаю, но тянет меня туда взглянуть. Душа моя томится, пойми...

Жена молча встала с постели и, словно бы видела в темноте, что он надел себе на голову, ворчливо отчитала старика:

— Ты бы посмотрел на шапку свою. Сорок заплаток. Не за дровами же ты едешь, а в гости. — И, нащупав крышку сундука в изголовье, достала припрятанную мерлушковую шапку мужа и подала ему. — На, надень. Неудобно в старой-то шапке.

Чордон сменил шапку и направился к выходу.

— Постой, — остановила она его. — Возьми вон с подоконника узелок с едой, положи себе в курджун. До вечера изголодаешься в пути.

Чордон хотел сказать «спасибо», но промолчал: непривычно было говорить жене «спасибо».

Село еще спало, когда Чордон на своей кобыле миновал по задворьям улицы, чтобы не поднимать напрасно собак, и за околицей свернул на проселок, уходящий в горы.

* * *

Вчера в полдень по этой же дороге, на этой же гнедухе, запряженной в старую, разохшуюся двуколку, Чордон возвращался с дровами домой. Топливо требовалось запастись на зиму.

Он нарубил у входа в Малое ущелье сущняка диких кустарников, нагрузил с верхом арбу и, сидя сам в седле, упираясь ногами в оглобли, не спеша, иногда подремывая, ехал себе по дороге. Колеса привычно громыхали по выбоинам, арба скрипела, день стоял спокойный, теплый.

Бывает такая осенняя пора, когда со дня на день должно похолодать, но перед этим, будто па прощание, дни выдаются исключительной светлости и чистоты. С пригоря в этот раз видна была вся окрестность: села в долине с темными, сквозящими садами и белыми стенами домов; порыжелый сухостой табачных плантаций, тракторы, поднимающие зябь, пролетавший в выси серебряный самолет, и на горизонте сизая, застывшая пелена дыма над низиной города. И над всем этим миром летела какая-то быстрая, темная, безмолвная волна кружащих птиц.

Чордон знал: это были ласточки. Еще утром, когда он проезжал за дровами, ласточки слетались стаями на телеграфные провода. Длинными-длинными рядами усаживались они друг против дружки и сидели, не шелохнувшись, все, как одна, белогрудые, все, как одна, с точеными головками, все, как одна, с раздвоенными блестящими стрелками хвостов. Они сидели смиренно, изредка перебрасываясь сдержанным щебетом, и, казалось, ждали какого-то особого часа, чтобы спиться всем вместе и двинуться в путь. И было в этом сборище ласточек что-то торжественное, захватывающее своей строгостью и безупречной красотой. «Это тебе не воробьи», — горделиво думал Чордон.

И вот теперь, на его глазах, ласточки улетали. Они делали прощальные круги над землей, где провели лето, — они витали в воздухе бесшумно, стремительно, огромной переливающейся на солнце блестящей черной стаей.

Чордон долго следил за их полетом. Вот они описали еще один, последний широкий круг над осенним пустым садом, дрогнули, перемешались, снова выстроились в ряд, стали быстро удаляться в сторону больших степей. Стая становилась все меньше и меньше, таяла в небесной лазури, как отголосок далекой песни на просторе, и наконец превратилась в темную точку. Ласточки улетали в неведомые края. Еще утром их можно было видеть, любоваться ими, слышать их щебет. И какая-то непонятная, сладкая тоска хлынула в душу опьяняющей волной, слезы замутили глаза, старик уже ничего не видел, но продолжал смотреть в небо и вздыхать неизвестно о чем, о чем-то родном и близком, безвозвратно утерянном. Был бы молодым, запел бы он песню провожальную.

Чордон очнулся от своих дум, когда неподалеку слышался топот копыт. На добром, ходком коне кто-то поднимался по бугру. Чордон не сразу узнал его. Это был, оказывается, Сапаралы — старик из соседнего села. Они мало знали друг друга, встречались иногда на поминках или тоях, здоровались, и этим, собственно, исчерпывалось их знакомство. Сапаралы, видно, собрался куда-то в гости. На нем были вельветовый новый чапан, новые ичиги с новыми остроносыми калошами, на голове пушистый лисий тебетей и в руках камча с рукояткой из красной рябины.

— Ты что задумался, кузнец? — громко, приветливо окликнул его Сапаралы и придержал поводья. Да, был когда-то Чордон кузнецом.

— Ласточки улетают, — смущенно проговорил Чордон.

— Что? Ласточки? Где они?

— Улетели уже.

— Ну пусть летят себе. Дрова везешь?

— Да, на зиму. А сам куда путь держишь?

На румянном, еще моложавом чернобородом лице Сапаралы расплылась довольная улыбка:

— К сыну. Он ведь у меня директором совхоза в Ак-Сая, под Великими горами. — И широким замахом камчи Сапаралы показал в ту сторону.

— Слышал об Ак-Сая, слышал, — кивнул Чордон.

— Вот и еду. Сын передал: «Пусть, — говорит, — придет отец денька на два». Они там хотя и начальники, но без нас, стариков, им не обойтись. Внук женится. Надо мне свадьбу подготовить, по обычаю, гостей будет много, думаю скачки устроить.

И Сапаралы принялся рассказывать о делах в совхозе сына, что нынче шерсть настригли богатую, чабаны получили большие премии, народ доволен своим директором; есть добрый слух, вроде к награде представили сына.

Все это было хорошо, но Чордон думал сейчас о другом; он услышал вдруг тоску свою давнюю, загнанную на пожизненное молчание в глубину души, но вечно живую, ту непрошеную тоску, которая, когда улетали ласточки, с такой болью отзывалась в нем. И сейчас с новой силой поднялась она в его груди обжигающим пламенем. Это была тоска о сыне, да, о нем, давно ушедшем из этого мира. Но ведь он тоже когда-то работал там, возле Ак-Сая, и тоже когда-то приглашал отца приехать, побывать у него. И, не отдавая себе отчета в том, что он со-

бирается сказать, Чордон заговорил, как в бреду, перебивая Сапаралы:

— Меня тоже сын приглашал.

— Разве и твой сын там?

— Да,— холодея от ужаса, прошептал Чордон.

— А я не знал,— простодушно пожал плечами Сапаралы. — Ну добро, коли так. Где бы ни были, дай бог им здоровья. Прощай. — С этими словами Сапаралы тронул коня.

И как только он отъехал, Чордон опомнился. Звонящая бездна тишины, пустоты потрясла его, как гром: «Что я сказал? Ложь, неправду сказал! Зачем?»

Чордон спрыгнул на дорогу и побежал за Сапаралы.

— Стой, стой, Сапаралы! — закричал он и бежал к нему, чтобы извиниться, чтобы сказать правду.

Сапаралы повернул коня обратно:

— Что, что с тобой? — встревожился он.

Чордон добежал, задыхаясь, хотел ему все объяснить, и тут снова какая-то неотвратимая сила, желание думать о сыне, как о живом, после того как он только что случайно ожил в его собственных устах и жил уже в сознании другого человека, не дали Чордону сказать правду. Не мог он тут же снова похоронить его. Не посмел сказать, что сына давно нет, что он давно погиб на войне. Ему хотелось, чтобы сын пожил немного, хотя бы несколько минут. Потом скажет, успеется...

— У тебя насвая нет? Умираю без курева, дай, пожалуйста,— попросил Чордон.

— О, чтоб тебя враг сразил, перепугал ведь! — Сапаралы облегченно вздохнул и полез в карман за насваем. — Давай подставляй ладонь. Знаю по себе это проклятое табачное дело,— приговаривал он, отсыпая из стеклянного пузырька на руку Чордона кучку насвая. — Что у тебя рука дрожит, кузнец? Постарел.

— Да, намахался в войну молотом, старость к тому же,— отвистил Чордон. — Ты прости, что задержал тебя.

— Ну, это не беда. Ладно, я поеду.

— Доброго пути,— сказал Чордон.

Теперь уже было неудобно задерживать человека, и Чордон даже обрадовался тому, что Сапаралы быстро уехал и ему не пришлось говорить о смерти сына.

После того как Сапаралы удалился, Чордон еще некоторое время стоял на дороге в раздумье, потом разжал ладонь, стряхнул насвай на землю и пошел обратно к арбе.

Он шел медленно, опустив голову. «Что я натворил, из ума выжил!» — бормотал он, потом остановился посреди дороги, задумчиво огляделся по сторонам, долго смотрел в небесную высь над большими степями, туда, куда улетела птичья стая, и прошептал: «Нет, есть у меня сын, есть, он живой, — и затем крикнул вдруг с болью и хрипом: — Есть у меня сын, есть, я тоже поеду к сыну, я увижу его, увижу!» — и снова замолчал.

Всю дорогу к селу Чордон убеждал себя, что не следует так переживать, что бывшее уже не вернешь, и тем не менее желание поехать в тот аил разгорелось в нем, как пожар. Так должно было случиться. Этот пожар давно тлел в его душе, многие-многие годы. Он частенько подумывал, мечтал порой с упоением, как бы съездить туда, на поклонение тем местам, где сын провел свои последние дни перед уходом в армию. А встреча с Сапаралы явилась лишь случайной искоркой. И теперь уже в сознании Чордона совершенно неподвластным образом сын оживал, годы причудливо смешались, желаемое становилось действительностью, фантазия — реальностью. Он представлял себе, как, например, приедет он в тот аил, как встретит его сын, о чем они будут говорить. Обрадуется, наверное: «Отец, наконец ты приехал!» — и подойдет к нему.

«Приехал, родной мой, здравствуй. Ты все такой же. А я постарел, как видишь».

«Да нет, отец, не так уж ты стар, просто времени прошло много. Почему так долго не приезжал? Сколько лет прошло: двадцать, а то и больше. Или ты не скучал обо мне?»

«Как же не скучал! Всю жизнь тоскую. Ты прости, что так долго заставил тебя ждать, все не мог собраться. Сам знаешь, мать умерла — ее хоронили. После того как ты погиб на войне, она слегла и больше не поднялась. А теперь вот приехал почтить память твою. Приехал поклониться людям, среди которых ты жил. Хочу поклониться этой земле, этим горам, воздуху, которым ты дышал, воде, которую ты пил. Вот и свиделись, сын мой. Что ж ты смотришь, веди, показывай мне школу свою, покажи аил, ты так много рассказывал о нем...»

Чордон тщетно вспоминал и так и не мог припомнить имени охотника, в доме которого жил его Султан. Знал

только, что это был хороший человек, сын любил его; сейчас ему, должно быть, лет под семьдесят. Жив ли он или помер? Он часто передавал, чтобы Чордон приехал погостить, поохотиться с ловчим беркутом. Есть ли тот беркут? Орлы ведь долго живут.

Сдается, сынишка был у охотника. Учился у Султана в первом классе, а когда был во втором, уже война началась. Мальчик тот, пожалуй, уже семейный человек. Жена охотника добрая была женщина. Но ей приходилось трудно: и в колхозе, и в доме по хозяйству. Она просила Султана увести как-нибудь пару гончих собак, оставить их отцу. Невмоготу ей было кашу варить на целую свору. Султан однажды так и сделал, привел за собой белую гончую с желтыми подпалинами по бокам. Ох, какая это была собака! Только там, в Великих снежных горах, могут быть такие красивые гончие, стремительные, как стрижи. Это они загоняют диких козлов в ловушки. А утром Султан все же увел собаку назад. «Хозяин,— говорит,— смертельно обидится. Лучше уж я буду помогать варить кашу». И побежала сказочная гончая вслед за велосипедом. Жалко было Чордону расставаться с ней, он понимал, что для охотника собака — великое дело, а он из кузницы не вылезал. Перевелись ли эти белые тайганы или еще гоняют лисиц?

Думая об этом, Чордон нашел себе еще один убедительный довод. Да, должен он поехать к этому человеку. Если помер — поклониться его праху, если жив — пожать ему руку, отблагодарить за заботы о сыне.

Лишь об одном обстоятельстве Чордон запрещал себе думать. Как только появлялась эта мысль, он заглушал ее всякими заботами: прикидывал, какая цена будет нынешнюю зиму на картофель и сено, когда лучше зарезать барана, надо ли телку оставить или продать...

Он попытался не думать, потому что все это было давно думано и передумано. И бессонными ночами, и в кузнице эта мысль многие годы билась вместе с молотом о наковальню, плавилась в горне, закалялась в воде. И про себя он давно решил, что только один бог рассудит, прав он был или нет... Если ему доведется свидеться с сыном на том свете, он ему все расскажет, все как было... Но прощенья просить не станет, нет. Даже тогда, потом, когда его городские дочери сказали ему в лицо те чудовищные слова, Чордон не каялся. Чордон молчал...

А они до сих пор не могут ему простить того страшного случая. Произошло это в дни отправки Султана на фронт на городском вокзале.

В октябре 1941 года кто-то забежал в кузницу к Чордону: скорей, мол, иди домой, сын приехал проститься. Чордон как был в прожженном, законченном кузнечном фартуке, так и поспешил. В ушах еще стоял звон наковальни. Он быстро шел по улице и не совсем верил: вроде бы сын был еще молод, чтобы призвали. Но оказалось, правда, Султан прискакал на чьей-то лошади из райцентра повидаться с больной матерью. Уже полгода как она не могла поправиться. Отца он попросил приехать в город проводить на вокзал. Толком и не поговорили и не успели попрощаться как следует. Да и время-то было какое. Сколько не досказано слов, сколько невысказанных дум осталось у каждого! И вряд ли кому удастся когда высказать все то, что было в ту пору на душе народа...

В город Чордон доехал на рысях. Отмахал километров тридцать так, что коня чуть не запалил в пути. И первое, что бросилось ему в глаза и что оглушило его, — многолюдие, столпотворение перед вокзалом. Кого и чего тут только не было! Грузовики с красными полотнищами на бортах, брички, можары с сеном и соломой, выпряженные и оседланные лошади, а на путях гудки паровозов, лязг вагонов. И среди этого нагромождения — парод из сел, из аилов, из города: старые, молодые, дети...

Чордон спешился. Привязал коня к первой попавшейся бричке среди множества других лошадей и отправился искать сына. Шел, толкался среди народа, спрашивал. Сказали, что мобилизованные бойцы в привокзальном парке, их там держат отдельно и не выпускают — скоро отправка. Пробрался он к парку. Там за оградой строились колонны, раздавались команды, шла переключка. Чордон стоял в растерянности: как тут кого-то найти? И деревья мешали разглядеть людей в строю. И вдруг он услышал неподалеку от себя: «Отец, отец, иди сюда!» Обе дочери махали ему руками. Они стояли у входа в парк. Протискиваясь к ним, Чордон увидел за оградой сына в строю. И тот заметил отца, помахал ему, улыбнулся. Улыбнулся он как-то настороженно, смущенно. Жалко стало сына. Юный был совсем, безусый, только ростом вровень с другими, а так, в плечах и обличьем, — мальчишка. Он рос еще и должен был еще

расти. Чордон угадывал в нем себя, сын должен был стать крепким, сильным мужчиной. Еще бы годика два — статный парень получился бы.

Позже, думая о сыне, Чордон не раз хотел разобраться в том, что в нем было такое, отчего он уважал, не просто любил — любит каждый, а уважал его с самого детства, как разумного, равного себе человека, хотя бывал он и порядочным сорванцом. Но так и не смог уяснить себе, почему так было. Особенно с тех пор, как стал сын учителем. Чордон относился к нему с большим почтением, всерьез считался с ним, несмотря на то что тот приезжал иногда, забыв снять пионерский галстук, — он был в школе пионервожатым. Парнишка еще горячий, порывистый, но со временем, как считал Чордон, характер его должен был устояться. Человеку не надо мешать, поучать его докучливо. И он сам тогда найдет свой путь, так считал Чордон. И, возможно, это-то и послужило причиной его столкновения с дочерьми. Обе они, старшая Зейнеш и младшая Салика, учились в городе. Вышли замуж и стали горожанками. Они и Султана привезли в город, здесь он окончил педагогический техникум и вот уже год как работал учителем.

Когда Чордон добрался наконец до дочерей, они почему-то стали выводить его из толпы. Взмокшие, озлобленные, они вполголоса поносили брата, ругали его выскочкой, мальчишкой, дураком. Кругом, куда ни двинься, былолюдно, дочери спешили и нервничали, и поэтому прямо на площади, в толкотне, между ними и отцом состоялся такой разговор:

— Ты знаешь, что твой сын уходит добровольцем?

— Нет, — подивился Чордон. — А что?

— Так вот, мы звонили в район, в военкомат, оказывается, он сам напросился, подал заявление, сам вызвался на войну. Понимаешь?

— Он же по возрасту еще молодой, понимаешь, в чем дело?

— Значит, он так посчитал нужным.

— Нужным? — И тут дочери наперебой набросились па отца: — Как ты не поймешь, отец! Хватит того, что наши мужья там. Неизвестно, вернутся или нет. Хватит того, что мы остались одни, а теперь и он, последний в семье, сам рвется на фронт.

— Он же пропадет там, как птенец. Это ему не пионервожатым быть,

— Что ж ты молчишь, отец?

— А что мне говорить, что делать?

— Иди сейчас к нему, мы попросим, чтобы тебя пропустили. Иди и скажи, чтобы он не смел этого делать. Пока не поздно, уговори его.

— Пусть откажется, успеет еще. Только ты можешь его отговорить.

— Нет, постойте,— пробормотал Чордон. Ему трудно было в этой обстановке, в этой сумятице объяснить толком дочерям, что нельзя этого требовать от человека. Как он будет отказываться от своего слова? Как он посмотрит в глаза тем, с кем уже стоит в одном строю? Что о нем подумают и что он потом будет думать о себе? — Неудобно вроде, стыдно будет ему,— сказал Чордон.

— Да какой тут стыд!

— Да кому какое дело, кто тут его знает, боже мой, кому надо знать о нем!

— Зато он сам знает о себе,— хмуро возразил Чордон. — Это самое главное.

— Ах, оставь, отец, мальчишка он еще. Иди, иди, пока не поздно.

И тут народ зашевелился, загомопил, подался в сторону. Духовой оркестр грянул марш, взметнулось красное знамя, и из ворот парка стали выходить строем бойцы — была объявлена посадка. А дочери, вцепившись Чордону в рукава, торопили его, выкрикивали среди сотен голосов и музыки:

— Пойдем скорей к комиссару! Он на вокзале. Ты должен спасти сына!

— Отец, пойдем ради нашей большой матери! Скажи комиссару о матери, скажи, что она при смерти.

При этих словах Чордон заколебался. И они потащили его через толпу провожающих к вокзалу, где находился комиссар по отправке.

К зданию вокзала поднималась с площади высокая каменная лестница. И вся она снизу доверху сплошь была забита людьми. А дочери тянули его навверх среди горячих, потных тел, мимо сотен глаз, затуманенных горем войны, через слезы, мужество и отчаяние расстающихся друг с другом людей, через бой барабана и звуки военной музыки, через прощальные крики солдат на площади, через его собственную боль и безмолвный крик его души.

И хотя Чордон прекрасно понимал, что сестры хотят своему брату только добра, только лучшего ему и всей

семье, что они по-своему любят его и оберегают, в нем поднималась глухая злоба на дочерей, толкающих его на то, чтобы он за спиной у сына распорядился его волею и самостоятельностью, убил в нем достоинство человека. А они тащили и тащили его наверх, продираясь по ступеням через бурлящую толпу. И где-то уже на верхних ступеньках лестницы Чордон увидел наконец шагающую колонну, в которой был и его сын. Колонну замыкал духовой оркестр, это была последняя группа на посадку в эшелон. Султан шел в крайнем ряду. Чордон его сразу узнал и увидел, как он оглядывался по сторонам. Он искал среди народа отца и сестер. Если бы он знал, что отца тащили в этот момент к комиссару, чтобы вымолить ему отступную, чтобы упизить его в собственных глазах, чтобы уронить в нем достоинство человека!

Потом Чордон увидел, как из толпы выбежала какая-то девушка в красном платке. Она кинулась к Султану, но ее сразу оттеснили, и она успела только пожать ему руку.

Когда они добрались до кабинета начальника вокзала, в котором находился комиссар, дочери стали толкать его к дверям:

— Иди, иди скорей, скажи, что ты отец, скажи о матери. Скажи, что он не подумал, мальчишка еще. Упроси, пусть они снимут его с эшелона. Объясни все как есть.

— Иди же, отец, что смотришь! Дорога каждая минута! Чордону стало стыдно людей, хотя на него никто и не обращал внимания. И военные и гражданские озабоченно бежали, занятые своими делами.

— Не привык я так, не пойду, — наотрез отказался Чордон.

— Нет, пойдешь!

— А не пойдешь, мы сами пойдем! Мы сами добьемся. — И, потеряв всякое терпение, дочери ринулись к двери комиссара.

— Не смейте, не ходите! — Чордон схватил их за руки и потащил к выходу.

Он тащил их со страшной силой, снова через толпу вниз по ступеням лестницы. И тогда он услышал от них то, что редко кто слышит от своих детей:

— Ты гонишь своего сына на смерть!

— Будь ты проклят, ты нам не отец!

— Да, ты нам не отец! — подтвердила другая.

Побелевший Чордон медленно разжал стиснутые пальцы, выпустил их руки, молча повернулся и кинулся к пло-

щади, расталкивая людей. Он спешил попрощаться с сыном, проламывался сквозь людской лес на площади, рвался через гомон и крики к перрону, на посадочную площадку. Но доступ туда был уже прекращен. На перроне колыхалась черная людская масса, гремел духовой оркестр, там негде было ступить человеку.

Чордон, прижатый к решетке перрона, смотрел поверх моря голов на красные вагоны бесконечно длинного состава.

— Султан, Султан, сын мой, я здесь! Ты слышишь меня?! — кричал он, вздевая руки через ограду.

Но где там было докричаться! Железнодорожник, стоявший рядом с оградой, спросил его:

— У тебя есть конь?

— Да, — ответил Чордон.

— А знаешь, где сортировочная станция?

— Знаю, в той стороне.

— Тогда вот что, папаша, садись на коня и скачи туда. Успеешь, километров пять, не больше. Эшелон там остановится на минутку, там и попрощаешься с сыном, только скачи быстрее, не стой!

Чордон метался по площади, пока нашел своего коня, и помнил лишь, как рывком развязал узел чумбура, как вдел ногу в стремя, как ожег бока лошади камчой и как, пригибаясь, понесся по улице вдоль железной дороги. По пустынной, гулкой улице, пугая редких прохожих и проезжих, он мчался, как свирепый кочевник. «Только бы успеть, только бы успеть, так много надо сказать сыну!» — думал он и, не размыкая стиснутых зубов, произносил мольбу и заклинания скачущего всадника: «Помогите мне, духи предков! Помогите мне, покровитель коней Камбарата, не дай споткнуться коню! Дай ему крылья сокола, дай ему сердце железное, дай ему ноги оленьи!»

Миновав улицу, Чордон выскочил на тропу под железнодорожной насыпью и снова припустил коня. До сортировочной станции оставалось уже недалеко, когда сзади его стал настигать шум эшелона. Тяжелый, жаркий грохот двух спаренных цугом паровозов, как горный обвал, обрушился на его пригнутые широкие плечи.

Эшелон обгонял скачущего Чордона. Лошадь уже притомилась. Но он рассчитывал успеть, только бы поезд остановился, до сортировочной осталось не так уже далеко. И страх, тревога, что поезд может вдруг не остановиться, заставили его вспомнить о боге: «Великий боже,

если ты есть на земле, останови этот эшелон! Прошу тебя, останови, останови эшелон!»

Эшелон уже стоял на сортировочной станции, когда Чордон сравнялся с хвостовыми вагонами. А сын бежал вдоль состава — навстречу отцу. Увидев его, Чордон спрыгнул с коня. Они молча бросились в объятия друг другу и замерли, позабыв обо всем на свете.

— Отец, ты прости меня, я уйду добровольцем, — проговорил Султан.

— Знаю, сын.

— Я обидел сестер, отец. Пусть они забудут обиду, если могут.

— Они простили тебя. Ты на них не обижайся, не забывай их, пиши им, слышишь. И мать не забывай.

— Хорошо, отец.

На станции одиноко стукнул колокол, надо было расставаться. В последний раз отец глянул в лицо сына и увидел в нем на мгновение свои черты, себя, еще молодого, еще на заре юности, он крепко прижал его к груди. И в ту минуту всем своим существом он хотел передать сыну отцовскую любовь. Целуя его, Чордон приговаривал одно и то же:

— Будь человеком, сын мой! Где бы ты ни был, будь человеком! Всегда оставайся человеком!

Вагоны дрогнули.

— Чордонов, отправляемся! — крикнул ему командир.

И когда Султана на ходу затащили в вагон, Чордон опустил руки, потом повернулся и, припадая к потной, горячей гриве коня, зарыдал. Он плакал, обнимая шею коня, и так сильно содрогался, что под тяжестью его горя копыта коня переступали с места на место.

Железнодорожники молча проходили мимо. Они знали, почему плакали в те дни люди. И только станционные мальчишки, вдруг присмирив, стояли с любопытством и детским состраданием смотрели на этого большого, старого, плачущего человека.

* * *

Солнце поднялось над горами высотой на два тополя, когда Чордон, миновав Малое ущелье, выехал на широкий простор холмистой долины, уходящей под самые снежные горы. Дух захватило у Чордона. На этой земле жил его сын...

Марш окончен. Большая, изнурительная дорога позади. Бойцы из пополнения шли трактами, проселочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутные машины, и все равно это называлось, как в старину, «маршем». За такой «марш» солдаты успели пережить обмундирование, пропотеть насквозь и подчистую съесть харчишки, выданные на дорогу. Последний день существовали на так называемом *бабушкином аттестате* — добывали еду в деревнях и хуторах: где просили, где выменивали на новые портянки и белье картошку, молоко.

И все-таки до передовой добрались. Лежат в логу, на щетиистой, запыленной траве, лежат солдаты, слушают. Иные озираются при каждом выстреле, а некоторые делают безразличный вид. Разговоры в основном ведутся на одну тему: дадут или нет сегодня поесть? Единодушно решают: должны дать, потому как здесь уже передовая, и кормежка не то что в запасном полку, и забота о человеке совсем другая. Тертые, то есть те, что попали в пополнение из госпиталей, многозначительно ухмыляются, слушая эти разговоры, и на всякий случай изучают местность: нет ли где поблизости картофельного поля? Они-то знают, что на старшину нужно надеяться, однако и самому плошать не следует.

А передовая рядом. Вздрагивает земля от взрывов, хлещут пулеметные очереди, и нет-нет да и вспыхивает суматошная перестрелка. Бегают связисты с катушками, лениво ковыляют беспризорные лошади, урчат машины, а вот и раненый появляется.

Спускается в лог, опираясь на палочку. Он в одном ботинке. Поверх бинта к ноге прикручена телефонным проводом портянка. А обмотка, видимо, впопыхах засунута в карман и волочится, мешая идти раненому. Но он не выкидывает обмотку и ботинок тоже не выкидывает.

Прицепил его за ствол винтовки. Видать, хозяйственный человек.

— Привет, славяне! — бодро заявляет фронтовик и указывает палкой на ногу. — Покудова отвоевался, а что дальше будет — увидим. Табачком богаты?

Новички услужливо полезли за кисетами. Но солдат с крупным, чуть рябоватым лицом успел раньше других супуть раненому кисет. Тот неторопливо опустил на землю, поморщился и начал скручивать сигарку. Рябоватый боец с робким уважением следил за раненым, хотел о чем-то расспросить и не решался.

— Так это уже войпа? — наконец спросил он.

Раненый с форсом прикурив от трофейной зажигалки, отбавил из кисета табаку сигарки па три, выдрал клоч газеты и, возвращая остатки табаку и бумаги, сказал небрежно:

— Она самая, — и махнул рукой через плечо: — Передок саженьях в трехстах. Ну, я, братцы мои, пойду, а то, не ровен час, накроют. А у вас тут ни окопчика, ни щелки. Еще оттяпают вторую ногу, и придется мне на карачках до сапроты добираться...

И он поковылял дальше. Боец, который давал раненому закурить, провожал его взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за ближней высоткой. Лицо солдата сделалось печальным.

Вдруг раздалась команда, все вскочили и, поправляя на ходу ремни, попытались выстроиться.

— Вольно! Всем сидеть! — скомандовал черноватый лейтенант с усталыми глазами и сам присел на катушку с кабелем, которую ему проворно подсунул связист.

И лейтенант и связист появились совсем неожиданно, словно из-под земли. Наловчились, видно, подкрадываться.

— Не ели сегодня? — поинтересовался лейтенант и сам себе ответил: — Не ели. Ну ничего, думаю, вечером нам кое-что подбросят, — утешил он и принялся расспрашивать: кто откуда, воевал ли прежде, чем занимался до войны, большая ли семья? И тут же записывал фамилии в блокнот и распределял людей по отделениям.

Рябоватый солдат сразу же попал на глаза лейтенанту. Лицо солдата с реденькими бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на лейтенанта так, будто он давно-давно знаком с ним и вот наконец-то встретился. Лейтенант не мог не ответить на эту улыбку, столько в ней было доверчивости, да и сам

солдат выглядел уж как-то очень простецки, домовито. Не для военной одежды родился он.

Пилотка, еще новая, уже успела потерять форму и напоминала капустный лист, пряжка ремня сбилась набок, гимнастерка в мазутных пятнах, обмотки сделаны до колен, без всякого шика.

— Ну и вид у вас! — шутливо проговорил лейтенант. — Попортили вы, наверное, крови старшине в запасном полку...

— Всякое бывало, товарищ лейтенант, из паряда, почитай, не вылазил, только полу одного верст тридцать за два месяца отдраил...

— Фамилия? — оборвал солдата лейтенант, чувствуя, что тот радехонек поговорить...

— Савинцев моя фамилия. Матвей Савинцев. Я с Алтая. Может, слышали, деревня Шумиха есть подалеко от Тогула, так из нее.

— Нет, не слышал, товарищ Савинцев. Много деревень у нас в стране.

— Наша деревня особенная! — Савинцев оглянулся по сторонам, как будто подыскивая сравнение, и, не найдя его, со вздохом закончил: — Всем деревням деревня!

— По его рассказам выходит, товарищ лейтенант, что Шумиха эта почти город, только в ней дома пониже да асфальт пожиже, — раздался голос из группы бойцов.

Все сдержанно рассмеялись и сейчас же выжидательно замолкли.

— Куда же мне вас определить? — покусал губу лейтенант, все еще взвешивая, меряя взглядом неуклюжую, крупную фигуру бойца.

— Я человек неизбалованный, — с готовностью отзывался Савинцев, — куда пошлете, туда и пойду. Может, сомненье есть насчет моего старанья, так для проверки пошлите туда, где работы побольше.

Лейтенант подумал еще и решительно произнес:

— Во взвод управления, к связистам! У нас работы всегда много.

...И попал Савинцев в боевую семью «паутильщиков», как прозвали связистов на фронте. Покладистый, настежь открытый характер его, готовность в любое время, любому и каждому помочь, чем возможно, и ненадоедливая словоохотливость поспособствовали тому, что он незаметно сошелся с фронтовиками. Те почему-то не припиали его всерьез и с первого дня стали звать по-бабьи — Мотей,

даром что был он отцом семейства, да и не маленького. Шло ему это имя, что ли? Наверное, шло. И теплота в нем была и улыбка необходимая.

Топкости, которых много в боевой работе телефонистов, давались Матвею туго. Впрочем, все в жизни давалось ему с трудом, поэтому он не падал духом, когда у него что-нибудь не получалось. Но уж если он что усваивал, то навсегда. Было дело, ездил он четыре года прицепщиком, дважды учился на курсах, прежде чем ему доверили управлять трактором. И как же удивились связисты, когда им стало известно, что был он знатным трактористом и про него даже в газете писали. Ну, расспросы, конечно, как да что, а Савипцев только отмахивался:

— Какой там знатный! Мало сейчас нашего брата в колхозах, вот и стали мы все там знатные.

В тихие вечера, когда война как-то сама собой забывалась и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной деревушке Шумихе, о доме, о семье. Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бапи, в которой так хорошо попариться, придя с пашни. Простая жизнь, обыденные дела вставали в новой красоте. Раньше-то ее ни замечать, ни ценить не умели — все шло само по себе, все было как надо, и вот...

Иной раз Матвей доставал фотокарточку из кожаного, должно быть, доставшегося по наследству, бумажника, подолгу рассматривал ее. На снимке были сам он с естественно напряженным лицом, рядом жена с ребенком на руках, а впереди еще девочка и мальчик. У парнишки удивленно открыт рот, а девочка, насупив брови, цепко держала в руках книгу.

— Школьница! — с гордостью говорил Матвей товарищам. — В четвертую группу зимусь ходила. И Сашка пынче тоже пойдет в школу. Одежонку вот всем надо, катанки, книжки. Заботы-то сколько Пелагее, заботы! — и примолкнет, бывало, Матвей, задумается, а то и вздохнет. — Что-то они сейчас поделявают?

— Чай небось пьют, — подзуживал кто-нибудь из солдат.

— Что? Чай?! — удивлялся Матвей и с возмущением разносил простака, не имеющего понятия о деревенской жизни. — Да знаешь ли ты, голова два уха, что уборочная началась, одни бабы хлеб-то убирают? Не до чаев им,

в тридцатом поту бьются... Вот приезжай после войны в это время к нам — почтаевничаешь...

Матвею разъясняли, что есть разница во времени: если здесь, на Украине, вечер, то на Алтае уже ночь, и вполне возможно, что колхозницы и балуются чайком после трудового дня.

— Может, и так, только я спать ложусь вместе со своими и встаю тоже вместе — не могу отделиться, — говорил Матвей тихим голосом, глядя поверх солдатских голов, и на этом споры прекращались. Не о чем было спорить. Родной край, своя деревня, свой дом всегда и всюду с солдатом — они врастают в его сердце навечно.

А война бушевала, и враг катился с Украины к границе.

Вроде бы и неповоротливый мужик Савинцев да и по очень сообразительный, но дело свое он исполнял старательно. Рыскал по линии, исправлял порывы, сматывал и разматывал провода, лежал под разрывами и, выковыривая землю из ушей и носа, довольно-таки прытко бежал дальше. Конечно, как и всякий связист, он что-то изобретал, приспособливался, иначе на войне нельзя. Война — это не только выстрелы, война — это очень много работы, порой непосильной, неодолимой работы. И побеждает на войне тот, кто умеет работать, кто умеет порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил.

И Матвей работал, смекал, что к чему, приноравливался, где надо — хитрил даже. Он первый стал перерезать нитку связи планкой карабина, зачищать провод зубами, обходиться в случае нужды без заземления. Но на фронте все изобретают, каждый час, каждую минуту изобретают, и этому никто не удивляется, главное, чтобы была польза. Связист, к примеру, исправляет линию чаще всего один, телефонисты клянут его, ругают, а когда линия начнет работать — тут же забудут о связисте, и дела им нет до того, что он там придумал, как изловчился под огнем наладить связь. Пожалуй, не было на войне более неблагодарной и хлопотливой работы, чем работа связиста.

Но война есть война. На ней все равно найдется такое место, где человек окажется виден во весь рост.

Однажды часть Матвея Савинцева попала под деревню Михайловку. На свете таких Михайловок, наверно, сотни. Обыкновенная деревня с белеными хатами, на хатах гнезда аистов, возле хат богатые огороды и сады, на улицах колодцы с журавлями и грязи до колен в дождливую

пору. И расположена деревня по-обычному — поближе к ручью, на пологом склоне. За деревней — возвышенность, удобная для обороны.

Заняв с ходу Михайловку, пехотинцы атаковали высоту, да не тут-то было, уцепились за нее фашисты крепко. Подтянули свои огневые средства пехотинцы, пальнули — и этого маловато. Стали артиллерию ждать. День прошёл, два прошло, не дается высота. Встречались пехотинцам горы, перевалы и реки широкие. Одолевали их, шли без задержек, а тут из-за небольшого холмика такие дела разгорелись, что дым коромыслом. Иному Эльбрусу, может, не удостоиться такого внимания, какое привалило к этому бугорку. И большие и маленькие командиры обвели его на карте и красными и синими карандашами. Подтянулись к Михайловке «катюши», артиллерия, танки. Высоту измолотили так, что до сих пор, наверное, пахать ее из-за металла невозможно.

Но пошла коса на камень. Не отступает противник и — мало того — норовит атаковать. Ночью немцы изловчились и два дома на краю деревни заняли. В этих домах саперы квартировали и еле ноги унесли. Те два дома саперный начальник, пожалуй, и до сих пор помнит. Утром ему же вместе с его «орлами» пришлось их отбивать. Одним саперам, конечно, не справиться было бы, и дали им в поддержку артиллерию. Тот же лейтенант, что встречал солдат из пополнения, отправился с разведчиком и связистом к саперам, чтобы завтра корректировать огонь и держать непосредственную связь с теми, кто будет атаковать высоту.

В темноте, кое-где рассекаемой струями трассирующих пуль, связисты потянули линию на передовую.

— Стой, ребята! — раздался из темноты голос разведчика, шедшего впереди. — Тут болото. Не пройдешь... Надо вприз, по ручью, там есть бетонная труба, что-то вроде мостика, через нее и пройдем.

...Утром закурился над землей пугливый, застенчивый туман и быстро сполз в лога, пал дробною росой на траву. И роса была тоже пугливая. Капли ее чуть серебрились и тут же гасли. И все-таки роса смыла пыль с травы, и, когда из-за холмов, над которыми все еще не рассеялся дым от вчерашних пожаров, поднялось солнце, брызнули, рассыпались мелкие искры по полям и в деревенских садах да в реденьких ветлах, что прижались у ручейка, затутового ряской, защебетали пичужки, сыпанули трелями

соловьи. Диво дивное! Как они уцелели? Как они не умерли со страха, эти вечные певцы с маленькими сердцами! Поют, и только! Поют как ни в чем не бывало. И солнце, страдное, утомленное солнце, светит так же, как светило в мирные дни.

Страда наступала, страда...

Но вот справа, далеко за Михайловкой, булькнул, как бульжник в омут, минометный выстрел, вслед ему еще булькнуло. С мипуту было тихо, а потом хряпнули вразбой прилетевшие с той стороны мины — и пошло! Заухало, загудело, завывало кругом. Канули, потонули птичьи голосишки в грохоте, дымом заслонило спокойное, страдное солнце.

Боевой день начался.

Трижды бросались в атаку саперы, подстегивая себя руганью, и трижды заполошно, но уже молча отстреливаясь, убегали в пыльные подсолнухи. А саперный начальник, страдающий одышкой, стрелял для остротки вверх и крыл своих «орлов» непотребными словами. В конце концов два дома, потерянные саперами, остались существовать только на картах и артиллерийских схемах. Саперам достались груды кирпича да погреб со сгнившим срубом, но они и тому были рады.

Передовой пункт артиллеристов перебрался в пехотный батальон.

Дела здесь шли пока тоже неважно. После артподготовки пехотинцы по сжато му полю с трудом добрались до половины высоты и залегли. Горячая работа закипела у артиллеристов. Пехота просит подбросить огня туда, подбросить сюда. Сделано! Подавить минометную батарею. Вот и она заглохла. Мешает продвижению закопанный в горе танк — отпустить бы ему! Есть! Уничтожить пулеметную точку! Крой, артиллерия, разворачивайся, на ты и бог войны!

Оборвалась связь... Телефонист Коля Зверев, молодой, вертлявый и, по мнению всех связистов, самый непутовый паренек, то и дело нажимая клапан трубки, звал хриплым голосом: «Промежуточная! Промежуточная! Мотя! Мотя! Савиццев!..» — Коля ерзал как на иголках, смотрел на хмурого лейтенанта виноватыми глазами.

Нет никудышней человека, чем телефонист без связи: он глух, нем и никому не нужен. Он как бельмо на глазу у начальства — раздражает. И все, кто заходит в блиндаж, пронзают его насквозь взглядом и, как он ни жметя

в уголок, все равно задевают его коленом, оружием, чем попало и рычат на него, будто не его задели, а он задел. Весь свет против телефониста, когда он без работы. Но есть, есть те, на ком отведет душу телефонист, — это липейные связисты. В данном случае это Савинцев, Мотя Савинцев. Ну, даст ему Коля пороху, даст разгону, несмотря что моложе Савинцева наполовину, — тут уж не до почтений. Сейчас посяпав палец и ткнув в телефониста Зверева — защитит: до такой степени он накалился. Но вот наконец-то прерывающийся голос Савинцева:

— Заря, говорите с Москвой.

Слышно, как тяжело дышит Савинцев, запыхался, и тут же у Коли вся злость пропала, и он не стал «давать связисту пороху», а милостно сказал:

— Добро, Мотя, отключайся!

Вскоре, осыпав комья земли, в проход блиндажа втиснулась мешковатая фигура Савинцева. Он вытер пот рукавом и сказал:

— Здорово живем! Ох, и дает фриц прикурить... Возле мостика уж несколько человек убито, кое-как в обход проскочил.

— Заливай больше, — проворчал Коля Зверев, выражая таким образом недовольство.

Матвей виновато кашлянул, помялся и глухо добавил:

— Я попутно нес вам, ребята, перекусить... С командного передали...

— И пролил! — глядя на пустой котелок и флягу, перебил его Коля тем привередливым тоном, каким его допекали, когда он сидел у смолкшего аппарата.

— Да нет, — начал оправдываться Матвей, — в огороде, который саперы отбили, наткнулся на картофельную яму, а в ней жепщина с ребятишками. Ни жива ни мертва и третий день не евши. Ну и... что хотите делайте... Солдат там не впервой, а там ребяточки все же...

Разведчик, хмуро молчавший до этой минуты, улыбнулся треснутыми губами от жары и хлопнул Савинцева по спине.

— Эх ты, Мотя-простота! Помрешь — без штанов находишься.

— Там можно и без штанов, там, говорят, теплынь и бабье пост блюдет и на грех нуль внимания, — пошутил Матвей, ободренный словами разведчика, и засуетился, выгребая из кармана мелкие белолобые огурчики. — Вот, братцы, покудова заморите маленько червяка. Огурец —

штука полезная: в нем и еда и вода. А я уж если не обед, так воды все одно добуду. Хотел в ручье набрать, а там вода-то — концентрат: тина и лягушки. Эх, у нас на Алтае водичка в ручьях — зуб ломит...

В блиндаж вошел лейтенант. По лицу его струился пот, оставляя грязные потеки. Выслав вместо себя разведчика, он опустился около телефонного аппарата на землю, облегченно выдохнул:

— Ну и жар!.. Как, Савинцев, липия?

— В порядке пока. На промежуточной напарник остался.

Лейтенант пристроил на коленях планшетку, разложил на ней карту и вызвал командный пункт, который по телефонному коду именовался *Москвой*.

— У аппарата Двадцать четвертый. Обстановка? Обстановка все та же. Пехтура добралась до середины высоты и лежит на брюхе, сухой паек доедает и огня ждет. Без огня у нас нынче ни шагу, избаловались. Надо будет два пулемета накрыть и батарею минометную. Ночью арийцы поставили. Ну и сопровождающего огонька подбросить. Тогда дело пойдет. Передаю координаты... Алло! Товарищ Пятый! Пятый! Черт бы задрал эту связь, рвется, когда особенно нужна! — Лейтенант сердито швырнул умолкнувшую трубку на колени разом скисшему Коле Звереву. — Савинцев, на линию! Да бегом!..

Матвея как ветром выдуло из блиндажа. Сростки обжигали испаряющую ладонь, но он бежал, не выпуская провода из кулака, юлил между бабками, валился в борозду к меже, когда стреляли. Возле ручья бабок со спонами не было, и Матвей пополз.

С той стороны по линии к ручью тоже бежал боец. Матвей узнал своего напарника. Недалеко от мостика связист, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал.

«Снайпер!» — мелькнула догадка у Матвея. И он закричал:

— Не шевелись! Добьют! Не шевелись, говорю!

Около упавшего связиста взвилось несколько пыльных струек, и он перестал двигаться.

— Ах, душегуб проклятый! — стиснул зубы Матвей. — Доконал ведь человека. И тех вон ребят у мостика тоже срезал!..

В трудную минуту Матвей всегда любил посоветоваться сам с собой, если обстановка позволяла, — советовался вслух, и это его всегда успокаивало.

— Так, значит,— заговорил Матвей, покусывая соломинку,— фрицы перебили связь на трубе и теперь, как на уду, ловят нашего брата. Снайпера посадили. Хитры, сволочи! Покумекать надо, а то дела не сделаешь и на тот свет загремишь!

Он осторожно отполз, подключил аппарат и услышал петерпеливый голос лейтенанта:

— Двадцать четвертый слушает... А, это ты, Савинцев. Что там у тебя?

— И не говорите, товарищ Двадцать четвертый. Снайпер — холера, пропуска на тот свет выдает бесплатные. Напарника воп...

— Та-ак,— послышался тяжелый вздох лейтенанта. А связь, Савинцев, пужна... До зарезу! Понимаешь?

— Да как же не понимать, не маленький. Ну-к что ж, тогда я пополазу...

— Постой, Савинцев... — Лейтенант замолк, только глубокое дыхание, приглушенное расстоянием, слышалось в трубке.

«О чем задумался, товарищ командир? — грустно усмехнулся Матвей. — Думай не думай — воевать надо, связь налаживать надо. Мало ли видел ты смертей, сам ходишь со смертью рядом, а все еще чувствуешь себя виноватым, когда посылаешь бойца туда, откуда он может не вернуться. Может быть, увидел ты деревянную деревушку Шумиху и жительницу этой деревушки — Пелагею, которая вместо запятнанного окопной грязью письма получит коротенькую бумажку и забьется как подрубленная, запричитает громко, по-деревенски. И встанут около нее трое простоволосых ребятишек. И не понять им сразу, отчего и почему где-то далеко-далеко взял и послал на смерть их отца молодой дяденька... Не думай, командир, не надо, не расслабляй душу себе и мне. Воевать надо, работать надо». Матвей шевельнулся и кашлянул.

Лейтенант тоже шевельнулся и кашлянул:

— Ну, все, крой! — и уже вдогонку, скороговоркой, недовольно буркнул: — Да поосторожней там!..

Отключив аппарат, Матвей пошарил глазами вокруг себя. Метрах в двухстах от трубы росли низкие кусты ивняка, спускаясь к самой осоке, разросшейся по краям ручья. Ободряя себя, Матвей сказал: «Живем пока», — и пополз.

Осторожно раздвинув осоку, Матвей оказался в грязном русле ручья. Руки по локоть уходили в вязкий ил, ползти было трудно, но он упорно двигался к трубе, время от времени делая передышку и сплевывая вонючую воду. Берег ручья и осока скрывали его от глаз снайпера, но Матвей боялся, чтобы тот не заметил провода, прогибающегося осоку.

Вот и труба. Матвей погами вперед залез в нее.

По дну бетонной трубы лениво сочилась густая позелепевшая вода. Матвей, лежа на животе, вывинтил из карабина шомпол и, пользуясь трещиной в трубе, загнул его крючком. Полюбовавшись своей работой, он привязал крючок к проводу.

— А ну, кто кого объегорит!

Немного высунувшись, Матвей забросил шомпол на верх трубы и потянул. Что-то зацепилось. Он дернул по сильнее, крючок слетел, и несколько оборванных проводов повисло с края трубы.

— Толково! Порыбачим еще, может, клюнет!

Чиркнула разрывная пуля.

— Теперь я наплевал на тебя! — приговаривал Матвей, втягивая в трубу зарыбаченные провода.

Свой провод он сыскал сразу. Провод был трофейный, красный. Почему-то командир отделения связи обожал все трофейное и постепенно заменил весь русский провод на катушках немецким и был этим премного доволен.

«Вот он!» — удовлетворенно отметил Матвей и тут же подумал вслух:

— Небось из-за этого красного кабеля они и связь-то перебили? Ну да, его издаля видно. Ох, уж этот сержант! Ему пусть дерьмо, да чужое. Ну погоди, выберусь отсюда, всю эту трофейщину к лешакам повыкидаю, — рассуждая так, Савинцев подключал соединенные концы к аппарату.

— Заря... Заря...

— Савинцев, ты? — раздался обрадованный голос лейтенанта. — Добрался? Ну, ладно. Благодарю!

— Да чего там, не стоит! — довольнехонько хмыкнул Матвей и, услышав, как лейтенант стал передавать координаты на «Москву», отпустил клапан, и сам того не замечая, вполголоса запел. Пел, а сам в это время разбирал и зачищал другие провода:

Оте-е-ец мой был природный па-харь,
А я рабо-отал вместе с ним...

Подключив копец серого провода, Матвей плечом прижал трубку к уху. Женский голос устало и безнадежно звал:

— Луна... Луна... Луна...

— Але, девушка, вы кого вызываете?

— А это кто?

— Это связист Савинцев!

— Ой, я такого не знаю! Как вы попали в нашу линию? Отключайтесь, не мешайте работать!

— А чего мне мешать-то, когда линия ваша не работает, — добродушно рассудил Матвей. — Говорите лучше, кого надо, может, помогу вашему горю. Да не посылайте связистов к трубе — снайпер тут подкарауливает.

— Луну мне пужно, товарищ связист, поищите, пожалуйста.

— На Луну пока еще линия не протянута, уж что после войны будет. Говорите уж лучше фамилию тутошнего связиста, — пошутил Матвей, отыскивая подходящий провод.

— Голыба, фамилия Голыба, ищите скорей.

Матвей подключил провод и начал вызывать Луну.

— Кто це просить Луну?

— Да тут девушка по тебе заскучалась — соединяю. — Матвей срастил концы проводов, взял трубку.

По линии уже разговаривали:

— Какой-то незнакомый связист Савинцев порыв исправил.

— Алло! Товарищ Савинцев?

Матвей нажал клапан.

— Ну я, чего еще вам?

— Широ даякую вас, товарищ!

— За что?

— Та за липию. Чужую ведь липию вы зрастили и такую помогу нам зробыли...

— По эту сторону фронта у нас вроде нет чужих липий...

Но вот все концы, попавшие Матвею на крючок, сращены. Снова ожили линии, пошла по ним работа. А Матвей томился от безделья, зная, что незаметно улизнуть ему отсюда не удастся. Лежать неудобно — под животом мокро. Промокший, грязный, смотрел он на край деревни, видимый из трубы. Горели дома. Пылища мешалась с дымом. Наносило горелым хлебом. Огороды сплошь испятнаны воронками. Сады перепоясаны окопами. И трубы,

голые трубы всюду. А солнце печет, и дышать трудно. Щекотно в поздрах, душит в горле.

— Хм, чудак этот Голыба! Чудак! Все свое, все, и за эту вот деревушку, как за родную Шумиху, душа болит. Зачем ее так? Зачем пришел чужеземец и все позорил?

Ухнули орудия. Где-то вверху невидимые пролетели снаряды и с приглушенным стоном обрушились на высоту за деревней.

«Наши бьют!» — отметил Матвей.

Он умел по звуку отличать полет наших снарядов так же, как до войны определял па расстоянии рокот своего трактора. На высоте, которую Матвею не было видно, часто затрещали пулеметы, рывкнули минометные разрывы, захлопали гранаты.

— Пошла пехота! — отметил Матвей. — Может, я под шумок смотаюсь! — Он взял трубку: — Заря! Как там у вас?

— Порядочек! Вперед наши пошли. Огневики что делают! Вышли «тигры» да бронетранспортеры. Артиллеристы так их лягнули, что потроха полетели.

— Значит, дела идут, контора пишет?..

— Пишет, пишет!.. Да ты откуда говоришь? — спохватился Коля Зверев.

— Не говори, сынок, в таких хоромах нахожусь, что и дыхнуть нет возможности. Перемазался весь, мать родная не узнала бы.

— Да где ты, чего голову морочишь?

— Где, где... В трубе, что вместо мостика приспособлена. Вот где, и вылезти снайпер не дает.

— Двадцать четвертый пришел, хочет с тобой поговорить.

— Савинцев, ты что, в трубе сидишь?

— Лежу, товарищ Двадцать четвертый!

— Ну потерпи, со смертью не заигрывай. Наши идут вперед.

— Потерпеть, так потерпеть... — уныло согласился Матвей и опустил трубку.

Но когда снаряды начали рваться гуще, Матвей все же не утерпел и осторожно выглянул, приподнялся, осмотрел поле с бабками снопов и вдруг радостно забормотал:

— Эх, фриц, фриц, ни хрена же ты не смыслишь в крестьянском деле! Сколько снопов в бабку ставится? Пять!

А у тебя почти десяток. Погоди-и, научишься ты у меня считать...

Матвей схватил трубку.

— Заря! Заря! Двадцать четвертого мне.

— Нет его, ушел к пехотинцам.

— Слушай, сынок! — захлебываясь и спеша, заговорил Матвей. — Снайпера я отыскал, в бабке сидит. Она больше других и в аккурат против тех изб, от которых саперы драпали. Охота мне самому его, тварюгу, стукнуть, да несподручно из трубы.

— Айи момент, позволю в штаб батальона. Они его из минометов угостят...

— Валяй поскорее.

От нетерпения Матвея стало колотить. Сунул он руку в карман и стал громко ругаться:

— Асмодей! Растяпа! Табак-то весь замочил!..

Секунды тянулись мучительно медленно. «Неужели не найдут?» — думал он и в то же время чутко прислушивался. Рывкнули минометные разрывы.

— Там! — восторженно вскрикнул Матвей и уже смелее высунулся из трубы. Бабки не было, только клочья соломы оседали на землю. — Так тебе, стерве, и падо! — закричал Матвей... и внезапно осекся, взглянув на пойму ручья. По ней двигались четыре фашистских танка, за ними, не стреляя, бежали немцы. — Заря, Заря! — не своим голосом гаркнул Матвей, но Заря не отвечала.

— Москва! Москва!

— Слушает Москва. Чего ты, как с цепи сорвался?

— Кончай болтать, давай скорее Пятого! Тут танки прут!

— Где тапки, товарищ Савинцев? — слышался голос командира дивизиона, который не выговаривал букву «р».

— Товарищ майор, то есть товарищ Пятый! — путаясь, закричал Матвей. — К трубе подходят уже, бейте скорее! Отсекунт пехоту!

— Без паники, Савинцев! Уходи немедленно оттуда! Открываем огонь.

Матвей схватил аппарат, опрометью кинулся из трубы к деревне, потом остановился, махнул рукой и вернулся обратно. Взяв в руки провод, побежал по высоте искать порыв на Зарю.

Матвея заметили. Вокруг него засвистели пули, хлопнули разрывы впереди. Он лег, стараясь теснее прижаться к земле. Танки остановились и начали бить из пушек че-

рез него, по высоте. Немецкие автоматчики, обтекая тапки, бегом пошли в атаку. На склоне высоты засуетились наши, готовясь встречать немцев. В это время беглым огнем ударили гаубицы. Болотистую жижу заметили первые разрывы. Танки, пустив клубы дыма, заурчали и попятились к ручью. Но за ними встала стена разрывов — заградительный огонь.

Матвей заметил, как один танк забуксовал в ручье, остервенело выбрасывая гусеницами жирный торф. Грязное лицо связиста расплылось в довольной улыбке, и он побежал по линии, пропуская провод сквозь кулак. Внезапно его, как пилой, резапуло по животу. Яркие круги мелькнули в глазах, зазвенело в голове множеством тонких колокольчиков, земля под ногами сделалась мягкой, как торф, и перестала держать его. Он упал, широко раскинув руки, и колючая стерня впиалась ему в щеку. Пресный и густой запах сухой земли, спелого хлеба, к которому примешивался еще более густой и еще более приторный запах крови, полился в него и застрял в груди комком. Не было силы выдохнуть этот комок, разом выплюнуть густую слюну, связавшую все во рту.

«Попить бы», — появилась первая, еще вялая мысль в голове Матвея. Он приоткрыл глаза и совсем близко увидел мутный цветок, который колыхался и резал глаза, словно солнечный яркий блик. А на цветке сидел кузнечик, мелко дрожал, должно быть, стрекотал. На то он и кузнечик, чтобы стрекотать беспрестанно. Работник! Но все крутилось в глазах Матвея, в голове стоял трезвоц, и он не слышал кузнечика, не узнавал обыкновенный цветок — сурепку. Он уже хотел закрыть глаза, но ему мучительно захотелось узнать, какой цветок растет, и даже пощупать его захотелось. Тут он заметил, что рядом с цветком лежит провод, вялый, как засохший червяк.

«А связь-то как же? Вот беда!» Он попытался подтянуться к проводу и с трудом преодолел полметра. И когда он взял провод в руки, чувство одиночества и заброшенности, которое всегда наваливается на раненого, постепенно стало покидать его. Нутром чувствовал Матвей: пока рука способна держать провод, будет литься в нее сила, и он потными пальцами крепко сжимал тонкую и горячую жилу провода. Он полз, явственно ощущая, как раскаляется провод и земля под ним и горячие, твердые комки заваливаются в живот и раскатываются по всему

телу, давят на сердце. «Только бы при памяти остаться», — твердил себе Матвей, стараясь не думать про рану.

Вот и порыв. Матвей отыскал глазами отброшенный разрывом в сторону другой конец провода, добрался до него и начал соединять. Но руки не слушались его. Пальцы, как видно, уже отгорели, потому что и боли не чувствовали, и горячего провода не держали. «Не могу! — с тоской подумал Матвей и последним усилием сжал в кулак запевшие пальцы. — Вот силы соберу, тогда...»

Тут и нашел Матвея Коля Зверев, выбежавший на линию. По кошенине тянулась кровавая полоса. Коля перевернул Матвея. Под ним, в бороздке, скопилась кровавая лужица. Земля не успевала впитывать кровь. Коля схватился за пояс, но фляги не было. Тогда он вытащил из кармана огурчик, которым так великодушно угощал его давеча Матвей, раздавил и кашицу сунул пальцами в плотно сжатый рот связиста. На губах Матвея намокла грязь, кровь и мякина. Матвей кусал зубами стерню. Связь работала до сих пор через его руку. Коля попытался разжать кулак Савинцева, но пальцы как будто закаменели, закаменела вся эта увесистая, привычная к тяжелой работе крестьянская рука. Матвей открыл глаза. Точно в чем-то удостовериваясь, пристально и долго глядел на Колю, потом с трудом разжал пальцы, пошевелил запекшимися губами:

— На... — а еще через минуту по-детски жалобно произнес, скривив губы: — Худо мне, сынок...

Телефонист хоть и видел, что дела Матвея неважны, но как умел начал успокаивать. Говорил он обычные в таких случаях слова:

— Ранение пустяковое, и не с такими выживают, а ты мужик крепкий, сибиряк. Я вот тебя перебинтую, и порядочек. В госпитале залечат. Знаешь, у нас медицина — будь спокоен!

Матвей поморщился:

— Не об этом я. Плохо, что фрицев прозевал... Сколько пехотипцев-то пострадало, поди. И все этот снайпер проклятый...

— Да брось ты накаркивать на себя! И что это у вашего брата, деревенских, за привычка? — губовато бубнил Коля, не переставая бинтовать живот Матвея. Он старался делать это так, чтобы Матвей не увидел раны. — За сегодняшнюю работу тебе сто благодарностей полагается,

а ты вон чего городишь,— продолжал Коля отвлекать Савинцева разговорами.

Матвей покосился на него тихо, но сурово молвил:

— Зря ты бинт переводишь на рану, и от меня ее прячешь зря. Как стукнуло, сразу понял, что каюк... — И, чувствуя, что времени остается мало, расходуя последние силы на то, чтобы говорить деловым тоном, хозяйским, он принялся распоряжаться: — Значит, напишешь домой все как следует быть и всю мою последнюю заповедь исполнишь.

Коля хотел было возражать, Матвей строго взглянул на него и слабеющим голосом, но обстоятельно продолжал:

— Стало быть, напишешь, погиб я в бою, честь по чести, чтобы Пелагея и земляки мои не сомневались. Та-ак. — Матвей замолк, задумался, и веки его начали склеиваться. Тогда он сделал над собой усилие и, точно боясь, что не успеет договорить, скороговоркой и уже со свистом, который шел из глубины, добавил: — Напиши... Сразу, мол, отошел... не мучался... — и уже совсем тихо, роняя бессильную голову, прошептал: — Это пропиши обязательно!..

Коля Зверев завыл и затопал ногами.

— Да какое ты имеешь право заживо в могилу оформляться?! Ты сибиряк! Понятно! И ты живой будешь! Понятно?!

Матвей приоткрыл печальные глаза, по-отечески снисходительно глянул на Колю.

— Эх, сынок, сынок! Поживешь с мос — больше понимать будешь. Деревенские мы люди, привыкли, чтобы все по порядку было, чтоб ничего не забыть в последний час... Э-э, где тебе! Прости, если словом обидел...

Потрескавшиеся губы Савинцева сомкнулись, а верхняя губа запала под нижнюю. Тяжкая боль навалилась на человека, ломала его силу, выдавливала стон.

Коля взвалил грузного Матвея на плечи и, дивясь тому, что у него откуда-то взялось столько сил, понес Савинцева напрямик через кукурузу, подсолнухи и хлеба. На губы Коли падали слезы, смешанные с потом. Он хотел их удержать — не мог, хотел дернуть рукавом по лицу — руки были заняты. Тогда Коля принялся сердито крпчать:

— Деревенские мы... А мы, думаешь, кто?.. Я, может, сам. Я может, пуще отца родного тебя чту... А ты... Эх, ты!.. — и, чувствуя, что Матвей все более тяжелеет, обви-

сает на нем, он громко закричал: — Слышь, Мотя, не помирай!.. Слышишь, потерпи маленько...

Но Матвей ничего уже не слышал. Перед ним колыхалось бесконечное ржаное поле. От хлебов лились сухость и жара. Совсем близко увидел он колосок, похожий на светленькую бровь младшенькой дочери. Он потянулся губами к тому колоску, но вместо колоска перед ним очутился сибирский цветок жарок, похожий на уголь. С цветка снялся пучеглазый кузнечик и с нарастающим треском помчался на Матвея. Он затрещал, как лобогрейка, потом — как трактор, потом — как самолет. Он гремел, надвигался, давил, подминал и обрушился тяжким ударом на голову. Мир раскололся от яркой молнии пополам, образовав огромную черную щель. В щель эту сначала огнем, затем раскаленным шариком и, наконец, маленькой искоркой летел Матвей Савищев, пока не угас.

Земля, пахнувшая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом.

Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы все стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскладывающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и пазывали Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.

На второй день мира за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить.

Помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв в плен немца, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он, рабочий, и что же Гитлер сделал с ним, заставив

поевать против нас. И кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась, перед нами стоял немецкий ефрейтор, вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: «Ты — солдат, и я — солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все». Иное лежало между нами, иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого.

Но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень и пистолет, завтракал, он входил с трубкой в зубах и приветствовал, «герра офицера». Вначале — от дверей, но через день-другой он уже сидел у стола, положив ногу на ногу. В окно косо светило утреннее солнце, жмурясь, он посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как «герр офицер» кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший, полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегают, звенит эмалированным подойником жена. В восемнадцать лет она уже родила ему сына и теперь, в тридцать два, никак не выглядела матерью этого длинного, на полголовы переросшего отца, худого отпрыска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его от другого брака.

В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты... Чтобы у меня не возникло сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын.

Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемна еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про козака, ускакавшего на вийнопьку, и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.

Рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шел приветствовать «герра офицера», она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками за-

мешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе лениво грелись на солнце мои разведчики, она бегала из коровника в дом, из дома в коровник, обдавая запахом хлеба, коровьего молока, жаркого пота, и, стреляя глазами, старалась на бегу мазнуть кого-нибудь подолом юбки по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под расслабленной походкой, под всем этим домашним видом чувствовалась тщательно скрываема военная выправка.

Вот так и в это утро он сидел у стола, пока я завтракал, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не шесть дней, а сто лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня: во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я еще не видел его.

Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую кадку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир, как уже не могло наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом, а ей при ее железном здоровье суждено было еще долго жить.

У нее был муж. Коммунист. Его убили на митинге ножом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь уже не свою — его жизнь. Его убили в сорок четвертом году на фронте.

Заспанный командир отделения разведчиков Маргослин, в гимнастерке без ремня, босиком, подошел к ней, взялся за кадку. Она не отдавала ее из напрягшихся рук и некоторое время, стоя посреди двора, они тянули кадку каждый к себе. Потом Маргослин легко понес ее на плече, а Магда шла сзади с темным даже в солнечный день лицом. Так они скрылись за сараем.

Я не видел ни разу, чтобы кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь: ни хозяйке, обладавшей такими пышными достоинствами, ни мальчишке. Единственная, кого они жалели, не умея это даже объяснить, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, еще и обрели.

Я доел яичницу со сковородки, налил себе второй стакан вина. Оно было светлое, прозрачное, только что из погреба, и пустой стакан с оставшимися на нем мокрыми следами пальцев долго еще покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел портупею — хозяин почтительно присутствовал при этом, — затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя каждый мускул, с особенным удовольствием чувствуя тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну, человек в двадцать два года, в сущности, остается очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да еще в глазах немца.

После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился иссиня-черной эмалью и никелем мотоцикл. Вздрагивающего от заведенного мотора, я вывел его со двора, и едва успел поставить ноги на педали, как он рванулся подо мной, и полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой стене неба, и это была правда, что кончилась война и мы в Германии. За всех, кто не дошел сюда. Я до отказа прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и нетающий холодок под сердцем — острый холодок жизни.

За перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона. Тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъему в лесу, помогая ногами, я взобрался на перевал, и оттуда, с оглушительным треском, стреляя назад из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники — сквозь пелену слез все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечные полосы.

Впереди — развилка улиц, куча булыжника посреди нее. К Яковенко — направо. И в тот момент, когда я уже поворачивал, накреньясь вместе с мотоциклом, из-за дома выскочил щенок. Прямо под колесо. Все произошло мгновенно, руки сработали быстрее сознания. Я успел отвернуть, затормозил. Меня вышибло из седла, ударило о зем-

лю и еще волокно по пыли, а я хватался за нее ладонями.

Вгорячах я вскочил. У дома мальчик лет трех держал на руках щенка. Он не убегал, только с ужасом смотрел на меня круглыми глазами и изо всех сил прижимал щенка к себе.

От удара о землю у меня лопнули галифе на коленях, сквозь пыль на обожженных ладонях проступала кровь. Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо его крутилось. Я сел на камень. Ноги у меня дрожали. Я выплюнул изо рта землю. В тупом сознании прошла одна отчетливая мысль: «Вот так разбиться мог. После войны...» От Яковенко уже бежали сюда разведчики. Они доставили меня в дом по частям: отдельно меня, отдельно фуражку, которую кто-то из ребят разыскал на другой стороне улицы.

Пока с меня стягивали сапоги, Яковенко стоял рядом со стаканом водки в руке.

— Пей,— говорил он. — Кости целы? Как, ребята, целы кости?

И пальцами щупал мне голову:

— Терпишь? А здесь? Цела! Значит, можно, пей!

Когда все ушли, он сел рядом со мной на кровать. И тут только я заметил, что у него лицо больного человека. От него пахло водкой.

— Знаешь,— сказал он,— я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился. В трех километрах отсюда. Я вчера ездил туда.

Он вытер ладонью лоб.

Я знал, что у него в сорок первом году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А два года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уже не мог и просил только передать семье, что жив. Мать написала об этом на фронт сыну, не зная, надеяться ли, верить?

С тех пор у Яковенко была одна тайная надежда: вот мы войдем в Германию, и он узнает об отце. И чем ближе был конец войны, тем нетерпеливее становилась эта его надежда.

Вчера впервые увидел он наконец немецкий концлагерь. Тем же путем, от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шел он по земле, впитавшей их кровь. Он уже знал, что, если и был

среди их навсегда исчезнувших следов след его отца, никто никогда не расскажет ему об этом.

— Там капава такая. За крематорием. — Он вдруг сильно побледнел. — Мухи над ней. Зеленые... Я не сразу понял... Только вдруг страшно стало. Запах, наверное... Там человеческий жир, в канаве. Людей сжигали, и стекало туда...

Он раскачивался, сутуло сжав коленями руки.

— Знаешь,— сказал он,— я на одно надеюсь: отец комиссар был. А комиссаров ведь в плен не брали... И потом, этот человек сказал, что в лагере фамилия отца была Яковлев. Не Яковенко, а Яковлев. Может, спутал с кем-нибудь? Мать его больше ни разу не видела.

Что я мог сказать ему? Я сказал, что это очень может быть, и даже наверное, и лично я знаю несколько таких случаев. Вот, например, в нашем полку, когда мы прорывались из окружения...

Яковенко сидел покачиваясь, глаза его были закрыты, лицо от скул бледно, а на порозовевших висках и на лбу выступил пот.

Ночью, внезапно проснувшись, я увидел над собой на потолке широкую тень: плечи во весь потолок и втянутую в них голову. Подперев кулаками виски, Яковенко сидел за столом, две свечи в блюдечке освещали снизу его лицо. Услышав, что я не сплю, он в тапочках на босу ногу, в галифе, в распоясанной гимнастерке пересел ко мне на кровать.

— Мне там сказали, пепел... пепел сожженных людей на дороги вывозили. Поля удобряли пеплом.

Он потер горло. У него сохло во рту, и голос был пересохший.

— Я вернул, спрашиваю их: «Знали про все это?» — «Никс, никс!» Не знали, говорят. Так идите смотреть! — Расширившаяся шея его налилась кровью. — Не идут. Не хотят идти. Понял? Рядом людей жгли. Пеплом удобряли землю. А они теперь хлеб жрут.

Он встал, огни свечей заколебались, тень руки метнулась по стене к полке. Взяв оттуда вещь, Яковенко повернул ее клеймом к свету: «Видишь?» Клеймо было французское. В колеблющемся свете глядели на нас со стен, с полок вещи, вещицы, странно не подходившие одна к другой. Это были вещи из разных семей, никогда прежде не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи людей, быть может, теперь уже

уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дании. И в нескольких километрах отсюда — концлагерь.

Я не мог на следующий день смотреть на поля. «Пеплом удобряли землю...» Я все же не хотел верить в это. Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносят на всех. Но молчали все. И те, кто знал, и те, кто только догадывался, и даже те, кто не одобрял.

Мы спускались под гору, и разведчик, натягивая вожжи, придерживал коней. Я лежал на сене, светило солнце, от разогревшихся коней пахло потом. Сквозь ребра фуры бежали назад поля. На рыхлой, пепельно серой земле — молодой, чуть припыленный хлеб. Он сочно лоснился, набирая силу. И я не мог смотреть на эту землю, на этот хлеб.

В голубом идилическом небе Германии плыли чистые, сверкающей белизны облака. Тени их невесомо скользили по земле. Мир и тишина. Но скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливым — встречать похороненных.

Мы въехали в улицу, развернулись у двора, и разведчик погнал коней обратно — он торопился, — а я пошел к дому. Никого из моих ребят во дворе не было, хозяева же, едва только завидели меня, скрылись в коровнике и там быстро шептались. Несколько раз оттуда выглядывали их взволнованные лица. Что-то в мое отсутствие произошло.

Я сел на лавку, вытянув ногу, которую больно было сгибать, хотел закурить. Но на мне были синие галифе Яковенко, а я забыл переложить в них свою зажигалку. Хозяин уже шел сюда. Я намочил палец и стал слюнявить спаряпанный на боку ремень.

Хозяин был приветливей, чем всегда. Увидев в руках моих сигарету, сразу же, но без торопливости, как доброму знакомому, поднес огонь прикурить. После этого тоже сел на лавочку — мужчина с женщиной.

Еще прикуривая, я заметил одним глазом, как пробежала в свинарник хозяйка. Лицо у нее было гневное и вместе с тем испуганное, как бы готовое к упижению. Хозяин ничего этого не замечал. Он курил трубку, и солнце освещало нас обоих на лавочке под окном. А тем временем к нам шел его сын с записной книжкой

и карандашом в руках. Он остановился передо мной, держа раскрытую книжку перед глазами, словно собираясь цетъ, прокашлялся. Я смотрел на него снизу. Когда он заговорил, плечи его опустились, шея от волнения вытянулась. Он говорил быстро, до меня доходил только смысл отдельных немецких слов. Но он настойчиво повторял снова и снова, и я разобрал наконец. Оказывается, в мое отсутствие кто-то из разведчиков застрелил свинью.

— Эршос, эршос! — повторял он, показывая, как это было сделано.

Через двор, блестя новой кожаной курткой, прошел враскачку Маргослин. На разведку вышел, а потому держался независимо. Мальчишка не видел его. С пятнами волнения на лице он говорил:

— Это была хорошая свинья. Она имела тридцать килограммов веса и еще могла расти. Но это уже были тридцать килограммов полноценного свиного мяса. И каждый килограмм стоит...

Он уже несколько раз сказал «костет». С детства я помнил это немецкое слово. Тогда я знал стишок: «Гутен таг, фрау Майер! Вас костен ди айер? — Ахт пфенниг. — Ахт пфенниг! Дас ист цу тоер!..» Добрая, добрая фрау Майер!

В эту войну был эсесовский генерал Майер, палач и садист.

Подтянув ноги под лавку, упираясь в нее по сторонам тела ладонями, хозяин слегка покачивался. Костлявые плечи его поднялись, голова ушла в них. За все время он не сказал ни слова, он слушал и с закрытыми глазами кивал дымившейся трубкой. Я глянул на его руки, пальцами охватившие доску. Это были большие рабочие руки. В их морщины и вокруг больших ногтей вьелось что-то черное. Земля? А быть может, пепел?

Немец кивал дымящейся трубкой, а сын его при мне подсчитывал заново то, что уже было ими подсчитано всей семьей. Я должен был сам убедиться и увидеть, что меня здесь не обманывают, что за хорошее свиное мясо с меня возьмут по умеренной цене. У него побледнел нос и движения рук были торопливые. Близко поднеся записную книжку к глазам, он прочел фамилию того, кто застрелил свинью: «Зольдат Макарушка». И посмотрел на меня. Я не сразу понял, что это, выговоренное с трудностями, чужое на слух «зольдат Макарушка» и есть Макарушка, самый молодой из моих разведчиков.

Он пришел к нам в освобожденном украинском селе, ко мне, первому встреченному им начальнику. Босой, одичавший и — по глазам было видно — очень голодный, он просил, чтобы мы взяли его с собой на фронт. В селе этом его никто не знал, он появился здесь весной, когда еще не сошел снег, и был тоже бос, а сквозь рваные штаны виднелись синие от холода колени. Желщины считали его придурковатым, жалея, изредка кормили его. По той же самой причине, что укрепились за ним слава блаженного, он не был утнан в Германию.

Он сразу привык к разведчикам, но долго еще, рассказывая что-либо, говорил о нас «русские», как говорили немцы, а от них — жители оккупированных областей. Был он тихий, безобидный и теперь, когда отъелся, очень сильный физически. Не помню уже, кто первый окрестил его Макарушкой, но имя это удивительно подошло к нему, здоровому, кроткому парню, и все так звали его, а настоящего имени его никто не помнил. Однажды, когда мы вдвоем сидели на наблюдательном пункте, он рассказал мне о себе. Он был из партизанской деревни. Почти все мужчины и отец его ушли в лес, но немцы почему-то долго не трогали семьи, не мстили. Потом в одну ночь была устроена облава. Жителей согнали в школу, забили двери и здание подожгли. Тех, кто пытался выскочить из огня, расстреливали в окнах. Там в огне погибла его мать. И все же, как ни внезапна была облава, многие матери успели спрятать детей. И спряталась часть жителей. Их разыскивали после по погребам, по подвалам. Ночью вели их на расстрел. Макарушка нес на руках двухлетнюю сестренку. У оврага всех выстроили. Одного Макарушка не мог простить себе; что в этот последний момент держал сестренку на руках.

— Мне б ее на землю поставить. Маленькая, затерялась бы в ногах, может, не заметили бы. Ночь ведь. А она испугалась вся, держится за меня, не оторвать. Ноготочки у нее были, так впились вот сюда мне. — Он показал себе на шею. И я подумал тогда: сколько ни проживет он на свете, всегда будет он ощущать эти впившиеся в него ноготки двухлетней девочки, всем крошечным телом почувствовавшей смерть.

«Она еще могла расти...» — сказал молодой пемсц о свинье, которая весила тридцать килограммов. Это была его свинья, и никто не имел права безнаказанно стрелять в нее. И отец, сидя на скамейке в домашних

туфлях, кивал дымящейся трубкой: он был доволен сыном.

Я смотрел снизу на молодого немца. Ему четырнадцать лет, и голос у него еще ломается, не отвердел еще. Ему столько же, сколько было Макарушке, когда его с двухлетней сестренкой на руках повели расстреливать, когда он потом, ночью, выполз из общей могилы и уполз в лес и там один, как зверь, травами залечивал раны.

Этот в четырнадцать лет еще не изведаль, почем фунт лиха, но он уже хорошо знает, во что обходится и сколько следует получить за килограмм полноценного свиного мяса. И вот со счетом в руках стоит передо мной, уверенный в своем праве предъявлять нам счет.

Вечером мы ели свинину. Хозяева фермы, как всегда в этот час, ушли, очень недовольные нами. В глаза они не смотрели, щеки хозяйки были воспалены от высохших слез. Только сын, молодой управляющий, все еще хлопотал по хозяйству.

За фермой, позади маленьких ухоженных полей, сидилось в тесноте солнце, обламывая лучи об остроконечные крыши. Яркий закатный свет дрожал в прозрачном воздухе, а в комнате был уже сумрак.

Я услышал, как стукнула калитка. Потом — незнакомые, шаркающие шаги. В окно мне косо видна была часть двора. Я подождал, и человек вошел в пространство, видимое мне. Он был сильно истощен, волочил ногу, но по двору шел так, что я почувствовал: он когда-то бывал здесь. Дойдя до ворот свинарника, он заглянул в его темную глубину. Он не видел, что из-за поленницы дров за ним наблюдает сын хозяина. А тот выступил вперед, готовый грозно окликнуть, но тут что-то изменилось в его лице: он узнал этого человека.

Шаги слышны были уже по крыльцу. Занавеска на окне отрезала туловище, и я видел только ноги в стоптанных ботинках, подымавшиеся по ступеням. Человеку больно было наступать на правую ногу; едва наступив на нее, он перескакивал на здоровую, а больную плашмя волочил за собой вверх.

Он не сразу нашел ручку двери, некоторое время я слышал его тяжелое дыхание с той стороны. Наконец дверь открылась, он ступил через порог. Это был старик в серой, не имевшей цвета и, видимо, не своей одежде: она вся висела на нем. Он оглядел комнату, и опять мне показалось, что он уже бывал здесь когда-то.

— Здравствуйте! — сказал я из темноты простенка.

Он вздрогнул, быстро обернулся с каким-то странным выражением глаз. Но это не был испуг. Разглядев меня, он поздоровался, снял с головы круглую лагерную шапку и что-то спросил по-польски. Я пожал плечами. Тогда он обвел рукой все вещи в комнате и спросил еще раз по-польски и по-немецки. Он искал немца, хозяина этого дома. Я сказал, что тот вообще здесь, но сейчас его нет. И заметил, с каким напряжением ждал он моего ответа.

— Хиер,— повторил он, успокаиваясь. И вдруг поблагодарил меня: — Дзенькую.

Я выдвинул ему тяжелый дубовый стул, он сел, остро обозначились худые колени. Теперь было видно вблизи, что это не старик, а очень замученный человек с провалившимися висками и серым бескровным лицом. Мне как раз только что принесли на тарелке свинину, жаренную куском, и жаренную в свином сале картошку. Все это было еще горячее, пахло, и запах этот раздражал голодного человека. Он несколько раз посмотрел на тарелку. Пожалуй, с излишней поспешностью я подвинул свинину ему. И увидел ужас в его глазах.

— Ниц! Ниц! — Он тряс головой.

— Да ешьте, ешьте,— продолжал я настаивать. — Мне сейчас принесут.

Но он слабой рукой упирался в тарелку. И я уступил, ничего не понимая. От неловкости я налил ему вина. Он поблагодарил глазами и пил жадно: ему хотелось пить. Виски его то надувались, то западали, на руке, державшей стакан, отчетливо видно было запястье— браслет из сухожилий — и кости, лучами идущие к пальцам. На заросший, двигавшийся вверх-вниз кадык смотреть было страшно.

Он закашлялся, не допив, и кашлял долго, мучительно, до синевы налившихся кровью. Потом, обессиленный, с выступившими слезами, не мог отдышаться, руки у него тряслись.

— Вы здесь жили раньше? — спросил я, чувствуя, как ему неловко за свою слабость. — Вы знаете этот дом?

Он отрицательно покачал головой.

— Поляк,— сказал он, объясняя этим все свое положение здесь, положение человека, силой угнанного в Германию. — Я хотел видеть его.

Он постучал по столу, потом посмотрел на меня.

— Моя жена жила здесь. Здесь. — Он указал в окно на коровник. Поднять руку ему стоило усилий. — И здесь у меня был сын. — Он опять посмотрел на меня. — Когда он родился и закричал, она зажала ему рот рукой, чтоб не услышал никто. Но скрыть можно только мертвого. Один раз она кормила грудью, и вошел в коровник немец. Он ничего не сказал, он только посмотрел на ребенка, как его кормят молоком. Она не могла мне объяснить, как он посмотрел, только плакала и дрожала вся, когда рассказывала об этом. Что я мог сделать? Я работал у немца вои там, в той деревне, но что я мог сделать?

Серые сухие губы его, словно запемевшие от холода, шевелились медленно. В ранних сумерках свет окна стеклянно блестел в его остановившихся глазах, взгляд их был обращен внутрь.

— Теперь я вижу, как он посмотрел. Он, хозяин, кормил ее, чтобы она могла работать, а ребенок брал из нее силы... После этого она прятала мальчика, когда уходила в поле. Она говорила, что слышала его крик. Но я думаю, этот крик все время был у нее в сердце. Она бежала с поля и слышала, как ребенок кричал. А немец во дворе запрягал коней ехать в гости. И свинарник был закрыт снаружи доской. Она бросилась туда, она чувствовала. И когда растолкала свиней, увидела нашего мальчика. С тех пор она видела только это. А когда она совсем помешалась рассудком и уже не могла работать, немец взял ее за руку и отвел в горы, в лагерь. Там был крематорий. Она не понимала, куда ее ведут, и это было ее счастье.

Обо всем этом он рассказывал мне на смеси немецкого и польского языков. Во дворе тихонько на два голоса пели разведчики. Я почти уже не различал его лица: одни только тени вместо щек, и в сумерках блестели глаза в глубоких глазницах.

— Полтора года я был в лагере и выжил, чтобы прийти сюда, — сказал он.

Я вспомнил, как мальчишка, сын хозяина, смотрел на поляка из-за дров. Я подошел к окну, крикнул Маргослина. Песня оборвалась, и я услышал, как, приближаясь, зашкрипела кожаная куртка. Маргослин остановился, поднял лицо вверх: он был маленького роста.

— Приведи сюда мальчишку, — сказал я.

Минут десять слышны были голоса и шаги во дворе, за сараями, вокруг дома. Стало совсем темно в комнате,

только светились два окна в стенах и в темном углу — зеркало. На всякий случай я спросил поляка, знает ли он деревню, куда уходил ночевать хозяин, и сможет ли идти с нами. И теперь мы сидели молча. Наконец явился Маргослин. Мальчишки нигде не было, как я и ожидал.

Вчетвером — поляк, Маргослин, Макарушка и я — шли мы через лес. Луна, поднявшись наполовину, никак не могла вырваться из расщелины горы. Она была огромная, медно-оранжевая, а гора перед ней — черная. Наконец, оторвавшись и всплыв, она стала быстро подниматься вверх, вправо, все уменьшаясь. И когда стояла высоко, в белом свете ее, таинственно изменившем ночной мир, увидели мы деревню: синеватые стены домов, мокрый скат черепичных крыш, в темных окнах — переливающиеся стекла. Мы шли задами. От дворов тянуло сонным, застойным теплом хлева, мочой, а снизу — свежей сыростью: там, под нависшими кустами, блестел по камням черный ручей. К нему вели вниз мокрые от росы каменные ступени.

Двое взяли дом и сарай под наблюдение, двое тихо вошли во двор, пустой и словно выметенный под луной. По деревянной лестнице мы поднялись на сеновал; собака внизу, охрипнув от лая, кидалась с цепи, валившей ее на спину. Но ни в одном окне не зажегся свет, ни одна дверь не открылась.

На сене, белея в темноте, лежали рядом две перины. В них еще остались вмятые следы тел. Мы оцупали светом фонариков все углы паверху в сарае, в доме, во дворе. Тех, кого мы искали, не было нигде. Их не было и назавтра. Позже мы узнали, что они ушли на Запад. Все трое.

Жители говорили, что это были очень нехорошие люди. Некоторые говорили даже, что он был нацист. Или брат его был нацист. Все это они говорили теперь.

— Что же вы раньше молчали?

Они пожимали плечами:

— Мы боялись...

Одна только Магда не говорила о них ни хорошо, ни плохо. Она вообще не разговаривала. Еще несколько дней она приходила, как всегда, рано утром, задавала корм свиньям, подметала двор, доила коров — несла свои обязанности, исполнение которых механически привязывало ее к жизни. И надоенное молоко стояло во всех бидонах и кисло.

Наверное, и сейчас наши бывшие хозяева вспоминают те майские дни как черные дни своей жизни. Тогда мальчишке было четырнадцать лет, и голос у него еще ломался. У многих тогда ломался голос. Сейчас он окреп.

А в те первые, считанные дни мира стоял передо мной четырнадцатилетний худой немец со счетом в руках. Я вижу его и сейчас — с побледневшим носом, с пятнами волнения на лице. Его не интересовало прошлое, он ничего не хотел о нем знать, он хотел получить за свинину. И он был уверен в своем праве предъявлять счет.

«Опускается, опускается все ниже. Куда? Как она может погружаться в самое себя? Землетрясение? Нет. И все же опускается... Бред!

— Остановите ее!»

Этот возглас был только мыслью.

Но земля опускается. И никого кругом. Никого? Где же люди? «Я возродиться лишь на людях в силах». Кто это сказал? Молчание. Значит, порой и молчание обретает голос...

— Прошу тебя, прошу, молчанье, не молчи!..

В спутанных ресницах расцветают маки.

— Маки!.. Скажите слово хоть вы.

Странно. Молчат маки. Значит, не все красивое красноречиво... А маки по-настоящему красивы...

Опускается, снова опускается земля...

По стенам чоятся зеленые жеребята. Зелепые копи на стенах. Как тогда, в степи, под Орхеем. А что в Орхее сейчас? Может, он лежит в руинах. Земля ведь опускается...

Голубеют заросли камыша, ходят под ветром волнами.

— Не брызгайся, Михаил! Вода холодная!.. Бессовестный, съел все маки с моих губ! Стыдись!..

А теперь мне тепло. Утро родило день. И целых пять солнц согревают его.

— Нет, десять!

— Чудак!

— Десять солнц. Это точно.

— Ну, и силен ты в арифметике.

— Без пяти минут математик...

— Перестань есть маки...

Опускается, снова опускается...

— Держи его крепче, отец! Цепляй постромки! Смотри-ка, теперь и телки тянут лучше. Видишь, борозда

стала глубже?! Будут добрый хлеб и сладкие куличи на пасху!

— Будут!

— Оставьте отца в покое! Не бейте его!.. Ой, что мы будем делать теперь? Вставай, отец!.. Дьякон поет так жалобно, что хоть плачь. И не выплачешь всех слез до кладбища.

— Лес мой, кедры милые...

— Кто это поет? Деревья?

— Да, лес надвигается на меня, как зеленое половодье. Видишь, как качается осенний лес?..

— Вижу... «Что ты, лес, качаешься?..»¹

— Откуда ты это знаешь?

— Ты читал, когда мы купались в Днестре. Помнишь? «И не в бурю, и не в дождь до земли ты ветки гнешь».

— Никогда я этого не читал...

— Мне нашептала земля. Но она опускается! Останови ее, Михаил! Я боюсь.

— «Мне ль не гнуться до земли, если дни мои прошли?»

— Твои дни никогда не кончатся... Прошу тебя, Михаил, останови, удержи землю! Не знаешь как? Пожалей землю, твою и мою.

— «Тоскую лишь о том...»

— И я тоже... Но почему так носят зеленые пятна по стенам?

— Хочешь сказать — зеленые кони?

— Пропали. Их больше нет... Мне холодно...

...Когда агент сигуранцы опрокинул третье ведро, Вероника открыла глаза. И тотчас закрыла — не хотела видеть это красивое наглое лицо.

— Ты жива или притворяешься живой? — слышала она как во сне.

— Тупица! Лей еще ведро...

— Ладно, только глотну цуйки...²

«Молчание... Как жаль, что молчание безголосо с тех самых пор, как стоит этот свет. И вдобавок в нем таится какая-то бездна.

Если человек не чувствует рук, разве он мертв? «Мысли, следовательно, существу?» Живу. Вздор! Я умерла?

¹ Стихи Михаила Эмпнеску «Что ты, лес, качаешься?..» и далее «Тоскую лишь о том...» приводятся в переводах Г. Перова и Ю. Кожевникова.

² Ц у й к а — сливован водка.

Попробуй рассуди! Рассуди... Значит, я существую... Чьи это слова? Кант такого не говорил, потому что это сказал Декарт... «Гаудеамус игитур...»

— Михаил, успокойся! Гребни к берегу — нас настигают черные лебеди.

— Белые.

— Нет, черные... Не выкручивайте мне руки!

— Ты у меня заговоришь!

«Нет! Я умерла. По цементу скачут зеленые копы. По стенам. Скачут. Видите?»

— Как будто плачет кто-то...

— Тупица. Она мертва. Плесни еще!

— Воды?

— Ты полный дурак и еще половина! Посмотри, под столом должна быть бутылка...

— Что это — земля опускается или поднимается молчание? Земля горяча. Накалено молчание. Но может ли молчанье накаляться?

Холодно.

Что это — снег идет или небо плачет белыми слезами? Нет, это не слезы. Это многоцветные улыбки. Приземляются парашюты. Их сотни. Тысячи. Похоже, будто дети несут цветы — движущийся цветник. Да, я помню тот год, год, исполненный особого смысла.

Чертова память! Она будит воображение. На его призрачном полотне угадывается июнь сорокового...»

— Эй, ты!

Эти два грубо сочлененные слова ударили по барабанным перепонкам. У нее был такой топкий и чистый слух!..

— Эй, ты! Жива еще?

«Кто это вздыхает? Палач? Видно, и палачи иногда вздыхают...

Идет снег... Нет, опускается земля...»

«...Ключи соскальзывали в карман серого пальтишка, купленного мамой в «Галери Лафайет»¹.

— Ты красиво его носишь, Ника.

— Называй меня Вероника. В имени Ника есть что-то юношеское.

— Ты у меня красивая. Большие глаза горят, как фонари над Каля Викторией.

— Нет, как свечи на погребении.

— Ты глупенькая... Свечи зажигают на капуне.

¹ «Галери Лафайет» — универсам в Бухаресте.

— Я этого не знала, мама...

— А тебе и не нужно... На твоём веку ещё не раз вздыбится земля и родятся горы.

— Сколько мне лет, мама?.. Пожалуйста, не целуй меня так... Ты у меня славная и все же не целуй меня так крепко... Глянь, здесь я и учусь, против статуи Михая Витязя. Видишь, как он держит скипетр? Грозит меня ударить...

— Почему ты не хочешь быть хозяйкой Чишмиджиу?

— Я никогда не выйду замуж, мама...»

— Что-то сказала?

— Не понял. То ли шевельнула губами, то ли вздохнула.

— Тупица, одно у тебя на уме! А ей должно быть известно много секретов, бычок ты этакий.

— Так точно, господин плутовер мажор!¹

— Так-то. Она знает всех здешних партизан, но...

— Видать, потеряла голос... Жаль. Пела, как соловей.

— Не ты ли прижег ей язык вонючими спичками?..

— Мне ж было приказано, господин плутовер...

— Не умеешь чисто работать — получай по заслугам, бык!

— Ой-ой-ой! Мне больно!.. Не бейте меня... Я ведь не она...

— Её больше нет. Ну и достанется нам обоим. Марш отсюда!..

«Опускается земля... Падает. Куда? До каких пор? И сколько может извергаться этот бесконечный вулкан? Кого пожирает этот огонь?

Меня предал Иорга. Костры. Галилей, Брупо... Это история. Костры в кодрах Бессарабии. Хорошо, когда горят враги».

— Послушай меня, девушка... Я доктор. И не враг тебе. Не будь глупой. Ты живешь один только раз. Еще бьется сердце. И дышит теплом грудь. Какая у тебя красивая грудь!.. Шприц!

— Готово, господин доктор.

«Комаринные укусы. Пустяки. А что, если попробовать поднять веки?.. Невозможно!

¹ Плутонер — старшина (румын.).

Мертвое молчание. Земля все еще рушится? Она свихнулась, земля...

Падают враги. И снова снег, и те же июньские парашюты. Как хорошо!

— Кто-то плачет... По ком?

И снег, снег...»

Вероника знала, что она красива. Ей это говорило зеркало. По правде, она обращалась к нему редко, лишь в тех случаях, когда нужно было кое-как усмирить свои черные непокорные волосы. Но отражение в зеркале — только плоская копия продолговатого лица Вероники, заслоненного неуловимой улыбкой, блуждающей в глазах, на щеках и на губах. Что красивые девушки неумны — это старая ложь, придуманная уродами...

Веронике нравился немецкий язык. Еще с тех пор, когда она посещала лицей в Крайове... Как бессарабка из-под Оргеева оказалась в этом олтенском городе? Просто ее родители, мелкие коммерсанты, переселились сюда в поисках более счастливой доли.

Время от времени Вероника наезжала к своим родственникам. И теперь ее считали здесь румынкой.

Получив аттестат зрелости, дочка Думитру Сырбу отправилась в «маленький Париж», как самонадеянно называл себя Бухарест. Поступила на факультет литературы и философии.

Немецкий преподавал строгий и педантичный профессор Мындреску. Вероника слушала еще и лекции француза Дебрена. Усердная студентка, она всегда получала высшие баллы. Отличалась не только в учебе. Ее выделяли самые переборчивые сердцееды из числа будущих светил науки. Но Вероника ни на кого не обращала внимания. Многие недоумевали: «Странная девушка! Почему-то не хочет замуж... Кокетничает?»

...Она жила, как все. Проходили годы, непохожие друг на друга. Вдруг — взрыв. Война выбила из наезженной колеи. И надо же такому случиться — тогда-то Вероника встретила своего суженого. Он был сильный, а люди о нем говорили: «Красивый парень, жизнерадостный». Его звали Михаил, как ее любимого поэта. И от этого он был еще дороже. Часто, оставаясь одна и воображая их мирное будущее, Вероника пыталась складывать стихи в подражание Эминеску.

Календарь войны пестрел багряными днями. Но это не были праздники. На листках как будто алела пролитая кровь.

Получив задание подпольного райкома, Вероника постриглась под мальчика, вырядилась в эсэсовскую форму, отправилась в лес, где строился большой склад гитлеровского оружия.

Здесь работало много бессарабских парней. Новая надзирательница была сурова. Ее хвалило начальство из специального отряда СС, особенно Паулюс, который, слава богу, не был родственником известного немецкого фельдмаршала, взятого в плен под Сталинградом.

— Откуда у тебя такая ненависть к бессарабцам? — спросил как-то Паулюс.

— Я жила среди этих скотов, но по матери я немка. Да, настоящая немка. Пюр-сан.

— В таком случае, почему ты так холодна со мной? Ведь я ариец и красивый мужчина...

— У меня есть жених. Он храбрый офицер, герой. Бьет русских на фронте.

Теперь Вероника всегда ходила с длинной, как арапник, плетью. Время от времени она поднимала ее и опускала на плечи рабочих. В маленьких красивых руках надзирательницы удары бичом — это было не так уж больно. Но бессарабцы ненавидели ее. Ненавидели смертельно. «Сволочь, немка, курва», — называли они ее между собой.

Со склада все чаще пропадало оружие. Подозрение пало на нескольких рабочих и инженеров-бессарабцев. Их долго пытали. Вероника присутствовала на допросе.

— Эти бандиты способны на всякое, — сказала она палачам.

А когда девушка дотащилась поздним вечером до своей каморки и задвинула за собой засов, долго сидела, окаменев, в старом кресле. Смотрела в пустоту и видела лица бессарабцев. И вспоминала родного отца, который умер в нищете накануне войны.

Много раз сидела Вероника вот так, неподвижно, до самой зари. И снова Паулюс говорил:

— Опять исчезло три пулемета. Пришлось расстрелять столько же бессарабцев...

— Справедливое решение! — восклицала Вероника. — Не зря я твержу, что эти бандиты способны на всякое...

Пулеметы попали к партизанам. Мозолистые руки молдаванина издавна быстро приучались к любой работе на земле. Теперь они косили оккупантов, как это делали дружинники Стефана Великого, гайдуки вроде Кодряну и Урсу.

Бывало, идет Вероника с плеткой вдоль рядов бессарабцев-рабочих, толкающих тяжелые металлические тачки, доверху груженные камнем. Сквозь грохот можно расслышать приглушенные ругательства: «Продажная немка... извалялась со всеми гитлеровцами... Ну, ничего, придет ее час...»

«Дорогие мои,— шепчет про себя девушка,— если бы вы знали, как я вас люблю!.. Так нужно, понимаете, нужно. Вечером умерло трое наших, а фашистов перебито три сотни. Что делать дальше? Научите меня!»

Если бы могла Вероника умереть вместо любого из расстрелянных!..

Лес безмятежно спал. Вероника ступала по сухим опавшим листьям. Какая странная судьба! Раньше они укрывали своей тенью, радовали людей. Теперь те же люди топчут их ногами...

Холодный ветер раскачивал вековые дубы и клены. Что ты качаешься, лес?.. А тебе, поэт, доброй ночи... Я люблю своего Михаила...

— Ты что здесь делаешь?

Девушка едва успела спрятать в карман тяжелые ключи от склада, мило улыбнулась.

— Что делаю, дорогой Паулюс? У меня разболелась голова, вот я и решила немного прогуляться...

— Я слышал дребезжание телеги.

— Верно, верно, сейчас подъедет партизанская кэруца...¹

— Мне нравится, когда ты шутишь.

— Как не шутить, когда ключи от склада в моем кармане...

— Не поцелую — умру на месте...

— Доставь такое удовольствие...

Порыв ветра подхватил звук выстрела и унес. Куда унес?..

Вот и подвода. А в ней — два партизана. Сколько раз принимали они оружие из нежных рук Вероники! Следы

¹ Кэруца — подвода (румын.).

ее хрупких пальцев чуть ли не на каждом партизанском курке...

И вдруг навалились фашисты. Схватка была короткой.

И когда мертвая девушка распласталась на цементе в камере пыток, ее изуродованные каленым железом руки были как лист виноградный. Желтый лист на поздней осенней лозе...

И сегодня поздняя осень. Я опустился на колени перед небольшим аккуратным холмиком. Смотрю на простой дубовый крест. Его поставили здесь по просьбе матери моей героини. А Вероника, как и все мы, совсем не во-рила в бога.

1967

ДЕНЬ И ДВЕ НОЧИ

И сказал Староиванников:

— Безногий душой крыльев не придумает...

И еще:

— Многие ловили ртом ворон, по не было случая, чтобы кто-нибудь поймал...

В октябре сорок первого в инженерной части, строившей оборонительные рубежи под Тихоновой Пустынью, мне дали командировку в Москву с дополнительным поручением купить патефон с пластинками, несколько настольных часов и керосиновые лампы. Теперь я искренно удивляюсь нелепости этого заказа — до того ли было-то! — но в то время и командировку и заказ принял с легкой душой. На Тихоновой Пустыни поработали немецкие бомбардировщики, на части станционных путей рельсы были скручены взрывами, тяжело чадил горевший элеватор. Пассажирские поезда не ходили, и я отправился в свою недолгую поездку, не зная, что уже никогда не возвращусь назад, на обычном товарняке, который то, словно угорелый, лязгая и раскачиваясь, летел на всех парах среди роняющих листву перелесков, то — дорогу бомбили — подолгу зря пытел на полустанках или на середине перегона. Соответственно я высажился я на станции Москва-Товарная и оттуда по ночным путям и путанице стрелок, так ни разу и не наткнувшись на проверку документов, — тоже удивительное дело! — прибыл в град столичный.

А затем все завертелось и закружилось: командировка кончилась, закупки были произведены, но началось наступление немцев, часть моя исчезла, словно щепка в водовороте, и я безрезультатно, насидевшись предварительно в коридорах, пытался разузнать о ней по военным учреждениям, где самым стереотипным ответом было: «Но до вас!» Два раза досезжал я до Малоярославца, вел рас-

спросы в штабе какой-то армии — связаться помог поэт Сергей Фиксин, работавший в военной газете, — но все было напрасно. Я потерялся, как мальчишка в давке. И вдобавок меня угнетала тяжелая поклажа — слава богу, что хоть керосиновых ламп не нашлось! — и особенно часы с недельным заводом, которые продавщица, перед тем как завернуть, закрутила на полную катушку. Тик-так, тик-так! — слышал я в узкой и сырой щели перед тем, как рвануть бомбам; тик-так, тик-так! — раздавалось над ухом, когда я прятал голову за пакетом во время пулеметного обстрела. Но, странное дело, когда часы наконец остановились, я вместо облегчения испытал щемящую тоску; молчание их усиливало чувство одиночества и напоминало о том, сколько времени уже прошло зря.

В таком состоянии подавленности сидел я перед вечером хмурого дня на Киевском вокзале, где за неимением другого пристанища обычно и ночевал. Пахло здесь шинельным сукном, оружейным маслом, кожей, табаком. Здание вокзала, похожее на огромную сумеречную пещеру, сбивало голоса, шорох шагов, покашливанье, звяканье металла в один комок глуховатого гула, который не помещался в ушах. Пол шевелился от спящих вповалку солдат, солдаты толпились у газетных киосков и касс, выходили на улицу и входили — казалось, за стенами ворочается серый океан, вкатывающий и отсасывающий одну и ту же волну. Пожилой солдат напротив меня, сняв пилотку и пригладив волосы на лысеющей голове, шевелил черными усами, обнажая два металлических зуба, говорил соседу, молодому парню со сдобными щеками:

- Ка-ак жажнет бомба сюда, а? Месиво будет.
- Чего бомба? — беспокоился молодой.
- Если бы, говорю, кинули.
- Так самолетов-то нет, тревогу не объявляли.
- Нет. Я к примеру.
- Стращаешь, значит...

Слова от них разбитной худенький солдат в расхристанной шинелишке толкал в плечо посапывающего соседа.

- Слушай, пиво дают... Слышь?
- Какое такое пиво?
- Обыкновенное. По кружечке перед дорогой, а?
- Где дают?
- Да тут за углом.

- Денег нету у меня.
- Да есть деньги, слышь? У меня. Ведь когда его, этого пива, потом и выпьешь.
- А место?
- Чего место?
- Вопрутся. Соображаешь?
- Так мы сидоры оставим и присмотреть попросим. Слышь? Пошли...

Постепенно, убаюканный гулом и голосами, я стал дремать и очнулся оттого, что между мной и соседом мягко, но настойчиво втискивался кто-то в кожаном реглане. Я подвинулся сколько мог, даже не посмотрев, мне было все равно.

Лишь спустя некоторое время в поле моего зрения попала нога, обутая в стоптанный, но с пиком начищенный сапог, — она то осторожно выдвигалась в узкую щель между двумя спящими солдатами, то подгибалась и пряталась.

— И сказал Староиванников, — слышался молодой басок, — лучше всего носить свою ногу в кармане соседа, но так как никто этого не разрешает, приходится аккуратно наворачивать портянки. Болит.

— Почему? — машинально спросил я.

— Натер, когда драпал...

Бегство на фронте мне в это время казалось крайне предосудительным, и я с некоторым недоумением посмотрел на моего нового соседа, который так неприпужденно и без нужды признавался в этом. Он был в потертом кожаном реглане, недавно побрит, серые глаза смотрели внимательно и добродушно. Лицо с запавшими щеками, в отходящем загаре, подбородок мягкий, не из волевых, нос с мясистыми крыльями, чуть вздернутый. Словом, обличье из тех, что восемьсот на тысячу.

— Хотите сказать, когда отступали? — попытался уточнить я.

— Нет, драпал. Вам еще не приходилось?

— Не приходилось. И далеко вы это самое... драпали?

— Из Бельских лесов.

— Где это?

— Где-то близко от Белоруссии... Бабы кормили хлебкой меня, деды снабжали самосадам. А вы тут поезда ждете или смысл жизни ищете?

— При чем тут смысл жизни?

— Да так... Теперь многие увлекаются — быть, не быть?

— А вы?

— Какой из Васьки принц Датский! Я часть ищу. Потеряла меня и в бюро находок не заявила.

Рассказал: он лейтенант, авиатехник, был оставлен при поврежденном бомбардировщике в этих самых Бельских лесах — караулить, пока не вытащат. Досиделся до прорыва немецких танков, которые расстреляли бомбардировщик вторично, а сам он, поняв, что попал в окружение, «ширнул по лесам» и больше четырех недель, сторопая больших дорог, пробирался к своим. Три дня назад заехал в Кубинку, жены нет, дом вверх дном и щепки по дороге — разбомбили. Выяснилось, однако, что жена жива, уехала. В Москве толку никакого не добился, эвакуации да пертурбации, но один майор сказал, что видел два дня назад какой-то аэродром неподалеку от железной дороги Наро-Фоминск — Малоярославец.

— Махнем вместе, а? — предложил он, когда я, в свою очередь, изложил ему мою одиссею. — Как говорил Староиванников, лучше молчать вдвоем, чем петь одному.

— Что это за древний мудрец такой — Староиванников?

— Он не древний, он комиссар нашей части. Худущий такой майор, но толковый, присловья любит. Вот и пошло: «Как говорил Староиванников». Так махнем? Главное — хоть за что-нибудь зацепиться, тогда и весь клубок легче разматывать.

— Я уже наездился. От свертка на руках кровавые мозоли.

— А что в нем?

Я рассказал.

— Сверток придется оставить, — решил он. — Музыки нам теперь и без патефона хватит.

— Казенное имущество.

— Из личных средств возместите. Водятся еще? А нету — потом отработаете. За маневренность в такую пору никакая цена не дорога.

Идея совместной поездки мне понравилась, но я все же решил посоветоваться с комендантом вокзала: нельзя ли сдать сверток под расписку? В делах войны и обстановке я в то время разбирался столько же, сколько щепка в причинах и уровне половодья, которое ее несет. Комен-

дант долго смотрел на меня шальными от бессонницы глазами, буркнул:

— Придумаете, веревку с пожара тащить... Положите ваш сверток в коридоре, караулить там некому, но и красть тоже. От нас теперь одна дорога — на фронт!

Я опасливо посмотрел в коридор. Народ тут толкался круглосуточно, да что же делать? Сунул сверток на подоконник, мысленно попрощался с ним и вышел. Теперь я так же, как и мой попутчик, был только с легким, почти ничего не весившим вещмешком: пара белья, бритва, мыло, носовые платки и две булки.

— А теперь пошли харчиться,— предложил лейтенант. — На пустой желудок и мысль не бежит...

Ресторан при вокзале, не тот, что теперь, а со стороны нынешних пригородных касс, работал исправно и даже не был переполнен. Мы послали, выпили бутылку вина, за которым перешли на «ты»,— водки, между прочим, не подавали,— и в сумерки сели в поезд. На вагонах еще было написано «Москва — Киев», но в пути нас предупредили, что дальше Наро-Фоминска движения уже нет. Там мы и вылезли; попросившись на постой в первый попавшийся дом, переночевали на полу. Затемно попили чаю, прикончив две мои булки, а на рассвете, сизом, в голубоватой изморози, нашли в районе вокзала полуторку, шофер которой, заведя ручкой мотор, собирался залезть в кабину. Машина шла на Чубуково, оттуда — в район Боровска.

— Подходит,— сказал попутчик.

— В кузове у меня взрывчатка и детонаторы,— предупредил шофер.

— И что?

— Бомба попадет — кинет выше облаков.

— Попадет — и так кинет. Сам-то едешь?

— У меня служба.

— И нам не на курорт.

— Мне же веселее,— засмеялся шофер. — О чем речь?

Солнце, казалось, продиралось с трудом сквозь морозный туман, но, продравшись, быстро превратило иней в росу, весело блестящую на буром жнивье и рыжих листьях березок. Дорога тоже заискрилась бликами, но стала скользкой, пришлось сбавлять скорость. Между тем с каждой минутой все настойчивее, все злее гудели в небе немецкие самолеты. Ни до этого, ни после во время войны не видел я столько авиации в одном месте — каза-

лось, кто-то раздражил гигантский рой ос и они, с желтизной по брюшку, с алюминиевым мерцанием крыльев, назойливо и упорно жалили, кусали осеннюю землю, пытавшуюся перед тем, как отойти ко сну, погреться на солнышке. Кое-где поднялись дымы пожаров, и самый большой — в районе Наро-Фоминска: там, вспомнили мы, стояли на путях цистерны с нефтью.

Лишь часам к одиннадцати или двенадцати выбрались мы на шоссе у Чубукова, и картина, открывшаяся нам, могла только повергнуть в уныние: по самому шоссе и по обочинам, всячески прижимаясь к дубнякам и березнякам, двигались сплошным потоком отступающие войска — артиллерия, машины, обозы, кухни, пехота. Со стороны казалось, что потоком этим никто не управляет, а хлещет он сам, как вода из пробитой плотины, и ни остановить его, ни направить в разумное русло невозможно.

— Драпают,— еще стесняясь этого слова и ужасаясь его смыслу, сказал я. — Драпают, а мы что же?

— Кто драпает? — неожиданно суховато переспросил лейтенант.

— Да вот...

— Нет, это отход по приказу. Когда драпают — там каждый по себе, куда глаза глядят. А глаза глядят, но не видят...

На выезде из Чубукова нас остановил капитан погранслужбы, спросил, куда едем, потребовал документы. Сказал:

— Зря едете. И груз тащите зря.

— Фронт далеко?

— Он движется, фронт. Смотреть умеете?

— Мы все же поедem,— сказал попутчик.

— Мое дело — предостеречь.

— Не тому дождя бояться, кто в воде по горло, а? Поехали...

По правде сказать, я уже стал раскаиваться: и покупок лишился, и часть найти в таких условиях невозможно, и, по всей вероятности, аэродром, который якобы должен паходиться впереди, не более как химера. Уж на это и моей сообразительности хватало! Однако говорить попутчику я ничего не стал: чувствовал, что переубедить его не удастся, а остаться одному, примкнув к отступающим, лишиться товарища и последней, хотя бы мифической, цели было даже страшнее, чем двигаться вперед. К тому же спокойная езда почти тут же и кончилась, и

началась цепь происшествий, в которых я никакой самостоятельной роли не играл, был бычком на веревочке.

Началось с того, что на подъезде к мостику через небольшую речонку мы заметили, как идущую на подъем дорогу словно бы разметают гигантской метлой — машины притирались на обочине, люди, как листья под ветром, сыпались в кюветы. Шофер наш первым оценил щекотливость положения — машина находилась у моста, самого соблазнительного места для бомбежки, — кинулся в лес направо. Мы с попутчиком, побросав вещмешки, побежали налево — я по лугу, поближе к речке, он подальше, по низкорослому дубняку. Самолетов мы все еще не видели, они шли низко над лесом, но по гулу можно было догадываться, что их много. Мы уже отбежали шагов на пятьдесят, когда раздался грустный, какой-то по-осеннему тоскливый свист фугасок. Не рассудочно, а почти кожей, физически ощутив близость бомб, я ткнулся в побуревшую травку, почувствовал влажный запах торфа и трефоли, закрыл щеки брезентовыми зелеными рукавицами с двумя пальцами на каждой. Затем страшный удар сотряс почву, краем глаза я успел увидеть, как земля разверзлась и стала дыбом, вверху что-то лязгнуло и закрипело, — или это мне показалось? — меня стукнуло в спину, и я с последней мыслью, что всему конец, провалился в коричневую болотную тьму...

Очнулся я лежащим на спине, в глаза больно ударил синий свет из облачных промоин. Самолеты — а их было около тридцати — еще были поблизости, а мой попутчик отирал мне лицо куском бинта. Увидев, что я открыл глаза и пришел в себя, сказал:

— Совсем тебя торфом завалило и сучьями закидало, только сапоги и торчали паружу. Ран нет, я уже просмотрел, но малость приконтузило.

— Странно, что не убило.

— Ничего странного — все по закону. Бомбы упали почти рядом и кучно, но глубоко ушли в торф. И оказался ты в мертвой зоне для осколков. — Забеспокоился: — Кто-то бежал почти рядом справа от меня, а не видно.

— Может, ушел?

— Нет, я присматривался. Вставай-ка, и пошли искать.

В голове у меня шумело, как на праздничном базаре, издали звонил какой-то колокол, по жить было можно. Приходилось только отирать платком кровь, сочившуюся

из рта и носа, — она была неприятно солоновата и щекотала. В редких молодых дубках мы нашли сержанта, совсем молоденького, с пушком на щеках. Пилотка свалилась, ветер лоспился по русому ежику головы, веще-шок с какими-то мазутными пятнами сбился на шею. Он был без сознания, подплывал кровью — крупный осколок попал в бок чуть выше бедра.

— Не успел вовремя лечь, — вздохнул попутчик. — Я займусь им, а ты беги искать врача, там недалеко от нас я санитарную машину видел. Поскорее!

Санитарную машину я нашел, но в ней никого не было: самолеты все еще обстреливали дорогу. Стал кричать. Из березняка, стряхивая с гимнастерки желтые и красноватые листья, вышли майор медицинской службы — высокий, с длинной жилистой шеей и при всем том с брюшком, уверенно круглившимся под плохо затянутым ремнем, и сестра, невысокая, круглолицая и румяная — яблоко с глазами.

— Возьмите носилки и несите его сюда, — приказал врач, узнав о раненом. — Так быстрее будет.

— Может, и я схожу? — спросила сестра.

— Иди.

— Меня зовут Тоня, — представилась она, едва мы перешли кювет. — Доктор у нас толковый, вы не беспокойтесь. Только пистолета не носит, а без пистолета какой военный, верно? Вот вы при пистолете — другое дело.

— Давно на фронте?

— А мы на фронте и не были, только приехали — отступить приказали.

Раненого, который так и не приходил в сознание, втроем донесли до машины.

— Шок, — сказал майор. — И ранение серьезное. Тоня, йод, шприц, бицты — живо! А вы, лейтенанты, можете двигаться.

— Будет жить сержант?

— Прооперируем — увидим. Топайте по своим делам, привет!..

Над дорогой снова шли самолеты. Лицо сестры побелело от страха, черные глаза округлились, как две залитые тушью буквы «о», но хлопоты она свои продолжала. Врач уже не обращал внимания ни на трескотню, ни на нас. Мы пошли к машине, а когда примостились снова в кузове на взрывчатке, попутчик сказал:

— Вовремя нос в землю сунул, иначе имел бы дырки в голове. Практику где проходил?

— В Смоленске, в Ярцеве и в других местах.

— Опыт — вещь! Вот наберемся — попищит у нас фриц!

— Думаешь, и отступаем потому, что опыта не хватает?

— Ну, не совсем так просто, но отчасти и так. Немцы до нас кое-чему в Европе научились, а у нас и кадровики практиковались только на мишенях. Полигонная психология! Такому всегда кажется, что каждая пуля и снаряд в него летят, каждый самолет его персонально ищет. На себе испытал. А привыкнет — и не так страшен черт. Немца живого вблизи видел?

— Парашютиста пленного. По улице вели. С кипрским загаром, сволочь, картинно шел, как на параде.

— Вера у них в себя есть! А в общем, ничего особенного, тоже на двух ногах ходят. И пуля хорошо берет. Когда я от самолета в лес чесал, за мной один покатился — из десанта на танке. Шустрый на ногу. Мундирчик расстегнут, грудь рыжей волосней наружу. Из автомата посыпает, кричит что-то. Я чувствую — вес у меня побольше, не уйти. Прилег за сосной, подождав малость, и стукнул из пистолета. Результат обыкновенный — свалился. Другие же гнаться перестали, поостереглись... Ничего, при выдержке бить можно!

— Это, наверное, приятное сознание — самому убить врага.

— Ничего, между прочим, интересного. Не о нем, а о себе думаешь. А он как наваждение, если бы можно было крестом откреститься, и стрелять не стоило бы. Но, как говорил Староиванников, на погосте живучи, всех не переплачешь.

— Это не Староиванников, а Лесков.

— Разве? Тоже умен был!..

За железнодорожным переездом, где нас накоротке еще раз пробомбили, свернули вправо и мимо какого-то заводика, по дороге в густой еще зелени ракит попали прямо на край полевого аэродрома. Шофер на полуторке сразу же уехал, мы с лейтенантом остались. Отсюда, с края аэродрома, открывалось много любопытного. Левее, к Верес, и правее, к Боровску, далеко, насколько хватал глаз, лежали темно-серые пятна полей среди рощиц, словно бы выполненных из старой бронзы — желтизна

с прозеленью. Среди них в разных местах поднимались одинокие столбы дыма — горели села. Еще дальше, у края горизонта, все было затянуто пылью, копотью, дымом, будто на землю всей тяжестью осела грозовая туча, в которую пикировали самолеты — и наши и немецкие. Оттуда шел ровный, напористый гул.

Примечательно выглядел сам аэродром. Над ним не спеша, переваливаясь с крыла на крыло, барражировала «рама», не обращая никакого внимания на очереди одинокого пулемета, проходили по шесть и девять штук немецкие бомбардировщики. Но зениток наших не было. Не было и ни одного самолета в воздухе. Зато слева, у края аэродрома, около выключенного шлагбаумами куска дороги, стояло около полутора десятков новейших истребителей.

— Интереснейшие дела! — присвистнул мой попутчик. — Что у них тут, выставка? Действовать так могут только сумасшедшие или предатели.

Справа, в тени берез, шла погрузка имущества на грузовики. Попутчик мой раздраженно спросил, где начальник, и младший лейтенант молча показал на землянку невдалеке. Возле нее на обрубке бревна сидел, подперев щеку рукой, подполковник, осунувшийся, небритый, словно изжаренный. Сначала он даже не заметил нас, не ответил на приветствие, и только когда попутчик мой заговорил, спрашивая о своей части, порывисто, словно спросонья, вскочил:

— А? Лейтенанты... Чем могу служить? Летать умеете?

— Нет.

— А нет — так и катитесь своей дорогой.

— Я авиатехник, — спокойно, хотя глаза его сузились и стали злыми, сказал мой попутчик. — И хотел бы узнать, почему не летаете. Истребители неисправны?

— Исправны, — отходя от раздражения, махнул рукой подполковник. — Исправны. Только летать некому. Вчера так на земле накрыли нас, что... — Он горько покачал головой. — Запросил вот, жду. Гадай, когда летчики придут. Может, с минуты на минуту, а может... А немец прет... И обратите внимание: эти по аэродрому прямо брюхом ползают, но самолеты не бомбят и не обстреливают. Почему?

— Ясно почему, — кивнул попутчик. — Ясно... Может, по земле их увести? Грузовиками?

— Смотри, умник какой, без тебя не додумались! На чем уводить? Грузовики где?

— Вон с передовой сколько идет.

— Ага, идет — на четверть километра левее. Мы тут в свое время дорогу отключили, шоферы проложили прямую через поле, и теперь их завернуть сюда никакой силой невозможно. Из некла вырываются, на поле немецкие самолеты гокают, смерть в глазах пляшет, вот и прут, ни на что не глядя. Я сам пробовал завернуть, пистолетом грозил — не помогает...

Попросив разрешения, попутчик тоже присел на бревно, смотрел отрешенными глазами, как суется носом в березняки «рама», выскивает, вынюхивает. Над Вереей и Боровском все так же стояла туча дыма и копоти, а с юга натягивало другую, натуральную, с аспидными отсветами.

— А давайте еще раз попробуем, — вдруг сказал он. — У нас сапер есть, — кивнул он на меня.

— Сапер не пограничник. Пограничника бы.

— Сапер лучше. Заминируем ту дорогу и сделаем объезд сюда.

— А мины где.

— Мин и не надо. Покопаем малость, поставим указатели объезда. Конечно, многие шоферы в Финляндии поднаторели, проверить могут. Но раз тут сапер, какой разговор...

Подполковник оставался все таким же мрачным, но, как утопающий за соломинку, ухватился за эту идею, поскольку придумать что-либо еще было уже невозможно. Пока младший лейтенант с двумя солдатами тесал колышки и дощечки, мы пошли искать столовую. В дощатом бараке, где она помещалась, между скамейками и столами гулял ветер, все двери и окна настежь. Повар, с лицом, побитым оспой, суеился и покрикивал, закапчивая погрузку своего снаряжения на две подводы.

— Что, закрылись по случаю учета? — подмигнул повару попутчик, не встретив решительно никакого сочувствия. — А мы вот двое суток не ели.

— Ничего есту, — буркнул повар. — И немцы рядом.

— Где?

— Выйдите да поглядите.

— Выходили и глядели. Вместе с бригадой.

— Какой бригадой?

— С танковой. С ней и пришли. Только кухню у нас разбомбило, а мы два дня форсированным маршем шли.

— И много тапков?

— Говорю, бригада. Хватит, чтобы фрицам по морде дать.

— Холодной наваги есть малость. Ну, хлеб еще. И селедка.

— С детства обожаю рыбу! — засмеялся попутчик.

Миски уже были уложены, забрали продукты в газету и положи на досках возле барака. Затем, погрузив на подводу колышки и дощечки, затесанные в виде стрелок, с надписью «Мины. Объезд влево», вместе с подполковником и младшим лейтенантом отправились к перекрестку, где полевая дорога через ракиновые кущи выскакивала на шоссе. Покопали для проформы лопатой, улучив момент, когда машин не было, подполковник с младшим лейтенантом стали вбивать указатели вдоль посадки в направлении аэродрома. Мы остались на месте, с тревогой ожидая, что получится из нашей затеи. Первый же шофер, чумазый, без пилотки, с разъяренными глазами, дал бой.

— Вредительство! Своих на минах подрывать!

— Осторожней на поворотах — не вредительство, а приказ.

— Тут и мин нету... Липа!

— Воп сапер стоит, спроси.

— Все равно не верю.

— Тогда езжай. В раю встретимся!

— И поеду.

— Давай!

— И поеду...

— Тьфу...

Давно известно, что ввязаться в словопрепия, когда надо действовать, — значит, потерять энергию решимости. С шофером случилось то же самое: сначала он осторожно, на первой скорости придвигался к свежим бугоркам земли, изображавшим мины, потом притормозил, потом сдал назад и, развернувшись, набирая скорость, покатыл к аэродрому, продолжая ругаться и кричать, что это обман и ничего более, что вот немцы бьют и свои ноги ломают. А там уткнулся в шлагбаум и минут десять спустя проехал мимо нас уже по другую сторону посадки, с истребителем на буксире. Следующий шофер был уже покладистее, поскольку видел свежий след, а пятый завернул

уже автоматически, не глядя на нас и почти не сбавляя скорости. К тому же начался довольно плотный дождь, немецкой авиации не было, и страсти поулеглись. Через час с небольшим, когда небо уже начинало светлеть, хотя и оставалось дымным, последний истребитель исчез в зелени посадки. Подполковник, довольный, подобревший, поблагодарил нас:

— Спасибо, ребята, что помогли! Пойдемте к нам в часть, а?

— Грехи не пускают,— засмеялся попутчик. — А вот если бы вы приказали нам по сто граммов выдать, не отказались бы.

— Нету. Честное слово! Могу белого хлеба дать по буханке на брата и колбасы. Нуждаетесь?

— Мы уже продаттестаты наполовину изжевали.

— Ну и лады...

Теперь оставалась только машина с инструментами и продуктами. На ней уезжал начальник склада. Пригласил ехать и нас с тем доводом, что немцы, судя по всему, недалеко и больше искать нам нечего. Но в этот момент подошла еще одна машина с другого конца аэродрома. Начальник склада спросил, почему нет второй.

— Шофера воп ранило, в кузове лежит.

— А машина?

— Так что машина? Стоит.

— Не побило?

— Исправная.

— Почему не поджег?

— Немцы рядом, человека спасти надо было...

— Ну, что делать,— пожал плечами начальник склада. — Поехали. Садитесь, лейтенанты.

— Знаете что? — оживился попутчик. — Мы с вами не поедem, а заберем ту машину. Я вожу.

— Успеете?

— Может, что и успеем. В крайнем случае в лес уйдем.

— Смотрите сами... Там в землянке, между прочим, медицинское имущество и спирт. Учтите!..

Грузовики ушли, мы остались одни. Я, откровенно сказать, побаивался и опасался, что это уже авантюра. Но за сутки, проведенные вместе, я, по-видимому, уже попал под влияние попутчика, настроился на его психологический тонус, да к тому же, видя, как просто выходит он из затруднений, как здраво ко всему относится, проникся

к нему доверием. Поэтому я не стал его отговаривать — да и поздно было, — а попытался приглушить беспокойство шуткой:

— Интересно, что сказал бы в этом случае Староиванников?

— Это мы решим потом, сейчас давай поспешать...

До лесного мыса на противоположном краю аэродрома, где находилась машина и медицинская землянка, было около километра или чуть побольше. Ориентиром служила небольшая деревянная вышка на опушке. Мы закурили и двинулись, не догадавшись даже положить продукты в вещмешки, колбасу сунули в карманы, буханки взяли под мышки. Но не прошли мы и двухсот метров, как низко над пустым аэродромом начала кружить «рама». Сделав первый заход, летчик заметил, что истребители, столь картинно торчавшие у дороги, исчезли. Сначала он, по-видимому, решил, что их в целях маскировки закатали в березовый лесок, пропесся над ним, едва не задевая колесами за вершины, но, убедившись, что и здесь их нет, пришел в неописуемую ярость. И так как, кроме нас двоих, хорошо заметных на зеленой дернине, никого уже не было, вся эта ярость обрушилась на нас. Заложив крутой вираж, он заходил на покатое пикирование, со спины, включал на полную мощность пулеметы и рубил, рубил, рубил. Временами казалось, что он просто раздавит нас своим желтым брюхом. Мы прижимались к земле, плюхались в канавки — следы, продавленные колесами шасси, — холодная, грязная вода текла за воротник, пули, как град, пузырили и брызгали вокруг. Как только самолет оказывался впереди, мы вставали и бежали что есть силы, а потом все начиналось сначала. Это была какая-то страшная, нелепая, выматывающая душу игра со смертью, причем мы были совершенно беспомощны: не из пистолетов же было стрелять по самолету, который, как мы знали, имел еще и бронезащиту! Но и летчик, видя, что мы вседвигаемся невредимые, совсем осатапел и, закладывая сумасшедшие виражи, бил уже не только вслед, но и в лоб, и справа и слева, так что голова шла кругом и трудно становилось следить за ним.

Наконец, измученные, грязные, мы заползли под скирду клевера. Аэродром, собственно, уже кончился, по до ближайшего кустарника оставалось еще метров сто. Пробежать их у меня уже не хватало сил.

— Больше не могу,— сказал я. — Крышка...

— Ничего,— утешил, тяжело дыша, попутчик. — Время еще есть.

— Время — для чего?

— Для... Да для всего!

Однако летчик не хотел отпустить нас так запросто. Со второго или третьего захода он поджег скирду. Я в юности немало повозился со стогами сена и был удивлен, что, обычно волгшее, сено так быстро загорелось. Но факт оставался фактом — на макушке скирды заплясали язычки огня, густой, пышный белый дым, сваленный ровным ветром, потек в ложину и закрыл ее. И это оказалось нашим спасением: немец в самолете, исходя из собственной логики, решил, очевидно, что мы попытаемся вырваться к лесу под прикрытием этого дыма, и строчил по ложине, а мы, перебравшись на наветренную сторону скирды и прикрывшись сеном, отдыхали. Наконец «рама» ушла, может быть, расстреляв боезапас. Мы совершили еще один рывок, выскочили на песчаный, редко опушенный низкорослым кустарником бугор, увидели машину и землянку. И услышали совсем недалеко за всхолмленным полем пулеметную и автоматную трескотню, редкую, но совершенно отчетливую.

— Вот теперь надо спешить,— сказал попутчик, хотя движения его ничуть не стали торопливее, словно и сказано это было только для меня. — Лезь в землянку, танцы что можно, а я заведу полуторку...

Признаться, я впервые в жизни попал в такую переделку и, мучаясь стыдом, все же немного праздновал труса. Немцы совсем рядом, а я должен в землянке, ничего не видя, возиться с каким-то барахлом, целая гора которого не стоит все же одной человеческой жизни! И, размышляя так, не мог предложить попутчику плюнуть на все и удирать, пока еще есть время. Не мог, язык не повернулся бы... Бутыль спирта стояла справа у самого входа, чуть подалее ящик с медикаментами, а на грубом столе из сосновых досок — бокс с инструментами. Я захватил оплетенную, ведра на два, если не больше, бутыль и выволок ее, полагая, что тем можно и кончить. И пикнулся на вопросительный взгляд попутчика.

— Еще есть что-нибудь?

— Есть...

— Так давай... Чего же ты?

Так перекочевали в машину и ящик, и инструменты, и еще какой-то бидон.

— Все?

— Брезент еще валяется... Только он большой и тяжелый, один не вытащу.

— Ничего, давай прихватим... Мотор уже работает, чего тут!..

Когда вытащили брезент, сырой и грязный, и прилаживали кусок его под бутылку, чтобы не побилась при тряске, я посмотрел в поле и обмер — метрах в четырехстах поднялась из-за холма и двигалась по раскисшей пашне немецкая пехота. Мокрые, очевидно, измученные за день, сутулясь и медленно загребая ногами, солдаты плелись негустой изломанной цепью. И оттого, что шли они молча и без выстрелов, серо-зеленые, как выходцы с того света — они и появились внезапно, — мне стало по-настоящему страшно. Я указал на них попутчику. Он кивнул мне на кабину, сел за руль:

— Теперь и правда пора!

Через минуту полуторка на полном газу выскочила из кустарника и, разбрызгивая воду в колеях, понеслась к противоположному краю аэродрома, к шоссе. Как видно, наши войска отошли куда-то в лес, и для немцев наше появление было полной неожиданностью, поэтому они не сразу стали стрелять, а когда застучали пулеметы, мы были уже далеко. К тому же начинало смеркаться, в насыщенный водой воздух словно подсыпали пепла. Благополучно вскочили мы в раковую посадку, проехали мимо дощатой столовой, которая беззвучно зевала в сумерки открытыми дверями и окнами, миновали стык шоссе с полевой дорогой, где недавно дурили головы шоферам. Еще не все опасения отошли — вдруг немцы пересекли дорогу впереди? — но настроение поднималось и поднималось. Теперь я уже не вспоминал, что подозревал попутчика в склонности к авантюризму, а считал, что одержали мы с ним хоть маленькую, но победу.

Когда отъехали километра на полтора, попутчик мой, не глуша мотора, выжал сцепление и остановил машину. И тут я с удивлением заметил, что руки у него дрожали. Неужели и он волновался?

— Надо выпить, — предложил он. — После грязевых ванн и для нервной переналадки.

— У тебя-то первые стальные.

— Да? Цыпленок тоже хочет жить.

— Выпить-то выпить, а где закуска?

Закуски не было. Хлеб и колбаса остались в колесах на аэродроме: растеряли, пока удирали от «рамы».

— Ладно, — сказал он, — выпьем без ничего. Придется привыкать. Как сказал бы Староиванников, война только начинается!

— Если не считать того, что немцы под Москвой!

— Ну и что? Они-то думают, что для них кончается, а для нас — начинается. Податься назад некуда, а загубить Советскую власть — позор до сотого колена. Больше ей, гибели мы, нигде на свете голову поднять не дадут — и учены, и не то в армиях оружие. Значит, братья нам надо как следует. Я так думаю...

Ополоснув кружки, прибавил:

— У нас под Угличем длинно окают, но крепко говорят!

Налил мне полкружки спирта, разбавил мутноватой водой из кювета и приказал выпить до дна.

— От контузии. И лезь под брезент, спи.

— А ты?

— Мне много нельзя, ехать надо...

Очнулся я около полуночи, но, когда посмотрел вокруг, подумал, что сплю. Вокруг все было бело, крупными хлопьями валил снег. Откуда он взялся? Наша полуторка медленно двигалась через белый лес в плотной колонне грузовиков справа от дороги, а слева шла артиллерия. За стволы орудий, нереально длинные и толстые, побеленные сверху, цеплялись тоже побеленные, со снегом на пилотках и на плечах, смертельно усталые пехотинцы — так было легче идти. А со стороны казалось, что они тащат орудия на себе. И полное молчание, ни одного слова, только тяжелое, с хрипом дыхание и временами падсадный кашель. Глаза отказывались верить тому, что видели...

Остаток ночи мы провели в какой-то избе. Хозяйка всю ночь топила печь, в больших чугунах кипятила чай и варила картошку для проезжающих. Картошкой в мундире поужинали и мы. В белом мутном поле валил снег и редко ухали бомбы — немецкие летчики бросали их вслепую, «играли на первах».

Утром мой попутчик все на той же самой полуторке довез меня до вокзала в Подольске. Простились крепким рукопожатием. Он повел машину в авиачасть, которой она принадлежала, а я уехал в Москву и утром на сле-

дующий день, завернув по совету попутчика в одно военное учреждение, получил новое назначение — на инженерные курсы в Кострому. Перед отъездом выпало несколько часов свободного времени, и я, не тщаь никакими иллюзиями, а из чистого любопытства заглянул на Киевский вокзал. Сверток с патефоном и часами покрылся легким слоем пыли, но стоял на том же самом месте, где я его оставил.

Не знаю, как сложилась бы моя судьба на войне, но начавшаяся на скамейке вокзала история привела к тому, что я стал капитаном и комбатом. Впрочем, и не это главное. Встреча с лейтенантом, хотя не породила она ни долгой дружбы, ни взаимно доверчивых излияний — для этого и времени не было, — крепко засела в моей памяти; его спокойствие в критических обстоятельствах, здоровая рассудительность и находчивость многому научили и пригодились не раз в тяжелых обстоятельствах, особенно летом сорок второго, во время боев на Дону.

И теперь мне часто думается — именно такие люди выигрывают войны и тащат на плечах мир.

Как сказал Староиванников:

— Безногий душой крыльев не придумает...

Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.

Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.

Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло.

В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной више, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар.

Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.

Простыни слепящего оранжевого огня вылетали из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.

Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от непрерывных атак с моря и с воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера и десантные шлюпки шпыряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его.

Но время шло.

Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреб пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила.

— Ну? — сказал наконец комиссар.

— Вот тебе и пу, — сказал командир. — Все.

— Тогда пиши.

Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки».

Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скрепленную сургучной печатью, — подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.

— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.

В дверь постучали.

— Войдите.

Дежурный в глянцевином плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндр.

— Вымпел?

— Точно.

— Кем сброшен?

Немецким истребителем.

Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и пахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, зелеными ализариновыми чернилами было написано следующее:

«Господин командантий советски форт и батареи. Вы есть окружени зовсех старон. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта зовместно командантий и комадиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха — там сдаваться. Ровно в 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть выставить бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь.

*Командир немецки десант контр-адмирал
фон Эвершарп».*

Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:

— Хорошо. Идите.

Дежурный вышел.

— Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво.

— Да, — сказал комиссар.

— Они его увидят, — сказал командир, надевая шпиль. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтобы они его непременно заметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?

— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его спить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.

Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.

Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полоску с лозунгом.

Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иглами и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.

Незадолго до рассвета флаг размером, по крайней мере, в шесть простынь был готов.

Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу паверх.

На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку.

— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой, слоновой кости, рукояткой кинжала.

— Так точно. Они сдаются.

— Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех паверх.

Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький грапитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита.

Над силуэтом рыбацкого поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиге. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.

— Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.

Он отдал приказ.

Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров выросал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.

В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.

— Черт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп, — солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.

Ветер гнал крупную рябь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место. Они врывались в узкие, извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.

Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова поднимаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.

Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен. Его лицо подергивали судорги.

— Вперед, мальчики, вперед!

И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочки одежды и человеческого тела. Скалы напоздали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудками обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.

Морщина землетрясения прошла по острову.

— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы!

В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все — кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это по

был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя.

Фон Эвершарп отдал новое приказание.

Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбацкого поселка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.

И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирпичи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирпиче.

Но силы были слишком неравны.

Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирпичи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.

Над ними развевался громадный красный флаг, спитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был спит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, масок, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.

На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед, к победе.

СЕМЬЯ ОХОТНИКА КАНДЫМА

I

Вечером после работы Акчагуль сидела во дворе на пороге дома и задумчиво посматривала вдаль, за ворота.

Осеппее ноябрьское солнце уже спускалось к горизонту и ярко освещало ее красное платье, суровое бронзовое лицо и черные волосы с легкой проседью.

В ворота торопливо вошел Гуджук, бородатый увалень с простодушным, глуповатым лицом, родной брат покойного мужа Акчагуль. Одной рукой он нервно теребил бороденку, а в другой держал исписанные листки бумаги. Увидев Акчагуль, он вдруг остановился, вскинул брови и растерянно заморгал своими бараньими глазами. Бумажки в руке его задрожали.

Акчагуль взглянула на него и насторожилась.

— Ты что, Гуджук? — спросила она голосом, полным тревоги.

— Да ничего... Так я... — пробормотал Гуджук, сел рядом с ней, поднял щепку и стал ковырять землю. Он был чем-то очень взволнован и даже подавлен.

— Что случилось, Гуджук? Что это у тебя за бумажки? — с нарастающей тревогой допытывалась Акчагуль.

Гуджук посмотрел на нее все так же растерянно и перешептывая кашлянул.

— Это, видишь ли... Уж если такая судьба, ничего не поделаешь, надо терпеть... Мурад...

— Мурад?..

Акчагуль порывисто схватила Гуджука за руку и отшатнулась. Глаза ее стали огромными и загорелись сухим блеском.

— Да, он убит, Акчагуль, — дрогнувшим голосом сказал Гуджук и приложил левую руку ко лбу в знак горькой печали.

Акчагуль пскрикнула, закрыла глаза и побледнела так, как будто у нее навсегда перехватило дыхание. Гуджук испугался, жалко заморгал глазами. Ему показалось, что она умерла. Но Акчагуль порывисто встала, вскинула руки, закрыла лицо, и по всему аулу прогесся ее произительный, стоцунций вопль.

— Ой!.. Ой, горе мне!.. Ой, Мурад!.. Что теперь делать?

В соседних дворах, услышав этот горестный вопль, люди вздрогнули, насторожились, а потом со всех ног пустились на крики Акчагуль. На бегу они взволнованно спрашивали:

— Что такое?.. Что случилось?.. Почему она так кричит?

А несчастная Акчагуль, припав головой к косяку двери, рыдала, сотрясаясь всем телом, и со стоном причитала:

— Ой, Мурад!.. Мой единственный!.. Угас свет моих глаз! Угас узор моего ковра!.. Ой, дитя мое!..

Гуджук утирал кулаком слезы и показывал подбегавшим к нему два исписанных листка бумаги.

Скоро весь двор набился народом. Женщины, припав друг к другу, громко рыдали. Мужчины тоже горестно причитали, плакали. Вся эта нестрая толпа была в великом смятенье. Причитанья и вопли слились в сплошной гул.

И вот в это время во двор въехал на осле рослый, широкоплечий старик с белой бородой. Как бы не замечая ни смятенья, ни воплей, спокойно и молча, покачиваясь на осле, он проехал сквозь толпу в конец двора.

Осел подошел к колу, вбитому в землю возле забора, к которому его обычно привязывали, и остановился.

Старик слез с осла и спял с него пятипудовый мешок с пшеницей. Кто-то из толпы бросился помогать ему. Но он не нуждался еще ни в чьей помощи. Он легко вскинул мешок на спину, так же спокойно и молча прошел сквозь толпу, почтительно расступившуюся перед ним, к дому и сбросил мешок за дверь. Потом он встал на пороге во весь свой могучий рост, посмотрел вокруг и строго спросил:

— Что за крик? Чего вы вопите?

Женщины притихли, притихли и мужчины, которые, по обычаю, громко причитали: «Ой, брат мой!» Старик неторопливо выпул из-за кушака кисет, взял чилим, стоявший у стены возле двери, набил его табаком. Черноголазый семилетний мальчуган проворно схватил железные

щипцы, притащил из дома уголек и положил в чилим па табак.

Старик, булькая чилимом, затянулся раза два, окутался дымом, посмотрел на заплаканных мужчин и женщин, на обессиленную от горя, все еще громко рыдавшую Акчагуль, сдвинул брови и еще раз затянулся густым дымом. Потом спросил спокойно:

— Ну, что случилось?

— Отец, вот письмо... про Мурада пишут,— сказал Гуджук, утирая рукавом глаза, и протянул старику бумажки.

Старик посмотрел на бумажки, не беря их в руки, и спросил:

— Ну и что же пишут про Мурада?

— Убили его... Пишут его товарищи. Вот они и адрес свой написали... Только одни пишут, что он убит, а другие, что он без вести пропал. Не знаю, что и думать?..

Брови старика чуть дрогнули. Он затянулся, пыхнул дымом и сказал:

— Ну, спасибо им, что написали! Стало быть, любили Мурада... А чего же кричать? Чего вы ревете-то, как стадо быков?

И он обвел толпу суровым взглядом.

Все молчали. Гуджук раскрыл было рот, хотел что-то сказать, но, заметив, как сурово старик шевельнул седыми бровями, закрыл рот ладонью и только кашлянул.

— Чего вы ревете? К чему это все, я вас спрашиваю? — продолжал старик. — Разве плакали ваши деды и прадеды, когда иранские шахи пытались захватить нашу землю? Они сажались на копей и рубили врагов. С одними саблями они бросались против каджарских ружей и медных пушек. А вы плачете... И какая же война бывает без жертв? Разве мы на свадьбу посылали наших внуков и детей? Не кричать, не рыдать надо, а гордиться, что Мурад наш был настоящим джигитом. Не будь он таким, о нем не писали бы товарищи. А ну, Гуджук, дай-ка мне эти письма!

И он взял помятые листки, бережно сложил их и сунул за пазуху.

Старик этот был известный во всей округе охотник Кацдым, который прожил уже восемьдесят лет и не потерял еще ни силы ума своего, ни силы рук, ни меткости глаза. А скорбная пестрая толпа, стоявшая перед ним во

дворе, состояла из его детей, внуков и правнуков, из их жен и матерей.

Старый Кандым был главой этой огромной дружной семьи. У него было восемь сыновей. Но самый старший из них умер, когда жена его Акчагуль, кроме двух дочерей, родила ему еще сына Мурада и когда он только что обзавелся своей кибиткой.

Акчагуль с помощью Кандыма и всей семьи вырастила и воспитала детей. Ее все уважали, и все любили ее сына Мурада. В огромной семье Кандыма Мурад как бы заменял своего покойного отца, на которого он был очень похож.

Сахат, второй сын Кандыма, лет пятидесяти, перешителю потоптался на месте и сказал:

— Это верно, отец. Ты хорошо говоришь... Но если Мурад умер, мы хотим спросить тебя: не справить ли поминки?

— Эх, вы!.. — горько усмехнулся старик. — Не мужчины вы — заячьи души! Не о том ты думаешь и говоришь, Сахат. Уж если мы сами не способны воевать, не можем заменить Мурада, то надо думать о том, как бы помочь тем, кто бьет врага за нас. Да, и скорее помочь! А не тратить попусту время на молитвы. Вот и ты, Гуджук, торчишь тут и не думаешь о том, что ты мог бы быть хорошим солдатом. Ты еще молод, тебе всего-то сорок первый год. Еще недавно ты так скоблил бритвой свой подбородок, что он был красный, как морковь, ты хотел казаться моложе своих младших братьев. А как началась война, ты забросил бритву, моешь бороду кислым молоком, чтоб она скорее выросла до колен. Напрасно стараешься. Все женщины знают, что ты еще мальчишка... Эх, ты, я на твоём месте не бегал бы по дворам, не пугал бы людей, а был бы там, на фронте.

Жена Гуджука со страхом посмотрела на старика и, волнуясь, сказала:

— Да какой же он мальчишка? Он уже седесть пачал... И больной он. Какой же он солдат?

Кандым усмехнулся.

— У лгуна, — говорит пословица, — свидетель всегда рядом. Так и у тебя, Гуджук. Если не годен для фронта, так ты хоть здесь-то не ленись, работай, не жалей своих сил... Ну, идите по домам и не кричите попусту.

Последние слова Кандыма прозвучали как приказ. Мужчины и женщины, опустив голову, побрели за ворота.

У порога осталась одна убитая горем Акчагуль.

Кандым ласково опустил руку на ее плечо.

— Не надо так убиваться, Акчагуль. Я не меньше тебя люблю Мурада, а не плачу. Ведь, может быть, и горе-то наше напрасное. Слышала, что пишут товарищи? Одип — «убит», другой — «без вести пропал». Они и сами хорошо не знают. А Мурад-то еще, может быть, и жив. Еще, может быть, и обрадует нас, вернется к нам... Я утром пастрелял красавчиков. Они тут, за дверью, в углу лежат. Так ты приготовь их, поешь и ложись спать. А я скоро приду...

Он заложил руки за спину, вышел за ворота и не спеша пошел по улице к школе.

Солнце садилось. Восточный ветерок тревожно шелестел желтой листвою в садах. Откуда-то тянуло дымом и печеным хлебом.

Запыленные, усталые колхозники и колхозницы с кетмеями на плечах возвращались с полей. Они торопливо шли, но не домой, а к школе — послушать последние известия. Такой уж обычай установился в ауле почти с первого же дня войны.

Когда Кандым подошел к школе, перед ним на голой земле уже сидели и лежали, подложив папахи под локоть, колхозники. Над входом в школу чернел рупор громкоговорителя. Передача уже началась, и все сосредоточенно слушали.

Кандым остановился и тоже стал внимательно слушать. Последние известия были перадоcтнмe. Диктор густым, глубоким голосом говорил о том, что наши войска на Южном фронте, изматывая силы противника, отошли на северо-восток, а на Центральном фронте оставили город и два населенных пункта.

Колхозники слушали, покачивали головой.

И только лицо старого Кандыма было сурово, по спокойно, и вся его могучая фигура была неподвижна, как скала. Он до конца выслушал последние известия, повернулся и пошел домой. Скоро его догнали колхозники.

— Слышал, Кандым-ага? — спросил кривоносый старик. — Как же это так получается? У нас вон какая страна, сколько войска, а все «оставили» да «оставили»...

— Ну, оставили, и что же? Думаешь, оставили город, так и войне конец, все потеряли? Ты вот не охотник и не

знаешь того, что скорее всего погибает тот зверь, который лезет на тебя напролом. Такой зверь хоть и злой, а дурак, сам своей смерти ищет.

Когда Кандым вошел к себе во двор, коровы и бараны сразу же потянулись к нему. Осел тоже повернул к нему голову и заревел. И Кандым понял, что Акчагуль несколько не успокоилась. Она забыла покормить скотицу. Этого никогда еще не бывало.

— Ах, бедняга!.. — покачал он головой и пошел под навес за сеном.

II

Пропели петухи, проревели ослы. Полпочь давно уж прошла, а Акчагуль лежала на кошке и, заложив руки под голову, сухими, воспаленными глазами смотрела в черную почву. Она слышала ровное дыхание Кандыма, крепко спавшего в соседней комнате, и думала: «Ах, Кандым, если б ты был помоложе! Ты отомстил бы за нашего Мурада. Но кровь в тебе уже остыла, и сердце твое не горит, как мос. Что же делать? Что же делать? Если бы я была мужчиной, хотя бы таким, как Гуджук, я бы знала, что делать».

И вдруг она вспомнила старинную легенду, которую рассказывала ей когда-то вечером у горящего очага бабушка. Акчагуль тогда было всего девять лет, а бабушка была седая, беззубая, морщинистая, но глаза ее горели, как у разгневанной девушки, когда она рассказывала эту легенду.

В давние-давние времена в одном ауле жила вдова. У нее был сын-красавец и красавица дочка.

Однажды иранский хан во время набега на аул отрубил голову сыну этой вдовы, сунул голову в хурджип и увез с собой.

У вдовы не было ни отца, ни братьев, никого, кто мог бы отомстить за сына. Тогда она сама решила отрубить голову ненавистному хану. Она надела халат, папаху покойного мужа, взяла саблю, села на коня, подъехала к крепости хана и стала ждать — не выедет ли хан из крепости.

Каждый раз, когда она возвращалась домой, она привозила в хурджине голову. Так прошло пятьдесят дней,

и она привезла в аул пятьдесят голов, но среди них не было головы цепавистного хана.

Наконец, отчаявшись, она позвала самого храброго, самого красивого юношу в ауле, да и во всей Туркмении, и сказала ему:

— Я отдам тебе свою белую кибитку, полную добра, отдам дочь-красавицу, все отдам и сама тебе буду служить до самой смерти, только отомсти ты хапу, погаси огонь моего сердца!

Юноша согласился и вместе со своими друзьями днем и ночью караулил вокруг ханской крепости. И вот однажды он и его друзья увидели, как из крепости, окруженный свитой, выехал на охоту единственный сын хана. Юноши выскочили из засады, стражу зарубили, а ханского сына связали и привезли в аул к вдове.

Вдова вскрикнула от радости, схватила саблю, одним взмахом отрубила голову ханскому сыну и сказала:

— Отец твой отнял у меня единственного сына, сжег мое сердце, пусть теперь он сам узнает, что это за огонь!

Потом повернулась к юноше и сказала ему:

— Бери все мое добро, бери дочь мою, бери все что хочешь.

Но юноша ничего не взял. Он уехал с друзьями и увез с собою только честь свою и добрую славу.

Акчагуль живо вспомнила этот бабушкин рассказ и долго думала о суровой, сильной духом и все-таки такой же несчастной вдове, как сама Акчагуль.

Ах, если бы она вот так же могла отомстить за Мурада! Но вдова-то, должно быть, была молодой, а она, Акчагуль, уже старуха. И времена-то не те уж. Что она может сделать теперь с одной саблей? Нет, об этом и думать смешно! Но ведь и вдова все-таки не смогла сама поймать ханского сына, а позвала на помощь юношу и хотела ему отдать все свое добро.

«Так вот и мне надо отдать все свое добро тем, кто отомстит за Мурада, кто бьет сейчас фашистов на фронте».

И она стала перебирать в памяти, что она может отдать, чем она может помочь фронту.

Это ее успокоило, и она наконец задремала перед самым рассветом.

На рассвете проснулся Капдым и сейчас же вспомнил про Мурада. Он встал, оделся, распахнул дверь во двор, закурил чилим и сел у порога.

В ауле все еще спали. Было тихо, и только из соседнего двора доносился чей-то храп.

Кандым нахмурился и проворчал:

— Храпят и не думают о тех, кто сидит в окопах. Работать падо!.. Вот я еще скажу на собрании...

III

Через три дня, вечером Седьмого ноября, весь парод аула собрался возле правления колхоза на торжественное собрание, посвященное двадцать четвертой годовщине Октября. Мужчины и женщины припарядились, и у всех были необычные, взволнованные лица.

За столом, покрытым красным сукном, на самом почетном месте в центре сидел старый Кандым, окруженный членами правления и бригадирами. Рядом с ним с одной стороны сидел председатель колхоза, а с другой стоял представитель райкома с развернутой газетой в руках и читал ее.

С горящими глазами колхозники подталкивали друг друга и шептали:

— Слышали? Слышали, сколько фашистов-то побито!..

— А Гитлер-то — не лев, а котепок, говорят. Слышали?

Когда представитель райкома кончил читать, долго еще не смолкали громкие рукоплескания и радостный гул.

Кандым неторопливо хлопал большими узловатыми ладонями и ласково посматривал на повеселевший народ. Но вот он встал, величественно обвел глазами толпу, и сразу все смолкло. Наступила такая тишина, что слышен был легкий шелест листвы на карагаче возле дороги.

— Спасибо нашим джигитам, молодым героям. Они защищают нас, проливают кровь на фронте. А мы?.. Что мы проливаем?.. — Кандым горько усмехнулся и взглянул на Гуджука. — Слезы... И сладко спим, пока солнце не встанет и не припечет как следует. Не стыдно вам? Или вы не туркмены? Если не кровь, так хоть пот проливайте. Разве не слышали, как говорили по радио: каждая коробочка хлопка, каждое зернышко пшеницы — смертельный удар по врагу. Я старик, но у меня есть еще ноги и руки, меткий глаз, есть старое ружье, и я могу еще дать

государству тонны мяса, могу бить волков, которые режут наших баранов. А вы чем можете помочь государству?

— Могу! — вдруг выкрикнула из толпы Акчагуль и так смутилась, что хотела уже спрятаться за спину соседа.

— Говори, говори, Акчагуль! — крикнул председатель колхоза. Он порывисто встал, отыскивая глазами в пестрой толпе Акчагуль. — Чем ты можешь помочь?

— Не знаю, годится ли это?.. — робко сказала Акчагуль. — Я хотела спросить вас... У меня есть золотые, серебряные украшения... Зачем они мне?

— Верно, верно, Акчагуль! — сказал старый Кандым, с ласковой улыбкой поглядывая на Акчагуль. — Старая пословица говорит: «Если нет у меня родины, пусть солнце и луна не всходят». А о побрякушках и думать нечего. Отдай, Акчагуль! Они пригодятся государству.

— И мы, и мы отдадим! — со всех сторон закричали женщины.

Представитель райкома поблагодарил Акчагуль за ее хорошее предложение, потом всех женщин за то, что они единодушно поддержали Акчагуль, и рассказал, какую огромную роль сыграли такие приношения во времена Минина и Пожарского.

Кандым внимательно выслушал его и сказал:

— Это так, но все-таки самое главное — надо всем хорошо работать. На побрякушки все-таки не купишь того, что мы можем дать своим трудом.

— Ты перехватил мои мысли, Кандым-ата, — засмелся представитель райкома. — Как раз об этом-то я и хотел сказать. Спасибо, что пожалел мой язык!

Скоро собрание кончилось, но взволнованный народ не расходился. К столу подошла почерневшая, осунувшаяся Акчагуль, вынула из мешочка свои драгоценности и спросила председателя колхоза:

— Кому это? Тебе, что ль, отдать?

Кандым посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула радость и вместе с тем глубокая грусть.

IV

Акчагуль не щадила себя. Она вставала до рассвета, готовила обед и сейчас же вместе с народом уходила в поле и работала до поздней ночи с особым усердием.

Во время работы она непрерывно думала о Мураде, а почками ей спились сны опять-таки про бедного Мурада.

Она худела с каждым днем и стала как-то не в меру молчаливой. Кандым посматривал на нее и тоже молчал. Он чувствовал, что невестке не очень-то хотелось разговаривать с ним.

А в сердце ее и в самом деле росло к нему какое-то недоброе чувство. Она сердилась на него за то, что он даже поминки не позволил устроить.

— Упрямый старик! — проснувшись как-то поутру, сердито заворчала она. — Да как же это не помянуть единственного сына, да еще такого, как Мурад? Ведь это грех. Оттого-то и снятся мне такие страшные сны. И чего я послушалась старика? Нет, нет, надо устроить поминки!

И она сейчас же выбрала одного барапа, привязала у забора и дала ему сена. Пусть покормится, жирнее будет к пятнице. А в пятницу она зарежет его и позовет народ поминать Мурада.

Кандым видел это, но ни слова не сказал ей, только подумал: «Пусть делает что хочет, лишь бы успокоилась, бедняга».

В четверг поздно вечером, вернувшись с работы, Акчагуль сидела у порога и мыла казан, готовила посуду для завтрашних поминок. Кандым стоял тут же во дворе под навесом и чистил ружье. Они молчали и хмуро думали каждый о своем.

Вдруг на улице за высоким глинобитным забором слышался торопливый топот множества ног и радостный голос Гуджука:

— Акчагуль! Акчагуль!

Акчагуль побледнела, выронила из рук казан и схватилась за сердце.

В ворота, несуклюже раскачиваясь, вбежал Гуджук, а за ним почти вся семья старого Кандыма.

— Он жив! Он жив, Акчагуль!.. Он сам прислал письмо! — кричал Гуджук, размахивая бумажкой.

Акчагуль пошатнулась и упала, потеряла сознание.

— Эх, дурак! — крикнул с досадой Кандым и бросился к Акчагуль.

А Гуджук вскинул брови, встал как пень и заморгал глазами.

— Да разве можно так, — бранил его Кандым, — когда горе выжгло сердце у нее? А вы чего стоите? — крик-

нул он на женщин, прибежавших вслед за Гуджуком. — Полейте ей на голову и поднимите ее!

Женщины засуетились возле Акчагуль. Акчагуль скоро пришла в себя, обвела всех взглядом и спросила слабым голосом:

— Он жив? Жив? Это правда?

И улыбнулась.

Скоро Акчагуль совсем оправилась и попросила прочитать письмо сына.

Кандым взял письмо у Гуджука и дал своему тринадцатилетнему внуку:

— Прочти нам, Ораз!

Ораз расправил смятый лист бумаги и стал бойко читать. Добрая половина письма состояла из обычных приветов — матери, деду Кандыму и многочисленным родственникам. Когда Ораз прочитал имя Гуджука, Гуджук заморгал глазами, поднял палец и, склонив голову набок, сказал:

— О!.. Слышите, слышите! Он и меня не забыл!

— Как забудешь такого мудреца, — добродушно усмехнулся Кандым.

И вся эта огромная семья, собравшаяся во дворе, захохотала.

Дальше Мурад подробно описывал, как он во время разведки в тылу у немцев ночью был тяжело ранен и, вероятно, умер бы, если бы на него не набрела случайно одна добрая старушка. С помощью снохи и внука она перенесла его к себе в хату, ухаживала за ним, как родная мать, и он выздоровел. Потом она отвела его в лес к партизанам.

В партизанском отряде он пробыл почти полгода, бил фашистов, взрывал мосты и пускал под откос их эшелоны с горючим и боеприпасами. Потом подошла Красная Армия, оттеснила немцев на запад, и он снова попал в свою часть, которая готовится сейчас к дальнейшему наступлению.

Мурад писал обо всем этом с обычной своей жизнерадостностью, но без малейшего хвастовства, как о чем-то самом повседневном. Это понравилось Кандыму, и он сказал:

— Радуйся, Акчагуль! Наш Мурад — пастоящий человек, честный воин!.. А не пишет он, — спросил он Ораза, — где живет эта старушка? Надо бы ей написать.

Ораз повернул письмо боком и прочитал приписку Мурада, Мурад просил мать, деда и всех родственников написать его второй матери Матрене Денисовне Роговой и поблагодарить ее за то, что она спасла ему жизнь.

— Да продлятся дни ее! — пропикновенно, от всего сердца прошептала Акчагуль.

— Да продлятся дни ее! — порывистым ветром пронеслось по толпе.

Ораз сложил письмо и отдал Акчагуль.

— Ну вот, я так и знал, что он жив! — вдруг ожился Гуджук. — У меня все время чесался левый глаз, и я сказал жене: «Вот увидишь, это к радости».

— И я тебе говорила, помнишь, Акчагуль? — бойко затараторила жена Гуджука. — Я видела во сне Мурада, как он ехал на буланой лошади. А лошадь видеть — это ко лжи. Вот и вышло — все это вранье, будто он помер. Я так тебе и сказала тогда: «Не горюй и жди теперь хороших известий». Все по-моему вышло.

Кандым закурил чилим и сказал с добродушной усмешкой:

— Все-то вы умными стали, все-то вы знаете...

— Гуджук, — сказала Акчагуль, посмотрев на барана, приготовленного на поминки Мурада, — когда вернется Мурад, мы устроим большой праздник, а сейчас на радости устроим пока маленький. Завтра некогда будет пировать, работать надо. Зарежь-ка его сейчас, а я разведу огонь.

— Ну что ж! Я мигом сдеру с него шкуру! — обрадовался Гуджук.

Кандым засмеялся.

— Наконец-то, Гуджук, пашлось тебе дело по душе и по силам. Когда ты уписываешь жирную каурму с горячим хлебом, ты настоящий богатырь. Никто лучше тебя этого не делает!

Гуджук не обиделся. Не до того ему было. Он уже стоял в углу двора и обдирал барана.

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

НА ОДНОЙ ИЗ КРЫШ

Первый снаряд упал посреди мостовой и забрызгал улицу кусками штукатурки и битым стеклом. Второй снаряд оторвал у большого дома угол крыши, и водосточный желоб повис над улицей, как поспк гигантского чайника. На панели осталась лежать женщина с кошелкой, из разбившейся бутылки растекалось соевое молоко, розовея от крови.

Аня стояла на чердаке у слухового окна — здесь был ее пост. Разрывы снарядов приближались. Каждый казался последним, но следующий был еще ближе и оглушительней. Дом содрогался как человек, и серая пыль слетала со стропил.

Аня отошла в глубь чердака и прижалась к шершавой стенке дымохода. Дымоход казался надежной защитой после оголенности слухового окна. Разрывы перенеслись куда-то подальше, в конец улицы. «Пронесло!» — подумала Аня. И тотчас вспыхнула тревога за сына, и захотелось сбежать вниз, к телефону, слушать в трубке голос сестры: «Все в порядке, а у тебя?» Но уйти нельзя было. Тогда она представила себе свою подружку Наташу. Наташа стоит внизу, у ворот, ей, паверно, еще страшней.

Дом снова содрогнулся так, что дымоход закачался, к грохочущему звуку взрыва примешался тонкий звон лопающихся стекол. Аня обхватила руками дымоход и сказала себе: «Ничего, пронесло!» Но тут ее оторвало от дымохода и швырнуло в дальний угол чердака. Она не услышала разрыва и не поняла, что случилось. Приоткрыв глаза, поглядела вокруг, но в сплошной туче пыли ничего не увидела, и ей показалось, что она умерла или умирает, что смертный туман застилает ей глаза, и сквозь смертный туман голосок сына говорит: «Ма-ма! ту-ту! ту-ту!» — и по знающие страха глаза радуются жизни, где каждый звук пленителен, даже звук артиллерийского разрыва...

По улице промчался мотоцикл, его треск был таким привычным и будничным, что Аня усомнилась в своей смерти и снова раскрыла глаза. Пыль оседала, в рваную

дыру крыши падали паискось солнечные лучи, золотя порхающие пылинки. «Я жива,— поняла Аня и осторожно расправила руку, потом другую,— и руки целы... — Она слегка подвигала подогнувшейся ногой, потом выпрямила ее, подвигала второй. — И ноги целы!» Она медленно приподнялась, села и во все стороны покачала корпусом, сперва очень осторожно, потом уверенней. «Я совсем невредима!» — поняла она, вскочила и почувствовала сильную боль от ушиба в бедре и в плече, но боль обрадовала, как признак несомненной жизни. И тут же чувство ответственности вернулось к ней: надо осмотреться, нет ли пожара или обвала.

Пожара не было, но снаряд пробил перекрытие и разорвался где-то в верхнем этаже. Она побежала туда, на бегу соображая, в какую квартиру он мог угодить. Искать не пришлось — дверь квартиры была сорвана спетель и будто положена аккуратными руками на перила лестницы. В передней путь перегородивала упавшая массивная вешалка. В комнате вся мебель была сдвинута с мест и всякая лампа под зеленым абажуром раскачивалась из угла в угол, как маятник. Среди обломков валялась раскрытая книга. Диван красного дерева был перевернут ножками вверх.

Аня подняла книгу. Шадерло де Лакло, «Опасные связи». Поискала, куда бы положить книгу в этом разгроме. Положила на столик, присыпанный штукатуркой. На стене увидела телефон. Было странно думать, что телефон может быть невредим, когда все кругом разрушено. Она пробралась к нему по хрустящему стеклу и набрала нужный номер. Голос сестры откликнулся раздраженно:

— Ну, что?

— Как у вас там, Катюша? Что дети?

— Укладываюсь, и ничто не влезает,— сказала сестра утомленно,— а дети мешают как могут. Витя! — крикнула она в сторону. — Сейчас же оставь мясорубку, придержи палец! Вот видишь, я укладываю, а они хватают. Приходи скорей, ради бога!

— У вас тихо?

— Приблизительно. А у тебя?

— Все в порядке,— сказала Аня и повесила трубку. Захотелось сесть и прикрыть глаза. Не видеть ни дыры в потолке, ни обломков на полу.

— Кто там есть, поговорились вы или нет? — раздался неизвестно откуда сердитый голос.

Аня испуганно оглянулась — в комнате никого не было.

— Потяните на себя, — снова сказал тот же голос. Диван зашевелился, как живой.

Аня потянула диван за ножки, он повалился боком на грудку мусора. Незнакомый человек — морщинистый, серый, с близорукими глазами — приподнялся и пошарил вокруг себя неуверенной рукой.

— Целы? — спросила Аня и села рядом, прямо на мусор и битое стекло.

— Чего же вы сидите? — проворчал человек. — Поищите лучше мое пенсне.

Они вдвоем шарили по полу, щепками разметая колкий мусор. Когда Аня наткнулась на поблескивающую дужку пенсне, она была уверена, что стекла разбиты вдребезги и старик будет в отчаянии. Но стекла были целешеньки. Старик протер их рукавом, наценил пенсне на переносицу и победно улыбнулся Ане.

— Между прочим, — сказал он, — убить и разбить гораздо трудней, чем кажется.

— Почему?

— А потому что и люди и вещи сопротивляются.

Он внимательно, с недоброй усмешкой оглядел свое разрушенное жилье. Казалось, он и не расстроен, и не подавлен — разбили, ну и что? И вдруг его лицо исказил ужас.

— Виолончель!

Аня проследила его взгляд. В углу, придавленный рухнувшей картиной в золоченой раме, виднелся продолговатый футляр. Аня хотела подняться, но почему-то совсем не было сил. Она доползла до угла и бережно высвободила футляр. Старик схватил его, и Аня увидела завернутый в шелковый платок инструмент, покоящийся на шелковой подушке. Дрожащие руки старика выпули виолончель и стали ощупывать ее легкими прикосновениями. Потом старик осторожно провел по струнам смычком, и морщинистое лицо его разгладилось, за стеклами пенсне блеснул добрый свет, серые губы зашевелились, словно подбадривая робкие звуки. Старик подкрутил колышки, снова несколько раз провел смычком, прислушиваясь, и вдруг из его окрепших движений смычком сложилась мелодия, похожая на отчаянную, томительную жалобу. Оттого, что эту жалобу выпевал мужественный низкий голос виолончели, она прямо-таки рвала душу.

— Что же вы плачете? — ворчливо спросил старик, обрывая мелодию.

- Это что?
- Элегия Масспэ.
- Пожалуйста, играйте,— сказала Аня, не стыдясь своих слез. — У меня сынишка уезжает.
- А вы?
- Что я? — огрызнулась Аня. — Работаю.
- Сколько лет сынишке?
- Три.
- А муж где?
- На Южном фронте...

Он покачал головой и тихонько тронул струны смычком, но играть не стал. Аня сидела рядом с ним на полу, в разгромленной компате, и никак не могла подняться. Она только сейчас до конца поверила, что завтрашний день будет действительно завтра.

— По совести... устали? — неожиданно спросил виолончелист и спрятал инструмент в футляр.

— Вообще? Устала.

— И все-таки не хотите уезжать?

— При чем здесь хотенье?

Она встала и подала руку старику. У него снова было прежнее морщинистое серое лицо, и видно было, что он очень слаб.

— Я сейчас приведу людей. Убрать, навесить дверь. Вы здесь остаетесь жить?

— Здесь.

С уборкой они провозились долго — три женщины из группы самозащиты. Особенно трудно было приладить дверь — взрывом перекосило дверную коробку. С дырой в потолке пришлось смириться.

— Вентиляция,— хмыкнул старик. — Это вы дежурите на чердаке?

— И я.

— Бегайте там потише, по пылите.

Когда она уходила, он крикнул вслед:

— Будет очень тошно, покричите в дырку. Поиграю.

Она добралась домой поздно. Сестра все еще не уложила вещи, в десятый раз перебирала их и заново решала, что оставить и что брать с собой, но самое необходимое все-таки не влезало. Дети уже лежали в кроватках, еще от двери Аня услышала голосок Вити: «Ма-ма!» Она подошла, хотела наклониться и поцеловать сына, но поняла, что опять заплачет, и просто присела рядом. Витюшка

смотрел сонно, очень ласково. И этого сонного взгляда она уже никогда не увидит... долго-долго не увидит... Он позовет: «Ма-ма!» — а ее не будет... Кто приласкает его, кто позаботится о нем? Катя? Но у нее своих двое, и разве ей придет в голову вот так посидеть рядом и поймать последнюю блаженную в предвкушении сна улыбку?..

Она вскочила и принялась помогать сестре. Когда они вместе, нажимая коленями на мешок, затягивали ремни, Аня наконец выговорила:

— Береги его, Кать...

— Ну а как ты думаешь? — ответила сестра. Немного спустя она сказала: — И чего ты себя мучаешь? Поедем, Аня! Ты же поработала. Поедем.

— Знаешь, — сердито сказала Аня, — на фронте люди тоже повоевали.

— Но у тебя ребенок!

— А у них?

Потом она вдруг закричала на сестру:

— Ну что ты делаешь? Кто же так укладывает посуду? — вывернула все содержимое чемодана на пол и переложила по-своему.

Утром она побежала на работу, чтобы отпроситься у начальника провожать сына. Начальник внимательно посмотрел на нее и сказал:

— А если вам все-таки поехать с ним, товарищ Аня? Работать и там можно. На заводе, в колхозе. Право, а?

Аня зажмурилась и отчетливо представила себе раздольные поля незнакомого колхоза, а за полями холмы в темных шапках северных хвойных лесов и солнечное небо с пушистыми облаками, из которых не вынырнет ни один фашистский самолет. Возможная жизнь возникла перед нею так ярко, что она почти ощутила здоровую ломоту во всем теле от непривычной работы в поле и радость глубокого спокойного сна в ничем не потревоженной тишине тыловой почвы, когда слышно только мерное дыхание сынишки рядом.

— А вы? — резко сказала она. — Почему бы вам не поработать где-нибудь в колхозе, а не в Ленинграде?

Дома ее захватила суета предотъездных сборов. Потом она несла на руках сына, он был тяжел и вертелся во все стороны, ее руки дрожали от усталости, по тяжести была сладка ей. Только бы подольше длился этот путь! У вокзала ей повстречался Вася Пирогов, паренек из заводского отряда всеобуча, она учила его приемам штыкового боя.

Он удивленно воскликнул: «Уезжаете?» — а она ответила: «Протри глаза! Не видишь, своих провожаю!»

Ученики любили ее, она управляла ими властно и весело. Уже много десятков молодых бойцов ушли от нее на фронт. Физкультурница и добрый товарищ, она готовила их к войне как могла, заботясь о точности их боевых приемов в воображаемой схватке лицом к лицу с врагом. Была ли она виновата в том, что война совсем не похожа на ту, которой она умела обучать их! Ей много писали и с фронта, и из госпиталей, писали сердечно и деликатно, не желая огорчать, и все же было понятно, что противотанковые и защитные орудия теперь нужнее штыков, и многие ее ученики погибли или получили ранения, так и не увидев немца в лицо. Что ж, эти письма она тоже принимала «на вооружение», присаживалась к своим бойцам после занятий и читала то одно письмо, то другое, иногда запросто рассказывала им о муже, о сынишке, о Ленинграде, о том, что по его улицам никогда не ступала нога завоевателя... Ее никто не учил этому, но она понимала, что гораздо важнее приемов штыкового боя — подготовка к войне их перлов и воли, что в затяжной оборонительной страде второго военного лета они должны чувствовать, что за ними — несдающийся Ленинград с его поредевшим, но закаленным и беззаветным гражданским гарнизоном. Она знала, что для каждого из них Ленинград дорог не только в целом, но и в каких-то особых частностях, придающих ему очарование родного дома. Своя улица, двор, где играл в детстве, чужой подъезд, где впервые поцеловал подружку, близкие люди, которых надо защитить во что бы то ни стало. Она догадывалась, что для многих парней она сама — частичка Ленинграда, она ее называют «паша девушка» и верят, что она выстоит до конца, не устанет, не сойдет... Голодной зимой некоторые из них добирались до города и приносили ей сухарь, ломтик сала, кусочек сахара в обрывке газеты. Они приглядывались к ней — похудела-то как! Она отвечала: ничего, запасец есть, выдержу! — и знала, что они вернутся в часть и расскажут товарищам — держатся ленинградцы! Так разве можно обмануть их, предать, сказать своим бегством: «устала»?..

Задумавшись, она не сразу заметила, что Витюшка привалился к ее плечу и спит крепким неодолимым сном. Так она и донесла его спящим до вокзала и до той дальней запасной ветки, где стоял эшелон, и берегла его сон в мучительной сутолоке посадки. А потом, когда Катя кое-как

втиснулась в теплушку, толкая перед собою детей, и уже сверху повернула к Ане истомленное, потное лицо и протянула руки — давай! — Аня даже не успела поцеловать сынишку и сонного передала сестре, и тут же потеряла обоих из виду, потому что в теплушку влезали новые семьи, и Катю оттеснили вглубь, и только перед самым отходом эшелона Катя выглянула через чужие головы и плечи, и Аня, стыдясь своих слез и своей просьбы, отчаянно крикнула: «Сбереги его, Катюша!..» Весь ряд теплушек дернулся, заскрежетали колеса, людей качнуло — и Катю уже не было видно...

Она побрела через Литейный мост. Остановилась у перил. Невская вода блеснула зеленоватым и розовым закатным блеском, она долго не могла поднять глаз от этого покачивающегося блеска, а когда подняла, Кировский мост и Ростральные колонны за ним расплылись в блестящих кругах. Она испуганно вытерла слезы и оглянулась, но слезы набежали снова.

— Не полагается здесь стоять... гражданочка!

Боясь, что постовой заметит ее слезы, она торопливо пошла дальше, свернула на набережную, вышла на Дворцовую площадь. Площадь была прежней, война не тронула ее, и Ане вспомнилось, как они — студенты-физкультурники — показывали здесь после праздничного парада штыковой бой, и как получалось изящно и легко, и как не верилось, что может прийти настоящая война и веселое искусство будет проверяться боем... Она перебрала в памяти товарищей, участвовавших в показательном бою, — одни убиты, другие воюют или, как она, обучают бойцов.

Пронзительный свист над головой заставил ее ускорить шаги. Звука разрыва она не услышала, очевидно, снаряды ложились где-то далеко. «Витюшки уже нет», — подумала Аня и впервые обрадовалась, и впервые осознала, как ей страшно было за него весь этот год. Она дошла до дому, невольно пригибая голову, когда над нею свистел снаряд. На лестнице остановилась. Ей представилась опустевшая комната, детская кровать без матрасика, брошенный автомобиль, который не удалось всунуть в чемодан... Нет, нет, только не домой! Так куда же? На работу — поздно, в команде ее не ждут, пост на чердаке заняла Наташа... И так хорошо хоть один разок не стоять во время обстрела на крыше!

Через пятнадцать минут она все же поднялась на свой чердак и обняла Наташу.

— Проводила?

Аня быстро кивнула и спросила:

— Ты слыхала когда-нибудь элегию Массне?

— Это пластинка такая?

Аня склонилась над дырой, пробитой снарядом.

— Товарищ музыкант, вы здесь?

— Ну, здесь, — ответил ворчливый голос.

— Может, поиграете?

— Проводили?

— Ага.

Снаряды падали далеко. Аня выбралась через слуховое окно на крышу, села на теплое, нагретое солнцем железо. Отсюда, сверху, город был не таким, каким она привыкла видеть его, каким только что видела с моста, — не прозрачным и легким, озаренным сиянием заката, а тяжелым, громадным, затаившимся. Мрачные тени уже легли между домами. Крыш еще касался скудный, догорающий свет, и в этом свете черпели провалы разрушенных зданий и рваные дыры от снарядов. Аня смотрела на раскинувшийся перед нею город с томящей печалью и жалостью. Она улавливала его затрудненное, учащенное дыхание, как дыхание страдающего человека, — а может быть, это доносилось постукивание метронома из репродуктора? Все равно, у нее теперь нет ничего и никого, кроме этого города, и его судьба — ее судьба. Что бы ни было.

В ее мысли незаметно вплелась музыка. Это не была вчерашняя отчаянная жалоба, полная тоски. Смычок срывал со струн такие сильные, гневные и требовательные звуки, как будто не одна виолончель, а целый оркестр будил, гневался и призывал к бою. И вдруг — словно распахнулось окно в полузабытый, спокойный мир. Журчал ручеек, птицы встречали восход, спящий ребенок потягивался и раскрывал глаза, не знающие ни страха, ни горя разлуки.

Старый музыкант играл в своем разгромленном жилище, подняв взгляд к рваной дыре, в потолке. Наверху, над домами, посвистывали снаряды.

Аня сидела, обхватив руками колени, вслушивалась в эти звуки и верила, что все будет именно так, как подсказывает музыка, и надо только собрать силы и выдержать, во что бы то ни стало выдержать до конца.

Июль 1942 г.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

МАРТ — АПРЕЛЬ

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стоял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело.

Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус...

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на шоссее. Кстати, тогда удастся и переменить обувь. Но, вообще говоря, палеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше незавидное положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».

Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он призывался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, добрый, душевный, все понимает. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжи, оттаявший и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком мало симпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отирающихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то щеки, как у ежа,— и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он тоже не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек,— говорили о нем,— скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена фашистами.

Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебная суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись. Многие — разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья, оказывается, никакого и не было...

...Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это по

помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, — пить только для того, чтобы заполнить пустоту в желудке.

Вечерело. Топчие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли, когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем пора у зверя.

Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»

Капитан шел в чаще, озаренный ярким светом; валежки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан повел себя странно. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему на немецком языке приказали поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в панку, — тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся.

Пароль произнес одним губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что ж, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твоё помещение!

— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в естественной позе, — а я поползу.

— Зачем ползти? В лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.

Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим человеком. Потом он насмешливо спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорошо! Как это ты еще штаны не потерял. — И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли немцы радио, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, чем помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самым плечам в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим, резко очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза.

У нее была неприятная мапера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно, — напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта мапера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник пижамы!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами, довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал капитану замечание за то, что он уделяет Михайловой так мало внимания.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни. — И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеев себя, такую... — И капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун обычного выходного дня.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнущимися щупальцами, но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленным на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее,

толстые и белые, — все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением на тырсе ударов пожом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонок, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестким и требовательным и к себе самому...

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан молчал о своем горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило побудительной причиной его бесстрашия. Поэтому он и обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». Всю свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили враги твое сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, Михайлова рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что и он никуда не годится.

Сказать все? Ну нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде пиши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал пишу снаружи. Днем свет пропикал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разуйтесь.

- Что? — гневно и удивленно спросила девушка.
- Разувайтесь. Я должен знать, куда вы ходите с такой погодой.
- Вы не доктор. И потом...
- Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала — меньше разговаривайте.
- Ой, больно!
- Не пищите, — сказал капитан, ощупывая ее ступню, вспухшую, обтянутую гляцевитой сипей кожей.
- Да я же не могу больше терпеть.
- Ладно, потерпите, — сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.
- Мне не пужно вашего шарфа.
- Грязный посок лучше?
- Он чистый.
- Знаете, — снова повторил капитан, — не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?
- Нет.
- Капитан поднял руку, оторвал кусок топкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:
- Хорошо держится!
- Потом он вытащил лыжи наружу и что-то долго мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:
- Можно ехать.
- Вы хотите тащить меня на лыжах?
- Я этого, положим, не хочу, но приходится.
- Ну что же, у меня другого выхода нет.
- Вот это правильно, — согласился капитан. — Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?
- Вот, — сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.
- Маловато.
- Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...
- Понятно, — протянул капитан. — Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.
- Можете оставить ваш шоколад себе.
- А я угощать и не собираюсь. — И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.
- После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее, на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

«Если я ей скажу, что никуда не похжусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и предложил:

— Не худо бы выпить горячего.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полужарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черепком пожа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье», — сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще потерпитесь, — сказал капитан. — А пока не морочьте мне голову всякими штучками, пейте. К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.

Он жарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо. — И съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — ответила девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан вы-

греб из ямы снег, паломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, поднимаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроюсь мешком.

— Ну, знаете... — возмущился капитан.

— Подвильтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще...

— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы мои вам не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая его лицо. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали.

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей, черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова

вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался из рва и полз двадцать километров до места явки.

Чтобы прекратить разговор, он спросил:

— Нога все болит?

— Я же сказала, что могу идти сама,— раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан снова впрягся в сани и заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой слежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно, поверх льда уже покрытую водой.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.

— Знаете,— сказала девушка, приподнимаясь,— вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите,— спокойно ответил капитан.

Он поджарил тонкие ломтики мяса, посадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы! — улыбнулся капитан. — Жареная копипа вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.

— Хорошо,— согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей,— пробормотал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он почью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь,— попросил капитан топом, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Немцы педалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего, — ответил капитан. — Ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— И даже очень, — сказал капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с пей. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую сигарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Рацию я забираю и иду туда. — Он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.

— Ну-ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при пей остаюсь.

— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать вы у меня не имеете права.

— Да поймите же вы!.. — вспыхнул капитан.

— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова. — Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валлите действуйте. — И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова пасмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего ж вы сидите? Время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свиданья, капитан!

— Идите, идите, — буркнул тот и пошел к реке...

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах паверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как буду себя держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам с матерью теперь будет очень тяжело, очень.

— Папа, — звонко сказала она, — папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно стало измученным и старым.

— Я понимаю,— сказал отец. — Ну что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа,— крикнула тогда она, — папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно, во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.

Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отмороженной погой. А ведь когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроено сообщала: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот теперь, если немцы успеют быстро засечь радию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвешен вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми гла-

зами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили: «Ты чего так расфантилась?»

— Подумаешь, — сказала она, — почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, распухшую ногу.

«Ну, убьют. Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я лучше их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полужакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.

Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту топкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песни сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводом огромным стальным кораблям.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки, радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой типе обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову

зпобило. Она подпосила руку к губам — губы были горичие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперъ это не важно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В паушниках звонко и четко пели сигпалы. Значит, рука помимо воли нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок... Там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперъ уже больше никого и ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно... Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно... Скорее бы только! Ну, что они, в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всклипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперъ ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, слышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных, я передала вот эти слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудение кораблей все приближалось. Застучали зепитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Из всех сил она стучала по ключу, словно по сигналы, а крик: «Бейте, бейте!» — высекала из ключа.

Рассекая черпый воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась подпять се. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени пропикал сквозь веки. Дуповением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволо-

кой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено,— с тоской подумала она. — Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее погн...

Она их совсем не чувствовала. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину. Хотя бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто... И она не упала бы самого страшного.

«Нет,— решительно сказала себе она,— с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Нсужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в поге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне п, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Никак,— прошептала она.

— Все равно,— сквозь зубы сказал капитан,— я больше никуда не похусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю. Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пытаясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Сколько это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала шипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на парах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым, добрым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости, — сказал капитан, — ничего вы не могли знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли пристукнуть. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигнализировать огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневилок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих...

— Что — в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы хорошая девушка. — И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побледили уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, застенчиво сказал:

— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.

Поднявшись, он опять сурово спросил:

— Верхом ездили?

— Нет, — сказала Михайлова.

— Поедете, — сказал капитан.

— Гаврюша, партизан, — отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним немцев из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек,

стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.

Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо, — и, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.

— Ну, еще бы, — сказал капитан, — вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с копом капитана; подняв голову, он вдруг заявил:

— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тепором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А теперь сколько я этих гитлеровцев порезал! — Он всплеснул руками. — Я человек злой, обиженный.

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Боевая девушка, ничего не скажешь, — и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕНИСА УРГИ

Осенью, когда западный ветер гонит в залив волпы из открытого моря и дождевые тучи идут низко-низко, темными лохматыми грядками чуть не касаясь белых гребней, побережье становится неприветливым, холодным и угрюмым. Но никогда еще Тенису Урге родной берег не казался столь мрачным и пустынным, как в этом году.

Здесь он родился и вырос, весь его суровый и терпистый жизненный путь, все события прошлого были связаны со здешними местами. Семьдесят долгих лет, прожитых в тяжелом труде и нужде... Сотни раз морской ветер заносил песком тропинки, протоптанные меж дюн человеческой погой, и сотни раз рыбаки протапывали новые — от серых деревянных лачуг на опушке леса к берегу моря. Молодые деревца на глазах у Тениса превратились в большие деревья, а многие из них приходились ему ровесниками, такие же старые, сгорбленные и корявые, как он сам. Но сейчас ему казалось, что он живет в чужом мире и все здесь странное, незнакомое, полное угрозы и томительной неопределенности.

Но, может быть, ничего этого и нет, просто он сам постарел и изменился?

Может быть.

Лачуга Тениса Урги находилась у северной окраины поселка. Прежде она стояла, вплотную прижавшись к другим рыбацким домам, но когда ветхие, покосившиеся хибарки стали разваливаться одна за другой, рыбаки младшего поколения уже не старались восстанавливать их. Нет, молодежь стала строиться на противоположной окраине поселка, где пролегал грунтовая дорога. Один только Тенис Урга продолжал чинить и подправлять свое старое жилье и с течением времени все больше отдаляться от других, становился все более одиноким посреди

дюн,—сейчас от ближайшего соседа его отделяло уже шагов триста.

Тому были свои причины. Тенису не очень повезло с этим самым молодым поколением, не то что многим из его старых друзей. Правда, он вырастил двух сыновей и дочь, но у каждого из них была своя собственная судьба. Старший сын погиб в первую мировую войну, не оставив детей. Младшего сына расстреляли немцы во время оккупации 1918 года: он был большевиком и руководил сопротивлением. Он покоем тут же, на опушке леса за дюной, в поросшей жесткой травой могиле. Больше никакие растения там не выживали, морской ветер затягивал холмик белым песком.

Да, Вольдемар был любимый сын Тениса Урги, смелый, стойкий парень, горячий в работе и бесстрашный в борьбе. Там, где другие теряли смелость и надежды, он рвался вперед. Глаза у него сверкали, когда он слушал рассказы отца о пятом годе. Он восхищался отважными борцами за свободу, которые восставали против царского самодержавия и черной власти помещиков, с юношеским бесстрашием смотрели в глаза смерти, стоя под виселицей, пели песни борьбы и с гордо поднятыми головами шли в ссылку, на каторгу. Сам Тенис тоже тогда принимал участие в революционных выступлениях, посещал собрания и пел новые, гордые песни, возмущавшие наступление справедливости и свободы; за это карательная экспедиция впоследствии подвергла его порке.

И вот в 1918 году немцы расстреляли Вольдемара. Тенис похоронил любимого сына в песках дюн (хоронить на кладбище пастор не разрешил) и стал воспитывать своего маленького внука, оставшегося круглым сиротой; жена Вольдемара в 1919 году ушла с красными стрелками в Россию и в годы гражданской войны умерла от тифа. Маленькому Эмилю в то время еще года не было, так что родителей он совершенно не помнил.

В 1928 году умерла подруга жизни Тениса — Ляени Урга, и он остался вдовцом с внуком.

Эмиль рано научился грести, править рулем, забрасывать сети в открытом море. Зимой он учился в начальной школе, а с весны до осени помогал деду в рыбной ловле. То, чему парнишку не научила школа буржуазной Латвии, он узнавал от старого деда, жадно слушая его рассказы о пятом годе и недолгой бурной жизни отца.

Летом 1940 года, когда пала фашистская власть Ульманиса, впервые на протяжении долгих лет Тенис Урга почувствовал, что и в его жизни наступил праздник, а Эмпль, уже взрослый парень, тот с головой окунулся в строительство нового.

Наблюдая за большими переменами в жизни людей, Тенис понял, что исполняется то, о чем он мечтал всю жизнь. Маленький человек, поработавший и униженный, мог наконец облегченно вздохнуть. Правда торжествовала над темными, злобными силами. Это было наградой Тенису Урге за все страдания, за смерть Вольдемара, за его собственную тяжелую жизнь. Осуществлялось то, за что погиб Вольдемар.

Рыбаки, которых раньше обирали жадные перекупщики, впервые стали получать справедливую плату за свой улов. Просто удивительно, сколько мог теперь зарабатывать человек! Люди в течение года успели погасить долги, в которые их загнала многолетняя пужда, а главное, они были избавлены от заботы о завтрашнем дне, о куске хлеба и о судьбе своих детей.

Тенис Урга был безгранично благодарен новой, справедливой власти и людям, которую проявляли такую братскую заботу о его жизни и жизни ему подобных простых людей.

И вдруг разразилась война.

Сердце Тениса Урги кровью обливалось, когда он видел, какие тяжелые дни переживал его народ. Отряды фашистов-грабителей рыскали по всем дорогам. Жгли, убивали, издевались над правами и жизнью людей.

Над родиной и народом Тениса спустилась черная почь. Вот когда чужим и мрачным показалось ему родное побережье. Словно в мир пропикла волна чужого воздуха, насыщенного ненавистью и смертью. Небо стало серым и неприветливым, природа поникла, и люди падали задыхаться. Померк свет жизни и ее радости. Рука жадного грабителя протянулась к плодам сурового труда латышей. Злобой и кровожадностью веяло от нахлынувшей орды чужеземцев.

Все дальше отодвигался грохот сражений. С надеждой и глубоким волнением прислушивался Тенис к отзвукам борьбы. Он не мог поверить, что люди позволят торжествовать этой злой силе. Тогда всему копец, тогда не зазвучит больше в мире смех; мрак и ледяной холод умертвят всю радость, всю красоту жизни.

Вести, доходившие до Теписа, говорили, с каким героизмом и стойкостью защищают советские люди свою страну и свободу. То была страшная борьба, трудная и кровопролитная. Тепис непрестанно думал о ней, и ему казалось, будто он видит дорогого, близкого человека в смертельной схватке с хищником. Зверь, неожиданно набросившийся на него сзади, стремится его растерзать, а человек сильной рукой сдвигает глотку зверю и не отпускает его. Зверь яростно мечется и терзает тело человека, но человек крепко держится на ногах, не падает. И Тепис понял: за все то добро, какое сделал ему этот человек, он обязан прийти ему на помощь, отблагодарить делом, оказать услугу, быть ему полезным. Совесть и воля твердили, что он не смеет взирать на борьбу со стороны.

Но как это сделать?

Молодые ушли с бойцами. Многие поступили, как Эмиль: ушли в леса и с оружием в руках охотились за зверем, выслеживая его, где бы он ни появлялся.

Тенис Урга хотел помочь. Уж если молодежь отдавала свои жизни за правое дело, тем легче было умереть ему — старику... Но что мог сделать седовласый старик, стоящий одной ногой в могиле?

Тенис долго ожидал часа, когда судьба призовет его.

Иногда, после нескольких недель отсутствия, в доме появлялся Эмиль, рассказывал о своем партизанском отряде и, захватив с собой запас продовольствия, вновь исчезал на долгое время.

Тенис чинил сети и думал, что он отделяется мелкими услугами в такое время, когда каждый честный человек должен отдать себя всего, целиком великой борьбе. Он был готов пожертвовать всем, но никто ничего от него не требовал.

Время шло. Наступила осень с ливнями и бурями. Жесткая трава на могиле Вольдемара грустно шуршала под ветром.

И наконец Тенис Урга дождался своего часа.

Темная ветреная ночь была на исходе, когда в ставель легонько постучали. Тенис Урга спал чутким сном: накануне вечером снова пришел Эмиль. Старый рыбак мгновенно проснулся, приподнялся на кровати и стал прислушиваться. Когда стук повторился, он ощупью в темноте добрался до постели Эмиля и, коснувшись плеча внука, прошептал:

— Эмиль... сынок, слышишь? Кто-то стучится.

Теперь прислушивались оба. После недолгой тишины в ставель снова постучали.

Эмиль быстро и бесшумно оделся, поставил на боевой взвод трофейный автомат и встал в углу за печкой против двери.

— Погляди, дед, что там такое... — сказал он шепотом.

Теннис вышел. Эмиль слышал за дверью приглушенные голоса. Немного погодя дед вернулся.

— Какой-то флотский, из русских. Говорит, будто бежал через залив с эстонских островов. Просит помочь ему. Думаю, надо что-нибудь для него сделать. Как ты полагаешь, сынок?

— Если наш, так обязательно надо помочь. Он один?

— Больше никого не видно.

— Зови его в комнату да зажги огарок; посмотрим, кто он такой.

Теннис вышел и тотчас вернулся, пропустив вперед пришельца. Когда свечка была зажжена, Эмиль увидел изможденное, обросшее щетиной лицо, воспаленные глаза и покрытый засохшей грязью бушлат краснофлотца. Но выпуская из рук автомата, Эмиль вышел на середину комнаты.

— Документы есть?

Незнакомец вздрогнул, и несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза — двое преследуемых, окруженных опасностями людей. Но что-то заставляло предполагать в пришельце своего. Не спуская глаз с Эмиля, он достал из внутреннего кармана бушлата бумажник, извлек из него маленькую книжку в коленкоровом переплете и подал партизану.

— Все в порядке, товарищ Королев, — произнес Эмиль, ознакомившись с документом. — Вы находитесь у своих.

Молча они пожали друг другу руки. Спрятав документы в карман, моряк рассказал, как он попал в поселок.

— Наш отряд нес службу береговой обороны на острове. Там были аэродром и несколько батарей артиллерии. Когда фашисты папали на остров, мы долго сопротивлялись, не давали десанту высадиться на берег. Но в конце концов нам пришлось отступить. Их было куда больше, да к тому же фашистская авиация вывела из строя наши батареи. И боеприпасы кончились. Тогда все мы, кто остался в живых, отошли в центральную часть

острова — пытались прорваться. Несколько дней назад нам удалось раздобыть рыбацью лодку. Вечером, с наступлением темноты, мы, двадцать человек, отправились в путь и вот, полчаса тому назад, достигли берега. Меня послали в разведку — выяснить, где мы находимся и каким образом пробраться отсюда к своим.

— Где же остальные? — спросил Эмиль.

— Здесь они, в дюнах. Ваш домик окружен со всех сторон. Если бы со мною что-нибудь случилось... — Он улыбнулся.

— Правильно, — сказал Эмиль. — Действовать пужно осмотрительно. Но на этот раз вам просто повезло. Ничего страшного, конечно, не произошло бы, если бы вы попали в какой-нибудь другой дом, по там везде женщины, дети. Могут проболтаться.

— Нас привлекло то, что домик стоит отдельно, в стороне. Легче выбраться, если что и случится.

— Как у вас с продовольствием?

— Мы уже несколько дней ничего не ели...

Эмиль переглянулся с Тенисом.

— Как ты полагаешь, дед?

— Думать тут нечего. Надо накормить людей. Я поставлю на огонь котел с картошкой. Наварю трески.

— Правильно, дедушка. Пошли, товарищ, — кивнул Эмиль краснофлотцу. — Пока тут дед приготовит поесть, мы спрячем лодку.

Они ушли.

Тенис принес картошки, рыбы и начал стряпать. Давно он не чувствовал себя таким бодрым и веселым, как в это утро. Теперь в его жизни появилась настоящая цель! Теперь он может наконец помочь великому делу! Если он спасет этих двадцать бойцов, они потом уничтожат не один фашистский гарнизон. Гитлеру придется заменять выбывших другими, вместо того чтобы посылать их на передовую линию. Хоть небольшое, а все-таки будет облегчение на каком-то клочке фронта.

Несмотря на то что двадцать краснофлотцев были измучены до крайности, лодку все-таки перенесли в дюны и спрятали там в кустарнике. Сейчас, в осеннюю пору, никто в эти края не заходил. Сами краснофлотцы укрылись в лесу. Эмиль и еще несколько человек ждали Тениса в дюнах, неподалеку от дома. Спустя некоторое время старик принес туда вареной картошки и рыбы. Потом Тенис отправился в поселок, побеседовал с соседями о

лове и как бы невзначай показался старосте Лединю. От соссдей он узнал, что Лединь в этот день собирается ехать в комендатуру, по-видимому, для получения новых инструкций. Собачья служба — следить за каждым человеком и доносить обо всем фашистам. Купили его мелкими подачками — табаком, сахаром. И он сам знает, что все жители поселка отвернулись от него. Знает и, видать, не особенно хорошо себя чувствует. Постоянно ходит пьяный в стельку... Разумеется, не от хорошей жизни это. Однако остерегаться его необходимо.

После полудня, когда пужно было отнести краснофлотцам обед, в лес отправился сам Тенис Урга. Все они годились ему во внуки, хотя по их изможденным, обветренным и давно не бритым лицам им можно было дать значительно больше лет, чем было на самом деле.

Они обсудили план дальнейших действий. Эмиль согласился вывести их глухими лесными дорожками и болотными тропинками к своему партизанскому отряду. Но на острове ждали еще сорок человек. Как быть с ними?

Тенис прислушивался к разговорам и раздумывал. Здесь оставалась их лодка... Если на ней могли один раз перебраться через залив, то почему не проделать это еще раз? Но сорок человек за один раз не перевезешь. И как это двадцать человек решились отправиться в море на такой посудине? Чистое безумие. В нее можно усадить пу, скажем, человек двенадцать — тринадцать. Если бы ночь выдалась поненастнее, неизвестно еще, чем бы дело кончилось.

У Тениса была большая лодка, на которой он ходил в открытое море. Он еще не вытащил ее на зиму и паруса не убрал. При хорошем боковом ветре можно было за ночь добраться до острова. А назад? По его расчетам, на операцию требовалось несколько дней. Лединь непременно заметит, что лодки нет, — ведь в его обязанности входит следить, когда та или другая лодка уходит в море и когда возвращается. На лов в открытое море теперь никто не выезжал. «Где был? — спросит. — Зачем отправился в море без разрешения?» Ясно, что отвечать будет нечего. И не менее ясно, что последует за этим. Фашисты долго разговаривать не станут. Если им что не правится — на сук или пулю в ребра.

Тенис Урга ясно отдавал себе отчет в том, что его ожидает, но не это волновало его сейчас. Главное — удалось

бы переправить через залив и доставить в безопасное место сорок ценных бойцов, которым сейчас грозит гибель. Что ж, он готов заплатить за это головой. Вот это будет уже не мелкая услуга, какими он до сих пор платил советской родине за все, что она дала ему. Это будет нечто настоящее. Ради этого стоит жить... и умереть. Не стыдно будет лечь рядом со своим любимым сыном в песках дюн.

И Тепис Урга, раскурив трубочку, попросил выслушать его.

— Сынки... Я думаю, нужно сделать так...

Двадцать юношей и мужчин обступили плотным кольцом седого деда и слушали его с глубочайшим вниманием.

— У меня большая лодка. В ней могут поместиться человек тридцать, и даже больше. Есть и мачта и парус. Вы останетесь здесь до вечера, а как стемнеет, отнесете обратно на берег и спустите на воду свою лодку. Один из вас, кто лучше помнит дорогу к тем, что остались на острове, поедет со мной. На двух лодках мы за один раз всех перепедем.

— Дедушка... — мягко, взволнованно заговорил Эмиль. — В таком случае уж лучше поеду я.

— Ты проводишь товарищей к своим, — сказал Тепис. — Постарайся только поскорей вернуться, ведь потом и тех, которые приедут, пужно будет проводить.

— А если на море с вами что-нибудь случится?

— Так и с тобой может случиться. А кто же тогда поведет товарищей через леса и болота? Так-то. Я сейчас пойду домой и поставлю котел на огонь. Тем, на остров, тоже надо отвезти чего-нибудь поесть.

Краснофлотцы, один за другим, подходили к старику и с благодарностью пожимали руку. Тепис Урга слегка смутился.

— Вот это дед!.. Ну и дед... — говорили они, провожая Теписа глазами.

...Как только стемнело, краснофлотцы перетащили свою лодку назад к берегу и спустили на воду. Они помогли Тенису перенести парус и продукты для оставшихся на острове товарищей. Маленькую лодку привязали капатом к большой. С Тенисом отправился Королев.

Оставшиеся на берегу долго наблюдали, как темные лодки скользили по воде. Вот они прошли за вторую от-

мель. Широко развернулся серый парус, ветер надул плотно, и лодки исчезли в ночной тьме.

Эмиль долго всматривался в потемневший простор моря. Луна не взошла. Пенясь и рокоча, набегали на прибрежный песок волны — они катились наискось, с севера на юг. Холодный ветер обжигал лицо. Наконец Эмиль повернулся.

— Ну, тропемся.

Небольшой отряд направился в лес.

Среди дюн одиноко темнела лачуга Тениса Урги.

Благодаря попутному ветру Тенис Урга и Королев до острова добрались в первую же ночь, и Королев быстро, без всяких затруднений, разыскал своих товарищей. Спрятав лодки среди камышей в устье небольшой речки, они дождались вечера и с наступлением темноты пустились в море.

Плыть приходилось наискось против ветра. Лодки дрейфовали, отклоняясь от курса, и каждые полчаса нужно было делать проверку. К рассвету им удалось достигнуть только середины залива. Нечего было и думать пристать к берегу днем. Тенис спустил парус и мачту, и весь день они качались среди волн. Чтобы ветер не отнес лодку слишком далеко на юг, двое все время оставались на веслах. К вечеру они очутились так близко от берега, что могли различить над линией горизонта на востоке шпиль церковной колокольни. За третью ночь они проделали оставшуюся часть пути.

Все продукты были съедены еще на второй день, но разжигать огонь и варить ужин было опасно: не могло быть, чтобы в деревне не заметили исчезновения лодки и отсутствия Тениса.

Ранним утром Тенис Урга подвел свою лодку к берегу километра за два севернее поселка. У маленькой лодки краснофлотцы пробили дно, нагрузили ее камнями и утопили в полукилометре от берега. Пользуясь оставшимся в их распоряжении часом темноты, они наполнили водой и большую лодку, сняли с нее якорь, парус и мачты и оставили ее без привязи между первой и второй отмелью. Они помогли Тенису доставить парус домой.

Весь день Тенис провел со спасенными в лесу: хотелось дожидаться Эмиля и самолично убедиться в том, что и второй отряд уходит верной и безопасной дорогой.

Он наполнил два мешка картошкой, выловил из бочки оставшуюся соленую треску и предложил краснофлотцам взять все это с собою в лес.

— У тебя самого-то ничего не остается, дедушка, как ты проживешь до весны?

— Обо мне не беспокойтесь,— ответил Тенис. — У меня есть еще полбочонка салаки, а в дюнах зарыто мешка два картошки. Много ли мне, старику, нужно.

Расположившись на траве у лесной опушки, Тенис время от времени посматривал в сторону моря и на свою лачугу вдаль. Два раза за этот день он видел, как к домику подходили люди — человек пять или шесть... Обойдут кругом, постучатся, заглянут в окно, облазят все углы и уйдут обратно в поселок. Ну, конечно, разнюхивают... что-то почуяли. Ждут...

...Под вечер возвратился Эмиль. Первая партия благополучно добралась до базы партизанского отряда и временно остановилась там, а Эмиль немедленно поспешил обратно. Он был готов, не отдыхая, снова отправиться в путь.

Краснофлотцы вскочили на ноги, взяли винтовки и построились. Эмиль подошел к деду.

— Дедушка, нам пора двигаться.

— Идите, сынки, идите,— сказал Тенис. — Вас ждет работа. Одно я хочу внушить вам накрепко. — Он покряхтел, как бы подыскивая слова. — Не кладите оружия, прежде чем паша земля не будет очищена от последнего врага... Это сорняки... пельзя давать им разрастаться, пускать корни — они заглушат у нас все доброе и хорошее. Надо искоренить их поскорее, пока они не погубили всех честных и порядочных людей. Торопитесь, сынки, торопитесь... ведь вы наши защитники и спасители.

— Исполним, дед, все исполним. Такую баню зададим этим грабителям, что им тошно станет. Но ты должен пойти с нами.

— Нет, сынок, мне лучше остаться здесь, на берегу. Там, в лесах, я мало чем смогу вам помочь, а здесь... кто знает, могу когда-нибудь еще пользу принести. Обо мне не беспокойтесь — уж я как-нибудь...

Никакие уговоры не помогли: Тенис не хотел связывать бойцов. Да и надеялся задержать ищеек. Об этом он не сказал никому.

На прощанье Эмиль обнял деда и поцеловал.

— Скоро я приду сюда с товарищами. Если только фашисты осмелятся причинить тебе зло, дедушка, им придется дорого заплатить за это.

Эмиль и краснофлотцы ушли. Тенис медленно двинулся вдоль опушки к поселку.

Возвратившись домой, Тенис закрыл ставни и при свете свечи побрился, падел чистое белье. Перед тем как улечься, он достал альбом и долго разглядывал выцветшие, пожелтевшие фотографии. С каждой из них были связаны далекие воспоминания о прошлом. Перед глазами его прошла вся жизнь: детские шалости... мечты и стремления юности... беспощадные удары судьбы. Но как бы то ни было, за прожитую жизнь кое-что сделано. И после того как его самого, Тениса Урги, не будет на свете, останется борьба, стремление людей к справедливости, к свободе, к лучшей жизни. Молодые совершат то, о чем Тенис думал всю жизнь. И в этом сохранится некоей крошечной частицей его труд, его мысли и жизнь. И он приложил руку к общему делу. Стало быть, недаром жил.

...Утром через дюны по направлению к лачуге Тениса Урги шли четыре человека — Лединь и трое вооруженных фашистов.

Тенис заметил их и сразу понял, зачем они идут. Подсев к окну, он смотрел через головы идущих на берег, где темнели на песке черные кили вытасненных на сушу лодок, на море, которое пенилось и волновалось под натиском бури.

Вода отливала синеватым и зеленым, как спинка салаки. Против ветра летела чайка; временами ей удавалось прорваться вперед, подняться повыше, но затем порыв бури швырял ее назад, вниз, прижимая почти к самым гребням волн. Птица не сдавалась, снова и снова взмывала вверх, взмахивала крыльями и устремлялась навстречу ветру.

На девятый день Аня снова переступила порог хаты, в которой жила ее сестра Арипа.

В хате никого не было. Девушка бросила на лавку жакетку и медленно прошла по комнате. Где же все? Едва она об этом подумала, как в сенях стукнула щекотка и в комнату вбежала встревоженная бледная Арина — дочка Лорка.

— Тетя Аня! — обрадованно воскликнула она и бросилась к девушке. Прижавшись к Ане, Лорка минуту стояла молча, повзрослевшая, серьезная. — Ой, что здесь было без вас! — вдруг печально проговорила она.

— А где мама?

— Мама в огороде. Она сказала: «И нам кто-то пошел. Иди погляди, кто это».

— Позови ее, Лорка.

Аня села на лавку. Вот она и дошла. Окончился длинный путь. Теперь пекуда спешить, можно отдохнуть, дать покой ногам, уставшим после длинной, тяжелой дороги. Аня так стремилась к своим, но теперь, когда она уже здесь, у нее почему-то нет того желанного покоя. Отчего так тревожно на сердце?

«Ой, что здесь было без вас!» — вспомнились ей слова Лорки.

За окном печальной тенью проплыла Арипа.

Сестра встретила невесело. Вошла она медленно, поставила к стене мотыгу и молча остановилась посреди хаты, не здороваясь, опустив почерпнувшие от земли руки.

Когда Аня подошла к Арине и обняла ее за плечи, губы сестры задрожали, в глазах показались слезы.

— Что такое? — шепотом спросила Аня, испуганно и одновременно настойчиво.

— Маму нашу... гитлеровцы...

— Что?!

— Убили маму! Нет мамы! — Сестра, припав к Аниному плечу, горько, с отчаянием, уже больше не сдерживаясь, заголосила.

В груди у Ани стало пусто, все мысли, все чувства словно куда-то провалились. Это была тяжелая, болезненная пустота.

«Маму нашу...»

Она стояла недвижимо, с застывшим лицом.

— Когда это случилось?

— В ту субботу...

Аня больше ни о чем не спросила, и Арина ничего не стала рассказывать.

Только под вечер, когда сестры сидели на крылечке, Арина снова заговорила:

— Маму расстреляли, как только они пришли. И еще восемнадцать человек. Отца Андрея Витковского тоже. И о тебе спрашивали, Аня, но вскрили, что ты ушла... Вывели их за село — туда, где глину когда-то копали. Старик Витковский сам идти не мог, так они его избили. Его вели под руки Марися Кравчукова и Анна... А мама худая, белая как снег. Их поставили около глиняной ямы. Со всего села согнали людей, чтобы смотрели...

— За что же их?

— Кто-то убил за нашим селом солдата...

Рот Арины передернула судорога. Она несколько минут боролась со слезами, больно прикусив нижнюю побелевшую губу.

— Не могу больше, — проговорила Арина.

Аня сидела не шевелясь. Словно не замечала ни того, что сестра замолчала, ни того, что потом она заплакала, — ни один мускул не дрогнул на Анином лице. А затем вобрала голову в плечи, с затаенной тревогой стала ждать, что еще скажет Арина.

Но Арина ничего не говорила. Только рыдала горько, громко, по-бабьи. И чем больше она рыдала, тем тверже, собраннее становилась Аня. Сухо, едва выжимая слова, Аня произнесла:

— Говори... Что было дальше?

Это не было похоже на просьбу. Арина невольно подняла голову.

— Я хочу все знать... понимаешь, все...

Вытирая уголком платка глаза, всхлиывая, как ребенок, Арина продолжала:

— Они там лежали три дня. И наша мамка, Аня, тоже. Фашисты запретили хоронить, пригрозили, что будут стрелять в тех, кто захочет забрать тело. А на четвертый день людоеды эти уехали, и мы с Лоркой маму убрали и отнесли на кладбище...

Арина заметила, что Аня изменилась за эти несколько минут — она вдруг стала совсем спокойной, даже чересчур спокойной.

— Вот я и знаю все, — с ноткой какой-то угрозы проговорила Аня, когда Арина замолчала. — Точно своими глазами повидала.

И как бы в доказательство того, что разговор об ужасном несчастье закончен, Аня стала рассказывать о девяти днях, что отдоляли ее от того памятного утра, когда она попрощалась с Ариной.

— Дошла я с подругами до самого Полоцка. Со мной еще две учительницы были из нашей школы. Тогда я сказала: «Не пойду дальше, что бы ни случилось!» Возле леса, вижу, танки стоят. Я сразу к танкистам. Набрела на троих, они сидели на травке и завтракали. Я их спросила: «Где здесь какой-нибудь командир?» Один отвечает: «Я командир». Говорю: «Принимайте к себе, хочу поговорить». А они стали посмеиваться, особенно один, белокурый такой. «Возьми, говорит, лейтенант... концентрат пшеничный варить». Ну, я как сказала ему несколько теплых слов, он сразу присмирел. Покачал головой и говорит хлопцам: «Это язычок!» — и объяснил мне, как найти командира. Пришла я к командиру батальона, майору Бродкину. Он выслушал меня, — хороший такой человек, — подумал и сказал, что принимает. Сестра им нужна была. Дали мне, Арина, шинельку, сумку, и стала я товарищ красноармеец...

Аня вдруг склонилась к своему колену и прикоснулась пальцами к рыжему, запыленному бинту, которым была перетянута правая загорелая голень.

— Тебя ранили, что ли?

— Ранили, — загадочно проговорила Аня таким тоном, что сестра не поняла, шутит она или говорит серьезно.

Тугой, крепко перетянутый узелок не развязывался. Аня поднялась, вошла в хату, а вслед за ней и Арина.

Взяв со стола нож, Аня разрезала узел и, присев на лавку, стала ловко разворачивать слежавшуюся лепту бинта.

— Вот такая рапа.

В руке Ани Арина увидела погнутую серую книжечку.

— Комсомольский билет?

— Билет, — спокойно бросила Аня.

Шершавыми ладонями бережно распрямила обложку и медленно, с длинными паузами прочитала свою фамилию, имя, год рождения, время вступления в комсомол — май 1940 года... «Четырнадцатое мая тысяча девятьсот сорокового года», — повторила она про себя и молча перевернула еще страницу. Взгляд пробежал по нескольким строкам взносов. Последний взнос и подпись стояли против строчки «Июнь». Казалось, еще не высохли на этом месте синие чернила.

Все остальные клеточки были пустыми.

Последний взнос. За этот месяц она уже не платила и за следующий, за август, тоже, вероятно, не будет...

Никогда такой близкой и дорогой не была для нее эта маленькая книжечка с профилем Ленина на обложке.

— Возле Глубокого паткнулись на проверку, нас стали обыскивать. Один, высокий и рыжий, ко мне, лап-лап — и вытаскивает из моего кармана билет. «О, Ленин! Чей это? Твой?» Я сказала, что мой. «Комсомолка?! Тебя за это надо пук, пук — расстрелять!» И уже взялся, гад, за билет, чтобы разорвать. Я ухватила и вырвала свой билет из его рук. «Не надо, говорю, рвать, у меня других документов нет». — «Куда идешь?» — спрашивает. «Домой. Училась в Витебске, иду домой. Не хотела отступать». Говорю ему смело, громко, такая уверенная, что даже самой было удивительно. «А, это гут! — захохотал немец. — Ну, ладно, иди». Отпустил меня... Тогда я и привязала билет к ноге.

— Отчаянная же ты! — проговорила сестра как бы с осуждением.

Но Аня не обратила внимания на ее тон. Она разглядела обложку, посмотрела на профиль Ленина.

— Ну а больше не приставали?

— Приставали. Еще четыре раза натыкалась на них... Говорила одно и то же: «Домой из Витебска иду...»

Как только умолкла, грудь сжала глухая боль. «Мама, мама...» Аня не могла свыкнуться с мыслью, что матери,

такой любимой, нежной, заботливой и близкой. уже нет на свете.

Сестры долго молчали. Пришла Лорка, и Арина стала укладывать ее спать.

— Где Андрей Витковский, не знаешь? — шепотом спросила Аня, когда Арина вернулась к окну.

— Не знаю, Аня. Но, вероятно, где-то здесь, неподалеку. Говорят, что он в партизанах.

Аня стала расспрашивать о других товарищах, с которыми не виделась, как ей казалось, очень давно, но Арина почти ничего не могла рассказать ей.

За каких-нибудь полмесяца война всех разбросала, развеяла по разным путям-дорогам...

Как она пойдет, эта новая, незнакомая жизнь? Что она принесет?

2

На следующий день пошли они с Ариной жать.

Ах, какая дружная, какая высокая рожь! Полные, тугие колосья тяжело покачиваются под горячим порывом ветра, упруго выгибая зрелые стебли.

Только не радуется глаз это богатство. Не вовремя уродилось. Не знали люди, кладя зерно в старательно обработанную, пушистую землю, что крупные колосья, выросшие из этих зерен, будут вызывать не радость, а тоску, слова проклятия и ненависти к вражеской напасти.

Ах ты, рожь, рожь!

Аня закручивает узлом связло, распрямляется. Вокруг поле — золотое бескрайнее море — перекачивается волнами, шепчется.

— Устала? — спрашивает Арина у Ани.

— Нет... Но хочется посидеть.

Она садится на сноп. Не лежит у Ани душа к этой работе, к этой тишине. Арина жнет медленно, не останавливаясь. А Аня думает о тапкистах, о комбате Бродкине, что лежит в земле под Полоцком. Разве может она после всего, что прошло за эти дни через сердце, так существовать — жать себе потихоньку рожь?..

Эх, зачем она вернулась, почему не пошла дальше на восток?.. Она мечтала найти здесь дело по себе, настоящее дело, а вместо этого жнет рожь.

Что ж, это день, два, а потом она найдет дело, быть не может иначе...

В памяти вновь встает образ матери. Аня видит ее синеватые глаза, грустные и влажные, с нежностью глядящие на нее. И девушке в который раз вспоминается последнее прощание. Ясное, залитое солнцем утро за селом. Мать грустно смотрит на Аню, словно чувствует, что больше не приведется встретиться.

«Мама, мама! Милая, родная мама! Кого я так любила, как тебя? И кто столько горести принес тебе?.. Прости мне, мама!»

И не заметила, как ожили, поплыли воспоминания, сегодня особенно щемящие и горькие.

Эх вы, беззаботные дни детства, что так рано отлетели, как чудесный сон. Материнская ласка — весенние, ясные лучи!..

Вспомнилось, как мать шила новое платье, когда Аня стала ходить в школу. Вспомнилось, как, вернувшись из школы домой, взобралась к матери на колени и спросила: «Мама, а почему нас учат по-чужому говорить? Почему в школе не говорят так, как дома?» — «Потому что там... чужие учителя». — «А почему там чужие учителя? Разве у нас своих нет?» — «Есть и свои, доченька, только им не разрешают учить...»

Прижимаясь к родному плечу, Аня спрашивала: «А почему не разрешают?» — «Потому что паны хотят, чтоб здесь были их порядки... Чтобы все было по-ихнему». — «Ну и пусть не разрешают. А он бы взял да и все равно учил по-нашему». — «Нельзя, доченька. Его бы посадили в тюрьму... Или как... тату нашего...»

Мать умолкла и только гладила белую головку дочери. Глаза ее стали влажными, мать закрыла их, отвернулась. Аня прижалась головкой к материнской груди и тихо-тихо дышала.

Мать часто вспоминала Апиного отца, которого девочка не помнила. Когда Аня родилась, отца не было дома, он был на войне и вернулся, рассказывала мать, когда Ане было полгода. Крадучись пробирался отец домой. Он принес с собой из Красной Армии русскую винтовку, вечером смазал ее, обернул чистыми тряпками и спрятал в хлеву, под стрехой.

Жить ему было трудно, потому что здесь воцарилась власть панской Польши, с которой он дрался на фронте. Через год отца арестовали. Перерыли, перепороли, разбросали

все в хате, во дворе, в хлеву — чего-то искали. Потом связали ему руки за спиной и повели, ругаясь и толкая в спину карабинами.

Обратно отец не вернулся.

Вспомнила Аня, как впервые разлучилась с матерью. Мать отвела ее к Рыгору Ляльчуку, их дальнему родственнику, первому богатею в деревне. Поначалу Ане разрешили ходить в школу, но все остальное время она должна была нянчить хозяйского ребенка. Уроки она теперь почти не готовила. Учитель ругал ее и грозился выгнать из школы.

А дома ругался Ляльчук: ему не нравилось, что нянька, которая ест его хлеб, ходит в школу, тратит понапрасну время.

«Или брось школу, или уходи от меня. Мне нужна нянька, а не дармоедка», — сказал он однажды.

Аня собрала свои пожитки и вернулась домой. Выслушав дочку, мать заплакала, а когда выплакалась, набросила на голову платок и пошла к Рыгору. Вернувшись, сказала: «Надо идти обратно, доченька, Рыгор больше не будет тебя обижать. Он обещался».

Проводила до крыльца, нежно прижала к груди и вздохнула.

Мать часто навещала ее и каждый раз что-нибудь приносила — или тетрадь, или книжку, или какое-нибудь лакомство. Присаживалась в каморке на Анину койку, спрашивала, как учится, не думает ли, не дай бог, бросать школу. «Учись, доченька, ученым всюду дорога... Вот что я, неученая?»

Обычно с ними сидела и Рыгориха. Аня знала, что Рыгориха боится, как бы мать не украла что-нибудь у нее. Аня возмущалась: как она может думать такое про ее маму!..

Рыгориха не давала Ане сидеть с матерью, то и дело придумывала какую-нибудь работу...

Эх, к чему все это вспоминать! Аня медленно перевязала на голове платок, встала со сна, выпила из кувшина теплой, певкусной воды и снова принялась за работу.

...После полудня Аня пошла в лес за ягодами.

Хорошо летом в лесу! Стоит томительная, с густым запахом сосен и ягод тишина. Дремлиют игольчатые лапки на соснах; как роса, блестит на деревьях смола. На полянке красные россыпи земляники. Крупные, как

клубничные, головки земляники устилают ярким огнем землю.

Аня собирает ягоду за ягодой в плетеный лозовый короб, время от времени кладет ягодку в рот. «Здесь можно быстро набрать полный короб,— подумала Аня. — Вероятно, никто и не ходит теперь сюда».

Аня знакома в этом огромном бору почти каждая поляпка, каждая тропинка. Она еще ребенком, бывало, целыми днями пропадала в лесу, замирая от страха, ходила по темным тропинкам, забиралась в трудно проходимую чащу.

Ей чудились за деревьями страшные привидения, волки, медведи, по непреодолимая сила влекла ее дальше, вглубь.

У поляны на хвое и на траве Аня вдруг заметила вмятины — следы от сапог. Несколько ясных отпечатков увидела на песчаном клочке земли. На сапогах были подковки...

Позади хрустнуло. Она оглянулась. На нее смотрел высокий человек в военной форме, с портупеей через плечо, без фуражки. Белокурые густые волосы резко выделялись на красном от загара лбу.

Человек усмехнулся.

— Добрый день!

Подождал и взял из короба горсть ягод.

— Вкусные ягоды! — похвалил он, быстро пытливым взглядом окинув Аню.

— Берите еще, — предложила Аня.

Воспый молча взял из корзинки еще горсть и стал бросать в рот ягоду за ягодой. Он был небритый и от этого казался пожилым.

— Хорошие ягоды. А у нас, пожалуй, лучше.

— Где это у вас?

— Там. — Человек махнул рукой куда-то в сторону. — Далеко... Откуда вы? — глядя прямо в глаза, с дружеской ноткой, спросил он.

— Из Чаплич.

— Из Чаплич? Далеко отсюда до них?

— Километра два.

Он поинтересовался, есть ли в селе немцы. Ответив ему, Аня показала рукой на восток:

— Туда идете?

Человек кивнул головой.

— Где тут лучше пройти на Полоцк?

Аня ответила. Она почему-то сразу же почувствовала, что это свой, что ему нужна помощь, и без всякого колебания предложила:

— Я могу вас проводить.

Человек ничего не ответил; он, видно, не знал, верить или не верить этой незнакомой девушке, которая сама спрашивается идти в опасную дорогу.

А девушка продолжала, словно все уже было решено:

— Вы останетесь здесь. Или нет, лучше пройдем ближе к селу. Там в лесу есть одно местечко — никто не увидит. А я пойду домой, отнесу ягоды, скажу сестре, чтоб не ждала и не тревожилась... А вечером мы пойдем. Ладно?

Не дожидаясь ответа, Аня подняла короб и повесила через плечо. Она не любила медлить.

— А если я тебя сейчас отведу в полицию? — Человек взял Аню за руку. — Может, я провокатор?

— Вы — провокатор? Вы лейтенант, попали в окружение... Здесь где-то скрываются несколько ваших бойцов.

Лейтенант удивился, но старался не выдать этого.

— Почему вы так думаете?

— Потому, что здесь есть не только ваши следы, и еще потому, что плох тот лейтенант, который остался один. А вы, кажется, не такой... А то, что вы меня пугаете, это потому, что не уверены, не верите мне... Не бойтесь, я не подведу!

И человек согласился. Этой блокурой, худенькой девушке нельзя было не верить.

...Вечером, когда совсем стемнело, Аня вышла из села. В условленном месте ее ждал лейтенант с пятью бойцами.

Бсю ночь без остановок шли они по лесным тропинкам, а то и просто по полю, минуя деревни, вражеские полицейские посты. Когда начало рассветать, они были уже на опушке леса, вблизи небольшого местечка, километрах в тридцати от села.

— Дай руку, сестра, — сказал один из бойцов. — Спасибо тебе... Остаюсь жив — не забуду.

Он помолчал, видно, хотел еще что-то сказать, но ничего не сказал, а так сжал Анину ладонь, что у нее запылились пальцы.

Затем стал прощаться лейтенант.

— Спасибо, Анна Ивиповна,— проговорил он. — Думаю, не ошибусь, если расскажу тебе. В лесу за Поставами я спрятал винтовки. Люди погибли. А винтовки я подобрал и закопал. Может, потребуются кому-нибудь из наших — отдай их.

Лейтенант вынул из кармана листок бумаги.

— Здесь написано, как найти то место.

Он передал Ане бумажку, застегнул карман и повернулся к своим.

— Пошли!

Они быстро скрылись в росистых кустах.

Когда Аня осталась одна, ей стало вдруг грустно, словно она рассталась с лучшими друзьями.

Часа два Аня отдыхала еще в лесу, пробуждавшемся от ночной тишины, а потом, когда солнце взошло, двинулась в обратный путь. Бессонная ночь и тридцатикометровый переход давали себя знать. Болели ноги, и она несколько раз присаживалась отдохнуть.

Домой Аня добралась только к вечеру.

3

Шли дни, однообразные, необыкновенно длинные и пустые. Аня ходила на поле, на огород, и вслед за ней ходило ощущение одиночества, оторванности и беспокойства о том, что надо что-то делать — для тех, кто на фронте, для того великого дела, которое, она знала, ждало ее.

Где хлопцы? Где Андрей Витковский? Вот кого бы найти, вот кто дал бы ей дело...

Но проходили дни — скоро будет неделя, — а Аня все одна, одна...

И вот слова пашлось дело.

— Анечка, — взволнованно зашептала Арина, — в жите три красноармейца. Раненые лежат.

— Где в жите?

— На нашем поле, у трех берез.

— Ты никому не сказала об этом?

— Никому.

— Хорошо!.. И не говори никому.

«Надо помочь им», — подумала Аня. Эта мысль сразу увлекла. Снова появилась забота. Она начнет с этого... А там... а там будет видно, что делать...

— Мы их, Арина, перенесем в наш хлев, хорошо?

Как только стемнело, Аня набросила на голову платок и тихо вышла из хаты. Вслед за ней, стукнув клямкой, вышла Арина.

— Пойду с тобой, — прошептала она и, словно оправдываясь, добавила: — Они же раненые.

Миновали хлев, между зарослями кукурузы и мака, густо разросшегося на огороде, выбрались на пригуменье. У темной стены гумпа Аня остановилась, прислушалась.

За гумном поле. Туда ходить ночью запрещено. Староста говорил, что на это у гитлеровцев есть строгий приказ.

Не заметили ли их? Нет, кажется, не заметили.

Ах, какая тишина вокруг! Неужели только что стемнело? Когда-то, — удивительно, это же было меньше месяца назад, а кажется, давно-давно, — в такие часы село как бы просыпалось после дневной тишины. Вернувшись с поля, наскоро поужинав, собирались девушки и парни у завалинок. Взлетали ввысь в ночном сумраке звонкие, молодые голоса, время от времени беседу вдруг прерывал веселый дружный хохот или визг кого-либо из девчат.

— Пойдем? — Шепотом проговорила Аня.

Арина тихо ответила:

— Пойдем.

Аня спросила у нее не потому, что колебалась, идти или не идти, — об этом не было и мысли. Аня спрашивала, не передумала ли Арина: ведь Арина не одна, у нее ребенок...

«Хорошо, что луна еще не взошла, — подумала Аня. — Надо торопиться».

Чуть ли не из-под ног, как выстрел, вырвался громкий свист. Арина тревожно присела.

Размахивая крыльями, во тьме что-то пролетело.

— Это перепелка, — сказала Аня. — Ах, чтоб тебя!..

Шли бороздой. Шелестящие колосья цеплялись за Анины руки, за одежду, словно просили взять их с собой. Но Аня не замечала их, она была поглощена одной заботой.

Теперь уж недалеко. Теперь уж скоро.

Они сделали еще несколько шагов, и Арина негромко предупредила:

— Сергей, это мы.

Во мраке выросла темная фигура с винтовкой в руке.

— А, сестра! А я думал, что не придешь.

— Я же сказала — приду.

— Мало ли что сказала. Разное бывает...

В жите поднялась еще одна фигура, Сергей проговорил:

— Пойдем, Павел. Степана понесу я. Бери эту...

Он подал Павлу винтовку, взвалил с его помощью к себе на плечо человека, который стонал и бредил.

— Второй день так. Почти без сознания... Совсем ослаб,— сказал Сергей.

Павел невесело добавил:

— Пятна какие-то пошли по ноге и по телу...

Они двинулись к деревне. Впереди — Аня, за ней — Сергей со Степаном, потом — Арина, последним — Павел.

До пригуменья и через огород, осторожно пригнувшись, перебирались по одному. Время от времени останавливались и прислушивались.

Поблизости чернели деревья, высокие, островерхие, и низкие, приземистые, они тихо, но беспокойно шумели.

И вот они уже в хлеву, на сеновале, окутанные тьмою и душистым, щекоотливным запахом сена. Двое лежат, а Сергей сидит рядом с Аней. Арина пошла в хату, беспокоясь, не проснулась ли Лорка.

— Сестра,— прошептал Сергей,— как ты думаешь, Степан поправится?

— Завтра посмотрю рану... Тогда виднее будет.

— Эх, вылечить бы его поскорей! Нельзя нам здесь сидеть.

— Что же, пусть он пока останется у нас.

— Нельзя, сестра. Мы с ним на одном самолете летели. Вместе горели... За Сморгонью было дело. Мы с ним вместе от гитлеровцев отбивались. Там ему и повредили ногу. Я его на своих плечах, может, несколько десятков километров тащу. Даже сам удивляюсь: с чего я таким выносливым стал? Это же не шутки — целый бомбардировщик, можно сказать, на шее,— невесело пошутил Сергей. — Он у нас в части был чемпионом по боксу в тяжелом весе.

Аня молча слушала. Ей было приятно слушать этот хриплый, слегка насмешливый голос летчика; это был такой же человек, как те, с которыми она разделила горечь отступления, боль утраты. И она почувствовала себя так, как там, у танкистов. Те же привычные обязанности.

А главное — дело, важное, необходимое.

— Сестра, ваши далеко?

Он так говорит, что не поймешь, сообщает ли он или спрашивает. Вероятно, спрашивает. Что ему ответить? Сказать правду, что гитлеровцы уже за Полоцком, или обмануть?

Нет, такого нельзя обманывать.

— Далеко.

— Вероятно, уже возле Полоцка?

— Дальше. Полоцк у них...

В хлеву постепенно светлело, сквозь щели прорезались белые острые пожи света — взошла луна.

— Надо идти в хату. — Аня поднялась.

— Сестра, принеси махры... Скребет что-то в груди.

— Принесу.

Она приоткрыла ворота. Только бы не заскрипели... Выглянула в щель — никого, тишина. Протиснувшись, закрыла хлев, минуту постояла в тени под навесом. Теперь можно идти.

4

На следующий день Аня осмотрела Степанову рану. Правая нога, на которой, выше колена, гноилась рана, распухла и покрылась фиолетовыми пятнами; от рапы исходил тяжелый запах гниения; пятна были и на бедре. Степан бредил.

«Гапгрена».

Она поняла, что уже поздно, что она бессильна помочь чем-либо, и ей стало горько.

— Он поправится? — тревожно шепнул Сергей, настороженно взглянув на Аню.

— Поправится... — Аня смутилась и начала торопливо перевязывать рану.

Окончив перевязку, она, не глядя ни на кого, ничего не говоря, стала спускаться по лестнице вниз. Сергей сошел вслед за ней.

— Плохо?

— Очень плохо. Он безнадежен.

— И ничего нельзя сделать?

Аня не ответила. Взяла пустое ведро и вышла во двор. Весь этот день она была словно оглушенная. Несколько раз навещала Степана. Ему становилось все хуже и хуже.

Вечером он умер.

Сергей, положив тело товарища на спину, вынес его в поле, к тем трем березам, где они укрывались вчера. Аня принесла лопату.

Рыли могилу и хоронили Степана молча. Павел почти все время курил.

— Ну, пойдем дальше? — сказал Сергей Павлу.

— Пойдем. Чего же сидеть...

Они не захотели, чтобы Аня провожала их: сами найдут дорогу, карта и компас есть.

5

И снова потянулись дни, томительные, длинные. По-прежнему она ходила на поле, в лес и все ждала, ждала, что все это изменится, что найдется дело, настоящее дело.

Однажды под вечер в село заехала вражеская колонна. Три солдата, о чем-то разговаривая и смеясь, направились в их хату. Арина в испуге замерла. Один солдат, высокий, с острым подбородком, приказал дать ведро. Аня следила из окна, как он, вытянув ведро из колодца, стал заливать воду в машину.

Когда он вернулся, поставил ведро на скамью, Аня спросила:

— Далеко фронт? — Заметив, что солдат не понял ее, добавила: — Советы, большевики далеко?

— Далеко, — ответил за него другой, молоденький, голубоглазый.

— Смоленск есть немецкий, теперь скоро Москва. — Первый солдат ударил себя кулаком в грудь. — Будем скоро там.

«Неужели Смоленск уже взяли? И на Москву идут? Быть не может», — думала девушка.

Хоть она и не хотела верить этому, но на душе было тревожно.

До полуночи Аня разговаривала с Ариной, перебирая в памяти то, что было, пытаясь представить, что будет.

— Ты подожди. Видишь, что творится, — успокаивала сестру Арина. — Тебе что? Ты девушка... Что ты можешь сделать?

— Не могу я так сидеть, Арина! Не могу!

— А ты потерпи... Пора теперь такая, что живи да оглядывайся. Голову потерять недолго. Еще слава богу,

что не цепляются к тебе, все же знают, что ты учительница.

— Не могу я так! Не могу, ты понимаешь?

Утром Арина прибежала от соседки и, встревоженная, рассказала, что на дороге около Купин подорвали машину, — девять гитлеровских солдат убито.

Аню эта весть взволновала по-своему. Значит, есть люди, что не теряют напрасно времени, не сидят так, как она. Где они, как их найти?

Снова вспомнила об Андрее Витковском. Как с ним связаться? Отца его уже нет... Кто же может знать про Андрея? Тетка?

Вернувшись в сумерках с поля, она зашла к Андреевой тетке.

— А кто же его знает, где он, висельник, бродяга?! — злобно размахивая рукой, чуть ли не кричала тетка. — Оп и отца до гибели довел.

— Не знаете? — не поверила Аня; ей показалось, что старуха ругается неискренне.

— Вот что! Если тебе жизнь наскучила, то ты как хочешь! А меня не трогай!

Аня поговорила еще с одной женщиной, муж которой когда-то дружил с Андреем и, вероятно, скрывался где-то здесь поблизости. Женщина тоже как будто ничего не знала о Витковском. Несколько раз Аня ходила в лес в надежде встретить кого-либо из тех, с кем ей так хотелось увидеться.

И вот когда она уже почти потеряла надежду разыскать следы партизан, Андрей объявился сам.

Это было вечером. Аня, подоив корову, вышла из хлева. Кто-то тихо окликнул ее из темноты. Она поставила ведро и зашла за угол хлева.

— Кто здесь?

Она узнала его по голосу, но еще не верила, — очень уж долго ждала!

— Добрый вечер, Аня, — спокойно сказал Андрей.

Аня столько думала о нем, столько раз мысленно говорила с ним, а тут все слова куда-то исчезли. Он заговорил первый, стал расспрашивать, почему вернулась, где была все это время, что делала.

— Я уже несколько дней знаю, что ты вернулась.

— Скверно же у тебя, видно, разведка работает.

Он ответил:

— У разведки другие задачи.

— Другие?.. Понятно. Но вы уж так запрятались, что вас и своим не найти.

— Зато мы всех кого надо находим... Но я пришел не для того, чтоб спорить. У меня, Аня, дело к тебе есть. Важное дело. Возьмешься?

Аня нарочно помолчала, как бы раздумывая.

— Важное? Какое?

— Надо пойти в город. Мы хотим связаться с нашими людьми, которые там работают. Нам не удастся наладить связь... Сможешь пойти?

— Пойду, — сказала Аня. — Сделаю.

— Учти, Аня, задача опасная. Я тебе дам три адреса. Но будь осторожна. Есть сведения: в эти дни происходили облавы. Можпо паскочить на засаду.

Аня чувствовала этот родной голос и чувствовала не тревогу, а радость, такую, какой она не знала с того времени, как вернулась.

— И, если можно, доставь, Анечка, медикаментов. Бинтов, йоду, еще чего-нибудь, что удастся. До зарезу нужно, понимаешь!

Она кивнула головой.

— Не подведешь? — И добавил: — Не боишься?

Андрей всегда был зазнайкой, а тут стал еще больше задирать нос. Подумаешь, если он партизан, если у него винтовка, то ему можно и обижать ее! За кого он ее принимает? Это она боится?

— Мог бы не говорить глупостей. Скажи лучше, правда, что гитлеровцы в Смоленске?

— Не знаю, Анечка. Газет и у нас нет.

— Гитлеровцы были здесь, хвастались, что заняли Смоленск, на Москву идут. А ты спрашиваешь меня: «Не боишься?» Я здесь... все искала, что бы такое сделать, чтобы стыдно не было, а ты... Эх, ты!

— Не обижайся, Анечка, я так, к слову, — сказал Андрей, словно оправдываясь.

Они стали шепотом договариваться, где и когда встретятся.

Когда он ушел во тьму, Аня еще долго стояла, глядя вслед удаляющейся фигуре.

Она чувствовала, что в ее жизни сейчас произошло то важное, чего она упорно ждала, о чем мечтала.

Кончились поиски. Кончилось одиночество!

СТАЛЬНОЙ ТРОС

Вскоре после Великой Отечественной войны мне пришлось поехать в качестве газетного корреспондента в одну из приморских деревушек. Я увидел здесь кучку серых, побуревших от дождя и ветра домишек, песколькo чахлых деревьев и скудные песчаные поля. Рыбацкая артель получила новые ставные невода и лодки и теперь праздновала это событие. В глазах людей снова засветилась надежда. Бородатые деды усмехались, посасывая трубку, а председатель артели сказал:

— Приезжайте-ка лет через пять — не узнаете нашу деревню! Жить начнем, выползем из-под серых крыш на солнышко.

На следующее утро мы пошли пройтись по деревне. Внизу дышало тяжелое, по-осеннему свинцовое море. Вдали рыбаки испытывали новые лодки. Женщины и даже ребятишки вышли посмотреть на них. У околицы, там где шоссе сворачивало вниз, к самому берегу, мое внимание привлекли развалины сгоревшей избы. По-видимому, здесь когда-то стояла маленькая хибарка, серенькая, под замшелой крышей, с покосившимися углами и подслеповатыми, крошечными окошками, такая, каких было немало на окраине деревни.

— У вас был пожар? — спросил я председателя.

— Это лачуга матушки Тоола, — вдруг став серьезным, ответил председатель. Он остановился у пепелища и обнажил голову, словно хотел почтить кого-то. И, помолчав, добавил: — Вам бы надо послушать эту историю... это будет рассказ о тяжелом прошлом, о тех днях, когда на нашей земле бесчинствовали немецкие оккупанты.

И здесь же у околицы, на давнем пожарище, я услышал эту историю.

Матушка Тоола, вдова рыбака, была старушка лет шестидесяти, маленькая, проворная, вечно в движении,

точно чайка над морем. Двадцать лет назад муж ее, выйдя на лов тюленей, не вернулся с моря. С тех пор матушка Тоола жила одна с сыном, большим и сильным парнем, который тоже был рыбаком, как его отец, дед и прадед.

Теперь Айнтс стал кормильцем. С тринадцати лет он ходил в море, хозяйничал в убогом домишке на побережье, открытом всем ветрам.

Безвременная гибель мужа заставила мать еще крепче привязаться к сыпу, еще больше о нем заботиться, окружить его суровой любовью, свойственной таким вот маленьким, морщинистым поморянкам. Все эти двадцать лет Айнтс оставался для нее ребенком, малышом, который так и не стал взрослым; она ждала его темными ночами, затеплив на окошке мерцающий огонек, а когда наконец встречала вернувшегося, руки ее дрожали — руки матери, истомленной ожиданием.

Настали тяжелые дни оккупации.

На побережье приехал на мотоцикле грузный белобрый унтер-офицер с обрюзгшим лицом и рыбьими глазами. Он отдавал приказы, распоряжался ловом, забирал большую часть рыбы для немцев. Иногда он бывал пьян, правда, почти не пошатывался, только глаза краснели и застывший взгляд всюду искал врагов. Он знал, что его ненавидят. И в пьяные минуты это сознание порождало в нем какой-то неотвязный, непреодолимый панический ужас. Этот страх особенно разрастался, когда немец оказывался один на открытом побережье или ехал ночью проселком. Иногда он просто замирал от ужаса, увидев колеблющуюся тень от сетей или услышав над головой шелест листьев.

Однажды в сумерки, когда он, держа револьвер наготове, пронесся на мотоцикле через деревню, у самой околицы из густой тени домов перед ним возникла высокая фигура. Он разрядил в нее револьвер и, не оглядываясь, промчался дальше.

Это был Айнтс, сын матушки Тоола, возвращавшийся с берега.

Когда соседи внесли раненого в избу, мать бросилась к нему на грудь. Она обхватила его руками, зарыдала душераздирающим голосом, стала рвать свои редкие седые волосы, выкрикивая бессмысленные слова. Соседям показалось, что матушка Тоола лишилась рассудка. Что-

то надломилось в ней, она была воплощением отчаяния, эта маленькая женщина с побережья.

На другой день Айтс умер.

Похоронили его тихо, почти незаметно, как повелось в те тяжелые дни. На могилу пришли немногие, большинство предпочитало держаться подальше от этого происшествия. Но вечером во всех окошках деревни мерцали свечи. Это был старинный обычай: когда-то в давние времена люди также зажигали огоньки на окнах, если в открытом море боролся со штормом обреченный на гибель корабль. Эти огоньки были как успокоительная молитва о душах погибших.

И теперь эти древние язычки пламени снова мерцали в каждом окошке.

Матушка Тоола увидела их, и из глаз ее полились слезы.

Но в то же время стан ее распрямился, голова гордо откинулась назад, холодной сталью блеснули серые глаза. Она одиноко брела по деревне, и прохожие слышали, как она бормотала:

— Спасибо тебе, отец Кивира... спасибо тебе, семья Лаутре... спасибо тебе, тетушке Элизе... спасибо, хозяин Лооди. Айтс этого не забудет.

И она склоняла перед каждым огоньком свою седую голову, словно за каждым окном стоял человек и слышал ее шепот.

С той поры в деревне стали говорить, что матушка Тоола немного помешалась.

Она часто бродила по берегу, словно чего-то искала. Но берег был пустынен, лишь ветры проносились над ним и волны плескались о камни. Иногда она останавливалась, выкапывала камень из песка и приподнимала его. Но тотчас же снова бросала на землю — камни оказывались либо слишком легкими, либо слишком тяжелыми для ее угасшей силы. Но если она находила подходящий камень с острыми зубчатыми краями, который в сильных руках мог бы стать страшным оружием, она подолгу его разглядывала. А потом роняла на землю, и вокруг ее рта ложились горькие, покорные складки. В эти минуты казалось, будто она нашла то, чего искала, но чувствует себя слишком слабой, беспильной выполнить замысел, который жег ей душу.

Потом матушка Тоола перестала искать камни.

Она бесшумно двигалась по всей хижине, заходила в клеть, в сени, обходила вокруг хлева, зорко вглядываясь во все. В кухне валялся топор, старый, ржавый финский топор, которым с незапамятных времен кололи дрова. Его сбитый обух и тупое лезвие не нравились матушке Тоола. Во дворе стояли вилы, косы — те совсем не годились. За сарасм висел лом, но и он не отвечал ее цели. Все это были убогие, негодные, случайные орудия; горящие глаза и сердце матушки Тоола не доверяли им. Она страстно искала способ верный, безошибочный, как пуля, что бьет без промаха, пущенная метким стрелком.

Однажды вечером она пришла в избу деда Кивира.

Дед был один дома. Слабый отсвет огня из топившейся печки красноватыми пятнами ложился на пол. Старый охотник на тюленей грел у огня свои натруженные руки. Увидев вошедшую, дед удивленно поднял голову и сказал, указывая на скамью:

— Садись, матушка Тоола.

Она села и долго молчала, словно ждала, пока огонь в печке погаснет. Потом спросила со своей скамьи, почти погруженной в сумрак:

— Хозяин, ты когда-то был самый знаменитый тюленщик на все побережье?

Дед кивнул в ответ:

— Было дело.

— Мой муж рассказывал, что у тебя есть такое ружье, из которого можно попасть тюленю в глаз за полторы сотни шагов.

— Да, и это было, — снова ответил дед.

Потом оба молчали, пока печка совсем не погасла. Только угольки еще тлели, красивые красные угольки, словно воспоминания о чем-то далеком. И наконец, словно додумав свою думу, дед Кивира проговорил:

— И к чему ты обо всем этом спрашиваешь, матушка Тоола? Наш с тобой разговор — как эти потухающие угли. Теперь бы я, верно, не смог и с тридцати шагов попасть в тюленя, а ствол ружья источила ржавчина, стал он тонкий, как бумага; не знаю даже, выдержит ли выстрел. В стрелки мы уже не годимся — ни я, ни мое старое ружье.

В печке погасли и последние угольки. Стало темно, и комната показалась низкой и тесной, как ящик. Матушка Тоола поднялась, постояла немного и сказала:

— Ну что ж, надо мне идти. На дворе уже ночь. Еще споткнусь и упаду, ноги у меня теперь не такие крепкие, как раньше.

— А руки еще слабее,— отозвался из темноты дед.

Матушка Тоола пошла на этот раз берегом. Сквозь тучи проглядывала полоска месяца, бледный осколок, точно потухающий фонарь. Тропинка едва виднелась, но некоторые камни на берегу казались совсем белыми. К своей лачуге она стала подниматься по каменистой дорожке. Но едва сделала несколько шагов, как что-то больно ударило ее под подбородок, прямо в шею. Матушка Тоола упала, резкая боль обожгла правую руку. И она стала в темноте искать то, что так неожиданно сбило ее с ног. Это оказалась натянутая между двумя кольями веревка.

— Веревка... самая обыкновенная веревка... — прошептала она, ощупывая веревку, словно какую-то диковину.

Потом, позабыв обо всем остальном, она торопливо пошла к дому.

Брач забинтовал рапепую руку, матушка Тоола носила ее на перевязи. Кость оказалась сломанной, и люди считали, что у такого старого человека она и не срастется как следует, работать этой рукой уже нельзя будет. Но матушку Тоола это не пугало. Она повеселела, в ней светилось какое-то торжество. Словно она в конце концов нашла то, что так долго искала на берегу, в своей лачуге, в сумрачной избе деда Кивира.

Через два месяца она уже могла немного двигать пальцами. Тогда она спустилась на берег, к лодочным сараям, где рыбаки как раз докуривали свои вечерние трубки.

— Люди добрые, дайте мне кусок стального троса,— сразу попросила она.

Рыбаки взглянули в глаза матушки Тоола. Они знали о ней многое, знали, что сжигает ее сердце, угадывали ее тоску, которая долгие месяцы заставляла ее метаться и искать утolenия своей боли.

— А зачем тебе трос? — спросили рыбаки.

— Буду в хозяйстве порядок наводить,— огрызнулась старуха.

— Нет здесь никакого троса,— ответили рыбаки и стали расходиться по домам.

Только дед Кивира замешкался в сарае. Когда все разошлись, он вытащил откуда-то кусок тонкого стального троса длиной в две-три сажени и выбросил его за дверь сарая. Потом продолжал возиться, перетаскивая с места на место какие-то ненужные вещи, а сам слушал, как торопливые шаги матушки Тоола удаляются по каменной тропинке. Выйдя из сарая, он увидел, что троса за дверью уже нет.

Теперь матушка Тоола часто стояла у порога своей лачуги. Как раз здесь проходила дорога, по которой повозки спускались на берег. Здесь проезжал и немец, этот белобрысый носитель власти, с обрюзгшим лицом и рыбьими глазами. Казалось, он стал еще трусливее, чем раньше. Теперь его всегда сопровождали два солдата, пешие; иногда один из них сидел за его спиной на мотоцикле. Обычно к тому времени, когда «тресковый глаз» приезжал на своем мотоцикле на берег, его спутники уже были там.

Матушка Тоола часто видела, как быстрый мотоцикл прорезал шоссе. Он пролетал мимо все как ветер и исчезал на берегу, а по вечерам — в темнеющей улице деревни. А за ним, подымая на шоссе пыль тяжелыми сапогами проходили двое с ружьями. Было время осеннего лова, и они появлялись в деревне каждый день. Иногда оставались до сумерек, до темноты, пока не заканчивали свои дела.

Об этом знали в деревне все, знала об этом и матушка Тоола. И, стоя в воротах, она поджидала, что-то прикидывала в уме, настороженно смотрела на пронесившийся мотоцикл сквозь щелочки прищуренных глаз. Иногда она оказывалась настолько близко от мотоцикла, что ветер развеивал ее юбку. Немец, проезжая, что-то кричал ей и грозил револьвером, но матушка Тоола не обращала на это внимания. Она подходила к воротам и делала на столбе какую-то отметку. Эта отметка приходилась немного выше ее груди, а человеку, сидящему на мотоцикле, она пришлась бы как раз под подбородком.

И однажды вечером это случилось.

Были уже сумерки, когда мотоцикл отъехал от берега. Немец торопился. Он крикнул что-то своим спутникам и дал газ. Мотоцикл пронесся по темной дороге в гору, свернул направо и помчался к деревне. И тут вдруг раздался странный звук, точно пила срезала гнилое дерево.

Мотоцикл отлетел влево, в канаву, а немоц скатился на дорогу.

Прибежали его спутники, решив, что случилась авария. Они попытались поднять унтер-офицера и вдруг увидели, что у него полголовы словно отрезало. Здесь произошло что-то непонятное, страшное, чему они не могли найти объяснения.

И в эту минуту в нескольких шагах от них раздался смех, потрясающий, вырвавшийся из глубины души смех.

Это, стоя у своих ворот, смеялась матушка Тоола.

Председатель рыбацкой артели закончил свой рассказ так:

— Фашисты нашли протянутый через дорогу стальной трос и тут же застрелили матушку Тоола. Потом подожгли ее лачугу, и теперь на этом месте одни обгорелые развалины. Но в ту ночь в каждом окошке мерцал огонек... за упокой души матушки Тоола.

ЮРИЙ НАГИБИН

БАГАНОВ

—... То было летошний год. Еще Ваганов с нами воевал,— сказал старшина Гришин.

— Никифор Игнатьевич, а где сейчас Ваганов? — спросил Коля Куриленков, пятнадцатилетний кавалерист, сын эскадрона.

Худое, как будто вылущенное лицо Гришина с вислыми усами стало нежным.

— Алеша Ваганов врага в самое горло грызет. Он зверек не нам чета. У него война особая...

— Да ведь Ваганова убили под Архиповской,— сказал я, но осекся под тяжелым взглядом Гришина.

— Эх, товарищ лейтенант, молодой вы еще, и тако слова... Нешто Алеша Ваганов даст себя убить? Это ж подстроено все для военной тайны...

Высокий кабардин Гришина, подкидывая спутанные ноги, приблизился к хозяину и тонкой нервной губой шлепнул его по уху.

— Балуй, чертов сын...

Гришин повернулся на локоть, ухватил замшевую губу кабардина, тряхнул и отпустил. Кабардин засмеялся, обнажив розовые десны и белую кость резцов, высленных травой.

— Вы, товарищ лейтенант, у нас без году неделя,— стараясь быть вежливым, продолжал Гришин, но взгляд его выдавал затаенный гнев,— а я Ваганова на коня садиться учил. Вот на этого самого Чертополоха. Нет у меня права военную тайну разглашать, а все же скажу: воюет Алеша в самой неметчине, бьет врага в спину, нам путь облегчает. Вот...

Гришин поворошил золу потухшего костра, достал уголек и раскурил трубочку. Махорка, которую он получал из дому, отличалась невероятной крепостью. У меня заслезились глаза, а Коля Куриленков зашелся в над-

рывном кашле. Гришин хлопнул его ладонью по узкой мальчишеской спине.

— Очнись, браток! Вот так конник: дыму не сносит! Накось, затынись разок.

Куриленков, с налившимися от натуги глазами, взял двумя пальцами трубку. Из мундштука выползал тоненькой струйкой дымок. Губы Коли скривились.

— А Ваганов курил? — спросил он с решимостью.

— Ваганов никакого баловства себе не позволял...

— Ну и я буду, как Ваганов, — поспешно сказал сын эскадрона.

— Кури, все равно таким не будешь. Как Гладких будешь, как я будешь, если, конечно, поработаешь над собой хорошенько. Вагановым родиться надо. Мы люди простые...

В словах Гришина звучала такая вера, такая убежденность в том, что Ваганов жив, что и показался самому себе мелким человеком...

Ваганова убили под Архиповской во время прорыва фронта. Увлеченный преследованием, он ворвался в деревню, занятую неприятелем. С ним был товарищ. Они могли спастись, но под товарищем убили лошадь. Он был схвачен гитлеровцами, прежде чем успел встать на ноги. Ваганов вернулся, чтобы умереть вместе с ним. Дрался он отчаянно. Уже мертвого, его всего истыкали клинками, танк протачил по его телу свою гусеницу. Ваганов был так изуродован, что никто не мог его признать, когда через час с небольшим в деревню ворвался эскадрон, ведомый самим генерал-майором Башиловым. Ваганова опознал лишь сам Башилов, его приемный отец. С бледным лицом, сведенным страшной гримасой боли, и пустыми глазами Башилов опустился на колени и поцеловал сына в обезображенный рот. Стянул с плеч бурку и осторожно, словно боясь разбудить, укрыл его.

В конце деревни еще слышалась стрельба — группа гитлеровцев засела в церковном подвале. Башилов поднялся с колен, коротким броском руки указал на церковь:

— Вперед! За нашего товарища...

Ваганова похоронили с воинскими почестями, а через несколько дней по бригаде пронесся слух, что он жив. Слух поддерживался и такими ветеранами, как Гришин, не верившими ни в бога, ни в черта, и доверчивыми юнцами, влюбленными в Ваганова.

Слух стал правдой эскадрона, правдой бригады, другой правды знать не хотели...

...Я видел Ваганова однажды. Кавалерийская часть генерала Башилова прорвала застоявшуюся оборону противника, я был «брошен» в прорыв вместе с другими корреспондентами папей фронтной газеты. Как и следовало ожидать, здесь всем было не до нас. Напрасно промучившись с полдня, мы сели в прифронтной деревушке.

Я обосновался в большой чистой избе на краю деревни. Старушка хозяйка принесла горячей молодой картошки, самовар и чайник с настоем «гоноболя». Привычка, но, как всегда, до боли обидна была бедность прифронтной деревни, живущей под огнем в какой-то очумелой покорности, со своими пустыми закутками и обезголосезшими насестами. Источник жизни этих деревень один — воинские части, прохожие и проезжие солдаты и офицеры, несущие с собой надежду, запах жизни, неизменное гороховое пюре и комбижир.

Я выложил свой припас и пригласил старушку к столу. Но она предпочла «сухой паек» и, получив его, скрылась за печку. Я присел к окну и стал пить зелеповатый и цветом и вкусом напоминающий лекарство чай.

Под окном росла береза. Она была расщеплена миной, половина ее, черная и засохшая, умерла, другая, склоненная к земле, зеленела свежим глянцевым листом. Под этой березой на скамейке собралась компания: танкист в промасленном комбинезоне, с гармонью на потертом ремне, белобрысый сапер, два шофера со свежими розовыми лицами в черной рамке отмытой к вискам и шее грязи, несколько девиц в цветастых платьях и калошах. Выходя на круг, девицы снимали калоши, оттопав положенное, снова надевали их и отходили в сторону. Из кавалеров неплох был белобрысый сапер. Но то ли гармонист был лишен огонька, то ли танцоры вяловаты, а только в пляске не чувствовалось размаха, она казалась бледной и патужной, как повинность.

Подошла хозяйская дочка и тяжело, с ленцой, опустилась на лавку у окна. У нее было большое красивое лицо. Казалось, она ощущает свою красоту как бремя. Усталость чувствовалась в ее чуть опущенных плечах, тяжелых веках, более смуглых, чем щеки и лоб.

— Что же вы не танцуете? — спросил я.

— Очень нужно, — ответила она, не повернув головы.

Она глядела мимо пляшущих, на потонувший в рос-
лых травах погост с тремя светлыми, белесо-матовыми
липами, словно испугавшимися в молоке.

По правую руку широкая деревенская улица вылива-
лась в большак. Близ устья большака голубела огромная
лужа, в которой с надсадным воем, похожим на гуд пче-
линого роя, тонул тупорылый «студебеккер». Два всадни-
ка, расплескав лужу, вынеслись на околицу и, завернув
коней, осадили их у нашего дома.

Один из них, кургузый, спешил, кинул поводья
своему спутнику и, грузно переваливаясь на толстых но-
гах, заковылял к двери. Испуганно охнула, сорвавшись
на низах, гармонь, вскочил танкист, отдавая честь. Как
пружиной подкинуло с присядки белобрысого сапера.

— Отдыхайте, отдыхайте! — ворчливо бросил тучный
кавалерист.

Шаги его глухо прозвучали по земляному полу сеней,
распахнулась дверь, и я увидел красное лицо, сердитые
глаза и кургузую, с наклоном вперед, фигуру грозного
генерала Башилова.

Я встал.

— Кто такой? — недовольно, в упор спросил, словно
выстрелил, Башилов.

— Из фронтовой газеты...

— Писатель, — усмехнулся он, показав крупные жел-
тые зубы. — Харчуйтесь, писатель.

— Может, мне уйти, товарищ генерал?

Сердитые глаза Башилова набухли кровью.

— Сказано, харчуйтесь! Помешаете, сам выгоплю!

Вскоре он вышел в голубой трикотажной рубаше и
брюках с лампасами. Наклонив голову под поршеньек ру-
комойника, стал поливать шею с толстым вздутием у
затылка, покрхтывая и ворча. Казалось, он чем-то не-
доволен и раздражен: вода ли недостаточно холодная,
рукомойник ли слишком скупо выпускает воду.

Дверь распахнулась, в горницу стремительно шагнул
высокий кавалерист, прибывший вместе с генералом. Кры-
ло бурки зацепилось за косяк, полы разлетелись, обнару-
жив в своем нутре тонкую, как тростина, юношескую
фигуру.

— У Рябчика ссадина на цевочке, товарищ гене-
рал! — сказал он звонко.

— А я тебе что говорил? Подорожнику надо прило-
жить.

— Сделано, товарищ генерал! — блеснул тот радостной улыбкой.

Генерал, ожесточенно вытиравший суровым полотенцем лицо и шею, вместе с высоким кавалеристом прошел за печь. Я услышал их тихий разговор.

— Испугался я нынче за тебя, Алеша. Больно уж ты горяч...

Этот голос, как будто вобравший в себя все тепло мира, поразил меня. Неужели обладатель его тот самый Башилов, чей ворчливо-недовольный бас я слышал несколько минут назад?

— Ну что ты, отец. Ты же знаешь, меня пуля не берет!

— Не берет, не берет... А только смотри, ты у меня один, — с тресчинкой хрипотцы сказал голос.

Скрытая нежность — эта обычная изнанка суровых душ — казалась мне поразительной в Башилове. Один из самых лихих рубак конного корпуса, Башилов был уважаем всеми, но никем не любим. А между тем он обладал всеми качествами, которые привлекают к командиру сердца подчиненных. Он был заботлив, справедлив и совершенно не мелочен в своей требовательности. Нигде не жилось солдатам лучше, чем в бригаде Башилова, но он был замкнут и суров. Говорили, что Башилов потерял семью в первые дни войны...

Ваганова генерал подобрал на Полтавщине, когда бригада с боями вырвалась из окружения. Ваганов спал в придорожной канаве, положив голову на кулак, рядом с ним валялось странное самодельное оружие: кухонный нож, всаженный в длинную толстую палку. Мальчишка дрожал и плакал во сне, но, разбуженный прикосновением руки генерала, сразу вскочил, схватился за свое оружие со злобным блеском мгновенно проснувшихся глаз. Оказалось, он поджидал гитлеровцев. Поджидал двое суток и, не выдержав, уснул. Его мать и сестренки погибли от вражеской бомбы в доме, когда он лежал на огороде, чтобы лучше видеть бомбежку. Говорил мальчишка неохотно, каждое слово приходилось рвать из него чуть не клещами.

— Пропадет малец зазря, — сказал адъютант генералу, — может, возьмем его с собой?..

Генерал ничего не ответил, он только хмуро пощипывал жесткую щетину усов. Зато сказал Ваганов, бледны-

ми страстными глазами дерзко глядя прямо в лицо генералу:

— Вы тикаете — и тикайте! А мне фашистов убивать надо!

— Дурак, — с удивившей адъютанта мягкостью проговорил генерал, — убивать вышел, а сам дрыхнешь в канаве. Да и кого ты такой вот убьешь? Идем с нами, мы тебя научим воевать. Это вот, — он тронул висящую на боку шашку, — получше твоей орысины.

Мальчишка с жадностью взглянул на шашку.

— А мне такую дадите?

— Покажешь себя — свою отдам!..

Два мрачных лица: одно совсем юное, со следами недавних слез, другое — сухое и старое, — тронулись улыбкой...

Определив Ваганова во второй эскадрон, генерал, казалось, забыл о нем совсем. Только через год призвал он его к себе, показал свой знаменитый удар, разрывающий человека надвое, и усыновил. В течение всего этого года генерал незаметно для окружающих внимательно следил за Вагановым. Он укрепился в своей начальной догадке, что в этом юноше горит огонь более сильный, чем в других оскорбленных душах...

— Все-таки побереги себя, Алеша, — говорил генерал. — Не век же тебе убивать. С твоей дупой далеко шагнуть можно.

Я не слышал ответа Ваганова, слышал, как генерал спросил:

— Неужто не перебродил еще?

— Нет, — со смехом ответил Ваганов. — Разгуляться не пришлось. Заорали: «Гитлер капут!» — и с лошадей долой. Зря шашку вынимал: порубать-то почти и не пришлось.

Ваганов вышел из-за печи и, развязав тесемки, скинул бурку на лавку. Она легла, свернувшись, словно отдыхающий зверь. Ваганов был строен и гибок, как хлыст. Он выглядел щеголем, хотя на нем была самая обычная солдатская одежда, довольно поношенная, с крестиками штопок. Но она так ладно облегалась его тело, так покорно следовала каждому движению мышц, как это никогда не бывает с казенной одеждой.

Все же вначале я увидел только очень стройного и очень молодого кавалериста. Натуру Ваганова я понял чуть позднее, почувствовав исходящую от него, как ток,

нервную, страстную силу, которой была пронизана каждая клеточка его тела.

Скрытое напряжение страсти, его невероятная чуткость обнаруживались даже не в слове, не в жесте, а в чуть заметных волнах крови под тонкой кожей, невольном посверкивании глаз, взмахе ресниц, каких-то нежных теней, пробегающих по его очень юному лицу.

Ваганов вышел из избы и присоединился к танцующим.

— Что так скучно, ребята?

— Давай веселей, если можешь, — отозвался гармонист.

— Да ты не потянешь, — подзадорил Ваганов.

— Оно конечно, нам, псковским, куда до вас, рязанских! — протянул гармонист, вскинул голову и на весь размах растянул мехи. Словно вздохнула от обиды душа музыканта, разом прорвалась к живому звуку. Пошла, пошла гармонь, то обмирая в робком дыхании, то взвизываясь вызовом и задором.

У Ваганова опьянели глаза, он бросился в пляску, как в бой. В его пляске была какая-то печная ожесточенность.

— Давай! — кричал он гармонисту.

А тот, закаменев лицом, все быстрее и быстрее бросал пальцы по клапанам, выламывал плечи, сердясь и изнемогая в борьбе с танцором.

Ваганов ударил о землю коленом перед одной из девиц. Та засмутилась для порядка и вышла на круг, заломив одну руку к затылку, другую отведя, как для защиты, и поплыла вокруг бешено кидающего в присядке ноги кавалера.

— Ходи веселей! — кричал Ваганов.

— Куда Нюшке против него держаться, — сказала красивая дочь хозяйки.

И, словно услышав эти презрительные слова, Нюшка бочком — бочком вышла из круга. Верно, и она почувствовала свое несоответствие кавалеру.

Ваганов вскочил, развел руками.

— Эх, какой зсе народ холодный!..

Взгляд его упал на наше окно. Лицо хозяйской дочери вспыхнуло. Словно подчиняясь молчаливому приказу, она спустила с плеч шаль и вышла на улицу.казалось, вместе с шалью она сняла и тяготившее ее бремя.

Куда только девалась ленца, вся живая юность радостью вспыхнула в ней.

И все почувствовали: вот два достойных партнера, или, вернее, противника. Это слово точнее определяет характер отношений пары в русской пляске, где вызов ярче соединения, где заман ведет к отстранению, в пляске, пронизанной борьбой, гордостью, непокорством.

Она знала: противник может завихрить ее, сбить, одолеть, как Нюшку, если она попытается сравняться с ним в быстроте. Она пошла плавно и неспешно, уравниваясь с ним в силе чувства, единственно дающего согласие в танце! Одно движение плеча, взлет ресниц — и они равны; притоп ногой, неожиданный с разлетом юбки поворот — и уж не ей, а Ваганову приходится разжигать свой огонь, чтобы не отстать в страсти.

Они были равны друг другу. Он шел всюду, куда она его звала. Путь его был не легок. Горы, реки, пропасти, дремучие леса метала она ему под ноги. Но он не боялся трудных путей. Птицей проносился он над всеми препятствиями и, настигая, кричал:

— А ну еще!..

И ни один из них не уступил в этом поединке. Сдался третий: гармонист.

— Дай пощаду, кавалерист, — сказал он, отнимая от гармони упрелое до красноты лицо.

— Неужто уже все? — спросил Ваганов. — Вишь, я сухой совсем.

— Если ты и воюешь, как пляшешь, ценный ты человек, — сказал белобрысый сапер.

Ваганов засмеялся.

— Ну, воюю я с цельной душой, пляшу с остаточков...

Последнее, что я заметил, отправляясь спать на сеновал, было лицо хозяйской дочери. Прелесть его не замыкалась более в грубой определенности черт, а уходила в простор, как сияние.

Я спал на сеновале. Было за полночь, когда пришел Ваганов. Он был не один. Я услышал тихий разговор.

— Спокойной ночи, хороших снов, — говорил Ваганов, вскарабкиваясь по лестнице.

— Что ж так скоро, Алеша? — с тоской проговорил грудной женский голос.

Ваганов остановился, мне видна была его рука, вцепившаяся в балку.

— Нельзя мне, понимаешь, нельзя. А то пропаду совсем. Я себя ни до какой такой жизни не допускаю...

— Постой, Алеша,— просил женский голос. — Ведь, может, не свидимся больше!..

— Нельзя! — Рука Ваганова сильнее вцепилась в балку. — С вашим братом осторожней надо. А то забудешь все...

— Видать, много вы нашего брата перевидали,— ревниво сказала девушка,— то-то вы такие нежадные...

— Если дождешься, первой будешь.

— Ой ли?

— В глаза погляди — вру я?..

— А долго ждать-то? — спросила девушка, и в голосе ее была печаль и немного насмешки.

— До победы! — Ваганов засмеялся, поцеловал девушку и быстро вскарабкался на сеновал.

Через минуту я уже чувствовал его горячее дыхание около своего лица.

...Ваганов спал, врывшись руками в солому. Сквозь окошко в крыше на него падал зеленоватый свет месяца. Ему спились какие-то сны, он улыбался, вскрикивал, не глухо, как спящий в мучительной душной возне подсознания, а ясно и звонко; раз он вырвал руку из соломы и косо резавул ею воздух. Казалось, и во сне он живет с той же страстной напряженностью.

Под утро пришла хозяйская дочь, босая, на плечах старенький полушубок. Она наклонилась к Ваганову, долго глядела на него, поцеловала его закрытые глаза и сошла вниз...

Я проснулся рано, еще только светало, и подумал, что постыдно упускаю превосходный материал, сам давшийся мне в руки. Но Ваганова уже не было рядом. Я спустился вниз и увидел хозяйскую дочь, строгую, прибранную; она сидела у окна и глядела на дорогу...

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Весна сорок пятого застала нас в подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона сечет сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным почным улицам.

После сырых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь пакаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог, наступления и липкой хляби в испросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешение

ние снега; двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек; белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей, и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки... Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние одолевало от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь промокли от тлеющих под ними ран. Воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей, мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачи и школьники начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергиваем их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинил, — журила умывавшая нас по утрам старая госпитальная нянька тетя Зина. — Все мои велики потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте...

С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и мед-

персонал, и мы, раненные, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже маломальского городишка. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении, среди этих мрачных болот, Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю меня уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, непрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки, с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей, стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его костяк, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, в котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его закрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расплзался незнакомый вкрадчивый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрерывно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подпожию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, уходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как оstriлась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас милосердием.

Обработанный солдат какие-то минуты еще остается в одинопчестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, пачинает тормошить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносила это с механической однотонностью, как, паверное, уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной веревницей лежат за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везут сюда, и многим другим, которые в этот час находятся к западу от сосновой рощи, еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не падает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым, запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат

постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят. Сестра поливает стол горячей водой из голубого домашнего чайника, другая вытирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони...

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и спарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для растопки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным однопутным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежащих и подавали на пары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезала едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на неизвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги, и было щемяще-радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?!», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» И, пытаясь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла про-да-а-ва-ать...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смутный волгарь с татарской раскосиной. В голове его чувствовалась тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Совинформбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне, как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой.

К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед, Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и пикуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак.

Минные осколки угодили ему в тазовую кость, по лежал он легко, ни разу не закричав, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью,

словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температуры, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролежала плоть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворотило, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в круповских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих пахло тленными собственным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя понять и допустить собственную смерть я по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей паивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание... Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое... Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приоверной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то, для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, но страху нагоняло изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, хотя проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлбно переругивались и, упиваясь

паническим бегством врага, хохотали. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом спиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще все ликовало, быть может, в это самое мгновение я все еще хохотал над удиравшими танкистами — и закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями...

— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом».

Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в извозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, если позволяли фронтовые условия — гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много павоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали... — слабым, сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду раз дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел. За четыре-то года... Повида-а-ал...

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же. В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет. Нешто там поймешь... Темень, пальба отовсюдова...

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же.

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда. Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что... Обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало хуже. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром. Он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, обрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таця подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гинуть-то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях. — Дак где ж ее взять... Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как дóбро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам,— догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам,— сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в неподвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, написанными послушавленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон, на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито комиссии, выкроить из этих хромоногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие и там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места были привилегированными: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, кареглазыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалец с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны были и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже коротко стриженный под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу,— рассказывала нянька,— а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сыпок, стоишь, говорю ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном,— разобрав я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поло вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко, спрашивает,— переводил я шепот Копешкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены,— очистившемуся, синему, высокому — чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Домá, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку. Дошкандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших путников, двое счастливчиков — Сасенко и Бугаев почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они забирали курево, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и вином. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и, когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое, в общем-то, открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души сврей развеселой цыганистой трелью, заставляя долго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу.

— Не надо... Что тебе стоит?

— Схватите пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет. — Михай култей обнимал Таню за плечо и подводил к подоконнику. — Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михая обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жарко разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазных, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась. Она продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого. Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последппе дни почему-то особенно донимали, будто па изломе погоды.

От печего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было насторожено — и слух и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник, Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — оп.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: он был строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых случаях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, посивший Золотую Звезду и благодаря

этому получавший всяческие поблажки — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы, в общем-то, догадывались, почему этот казак поднял тарарам: он похаживал в общежитие к ткачихам и не хотел появляться перед серпуховскими девушками в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста. «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по почному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звопарчуком. Его жесткий, сухой бас, казалось, просверливал стены:

— ...выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змінили.

— Все равно смепить, смепить.

— Слухаюсь, Апатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатолий Сергеич, зо всій душою. Всє, що треба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Це можно. У мєни рєктифікату йє трохи.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та яспє ж дило...

Шаги и голоса отдалились. «Бу-бу-бу-бу...»

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лупного света сипими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — и, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как о сук, потерял глазами о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проспись!

Бугаев запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел спастись Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная. Победа, а ты дрыхнешь! Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того парвался. Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязапа... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы, — окликнул Бородухов. — Гипсы поломасте.

— А, хрен с ними! — тряхнул головой Саенко. Он дурашливо заплесал в проходе между койками, нарочно приотпывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковал...

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубном, шахматной доской с громыхающими впутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лупной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С пей скрестилась зсленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам!

Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили.

— Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит...

Таня под села к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спите, спите, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино гудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее честыдную одежду — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а то и просто в одном исподнем белье, — повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— А-ай-ай... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношения к войне и победе.

Кто-то снизу заметил высупувшегося Михай, послышался девичий возглас: «Держите!» — и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, забыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие же вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, разглядевшая Михай. — Ох да страдальцы горемычные-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятные-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну, не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечные-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страпа огромная,
Вставай на смертный бой...

Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и пестро, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истошно, выплескивая еще оставшиеся запасы ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острие, пропизывал хор:

Идет война народная-я-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку, и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванни. Небритым кадыком

задвигал Бородухов. Вслед за ним песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас...

Оркестр смолк и сразу же, без роздыха, лихо, весело трубы ударили «Яблочко». Дробно застучали каблук.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?!
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь!

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся пародное пророчество.

И уж совсем разудало, с беговым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, ий-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался.

Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь песмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и с каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестьем по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящевом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаилу и проворно, будто па малое дитя, натянул на безрукого молдаванца гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михаиле сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь позвольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаилу посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — «чину»? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там повенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришил их к широким плечам Михаила.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михаила Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня пайдутся. Какие прикажете?

— Нэ надо... — покраснел Михай, у которого, как мы знали, имелась одна-единственная медаль «За боевые заслуги». — Чужих не надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михаила деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает. Так... Одну секунточку.

Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал спать с ордеями.

— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой погой? Койка буде видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не пужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с памалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находится не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения.

Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув пабекрень кубанку, посмеивается и устранивает перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имею благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не палезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите мапишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверяю вас: все будет хорошо.

Но мапишки, а попросту говоря — нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть прикидывая, какие можно к нему применить декорацию и реквизит, чтобы и этому недвижимому солдату придать бравый вид.

— К нему, дес, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может быть, он желает?

— Ничего он не желает. Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи.

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кешкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел пародом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом, зареванная по случаю праздника, с распухшим носом, тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие, — концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам, сколь носилок пере-

таскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какого супостата одолели, какую юдолю вытерпели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З Победою вас, товарищи! — поздравил он усталым, по-детски топким голосом. — Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядысь.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгнул к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопцы. Нема часу. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывся як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, это вино досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко осторожно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих, разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди.

Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, обещали какое-то таинство.

Минутой-другой каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли... — предложил Саенко.

— Да давайте.

— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой. — Бугаев взял Михаяев стакан. — Ты давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... за Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы посмотрели, как Бугаев, наклоня стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень,— удовлетворенно сказал Бугаев. — Это дело. Ничего, паловчишься... — Он вытер пижамным рукавом Михаяев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофеляину, дал ему закусить. — Я одного такого знал, как ты, так он приспособился: зубами брал стакан за край и высасывал все до доньшка!..

— Вино пить можно. А как его теперь делать будешь? — Михай тряхнул узлами рукавов. — Вину руки пужны.

— Ничего, браток! Не падай духом. Жипка поможет.

— А-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это... — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на пашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки.

Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни,— посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговееется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уже эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что пососок выпить. Сердца у вас пету.

— Все, славяне! Завтра буду проспиться на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поскалп со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — засмеялась Таня.

— Честное гвардейское! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно охмелел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? Нашими дружками будете. Таковую свадьбу сварганим. Эх, и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко, а впизу Волга... Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходá идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Нэ-э, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори!

— Нет, брат. — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино паше пил? Нэ пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую. — Он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду пэ пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Колешкину бульон. — Ну, съешьте еще хоть ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубаше, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая донышко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодку да по Мезени... А пиво я люблю чтоб

с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил задумчиво: — Оно, поди, теперь не из чего варить...

Тапя кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбредило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле», — думал я, слушая разговоры.

Лежали раненные и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думал о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю...

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Копешкин поморщился.

Припрыгал Саенко, поклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну, и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах,

но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Где-то там, в неведомом краю, стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житель, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина она — центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околницей — майская свежесть хлебов. Вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю трепировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый велик. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копешкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с вниманием разглядывал рисунок.

Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку.

Копешкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшегося кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку

Нару, за дальние вечеряющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовав нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копешкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михяевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголодые участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать пенужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую, промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре пестрышпо вошла тетя Зина со строгим, отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную, праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже *ничто*... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое не постижимое нечто, именуемое прахом. И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле? Эта возможность его появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры тайнства, и он наконец

родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытии... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскроют, установят причину смерти и составят акт.

— Ох ты,— проговорила нянька, подняла с пола оброшенную санитарями картинку с копешкинской избой и прислонила ее к иструнутому стакану с вином.

Картинка была моей вольпой фантазией, по теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,— такая и стоит она где-то там, на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о Победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них...

Типшину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил папоследок,— сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном,— сказал Саша.

— Ну... прости-прощай, брат Иван. — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую крахмальную наволочку. — Вечная тебе память...

Оставшееся в стакане вино он разлес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

Елена Павловна была сельской учительницей. Накануне она выехала в район узнать, что ей делать,— приближался фронт, ночью уже видно было, как вспыхивают на западе зарницы.

В отделе народного образования Елена Павловна никого не застала. В исполкоме тоже было пусто. Она зашла к знакомому учителю, но и его не было дома. Все, кто только мог работать, отправились куда-то копать землю, чтобы рвами преградить путь вражеским танкам. Она посмотрела на свои руки — маленькие, но сильные,— и ей стало совестно: в такое время она заботится только о себе.

Когда она ехала обратно, моросил мелкий дождь, по сторонам, над черными полями, низко кружилось воронье, криком нагоняло тоску. Все чаще приходилось сворачивать с шоссе, чтобы дать дорогу автомашинам, за рулем в них сидели люди в военных фуражках. Возница усиленно погонял лошадей.

— А что, Елена Павловна, похоже, в войну въехали?

Сердце Елены Павловны тревожно забилося. То и дело проносились автомашины с бойцами, тракторы тащили орудия, в сторону от шоссе отходил куда-то полувзвод пехоты, на пригорках то появлялись, то исчезали конные. Она соскочила с подводы и робко спросила:

— Неужели?

Мимо проходила группа бойцов, и один, не останавливаясь, сказал:

— Туда не ездите, гражданка.

— А как же... ребенок, мама?

Красноармейцы уже прошли, а Елена Павловна все еще растерянно смотрела им вслед, ожидая ответа.

Возница, старый колхозник, почесал затылок:

— Оде так параграф! Что же теперь робить будем, товаришка учителька?

Видя растерянность учительницы, он сказал:

— Оно так: семь раз отмерь, один отрежь, только до Гитлера я не хочу. Буду возить красноармейцев. Пишите и деда Триполку во фронтовики. — И он повернул лошадей.

Елена Павловна машинально, как во сне, двинулась вперед по шоссе, потом вспомнила, что можно пройти напрямик, свернула в овраг и побежала. Так она вошла в школьный садик. Уже совсем рядом жужжали пули, где-то близко рвались снаряды, но она ничего не слышала. Она думала только о своем Марке.

Когда Елена Павловна вбежала к себе в комнату, мать по-старчески стиснула губы и тихо заплакала. Возле нее сидел испуганный мальчик в матроске, при каждом выстреле он подбегал к окну. Увидев мать, он бросился к ней навстречу.

— Мама, а мы когда поедem? Дядя Костя уже уехал, и все уехали.

Елена Павловна, держась рукой за сердце, упала на стул.

— Собирайте чемоданчик... Марчика надо в шубку одеть, да скорее, наши отходят, — и глянула в окно.

В глазах у нее еще мелькали автомашины, красноармейцы, но на шоссе перед окном движение почему-то прекратилось. Совсем близко стояло нечто чудовищно огромное, забрызганное грязью. На серой стенке четко виднелся черный крест с белыми полосками. Начиная наконец понимать, что произошло, она испуганно оглянулась на мать. Мать сидела неподвижно, она обреченно уставилась на дверь, за которой уже царил другой мир.

Елена Павловна похолодела. Страшно было подумать, что вот сейчас откроется дверь и в комнату ворвутся те, о ком она рассказывала детям как о самых страшных врагах. Они уничтожают все, чем жила и радовалась до сих пор страна. И тут она поняла, что уже нет ни в комнате, ни за окнами Советской Украины, — она отлетела, как прекрасный сон, — есть только черные кресты да солдаты с черепами на касках. Все ее знакомые и друзья, наверное, ушли с Красной Армией, одна она осталась с этими зверями.

Стало до боли тоскливо и пусто. Она завернулась в теплый платок, но лихорадочная дрожь не проходила.

От выстрела танк за окном подпрыгнул, как пес на цепи, и так же загремел цепями. Он бешено лаял на

Красную Армию, которая отходила, по бежать не хотела. Большевики, сделав шаг назад, как обухом по голове, ударили противника и снова делали шаг. Немецкие тапки порывались вперед, но страх перед крепким кулаком заставлял их держаться на расстоянии и прыгать в бесильной злобе. Время от времени они посылали снаряды, и те выли, как псы.

За окном мелькнуло лицо колхозного счетовода Ивана Сидоровича, тихого и услужливого человека. Елена Павловна облегченно вздохнула — не одна она очутилась в таком положении, а на миру и смерть красна. Что-нибудь вместе придумают. Но вслед за счетоводом замелькали штыки. «Так и должно быть,— подумала Елена Павловна,— забрали Ивана Сидоровича, а сейчас придут и за мной».

Теперь эта мысль уже не пугала, хотелось только, чтобы скорее все это кончилось. Точно прощаясь, она еще раз оглядела свою комнату: в ней еще был ее мир, советский.

Рука бессильно опустилась. Посмотрев на мать, Елена Павловна горько усмехнулась. Та молча сновала по комнате, прятала подальше костюмчики Марка. Слезы частым дождем катились по ее морщинистым щекам. За нею, как тень, ходил Марк. Вдруг он обернулся к матери и сказал:

— Бабушка говорит — пропала паша жизнь. Это правда, мама? Теперь немцы будут?

Елена Павловна испуганно замахала на него руками и прислушалась: по коридору гремели тяжелые шаги. Она выпрямилась, поправила платок на плечах и села у стола. Марчика притянула к себе и положила руку на его русую головку.

— Существовать, сынок, еще не значит жить. Кушаться надо,— сказала она серьезно.

Дверь распахнулась с треском, и в черном провале желтым пятном проступило длинное лицо Ивана Сидоровича. Оно усмехалось, и Елена Павловна даже зажмурилась. Показалось, будто ей только чудится, что это Иван Сидорович, но он уже на самом деле вошел в комнату, оскалась в какой-то злорадной усмешке. За ним, как оловянные, не сгибая колен, вошли и стали за его спиной солдаты. Елена Павловна закрыла лицо рукой: в комнате стояли фашисты.

— Не пожелали или не успели, Елена Павловна? — вкрадчиво спросил Иван Сидорович.

Елена Павловна смотрела на него, широко раскрыв глаза, и молчала.

— Значит — не успели. Не удивляйтесь, пани, я этого дня двадцать лет ждал. Дайте молока солдатам... А с этим надо покончить навсегда. — Он махнул палкой по портретам вождей и сбросил их на пол.

Солдаты переглянулись и быстро о чем-то заговорили.

— Молока, слышите! — скомандовал Иван Сидорович, и вся его фигура сразу стала другой: спина выпрямилась, плечи расправились, маленькая голова на тонкой шее откинулась назад, как будто перед ним была не сельская учительница, к которой он не раз приходил просить «книжечек попроще», а гвардейский полк, если не дивизия. Он уже не опирался на палку, а играл ею, как стеком.

Мать выступила из темного угла и сухо ответила:

— Не знаете разве, Сидорыч, что молока в колхозе пынце не выдавали.

— «Сидорыч»... — с брезгливой гримасой повторил он и деланно засмеялся. — Может, и воды нет?

Солдаты все еще стояли у порога и словно обнюхивали комнату. Белобрысый, встречаясь взглядом с Еленой Павловной, ухмылялся, показывая белые зубы. Мать внесла из кухни кружку воды. Тем временем Иван Сидорович лпстал левой рукой книжки, лежавшие на столе, и одну за другой сбрасывал на пол. Марк увидел свою книжечку с картинками и наклонился поднять ее. Иван Сидорович наступил на нее сапогом и, не оглядываясь, ткнул мальчика в грудь концом палки. Марк сморщился и отчаянно закричал:

— Все равно мы уедем, а ты собака и Гитлер!

Иван Сидорович поглядел на него тяжелым свинцовым взглядом и молча запес палку, чтобы ударить мальчика по голове, но Елена Павловна успела отвести удар и крикнула:

— Товарищ, как вы смеете!..

— Я вам не товарищ. Чтоб сегодня в восемь быть в клубе по-нашему, точно. А на ночь примете двух офицеров. Мы знаем, что вы беспартийная, — он скверно усмехнулся, — поладите.

Повернулся на каблуках и вышел.

Солдаты снова заговорили между собой и забегали глазами по комнате. На гвозде висела вышитая сумочка.

С той же глупой усмешкой белобрысый снял ее с гвоздя и сунул за пазуху; второй солдат потянул часы, оставленные на комод. Третий, наступая учительнице на ноги забрызгапными грязью сапогами, начал шарить по углам. Не найдя ничего и видя, что его спутники уже уходят, он потащил со стола скатерть. На пол посыпались оставшиеся книги, письменный прибор и стакан с водой. Из сброшенной чернильницы по полу растеклась черная лужа. Солдат сделал это с таким видом, точно в комнате, кроме него, никого не было. Остановясь перед зеркалом, он покрутил усы, подмигнул своей расплывшейся рожей, схватив шкатулку из ракушек, выбежал вслед за другими.

Елена Павловна упала головой на голый стол. Мать подошла к ней и начала гладить по плечам, вздрагивавшим под платком.

— Говорила тебе — темная душа у бродяги и глаза гадючьи. Он не товарищ... Ничего, вернутся наши... Это ненадолго, а то и жить не стоит.

За окном оглушительно заскрежетал танк, подбросил кверху тупое рыло и, словно припюхиваясь, пополз вперед.

— Чтоб тебя первой пулей пробило, проклятый!.. А на что в клуб? Не ходи, дочка, спрячься лучше. Сказал Марчик — Гитлер, и, правда, того и жди напасти.

Уже смеркалось. Елена Павловна вскочила, смахнула со щек слезы и выпрямилась.

— Теперь никуда не спрячешься, мама, разве что в лес. Присмотрите за Марком, я пойду. Сынок, слушайся бабушку всегда. — И она стала судорожно целовать его.

* * *

Над входом в клуб, как и вчера, покачивался красный флаг, но, когда ветер колыхнул его, Елена Павловна увидела черную свастику, похожую на паука. Крестьяне входили в клуб молча, низко опустив головы, иной только, — должно быть, из тех, кто уже повидал таких же немцев в восемнадцатом году, — иронически усмехался.

В зале Елена Павловна забилась в самый дальний угол. Ей было холодно и невыразимо тоскливо. В оконных стеклах отсвечивало зарево далеких пожаров.

Лозунги и транспаранты были сорваны, стены зияли белыми заплатами. На сцене стоял голый стол, а перед ним, как пес на задних лапах, торчал пулемет.

Иван Сидорович с видом хозяина прошел на сцену и оттуда внимательно оглядел собравшихся. Их было немного, а из сельского актива почти никого. Наконец он заметил учительницу и насмешливо сказал:

— Елена Павловна, вы не прячьтесь, пройдите вперед. Это только при большевиках нас затыкали в угол.

На нее оглянулось несколько колхозников, и в их глазах она увидела и укор, и черную тоску.

Елена Павловна старалась ступать твердо, как обычно, ходила по этим доскам, по пол точно уплывал из-под ног, и казалось, ей никогда не дойти даже до середины зала. Но Иван Сидорович снова позвал:

— К столу, к столу, пани. Будем теперь честно работать.

Сгибаясь под тяжестью взглядов, она вошла на помост. Долговязый офицер с сухим носом стоял уже за столом. Иван Сидорович услужливо подставил ему стул и, выступив вперед, важно заговорил:

— Ну, мужики, дождались мы наконец...

— Мольшаты! — сердито стукнул офицер кулаком по столу. — Я буду разговаривал.

Иван Сидорович растерянно усмехнулся и, утратив важность, послушно спрятался за спину лейтенанта. Офицер снова стукнул по столу костяшками пальцев.

— Всем слушать приказ. Шитайте русский язык, — и протянул вперед белый листок.

Иван Сидорович выбежал вперед.

— Пани учительница охотно исполнит это. Читайте!

Елена Павловна, как осужденная, взяла бумажку. Черные строки расплывались перед глазами, но она все-таки быстро поняла: ей дали читать воззвание к украинским крестьянам, чтобы они помогали немецкой армии и снабжали ее продовольствием. Кровь прихлынула к лицу и обожгла его. Елена Павловна крепче сжала губы и посмотрела на колхозников. Сколько раз она призывала их с этого помоста крепить оборону страны, а если надо будет, жизнь отдать за свою отчизну, за родной край.

— Этот час настал, — произнесла она уже вслух, не замечая, как все больше крепнет ее голос. — Немцы ворвались в солнечную Украину, они топчут наши поля, они уничтожают родной язык, они убивают нашу радость. Они уже здесь, тянут руки к нашему горлу. Они опоганили уже наши хаты, теперь хотят опоганить души.

Листок дрожал в ее руке. Офицер медленно отстегнул кобуру, вытащил револьвер.

— Шитать русский язык!

Лицо Елены Павловны вспыхнуло. Казалось, она взбежала на баррикаду, залпную отблеском пожара, и закричала:

— Не будет этого, собаки! Думаете, советские колхозники станут вам помогать, предателями станут? Никогда этого не будет, никогда!.. Вот вам!..

Белые клочки бумаги полетели в лицо офицеру.

Пуля ударила ее под самое сердце, и ноги сразу подломились. Елена Павловна неловко наклонилась вперед и боком упала на пол. В последний миг она увидела, как Иван Сидорович метался по сцене с искаженным от страха лицом. В зале поднялся крик, потом затарахтел над самой головой пулемет.

Удары выстрелов сливались с ударами сердца, становясь с каждым мгновением медленнее, глуше, будто проваливались куда-то. Перед глазами кружились огоньки. Они росли, росли и наконец засверкали многоцветной радугой во все небо. Улыбка пересилила боль и навсегда застыла на губах учительницы.

КОНСТАНТИН ШАУСТОВСКИЙ

БАКЕНЩИК

Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к сторожке бакенщика Семена.

Сторожка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошли трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды, пад обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки; в обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись.

— Вы откуда? — спросил я их.

— Из Ласковского леса, — ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города, приехали в лес на работу, вот уже три недели пилят дрова, а на реку иногда приходят купаться. Семен их перевозит на тот берег, на песок.

— Он только ворчливый, — сказал самый маленький мальчик. — Все ему мало, все мало. Вы его знаете?

— Знаю. Давно.

— Он хороший?

— Очень хороший.

— Только вот все ему мало, — печально подтвердил худой мальчик в кепке. — Ничем ему не угодишь. Ругается.

Я хотел расспросить мальчиков, чего же в конце концов Семену мало, но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал:

— Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым великам, их обучать полагается. Верно я говорю? Садитесь в лодку. Поехали.

— Ну, вот видите,— сказал маленький мальчик, залезая в лодку. — Я же вам говорил!

Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор.

— Ты только не думай,— сказал он мне,— они на меня не в обиде. Я им уже столько в голову вколотил — страсть! Как дерево пилить — тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет. Или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь небось знаете?

— Знаем, дедушка,— сказал мальчик в кепке. — Спасибо.

— Ну, то-то! Пилу небось развести не умели, дровяколы, работнички!

— Теперь умеем,— сказал самый маленький мальчик.

— Ну, то-то! Только это паука не хитрал. Пустая наука! Этого для человека мало. Другое знать надо.

— А что? — встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках.

— А то, что теперь война. Об этом знать надо.

— Мы и знаем.

— Ничего вы не знаете. Газетку мне памедии вы принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете.

— Что же в ней такого написано, Семен? — спросил я.

— Сейчас расскажу. Курить есть?

Мы скрутили по махорочной сигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга:

— А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?

— Правильно.

— А что это есть — любовь к родине? Вот ты их и спроси, мальчишек. И видать, что они ничего не знают.

Мальчики обиделись:

— Как не знаем!

— А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. погоди, ты не выскакивай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: «Иду я за родную землю». Так вот ты и скажи: за что же ты идешь?

— За свободную жизнь иду,— сказал маленький мальчик.

— Мало этого. Одной свободной жизнью не проживешь.

— За свои города и заводы,— сказал веснушчатый мальчик.

— Мало!

— За свою школу,— сказал мальчик в кепке. — И за своих людей.

— Мало!

— И за свой народ,— сказал маленький мальчик. — Чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь.

— Все вы правильно говорите,— сказал Семен,— только мало мне этого.

Мальчики переглянулись и насупились.

— Обиделись! — сказал Семен. — Эх вы, рассудители! А, скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?

Мальчики молчали.

— Вот я и вижу, что вы не все понимаете,— заговорил Семен. — И должен я, старый, вам объяснить. А у меня и своих дел хватает: бакены проверять, на столбах метки вешать. У меня тоже дело тонкое, государственное дело. Потому — эта река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней вроде как пестун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так получается, что все это правильно — и свобода, и города, и, скажем, богатые заводы, и школы, и люди. Так не за одно это мы родную землю любим. Ведь не за одно?

— А за что же еще? — спросил веснушчатый мальчик.

— А ты слушай. Вот ты шел сюда из Ласковского леса по битой дороге на озеро Тишь, а оттуда лугами на Остров и сюда ко мне, к перевозу. Ведь шел?

— Шел.

— Ну, вот. А под ноги себе глядел?

— Глядел.

— А видеть-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать, да примечать, да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, сорвешь какой ни на есть цветок или траву — и иди дальше.

— Зачем?

— А затем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашкой вы его называете. Ты его нарви, понюхай — он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот улыбнется. Или, скажем, ромашка. Ведь ее грех

сапогом раздавить. А медуница? Или сон-трава. Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купена. Да вы ее, видать, и не знаете. Лист широкий, твердый, а под ним цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь — и зазвонят. То-то! Это растение приточное. Оно болезнью исцеляет.

— Что значит приточное? — спросил мальчик в кепке.

— Ну, лечебное, что ли. Наша болезнь — ломота в костях. От сырости. От купены боль тишаает, спишь лучше и работа становится легче. Или аир. Я им полы в сторожке посыпаю. Ты ко мне зайди — воздух у меня крымский. Да! Вот иди, гляди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек, а я слышу — дождемиком от него тянет. Грибным дождем — спорым, не очень шумливым. Такой дождь дорожке золота. От него река теплеет, рыба играет, он все наше богатство растит. Я часто, ближе к вечеру, сижу у сторожки, корзины плету, потом оглянусь и про всякие корзины позабуду — ведь это что такое! Облак в небе стоит из жаркого золота, солнце уже нас покинуло, а там, над землей, еще пышет теплом, пышет светом. А погаснет — и начнут в травах коростели скрипеть, и дергачи дергать, и перепела свистеть, а то, глядишь, как ударят соловьи будто громом — по лозе, по кустам! И звезда взойдет, остановится над рекой и до утра стоит — загляделась, красавица, в чистую воду. Так-то, ребята! Вот на это все поглядишь и подумаешь: жизни нам отведено мало, нам надо двести лет жить — и то не хватит. Наша страна — прелесть какая! За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать на осквернение. Правильно я говорю? Все шумите: «родина», «родина», а вот она, родина, за стогами!

Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела цапля.

— Эх, — сказал Семен, — идут на войну люди, а нас, старых, забыли! Зря забыли, это ты мне поверь. Старик — солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Пустили бы нас, стариков, — вот тут бы немцы тоже почесались. «Э-э-э, — сказали бы немцы, — с такими стариками нам биться не путь! Не дело! С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь!»

Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо побежали от нее вдоль волн.

— Так-то, ребята,— сказал Семен. — Опять небось будете на деда жаловаться — все ему мало да мало. Непонятный какой-то дед.

Мальчики засмеялись.

— Нет, попятный, совсем понятный,— сказал маленький мальчик. — Спасибо тебе, дед.

— Это за перевоз или за что другое? — спросил Семен и прищурился.

— За другое. И за перевоз.

— Ну, то-то!

Мальчики побежали к песчаной косе — купаться. Семен поглядел им вслед и вздохнул.

— Учить их стараюсь,— сказал оп. — Уважению учить к родной земле. Без этого человек — не человек, а труха!

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА

I

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь земля как держит: то кровью к ней присыхаешь, то потом — не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от примерзшей земли, обдутой здесь ветрами до прошлогодней умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан, — ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно.

Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогающую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на пынешнюю почь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки на сторону противника; а потом, после свершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту, сторону открывается, а назад — ничем, назад он стоит намертвую. Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле — ей хлеб пора рожать!

— Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

II

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.

В небе засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем неподвижным пустым светом, каким освещаются сповидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он слышал равномерное пение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно пополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним

льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки; однако древние камни, размером в целого человека, создавали преодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чередою по всему перекату от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедленно устроить брод.

— Толом, что ль, грузные камни будем рвать? — спросил Расторгуев.

— Еще чего! — сказал Толокно. — Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает. А потом он тут нам половодье устроит...

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал командир.

— А силы хватит у нас? — усомнился Расторгуев. — Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело! Его и не распатаешь, ишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал...

— Ничего, возле смерти человек сильнее, — высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и вьелись осколками в лед.

III

Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы: начать ниже переката затяжной маскировочный бой, а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обпаружить себя; они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со сноровки, о обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскатать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь

в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и выпул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя, что нужно,— продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он пачал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и строить его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на пережат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и пережат не переставали покрывать редким минометным огнем — на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабила основание камня, сросшееся с ложем реки. Тогда Толокно велел четверем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой; сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивапа Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно! — сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекату.

— Скорее, скорее давайте, ребята! — говорил он саперам.

Толокно сменил зачоченевшего сапера, Трофима Пожидаева, и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее! — торопил командир. — Скоро танки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет педрицельным огнем, и пули ложились по перекату кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного! — осерчал Толокно, сидя в воде, стругающей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно. — А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки — правые: одна камень долбит, а другая стреляет...

Подработанные сидни-камни трогались с вековых своих мест.

Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на перекат и там поражали воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни жилищ и всякого добра?» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокна, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомяну, товарищ капитан, — ответил Толокно. — Сорок пар рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер, седьмую одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут, и тело ничего! Дышит.

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и пехоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел в небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами.

IV

После полуночи всюду стало тихо. Отвлекающий ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в отрытой дорожной траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи; ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату.

Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды; а подхода машин к реке он не различил: столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них — вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак.

Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокра-

щали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную заданную липию движения.

На полной скорости, с воем папрыхенных моторов, тапки влетели в деревню с заглохшими, выморочными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь; но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на ту избушку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты; машинам же было некогда и невыгодно тратить мощь на всякого мелкого попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толочно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди, по ходу машины, Толочно разглядел неясное, темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небе шрапнели, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толочно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

V

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толочно для разметки работ.

В рассветном сумраке лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию траншей с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толочно посоветовал начать вскрытие тран-

шей рапаше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле, — он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за нами.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...

— Ступай — зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, и чем глубже, тем в земле было теплей и покойней.

Наутро бой все еще гремел в деревне; капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит паша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом.

Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся: вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокочущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно устал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек; теперь злодей

хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щекам его глаз в машине.

Танк в упор нагнулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло: значит, танк прошел далее, пропустив под собою, меж гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно не теряя времени бросился за танком с гранатой, ухватился за подкрылок и в краткий срок был в безопасности, на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает, — размышлял Толокно, — а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броне танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди, — может, они были из боевого охранения, а может — разведчики. Немцы остановили машину, потом повернули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел остановить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает — жить хочет», — подумал он.

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофеей команды, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уж больше не будет!

— Нет, — ответил Иван Толокно, — я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня!

ПЕТР ПРОСКУРИН

СНОВА ДОМА

1

В самую жару, к середине июля, над землей после полудня начинали повисать душные марева, подошла пора созревания ржи и других злаков. Но безлюдье томило одичавшие поля — только-только отгремели здесь бои, фронт опять покотился на запад, и воцужошенную зону, где стояла шесть месяцев немецкая оборона, стали возвращаться на привычные места жптели. Выходили из болот п лесов, шли из эвакуации вслед за своими, торопясь и надеясь на встречу с родными и близкими, отгоняя потаенные мысли о разных несчастьях и смертях. Самое главное — немца стропули, немец ударился в бег!

Бабка Палага, широко переставляя усталые мосластые ноги, не отставала от своего внука — четырнадцатилетнего худого Захара с лохматым затылком — и на ходу все думала: может, им еще повезет и Авдотья, ее дочь, с младшим внуком, Толиком, отыщутся; всякие чудеса в жизни бывают, господь не без милости, думала бабка Палага, поднимая босыми ногами с черными, потрескавшимися пятками тяжелую пыль с дороги.

Бабка Палага несла всякую всячину, связанную полотенцем и перекинутую через плечо. Впереди висела плетеная корзина с крышкой, где сидела белая кура, — бабка сумела ее сохранить на семя; сзади покачивался тяжелый узел с разным барахлом: четыре миски — три глиняных и одна жестяная, мешочек фунтов на десять пшена, немного сольцы, рваные Захаркины штаны и рубахи (надо будет их заштопать да залатать) да еще разное добро, которое мало уже на что пригодно, а все жалко бросить. Платок сбился с влажных гладких волос, солнце припекало, но бабка Палага привыкла к этому и не замечала.

С короткими перерывами они шли уже часов шесть и теперь свернули на хорошо знакомую дорогу, в войну

запущенную, размытую дождями, изрытую бомбами и снарядами. И раза два уже бабке Палаге пришлось с помощью Захара перебираться через траншеи, пересекавшие дорогу: теперь до места оставалось верст восемь, не больше, и бабка Палага то и дело узнавала знакомые приметы: то старую ракиту, то обрушенный мостик, то овражек. И чем больше проходило времени, тем сильнее томило ее беспокойство, и дышать становилось тяжело, и губы сохли, все больше хотелось пить, хотелось ей хлебнуть березового кваску, резкого, и прохладного, и не так чтобы сильно кислого. А Захар все незаметно прибавлял шаг, и бабка, не поспевая за ним, останавливалась, кричала:

— Захар, а Захар, остановись ты, каторжник! Ишь расшагался, где мне за тобой поспеть?

И Захар сбавлял шаг, поправлял лямки заплечного мешка, пачершис кожу на плечах до ссадин, и ждал, пока бабка догонит его.

— Ты бы травы нарвал да пучками подложил на плечи-то.

Захар, вытирая рукавом рубахи худое конопатое лицо, весело улыбался.

— Бабуш, давай я что-нибудь у тебя возьму понесу,— предлагал он, но бабка Палага не соглашалась. Она считала его заморенным и ослабшим и жалела. Ей все казалось, что Захар мал и пуждается в послаблениях и детских поблажках, а Захар от этого сердился, по доказать ничего не мог и быстро отходил, характера он вышел покладистого, хороший паренек... Понятно, ему не сдержат шагу, ноги сами несли; так уж получилось, что бабка и он ушли со своими, когда те отступали из-под Брянска, а мать с Толиком остались у немцев, и теперь никто не знал, живы ли они и на месте ли, а то может, погибли: вон сколько битых кругом, особо где фронт проходил.

Если бы махнуть через поле и лес, давно бы на месте были, да нельзя напрямую, кругом мины — саперы успели очистить лишь узкие проходы, и вот приходилось делать здоровенные крюки, чтобы выбраться к своей деревне, которая была на самой передовой. Захар знал это от знакомого командира роты, стоявшей на отдыхе в деревне Чернуха, где он с бабкой переживал, пока немца опять сдвинут с места, оттеснят подальше и освободят их родную Воробьевку.

От того же командира роты Захар знал о полном уничтожении деревни, хотя увидеть своими глазами запустение и бурьян было труднее, чем слышать об этом. Все строения немцы разобрали для устройства землянок. Улицы и огороды изрыты траншеями, на огородах между обломанных яблонь понаделаны землянки, орудийные гнезда, укрытия машинам, везде валялись дощатые железные ящики, винтовки без затворов, автоматы, разбитые или испорченные пушки, масса каких-то труб (потом Захар узнал, что в них, наглухо закрывавшихся, хранился орудийный порох). Тут же торчало несколько подбитых танков. Под ноги подвергались самые неожиданные предметы — от солдатской каски, пробитой осколком, до ученического пенала или журнала с голыми девками; много попадалось мыльных палочек для бритья, а в одном месте под яблоней висела, чуть покачиваясь, деревенская люлька. Захар заглянул в нее и увидел пустые консервные банки вперемешку с бутылками, заклеенными красивыми нерусскими бумажками.

Исковырянной снарядами улицей бабка Палага с Захаром прошли к своей усадьбе; хаты в деревне не осталось ни одной, и лишь каким-то чудом уцелела между четырьмя ракетами амбарушка Никитиных, что до войны слыли дикими: ни за одного из трех братьев никакая девка не шла замуж, а теперь вот амбарушка горько торчала одна на всю деревню, даже печи разобрали на землянки и траншеи. Было безветрие, но стояло повернуть разгоряченное усталостью лицо к опускавшемуся на дальний лес солнцу — и в ноздрях чувствовался слабый, сладковатый от гниения ветерок. Бабка Палага морщилась, стараясь не заплакать, и все не могла удержаться, смаргивала невольно слезы и сморкалась, подхватывая свободной рукой подол юбки и подтягивая его к носу.

Когда они подошли к своей селитьбе¹, бабка Палага перестала сдерживаться и завывала в голос. Она грохнула с себя поклажу, белая кура встревоженно закудаhtала. Бабка Палага села прямо на землю, причитая и крестясь, а Захар пошел бродить по селитьбе, обходя ямины и бугры из мусора, успевшего от давности прорасти слегка травой. Яблони в саду поломало и обило снарядами, и только несколько деревьев уцелело и осталось нетронуты-

¹ Селитьба — место, занятое непосредственно хатой, избой, хозяйственными постройками (*местное*).

ми: три яблони, старая душистая груша и вишня; правда, и у них стволы посекло осколками, и Захар подумал, что нужно замазать поврежденные места глиной с навозом.

В самом дальнем конце сада он наткнулся на большую, выложенную дерниной с двумя окошками землянку в несколько накатов; от нее тянулась траншея в огород, к орудийным позициям, и там, метрах в ста от сада, вся земля была тоже изрыта и перекопана. Осмотрев землянку снаружи, Захар спустился в тамбур, обитый досками; просунув голову в дверь, он долго недоверчиво припихивался и приглядывался. В полумраке тамбура широкие, удобные ступени уходили с крутым поворотом вниз, непосредственно к двери в землянку, по обе стороны в тамбуре лепились полки; казалось, за поворотом кто-то живой стоит и ждет ухватить за горло. Захар вспомнил фанерный щит с надписью: «Проверено. Мин нет» — и смело полез в землянку; глаза скоро привыкли к полумраку, и Захар удивлялся, как немцы умеют все сделать добротнo и удобно, даже на время. Он дернул дверь на себя и свистнул от удивления, — помещение оказалось светлым и просторным, с двумя рядами двухъярусных нар, со столом и городскими стульями с высокими прямыми спинками, и Захар недоуменно пожал плечами. Откуда они могли сюда попасть? На нарах лежали перины и матрасы, повсюду на полу валялись подушки и еще какие-то тряпки; на столе стояли немытые тарелки и два немецких алюминиевых котелка с крышками; сыро пахло табаком и грязным, слежавшимся бельем.

Захар походил по землянке, ничего не трогая, и, забыв о бабке Палаге, посидел на стуле с высокой спинкой, подробно и не торопясь оглядывая помещение еще раз: да, землянка большая, куда просторнее их старой хаты, и в ней вполне можно перезимовать. В самом деле, как это ему в голову сразу не пришло? Тут полкохоза поместится, если надо. Отыщутся мать с Толиком, — совсем будет хорошо, можно печку сложить, трубу в окно вывести, и никакая зима не возьмет.

Он выбежал наружу, позвал бабку; бабка пришла, вытирая припухшие глаза и охая.

— Бабуш, землянка. Иди-ка погляди, живи зимой за милую душу. Давай иди, я уже глядел. Ночевать надо, а там перины есть, одеяла валяются.

Бабка Палага спустилась в землянку, заахала и тут же стала все просматривать и складывать; в котелках

на столе оказалась прокисшая овсяная каша, и бабка вынесла котелки из землянки и опорожнила их; по пути назад она углядела в тамбуре большое ведро и послала Захара за водой.

— Иди воды добудь. Колодец-то не забыл где? Или в ручей сходи, принесешь воды, кулешу сварю, на ночь надо поесть. Ах ты, святая божья мать, заступница, это на бедность нашу, гляди-ка, диво какое, готовое тебе жилье, хоть царем сюда садись. И стулья городские, и, главное, в своем саду, на своей-то земле, никто отсель не выгонит. Прямо на заказ. Вот так немец, ай да сукин сын, сдохнуть тебе, до своей державы не дойти, окаянному! Надо же, как слизало деревню! — рассуждала она сама с собой. — Раньше случись пожар, — хоть печка торчит, а тут и печек не осталось, все подчистую сгнуло. Страсть сколько немец натащил в свое жилье добра, а Захарка, хоть и длинный ростом, умом мал. Грабленное все это добро, гляди, хозяева вернутся, отыщутся, из горла свое выдерут. Может, хоть солдатским, что осталось, и попользуешься.

Захара давно след простыл, а бабка Палага все говорила и говорила, и чем дальше, тем она становилась многоречивее и довольнее: теперь есть где жить, и в землянке осталось много нужного для жизни добра. Она даже нашла щетку на длинной палке и долго вертела ее в руках, соображая, какая надобность в такой штучке, и, когда поняла, тут же опробовала ее и удивилась.

— Ишь окаанный! — опять сказала она сама себе по стариковской привычке говорить вслух. — Надо ж придумать, значит, спину не ломать, не хочешь — взял себе и подметай прямиком. Вот тебе и немец, хитрее всех, окаанный, вишь какую моду завел, стой себе и подметай.

Поставив щетку в угол, на старое место, она опять принялась осматривать вещи в землянке, — видать, все как было, так и кинули... За нарами на колышке висели три шинели, но бабка Палага побоялась их трогать. Кто знает, не ровен час, назад немец вернется, одежду потребует, — за войну всему научились.

Неожиданно раздался Захаркин голос, бабка Палага вздрогнула и перекрестилась, присела на нары.

— Бабуш, из ручья принес, — сказал Захар. — Колодец обвален. Есть другие дела?

— А что, собери посуше сору, огонек запали, котелки пополощи. Надо сюда сумки наши перетащить.

— Ладно, перетащу, а ты котелки мой. Сказала б раньше, в ручье отскоблить можно.

— Куру не урони,— с опаской сказала вслед ему бабка и впервые за два года смутно, тяжело почувствовала, что никуда больше не суждено идти ей с места, и это чувство доставило ей тайную радость и облегчение, потому что ей до смерти надоело бродить по чужим углам и выслушивать попреки.

И она, забывая усталость, принялась за дело, твердо уверенная, что дочка Авдотья и второй, меньшей внук Толик обязательно днями отыщутся и надо успеть навести порядок до их возвращения, отскоблить все и отчистить, пусть вернутся в обжитое место, увидят заботу о себе да ласку.

2

Перед войной Захар закончил пять классов, тогда ему едва-едва перевалило на тринадцатый, и ростом он на голову отставал от своих сверстников, но как раз за последние два года стал переть и переть в рост и вымахал со среднего мужчину, ноги удлиннились вполтину прежнего, и, по твердому убеждению бабки Палаги, не иначе, как от страху парня вытянуло, и она все старалась подсунуть внуку лишний кусок; от такого быстрого роста, думала она, на таких харчах можно и чахотку схватить. Ни на кого в родне бабки Палаги Захар не был похож, только бровями напоминал своего отца, Егора Мотовилина, в первый же военный год взятого в армию: правда, характером Захар удался в материнскую линию, характер у него привился от Баксановых — мягкий и добрый, как на деревне говорили, курицы не обидит, и чувствовала бабка Палага в старшем внуке свою кровь, и любила его больше родной дочери. И только одна странность уродилась, на взгляд старухи, у Захара: любил он читать книжки, о еде забывал и о сне, и тогда оклики — не услышит. И глаза как у Тимки-дурачка — был такой до войны в деревне, — тихие, далекие.

О том, что Захарка Мотовилин от книжек ненормальным становится, знала вся деревня, и Авдотью, его мать, бабы часто подкусывали: сын небось в профессора или генералы собирается, — вкладывая в свои слова определенную долю крестьянского ехидства: мол, сколько ни учится, ни ломает голову, все равно с нами в одну землю

ляжет. И в войну Захар читал книжки. Немцы разгромили районную библиотеку (в городе Суслань, в семи километрах от Воробьевки) и книги выбросили под обрыв, а Захар, несмотря на ругань матери и бабушки, три раза ходил ночью за книгами, приносил их окольными путями в мешках, прятал в сарае, на сеновале, и в длинные зимние вечера долго за полночь жег коптилку, напуская в избу вонючего смраду, и бабушку Палагу на печи не раз принимался бить кашель. Она слезала в длинной холщовой рубаше, пила теплую воду из чугунка и ругала Захара, заставляя ложиться; он не слышал ее ругани, продолжал сидеть, уткнувшись в книгу, и старуха начинала смутно чувствовать какую-то его внутреннюю правоту. Читать книжки для нее тоже представлялось делом серьезным и трудным и требовало, как всякая работа, должного уважения.

Бабушка Палага проснулась, по обыкновению, рано, приподняла голову, высмотрела сбоку серевшее окно; она вспомнила, что находится в землянке на толстых солдатских парах и что Захар спит напротив, и решила минутку полежать: печи топить не надо и скотину убирать тоже. Она лежала, и вспоминала жизнь до войны, и думала, как будет дальше, и найдутся ли дочь Авдотья и меньшой внук Толик. О плохом она старалась не думать, да и некогда, — сколько надо сделать перед зимой: дров наготовить, печурку в землянке сложить, кирпича натаскать от старой печи, поглядеть, может, где картошка посажена. Бабушка вспомнила десятки самых необходимых дел, потом тихонько встала, накинула на себя тяжелую юбку (выстирать как-то надо) и, ощупывая босыми ногами пол перед собою, отыскивала дверь, вышла на воздух.

За ночь похолодало, далеко на западе настойчиво погромыхивало. Бабушка Палага спокойно послушала, зевая и мелко крестя рот. Оттуда, где раньше стояла помещичья усадьба, а потом гнездилась усадьба МТС, кричал сыч, погугучит, помолчит, опять гукнет, и долго простонет, и под конец совсем по-человечьи, жалостно, прямо как внутри, в сердце, просверлит, и душа замрет. Бабушка Палага от особенно жалостливого сычиного рыдания перекрестилась, пробормотала короткую молитву богородице. Ее охватило странное, ни с чем не сравнимое ощущение пустоты: и ветра не слышалось, и голоса человеческого, и только сыч жил в развалинах своей ночной жизнью. Лишь твердая уверенность, что внизу, под землей, спит

Захар, не давала бабке завывать в голос, растрепывая космы и ломая пальцы. Вот так, видать, и умирают, решила старуха (а может, и умерла она, пора давно на тот свет от такой жизни), гляди, и явилась смертушка, раз такая пустота кругом, и сыч проклятый воет, и ни звука больше; зови, плачь — никто не услышит, не придет. И в ту же минуту бабка Палага охнула, присела от минутной слабости в ногах: рядом, показалось — пад самым ухом, гаркнул петух, совсем рядом — настоящий, живой петух, голосу добрый дьякон позавидует — густой, долгий голос, с серебряным переливом.

Бабка Палага беспомощно оглянулась: может, ей припелось от крови в голове — вон как расшумелась! — или ее кура (Тьфу! Тьфу! Не дай господи!) закричала петухом?

От такой мысли бабка Палага похолодела, по тут же себя одернула; кура находилась в землянке, а петуший голос раздался на свободе, да и кура, когда начинает кричать петухом, по-иному кричит, единожды слышать привелось — хрипло, куце, как баба не может стать мужчином, так и кура петухом.

Опять проголосил петух, видать в соседнем саду, у Боровиковых, и тут у бабки Палаги зародилось непреодолимое желание поймать петуха. Подслеповато щурясь, она двинулась на петушиное пение; просто чудо, как все ожило вокруг от этого требовательного голоса, и пустота отступила.

Было еще плохо видно, серо проступали деревья, и бабка Палага боялась свалиться в ямину, шла осторожно хотя поторапливалась, с каждой минутой становилось виднее, еще темного — и петуха уже не возьмешь, улетит.

Бабка больно наткнулась на пенек босой ногой, ушибла пальцы, поругалась шепотом и замерла. Петух прокричал прямо над нею, она подняла голову и в сером полумраке долго ничего не могла разобрать; она стояла под старой яблоней, а петух сидел где-то над ней, по разглядеть было трудно из-за густых листьев. Бабка Палага взялась за пижмие сучья и полезла вверх, вертя головой и всматриваясь. Вот она замерла, сердце у нее заколотилось, — петух сидел у нее перед самым носом, длинно вытягивая шею и свесив хвост, он уже чувствовал неладное, и бабка видела, как он усиленно, удивленно моргал, глядя в ее лицо то одним, то другим круглым глазом, белым от частого моргания. «Какой хвост, какой хвост!» — подумала бабка Палага, забывая о войне, о За-

харе и эсторожно протягивая руки с растопыренными пальцами к петуху. «Чур тебе, чур тебе!» Силой заклинания она старалась одеревенить петуха, заставить его не тронуться с места, видя уже, как он станет вышагивать гоголем вдвоем с ее белой курой, и кокотать, и кукаречать, — сразу стапет на душе весело и хорошо.

— Хоп! — жестко сказала бабка Палага, ловко выбрасывая руку и хватая еще беспомощного от темноты петуха, чувствуя старыми пальцами упругость его перьев и теплоту испуганного тела; правая нога ее поехала по суку, на котором стояла, но старуха удержалась и стала ладить петуха себе под мышку; приладила, пригляделась и спрыгнула вниз, на землю; не обращая внимания на недовольные выкрики петуха, она пошла назад, и быть бы всему хорошо, не провались бабка Палага в траншею, совсем сверху незаметную, прикрытую сухими ветками и другим сором.

Петух захлопал крыльями и с долгим задыхающимся криком куда-то полетел, и бабка Палага долго приходила в себя, сидя на холодной, утрамбованной солдатскими сапогами земле. Она с трудом выбралась из глубокой траншеи, выцарапывая себе ступеньки в стенках пальцами и ругая на чем свет стоит и себя, и петуха, и Захара. Надо же, зовешь-зовешь его, а он не слышит, спит, хоть подорви его из пушки.

В небе совсем развиднелось, и опять раздался голос петуха от дальности слабо, неясно.

8

Для Захара день начался спокойно, его никто не будил, и он доспал часов до десяти; открыл глаза и потянулся, тело совсем отдохнуло и стало легким. Хотелось есть, от солнца в землянке светился столб, наискось, от окна в пол, у самых ног Захара. Парень полежал, перебивая сонную лень, замычал, быстро соскочил с нар, натянул штаны, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге. Начинаясь новая жизнь, нужно все осмотреть кругом, сходить в лес — там проходила передовая, — и вообще кругом разбросано столько всякой всячины, попадется, гляди, стбящее и для хозяйства. Хорошо землянка у них прямо в саду, это теперь как дом, только бы мать с братаном нашлись, и зимовать можно.

Захар не стал осматривать вещей в землянке и вы-

шел,— тут никуда не уйдет, а вот надо кругом пошпырять, пока народу мало.

Бабка Палага сварила пшеничного супу, принесла воды и, привязав белую куру за ногу длинной бечевкой, выпустила ее гулять. Она налила Захару супу в немецкий котелок, вздохнула.

— Хлебушка теперь корочки не понюхаешь. Ешь. Приходить-то стали наши, из деревни. Петрачиповых видела, Серафиму Рыжую да еще Савостина деда. Вол костры запалили, кипятки кипятят. Господи помилуй, все начинается сызнова. Савостин-то дед пришел, две пары сапог немецких принес,— говорит, в лесу там немцев битых один на одного. Сапоги кованые, без сносу. Ты, Захар, поешь — сбегай в лес, а то зимой хоть разутому выскакивай.

Сморщив нос, Захар кивнул, он не любил мертвых, но бабка права: бояться нечего, раз сапоги нужны, зимой дров нарубить не в чем. Он торопливо доел загустевший суп, напился из ведра через край холодной прозрачной воды и поглядел на бабку.

— Пойду, бабуш, ладно.

— Иди, иди, внучек. А я тут покараулю. Поднавалит народ — все растащат. Вернешься — замок на дверь надо приспособить. А где ты его сейчас возьмешь? Слышь, Захар,— сказала она ему сердито уже вслед,— ты за что зря не хватайся.

— Ладно! — кивнул он не оборачиваясь, чувствуя сильно греющее солнце затылком и радуясь теплу, своему легкому телу. И немцев больше нет, земля теперь — куда хочешь иди, никто не запретит.

Он шел, думал, и в нем зудела тугая крестьянская жилка: что ж, теперь он мужик, теперь ему хозяйствовать, хватит матери горбить, и Толика надо на ноги ставить; может, и жениться скоро придется, мать последние годы совсем хворающая стала. И о женитьбе он подумал с крестьянским спокойствием, как о необходимости,— у мужчины должна быть жена, надо кому-то готовить и стирать, топить печь и возиться по хозяйству. Он шел по полю, года два не паханному и поросшему жесткой, дикой травой, метлюгом, воробьиным щавелем, полынью, одичавшее поле слегка побурело к осени. За лето подошвы Захара задубели и не чувствовали глубокую теплоту земли, набравшей солнца за долгое жаркое лето; несколько раз на пути попадались глубокие траншеи, они соеди-

няли вторую линию обороны, проходившую по деревне, с лесом, где шла непосредственно передовая, и чем ближе становился лес, тем сильнее все кругом оказывалось изрыто снарядами и минами, на буграх чернели подбитые танки.

Вброд, засучив до колен короткие, обтрепанные штаны, Захар перешел мелкий, почти пересохший за лето ручей, и ступил в сухой дубовый лес, и сразу напал на хорошие боровики, усеявшие все пространство перед ним. Он сорвал один, разломив упругую, коричневую сверху шляпку. «Черт, сколько грибов, надо на обратном пути набрать».

Он услышал человеческие голоса и юркнул в густые березовые заросли, заполнявшие мало-мальски свободное от дуба пространство.

Захар хорошо знал окрестные леса; решив посмотреть, что за люди там орут и чем занимаются, он, прикрываясь, пошел на голоса от дерева к дереву. Попадалось всякое военное добро: винтовки, патроны, мины, снаряды, консервные банки, круглые коробочки с противогазами; в одном месте стояла пушка. Захару приходилось обходить окопы и небольшие, паспех сделанные землянки, не такие, как у них в саду, а низенькие, приплюснутые к земле, с маленькими бойницами на три стороны, соединенные с траншеями.

Скоро Захар увидел человек пятнадцать солдат у костра, они ели, и по их разговору Захар понял, что это саперы проверяют местность. Захар незаметно отошел: солдаты обязательно выперли бы его из лесу, — он уже встретил дощечку, приколоченную прямо к дереву: «Проклад и проезд воспрещен! Мины!»

За войну Захар привык не придавать значения многочисленным надписям и приказам, если бы он все их выполнял, его давно бы не осталось в живых; он и теперь дернул плечом и подался в другой конец леса и тут минут через десять увидел первого убитого, лежавшего лицом в землю. Засаленная пилотка валялась рядом; выкинутыми вперед руками убитый запутался в высокой лесной траве; от него сочился тяжелый дух, и Захар осторожно обошел его, рассматривая со всех сторон. Немец лежал в крепких кованых сапогах, подковки и шипы не успели проржаветь от росы, металлически блестели. Захару стало не по себе и от тяжелого духа убитого, и от неожиданного смутного отвращения перед смертью. Пе-

ред ним лежал мертвый человек, не враг, — какой уж мертвый враг! Ни следа крови, ни прострела нигде не видно, одежда целая, и шипы на сапогах чистые, блестят, словно человек долго-долго шел, устал, лег и ненароком заснул. И Захару все казалось, что он собирается сделать нехорошее, отвратительное дело, в горле начиналась тошнота и подергивание; с другой же стороны, перед ним лежал просто убитый немец, никогда он теперь не встанет, ничего ему больше не нужно — ни земли, ни еды, ни одежды, а ему, Захару, нужны сапоги, ему жить и зимовать босиком нельзя, и вообще он имеет право взять сапоги: немец убитый, и какого черта приходил он сюда воевать, — вон деревню спалили!

Подбадривая себя, Захар покашлил, стараясь не дышать, подошел к пемцу, потолкал его ногой в подошву сапога — ноги немца по-мертвому шевельнулись, затылок тоже, как если бы шевельнулась сдвинутая каким-нибудь усилием с места грудa земли. Захар присел, взялся за носок и за пятку сапога, дернул, стараясь не глядеть на широкую спину убитого, туго обтянутую светло-зеленым сукном; сапог не поддавался, и Захар дернул сильнее, начиная злиться. Он слышал, как припухшая нога вышла из сапога и глухо стукнулась о землю, и увидел грязную холщовую портянку; с таким льняным холстом Захар хорошо был знаком — такой холст ткала бабка Палага. Второй сапог он сдернул решительнее, — портянка размоталась, и стала видна сизая, сильно вздувшаяся нога.

Захар взял сапоги за голенища и не оглядываясь пошел дальше; постепенно тошнота в горле утихла, потом он совсем обрадовался: такие сапоги — целое богатство! «Вот бы для матери еще одни достать», — подумал он, перескочил траншею, затем вернулся и спрыгнул вниз. Было интересно бежать от поворота к повороту, всякий раз ожидая что-то новое, неизвестное; твердая глина под босыми ногами отдавала прохладой; в одном месте Захар нашел складной нож, в другом — алюминиевую фляжку на ремешке; во фляжке что-то бултыхало, он отвинтил ее и понюхал, затем попробовал на язык. Язык защипало. Захар поплевал, завинтил флягу и повесил ее через плечо; выбрался из траншеи и, оказавшись наверху, вздохнул свободнее.

После жидкого пшенного супа на завтрак давно хотелось есть, и он решил получше пошарить в блиндажах и окопах, заглянул в одну землянку, в другую, в третью.

Везде валялось много различных вещей, но еды не попадалось, лишь через час или больше Захар, выскочив на небольшую поляну в осиновых зарослях, наткнулся на узкие длинные столы из березовых жердей и такие же скамьи; столы и скамьи держались на вбитых в землю ножках, везде валялись буханки хлеба, завернутые в прозрачную бумагу, банки консервов, чуть подальше стояло два картонных ящика. Захар, торопливо приподняв надорванный картон, увидел ровными рядами уложенные сухари. От такого богатства он растерялся. Вскрыв одну из банок ножом, он почти передернулся от ударившей в нос мясной сытости. Потемнело в глазах, в желудке появилась судорога; отламывая от буханки куски хлеба, Захар клал на них кусочки мяса из банки и ел, ел до тошноты в челюстях, до тупой сонливости, забыл обо всем на свете и только ел — тупо, упорно, медленно, жевал и глотал сладкий, пережеванный хлеб пополам с мясом. Потом захотелось пить. Вспомнив о немецкой фляжке, он хлебнул из нее, сбил жажду и тогда стал соображать, что делать дальше. Бросить припасы здесь он не мог; отыскав недалеко местечко, воронку от взрыва, Захар стал сносить все туда и, когда снес, забросал сверху травой, ветками; консервы спрятал в другом месте, а себе оставил на один раз унести. Придется вернуться с мешком, думал он, стараясь захватить больше и обвязывая ящики с сухарями желтой проволокой.

До обеда он успел сделать два конца туда и обратно; бабка Палага только ахала, все порывалась пойти с ним, но не могла оставить землянку, — ее разрывало от желания бежать в лес и боязни оставить добро без присмотра.

4

К вечеру, возвращаясь из лесу, Захар совсем заморился и решил сегодня больше не идти. Всего не перетаскаешь. Консервы и сухари он перенес, остался один хлеб — двенадцать буханок. Ноги здорово гудели и подламывались; в последний раз он взвалил на себя пуда два разной всячины, еле поднялся и шел, тяжело покачиваясь. Он старался не думать о тяжести, все шел и шел, и думал, что матери и Толику есть теперь чем подкормиться, когда они найдутся, консервы пока совсем можно не трогать, запрятать получше. Здорово повезло: почти сорок банок по полкилограмма, не меньше, на зиму на

затолоку хватит. Это, видать, немцы паек привезли, да и бросили, как началось. Несмотря на смертельную усталость, Захар радовался; от неловкого шага шатало, он посмеивался над собой: «Ладно, давай двигай, двигай, отдыхать потом будешь, а совсем неумоготу станет — можно и отполовинить, завтра с утра забрать».

Сокращая путь, Захар решил пройти напрямик, через заросшую густым дубняком и орешником ложбину между лесом и полем; пошел, да уж и сам был не рад. Кусты цеплялись за длинные мешки, в босые подошвы ног впились колючки, он пробирался сквозь заросли, чуть не плача, не решаясь сбросить мешки и посмотреть, что там с ногами; потом бы он не осилил поднять груз, он это знал и ожесточенно рвался вперед, смахивая с лица рукавом заливавший глаза пот.

Захар остановился, но не от усталости и не от тяжести. Он увидел прежде всего пистолет, направленный прямо ему в глаза, в лоб, и уже потом разглядел бледное, бумажной желтизны лицо с неподвижными широкими зрачками; желтизна была, очевидно, от густой рыжей щетины, наросшей до самых глаз. «Ну вот,— сказал себе Захар,— ну вот и все».

Он стоял и растерянно глядел на немца, сразу поняв, что тот ранен в ноги: немец двигался лишь верхней половиной тела, а нижняя была мертва, и это Захар ухватил бессознательно, инстинктивно; черная горошина дула перед глазами вздрагивала. Захар через силу перевел глаза повыше, на темные, распухшие губы в глубоких трещинах, и услышал сладковатый, мутный запах гниения, запах тек от немца. «Сейчас он выстрелит»,— подумал Захар, не чувствуя, однако, никакого страха и глядя теперь немцу прямо в зрачки. Подогнувшись, движением плеча он сбросил тяжелые мешки; от усталости круглая черная горошина покачивалась перед ним — вправо-влево, вправо-влево. Он почесал одну ногу другой — повыше щиколотки, немец дернул распухшими губами и опустил пистолет. Еще немного — и немец откинул назад голову, тяжело дыша всей грудью, и закрыл глаза. Захар стоял перед ним и не знал, что делать: можно прыгнуть на немца и отобрать у него пистолет, а то и просто пригнуться и шмыгнуть в кусты, черт с ними, с мешками... Немец застонал, показывая сухие плотные зубы, и сразу весь ослаб; Захар подошел, присел рядом с его головой на корточки. Немец лежал без памяти; это был человек лет три-

дцати пяти — сорока, щеки у него запали, кожа высохла и обтянулась, и лоб выступил четче, крупнее; бросались в глаза широкие потертые ладони; судя по пилотке и сапогам, валявшимся тут же, — рядовой солдат, на правой ноге штанина у него засучена до колена, а вся нога ниже толсто обмотана нечистым тряпьем, в темных, засохших пятнах крови и земли; раненую ногу он сам перевязывал и, очевидно, еще надеясь жить, не замечал тонкого запаха разложения, исходявшего от ноги, неуловимо пропитавшего все вокруг — кусты, траву, обрывки тряпья.

Глаза Захара остановились на пистолете. «Черт, хороший пистолет, наверное, многозарядный, припрятать бы, потом на улицу с ним ходить». Захар не решался взять пистолет, — вот если бы немец не валялся, какдохлый... В это время он почувствовал, что немец очнулся и глядит на него. И опять их глаза встретились, и первоначальный испуг, мелькнувший во взгляде немца, сменился удовлетворением; вернувшись *оттуда*, он узнал Захара и обрадовался ему и тому, что узнал его, но его почти сводила с ума жажда, и, уже не думая ни о чем другом, кроме воды, он попросил пить. Захар, мучительно напрягаясь, вслушиваясь в незнакомые слова, глядел на его рот, на сухие зубы, пересохший, шершавый язык; немец стал показывать руками, тогда Захар понял и закивал.

— Пить хочешь? — спросил он. — Воды, да, воды?

— Воты, — повторил немец, страдальчески, с мольбой заглядывая Захару в глаза. Вота, вота... — еще раз повторил он и неожиданно сказал: — Иван, руски Иван, спа-сипа.

«Иван» он выговорил ясно, опять ищуще заглядывая Захару в лицо. Захар вспомнил, что недалеко отсюда видел несколько касок, и, кивнув немцу, не отрывавшему от него жадного взгляда, побежал по своему следу назад и вскоре действительно наткнулся на каску, затем на другую; Захар сходил к ручью, отыскал чистую колдобину и, ополоснув каски от набившегося туда сора и муравьев, зачерпнул теплой воды и понес немцу. Захар торопился, глаза немца все время стояли перед ним.

Возвращаясь назад, Захар беспокоился, ему почему-то стало неудобно за себя, за то, что он пожадничал и весь день, надрываясь, таскал из лесу консервы и сухари, за то, что снял сапоги с убитого. Но это мимолетное чувство быстро прошло, оставив взамен в душе нечто яркое, промытое; он словно проснулся и вспомнил, кроме землянок, трупов, обломанных яблонь, свою школу, и книги, и как

отец учил его играть на гармошке, а еще их возили всей школой в район на концерт,— наверное, подвод тридцать собралось, не меньше...

Высоко в небе летели самолеты. Мельком взглянув на них, Захар с удовлетворением отметил: «Наши, двенадцать штук»,— и поспешил дальше; он облегченно передохнул, встретив светлые, ждущие глаза; немец сидел, подавшись вперед, Захар молча протянул ему одну из касок и глядел, как немец, мучительно задыхаясь и держась, пил, опустив лицо в каску, затем через край ее и потом ждал, запрокинув голову и двигая кадыком, пока последние капли стекут ему в рот. Захар протянул ему вторую каску, немец выпил и ее, как пьяный, не отрываясь. На глазах у Захара лицо немца покрылось мелким потом, и он обессиленно откинулся на спину и затих, пистолет по-прежнему валялся рядом, и Захар свободно мог взять его.

Он подобрал каски, сходил и принес еще воды. Солнце опустилось совсем низко, и Захар подумал, что сегодня ночью будет прохладно; развязав мешок, он достал буханку хлеба, банку консервов, вскрыл ее ножом и поставил рядом с немцем; теплый запах консервного мяса заставил немца открыть глаза, но есть он не стал, от выпитой воды он совершенно обессилен, глаза у него сонно ворочались.

— Спасипа,— сказал он, опять закрывая глаза.

Захар присмотрелся к его лицу, чуть-чуть ожившему, и стал завязывать мешки, собираясь уходить.

— Я к тебе еще завтра приду,— сказал Захар, думая о том, что бабка Палага беспокоится. — Лучше бы тебя к людям перетащить,— подумал он вслух и уже хотел взвалить на себя мешки, но немец в это время открыл глаза и стал испуганно садиться, опираясь на дрожащие локти. Он напарил возле себя небольшую зажигалку, щелкнул ею, вытянул губы в направлении огонька и попыхал, затем протянул зажигалку Захару. Захар, поняв, что немец просит курить, поскреб в голове; от зажигалки он отказался.

— Зачем мне, себе оставь. Э-э, да что там, с тобой не столкнешься. — И знаками объяснил, что ему не нужно зажигалки.

«Ну вот, теперь, видишь, курить ему надо»,— подумал он про себя с досадой, но мешки оставил и после короткого раздумья отправился в лес бродить по блиндажам и

траншеям и вернулся лишь к самому заходу солнца, когда к земле уже припала легкая тень. «Вот ведь какая чепуха,—думал Захар, возвращаясь.—Почему я должен искать ему курить? Бабка теперь с ума сходит, может, мать с Толиком вернулись. На кой мне этот дохлый немец?»

И, хотя Захар хотел этим вызвать в себе злобу, злоба не приходила, лишь сильнее становилось чувство удивления и потерянности: он не знал, как ему поступить,—ведь пока нет здесь ни сельсовета, ни колхоза, ни соседей, никого, и саперы из лесу, кажется, ушли, он даже кричал их, но никто не отзывался. И бросить немца неловко, все-таки раненый, и глаза у него больные, просящие, силится что-то сказать. А как поговоришь, если знаешь по-немецки всего несколько слов? Смех. Например, орел по-немецки «адлер», а обезьяна — «аффе», но при чем тут орел и обезьяна? Немец казался ему большой больной скотиной, коровой или лошастью,—глядит, рвется поговорить, а не может.

Захар пошел в блиндаже растоптанную пачку сигарет и вторую, почти целую; при виде убитых он проходил теперь мимо без прежней внутренней дрожи, равнодушнее, просто не обращал на них внимания.

Захар привык к табаку недавно и теперь с жадным нетерпением и удовольствием глотал дым и шурился; перед глазами начинало плыть лицо немца, кусты. Черт, хорошо все-таки вытянуть ноги, прилечь на спину и глядеть в потемневшее закружившееся небо. Сам он от безъязычия, от неумения объясниться с немцем тоже вроде Тимки немного, деревенского дурачка. Интересно, уцелел Тимка?

Захар докурил сигарету, подождал, чтобы кружение головы прошло. С востока на небе высоко появились редкие белые облака, с одной стороны слегка розоватые, словно подпаленные; немец задрал голову и, сдвинув окурок сигареты в угол рта языком, тоже следил за ними. В кустах закричала какая-то птица. «Чу-у-у,—разнеслось в посвежевшем воздухе,—чу-у-у!» И в уши Захару хлынул целый мир звуков, шорохов, голосов, словно кто вынул у него из ушей плотные пробки. Захар опять увидел на лице немца слабую улыбку. Она чуть-чуть мелькнула и тут же исчезла, но Захар заметил ее,—конечно, немец боится его ухода, а ему надо идти, он как раз думал об этом.

Захар решительно встал на ноги и наклонился над мешками. Немец молча и сосредоточенно глядел на него

и больше не улыбался, затем торопливо завозялся и протянул к Захару руку; Захар шагнул к нему и тут же отступил. Немец отдавал свои часы с твердым, побелевшим на краях, пропитанным потом, ремешком. Захар отмахнулся, не взял, но немец настойчиво тянул к нему руку и что-то быстро и горячо говорил. Тогда Захар взял часы, и немец слабо улыбнулся, похлопал его по плечу и опять без сил повалился на свое тряпье, а Захар осторожно протер рукавом циферблат, и снова положил их рядом с немцем на голенище сапога, и торопливо, пока окончательно не стемнело, стал собирать кругом топливо для костра и рвать траву, чтобы постелить. «А, черт с тобой,—с тоской думал он, переночую, сварю суп из консервов, а завтра что-нибудь придумается. Может, подвернутся наши солдаты или в район сходить, пусть заберут, раз он раненый и сам двинуться не может. А часы ему нужнее, пусть знает время, на что они мне? Вот пистолет бы...»

Работа у Захара двигалась быстро, и скоро немец, застонав, перекатился на подстилку из травы, к весело потрескивающему костру, и прислушивался к булькающему в касках супу из консервов. Немец глядел на Захара и мучился: хоть и живой человек рядом, а ничего ему не расскажешь, не поблагодаришь как следует. Русский паренек хорошо сделал, не ушел, и, если бы он знал и понимал всю правду, он бы и не подумал уйти. Немца все чаще охватывало жаром, и он терял память от жгучей боли в спине; у него медленно отказывали руки, и он знал, что это такое. Утром он разматывал повязку и видел злоевающие синеватые пятна, они проступили уже выше колена, а русский парнишка ничего этого не знал и поэтому хотел уйти. А вообще он, Артур Фугель, трус, ведь у него есть пистолет, и в нем есть пули, а он вот лежит и мучается, а это надо давно сделать, как только появились на изувеченной ноге синие пятна и стал деревенеть позвоночник. Вот теперь и живот и грудь охватывает огнем, и он, копейно, рад: перед концом судьба послала живого человека, хотя и нельзя ничего ему рассказать. Будут расти в Дрездепе двое детей, две девочки, Мария и Грета, жена состарится, а они вырастут; теперь, издали, он понимал: настоящая жена у него была, замечательная мать. Всего неделю назад прислала письмо, просила не беспокоиться за детей и за нее, заклинала беречь себя. За трое суток здесь, в кустах, Артур Фугель привык к мысли, что он только падаль, а теперь судьба

послала ему напиться и поест, даже огонь костра и человеческий голос; за трое суток он заново прошел всю войну, он был всего лишь рабочим, обыкновенным каменщиком, правда, хорошим мастером, но теперь другие времена, пужны солдаты, а не строители. Пришел час, его одели в жаркое сукно и послали на восток, и вот он лежит и умирает на востоке. Жаль, нельзя ничего рассказать парнишке, они точно с вырванными языками, могут лишь глядеть друг на друга... А к утру станет хуже, он не сможет терпеть боль, и лучше бы не ждать утра и парнишку освободить. Ему очень хотелось сказать парнишке, как ловко обманывают бедолаг, подобных ему, Артуру Фугелю: говорили, проще простого захватить богатые земли на востоке — и живи, и наслаждайся! Вот он и лежит, наслаждается, лежит, подышает на этой земле. И благополучно сгниет, и никто об этом не узнает. А земле что, земля его примет... Мерзкая ложь, что землю можно захватить. Землю нельзя захватить! Он, Артур Фугель, понял это, и умирает, и даже не может высказать кому-нибудь свою мысль. Человек имеет избыток много хорошего, но понимает это, лишь когда приходит смерть; думал ли он, Артур Фугель, во что он оценит глоток воды из рук конопатого русского парнишки?.. Вот опять начинается... Он запрокинул голову и закрыл глаза, его словно сунули спиной в костер, в самый жар, нет, нет, не выпустить бы из руки пистолет... Какие все подлецы, мерзавцы, там, вверху!..

В небе светились звезды, раньше он не обращал на них внимания, а теперь за две ночи привык и радовался им всякий раз, когда возвращался *оттуда*.

Больше ему ни о чем не хотелось думать, только глядеть на звезды. Вот и звезды он хорошенько успел разглядеть за последние две ночи, жаль, что раньше он не обращал на них внимания, но сейчас ему никто не мешает глядеть на них сколько угодно, только почему-то не чувствуется больше тяжесть пистолета, и руки исчезли, он не чувствовал их тоже. И он понял: теперь нужно умереть.

— Немец, — весело сказал от костра Захар, — суп готов. Давай есть. Плохо, ложек нет. Как думаешь, обойдемся? Можно и так выпить да руками поест мясо. Шевелись, шевелись, фриц. Подожди, я тебя пристрою.

Захар подбросил в костер веток потолка п, захватив пучком травы каску, поставил ее перед немцем; тот ле-

жал молча, у него еще звенело в голове от недавней боли, но он решил поесть. Суп из консервов, последний суп, теперь уже все. Захар достал еще одну буханку хлеба и разломил пополам.

— Вот, давай, фриц,— сказал он, с нетерпением ожидая, пока остынет каша и можно будет есть из нее. — А может, у тебя ложка найдется?

Немец не понимал, и Захар долго показывал, затем махнул рукой. Ему тоже хотелось поговорить, он был доволен прошедшим днем, хоть бабка и поругается завтра, не в первый раз.

— Ничего, фриц,— говорил Захар,— теперь для тебя война капут. Вылечат, будешь живой, наши раненых не добивают. Вернешься домой. Матка небось есть?

Захар произнес слово «матка», подразумевая под этим жену, так как немцы всех женщин звали «матками», и Артур Фугель, каменщик из Дрездена, по особой интонации в голосе Захара понял и с усилием утвердительно качнул головой, уже далекий от еды, от жены и детей. Захар увидел его оскаленный рот и торопливо принял от него подальше варево, поставил к огню, чтобы не остыло. Сходя к ручью, он намочил какую-то оказавшуюся под рукой тряпку — не то полотенце, не то портянку. Трава стала сыреть и холодила босые ноги; скоро покажется луна, а пока стоит крошечная темень, от костра все перед глазами сливается в сплошную черноту; Захар шел, протягивая вперед руки, осторожно пащупывая землю ногами. Он с трудом отыскал колдобину с водой, вернулся на крошечный отблеск костра в густых кустах.

Ветки в слабом полусвете от шатающегося огонька отбрасывали на землю широкие шевелящиеся тепи; почему-то резко запахло мятой.

Немец опять лежал без памяти; Захар пощупал его лоб и положил на голову ему мокрую тряпку, единственное, что он сейчас мог сделать, и подбросил в костер веток. «Хорошо, лето сухое, и комары подошли, редко-редко прозвенит какой пад ухом... Надо поесть»,— решил Захар и стал хлебать из миски через край. Мясо из консервов разварилось, и, хотя похлебка после трудного, долгого дня показалась необыкновенно вкусной, Захар ел медленно, по-крестьянски основательно. Насытившись и борясь с дремотой, он опять сходил к колдобине, вымыл кашку, напился и, вернувшись с полной кашкой воды к костру, перевернул мокрую тряпку на голову у немца.

«Наверное, теперь за полночь», — подумал он и, вспомнив про часы, нащупал их на мешке немца.

Часы шли, стрелки показывали двадцать минут первого. «Ого! — удивился Захар. — Быстро, надо поспать». Он примерил часы себе на руку, застегнул ремешок, полюбовался и, стыдясь, быстро оглянувшись на лежащего в беспамятстве немца, снял часы и положил на место. Прикорнув у костра и борясь с подступавшей дремотой, тоскливо оглядывался и прислушивался. Мерещился рядом кто-то неопределенный, лохматый, из рассказов бабки Палаги, бродит в кустах и пялит глаза.

«Брошу фрица к черту, — зло подумал Захар. — Чего он ко мне привязался? Все равно помочь не могу, чего тут дрожать? Не повезло мужику, убить не убило, со своими не ушел, теперь страдай».

Захар лег навзничь, злясь на себя, что не может спать. Костер слабо пригревал один бок, приятное, слабое тепло огня проходило глубоко внутрь. «Хоть бы с немцем поговорить. Интересно, небось теперь клянет своего Гитлера, хоть и немец, а человек, болит у него, видать, здорово... Дела! Встретились два человека, — не могут ничего друг другу сказать, говорили бы все одинаково... А то я ему одно, а он другое, и нет никакого понятия. Никому и не расскажешь, осмеют, даже бабка Палага дураком обзовет, что не бросил немца и не ушел. А может, и не обзовет. Бабка Палага всякую тварь жалеет, она и меня приучила не бояться в лесу ночевать. А может, припелось все во сне — и хлеб, и консервы, и землянка, и то, что немцев вообще прогнали?»

Захар, стараясь проснуться, вздрогнул: немец мучительно громко скрежетал зубами, быстро и непонятно бормоча; для Захара слова сливаются в один долгий слабый крик. Захар подбросил в костер сухья и подполз к немцу на коленях, немец очнулся и тихо стонал. Захар напоил его из каски, зубы мелко постукивали по железу, и белки глаз от костра у немца желтовато светились.

— Ты, может, поешь, фриц? — неуверенно спросил Захар, поднося к нему каску с теплой похлебкой, стараясь заставить его почуять запах пищи.

— Найн, — сказал немец, втягивая ноздрами воздух, сясь повернуть тело.

Захар неотрывно следил за ним, и немец опять стал что-то говорить — быстро, трудно, с хрипом, а Захар испуганно глядел на него, сидя рядом и подтянув колени

к подбородку. Он понимал — немец жалуется и говорит, как говорят иногда от горя со скотиной, но ведь он все равно ничего не мог понять и едва удерживался, чтобы не вскочить и не убежать: так ему стало не по себе. И немец, точно чувствуя, замолчал, взгляделся в освещенное одной стороной лицо Захара, затем зажмурил глаза и, вздрагивая губами, молча заплакал.

5

Под утро из-за леса появилась луна, торжественная, круглая, по воздуху сеялся прозрачный свет.

Захар сидел, положив голову на колени, чтобы не заснуть, и слушал, как начинают в кустах попискивать и перепархивать птицы. Перед самым рассветом по кустам зашелестел ветер, и Захар окончательно заоченел и проснулся. Все-таки он заснул. Немец лежал, навалившись на правый бок, и глядел как-то странно. Может, Захар и проснулся от его взгляда. Лицо у немца застыло неподвижной белой маской.

Захар зябко передернул плечами; в глазах раненого не было живого света, хотя они были широко открыты.

Всходило солнце, птицы кругом свистели, тинькали, недалеко орала утка, в небе стояла безбрежная просинь, и на месте костра лежала пухлая зола; от прикосновения ветра она приподнималась и летела пылью.

Немец слабо шевельнулся, он упорно старался не упустить Захара из виду и смешно ворочал глазами. «Бойтся, что уйду,— подумал Захар. — Чего, скажи, корсотится, ведь не ушел же».

Присев у кучи хвороста и косясь на немца, Захар принялся ладить костер.

— Ладно, фриц! Вот тебя покормлю, потом сбегая, может приведу кого. Тебе есть надо, ты это зря, еще поживешь, молодой.

И тогда Артур Фугель сделал то, к чему готовился всю ночь. Он стал знаками просить Захара взять пистолет и выстрелить ему, Артуру Фугелю, чуть выше уха, ближе к виску; он говорил, кося глазами то на пистолет, то на лицо Захара, и Захар понял.

— Ну уж нет,— сказал он торопливо, отодвигаясь ползком подальше, и немец опять стал говорить, что тут ничего больше не придумаешь—война! — он сам бы застрелился, но не может теперь, отказали руки, а раньше он все

боялся. Он говорил, что Захар уже не мальчик, а мужчина и ему нужно не бояться таких вещей, раз он мужчина.

Говорил и все глядел на Захара, а Захар отрицательно тряс головой, стараясь не встретиться глазами с немцем. Он видел, как шевелилось на немце окровавленное заскорузлое тряпье; в одном месте, в поясе, приоткрылось голое тело, и от этого бледного, уже мертвого тела Захар окончательно все понял: немца разбило параличом — вот отчего он застыл бревном и только глазами ворочает. Все-таки, глянув немцу в глаза, Захар не мог оторваться; ему показалось, что и сам он в свои четырнадцать лет старый-старый.

Захар смахнул рукавом неожиданный пот с лица, затряс головою.

— Нет, фриц, не проси. Я сейчас на дорогу выйду, может, какую машину остановлю. Ты не бойся, помогут, есть доктора хорошие.

Захар повернулся и побежал напрямик, через кусты. В полях стояла тишь. Задохнувшись, он пошел медленнее, потом опять побежал. Еще издали он увидел, как по большаку с промежутками минут в пятнадцать — двадцать шли машины. Захар долго не мог остановить ни одной. Машины шли груженные выше кабин ящиками, мешками, и, когда очередная с тремя солдатами в кузове, все-таки остановилась, Захар долго не мог толком объяснить своего дела пожилому старшине с белым косым шрамом через весь лоб и со смешливыми глазами. Солдаты были веселые от победы, от стремительности первых дней наступления. Один, низенький и курносый, долго слушал Захара, затем захохотал.

— Насмешил ты, парены! Подумаешь, немец! У нас задание другое, нам немцев бить надо, а подбирать их пусть господь бог к себе подбирает! — Он поднял куцый палец к небу: — Воп их дорога, туда, в райские кущи.

— Погоди, Сазонов, — нахмурился старшина и замолчал, раздумывая.

— Помирает он, — сказал Захар. — Паралик его стукнул. Ни рукой, ни ногой не двинет.

— Эх ты, сопля! — опять вмешался низенький. — Он тебя не пожалел бы.

— Сазонов! Придержи язык! — больше по начальственной привычке оборвал старшина и спросил у Захара: — А далеко?

— Километра полтора, товарищ старшина.

Старшина, прочищая ноздри, шумно высморкался; опять и опять оглядывая Захара, он решал, и по его косящим глазам Захар понимал, что ему очень не хотелось идти глядеть парализованного немца, и Захар видел, что сейчас он откажется.

Мимо пропосились машины, сухой, пыльный большак лохматился хвостами пыли.

— Товарищ старшина, недалеко тут, ей-богу,— опять подал голос Захар.

У него жалко дрогнули губы, и он отвернулся. Старшина, привыкший за долгие три года к любым смертям и отвердевший сердцем, как-то по-иному взглянул на Захара: дело-то не в немце, а вот в этом парнишке, и ни к чему накладывать на его душу еще одну тяжесть, видать, невесело ему пришлось и без того. Раз так просит, решил старшина, можно и сходить.

— Отец у тебя где?

— Батьку с начала войны взяли в армию. Сейчас не знаю где, может, живой...

— Конечно, живой,— пригладил вихор Захара старшина. — Ладно, пошли, ребята, разомнемся чуток. А ты, Коля,— обратился он к шоферу,— скаты проверь.

Захар повел их напрямик, тем же следом, которым вышел к большаку сам; он торопился, и солдаты вспотели, поспевая за ним.

Захар шел первым, и немца увидел первым, и попятился назад; над лицом у немца столбиком толклись зеленые мухи. И старшина увидел. Оглянувшись на Захара, крикнул, отошел на подветренную сторону.

Солдаты потоптались вокруг мертвого, коротко переговариваясь; Захар все стоял и глядел.

— Беги-ка ты домой, парень. Лопатку бы, прикопать... Иди, иди... видишь, помер. Батьку теперь дожидай.

Они ушли, не сказав ничего больше Захару, торопились — следом шла война. И только старшина оглянулся издали, опять задерживаясь взглядом на торчавшей из кустов голове Захара, и, томимый проснувшейся печалью и тревогой, подумал, что так вот и растет человек, и однажды встречается лицом к лицу с неожиданной горечью жизни, и она оставляет в его душе первую глубокую зарубку. Старшина вздохнул про себя и отправился догонять своих солдат, а Захар стоял и стоял. Зеленые мухи начали садиться наконец на мертвое лицо немца, и тогда Захар пошел прочь; через поле он вернулся

к тому, что было когда-то деревней. Солнце уже хорошо пригревало. Дома его ожидала новость: еще издали он услышал возле землянки голос Толика; тот увидел Захара и пронзительно закричал:

— Бабуш! Бабуш! Захарка идет! Захарка нашелся!

Толик выскочил из сада навстречу брату, подбежал, подпрыгнул, стараясь ухватиться за плечи; Захар подхватил его на руки, мученически заморгал, отчаянно сморщась, удержался, сильно прижал к себе голову брата и не отпускал ее от своего плеча, уже не чувствуя рук бабки Палаги, обхвативших его сзади, и не слыша ее голоса. Затем, приходя в себя и различая близко рядом с собою кричащие дикие глаза бабки, он беспомощно пошевелил губами и стал бестолково осматриваться кругом.

— Нету же, нету ее, твоей матери! — вдруг ворвался в него стонущий голос бабки Палаги. — В Германию угнали, проклятые, на смертушку верную, оставили вас сиротами. А Толика дед Терешин вчера под вечер привел, да все-то он мне рассказывал про нее, горемычную. Да как же мы теперь жить будем без матери, и кто знает, уцелеет ли хоть батька на сиротскую нашу долю... О-о, доченька моя, несчастная, ты моя ягодка горькая!..

Сам готовый завывать в голос, глотая слезы, Захар все старался оторвать от себя цепкие старушечьи руки и говорил бессмысленно:

— Брось, бабуш, не надо, брось... Теперь все кончилось, война скоро кончится, хватит, хватит тебе... Да брось же ты меня, старая, не держи! — сорвался он на высокий крик, и руки бабки опали, она, всхлиывая, прошла к землянке, где недалеко от двери, привязанный за ногу бечевкой к яблоне, ходил рядом с белой курой огненно-рыжий петух. Он то и дело останавливался и, сердито бормоча, клевал тугой узел у себя на ноге, повыше длинной, острой шпоры; один глаз у петуха закрывал свалившийся набок тонкий зубчатый гребень яркого малинового цвета.

Разглядывая неожиданный прибыток, Захар положил руку на худенькое плечо брата, и невольно притянул его к себе, и от усилия не выдать растерянность и боль достал пачку сигарет и стал закуривать.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит Золотую звездочку и половина груди в ордемах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезет из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает вострою чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если

на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесить. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь упомянул мне о невесте, — очень, мол, хороша девушка, и уже если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать. «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

— ...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, «тигра»! — «Вперед, — кричит, — полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... «Тигра» стволот-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок — брызги! Как даст еще в башню — он и хобот задрал... Как даст в третий — у «тигра» изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, — они лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, — другой выскочит без сапогов и в одних носках — порск! Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — и проутюжил, остальные руки вверх — и Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на

бугре на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восставили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия пашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстанавливаю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья, поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скирпел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул паис-косок к дому. Увязнув по колено в снегу, пагнувшись

к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку — и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — прпвалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки.

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив по его кудрявой головке, говорила: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы. Бороду у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенкамп, не спеша разматал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая, спра-

ведливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя.

Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, — он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай, выросый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, и чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сушок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не

признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшенные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые, светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга — свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти, — сегодня же.

Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторяя сильным голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так:

пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати,—эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой пепаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя,—человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю почти,—кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын, разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он,—таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — всё свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу,—он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня,—что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее — на четырех страницах мелким почерком,—он бы и на двадцати страницах написал, было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу: «Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, по личпо я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, я уже помнил, что всем богатырским сложением это был

бог войны: «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

1944

Нина была только на год старше брата Вити, но, как девочка, рядом с ним, казалось, переросла свои десять лет. Она помогала матери в хозяйстве, и, когда взрослые заводили речь о пайках, о хлебных карточках, об очередях, она серьезно вмешивалась в разговор.

— Ты, мама, не сравнивай с мирным временем,— говорила она и громко вздыхала, как женщина.

Витя думал больше о своих однолетках-товарищах, чем о сестре. В душе он считал, что ее жизнь заполнена суетой. А у него была собрана коллекция осколков от зенитных снарядов, был немецкий железный крест, подаренный красноармейцем, были и другие военные трофеи, например, золоченый пакетик от германского бритвенного ножичка, попавшего в руки того же лихого красноармейца при разгроме одной вражеской позиции.

Сестра Нина делала, конечно, все, на что была способна, но ее занятия Витя называл девчонскими, кроме, пожалуй, хождения за обедом в столовую. Тут, однако, Нина не обходилась без Вити. Она брала его с собой, и одну кастрюльку нес он, другую — она.

Раз в очень ветреный зимний день они возвращались из столовой домой. Выдано было всего одно блюдо, но зато хорошее.

— Смотри,— сказала Нина, поболтав ложкой ячневую кашу,— какая густая. Это лучше, чем суп, да потом второй суп под маркой каши. Правда?

— А что такое под маркой? — спросил Витя. — На каше марок не бывает. Это не письма.

— Ты всегда не понимаешь,— сказала Нина,— это так говорится.

Закутанные, они шли, нагнувшись, против ветра, пряча маленькие личики в поднятые и обкрученные шар-

фами воротники. Нина несла кашу, Витя — пустую кастрюльку с ложкой.

Чуть-чуть начинало смеркаться, но они знали, что успеют до темноты прийти домой, и шли обычной дорогой — по Миллионной улице, потом наискосок по Марсову полю — узкой, кривой тропинкой, вытоптанной по перебраным сугробам снега, к Садовой. Когда они проходили мимо занесенного памятника Жертвам Революции, на них вместе с поземкой точно из-под земли палетело утробное завывание сирены.

— Вот тебе и воздушная тревога, — сказал Витя.

— Добежим, — ответила Нина и взяла брата за руку.

Они побежали, нагнувшись еще больше и вобрав головы в воротники. Ложка в пустой кастрюле позвякивала весело и звонко, словно бубенец, и Витя подумал, что вот он мчится на лошади в снежный буран, быстро, быстро.

Вдруг он услышал гул самолета и затем режущий свист бомбы, близившийся с неба как будто прямо на них.

— Ложись! — крикнула Нина, сильно потянув Витю за руку.

Они упали ничком в снег и секунду лежали без движения. Гулкий вздох разрыва наплыл на них сверху, и они еще немного полежали молча и не двигаясь. Приподняв голову, Нина сказала:

— Это у нас.

— Нет, — ответил Витя, — дальше. Я уж знаю.

Они опять уткнулись в снег, потому что новый взрыв раскатился по пустынному полю, тяжело переливаясь через них и со стоном уходя на Неву.

— Знаешь, — сказала Нина, — побежим к Лебяжьей канавке, там спрячемся под мостик.

Они перебежали через поле, скатились по откосу паберезной и, увязая в снегу, забрались под мост. Там было темно, угрожающе свистел ветер, но они так глубоко спрятались в пролете, что поземка не задевала их. Они прижались друг к другу и замерли.

Тогда началась бомбежка. Один за другим повалились на город снаряды. На розовых вспышках разрывов чернел грузный Ишжеперный замок, как будто припадая к мостику и потом отбегая от него, и деревья вокруг замка словно выпрыскивали из земли голыми черными венниками и опять прятались, как будто их кто-то вдергивал назад, в землю.

— Это все около нас,— совсем тихо сказала Нина. — Около нашего дома.

— Вот это да,— ответил Витя.

— А что, если убьют маму? — спросила Нина.

Витя ничего не сказал. Он поправил кастрюли, сначала — пустую с ложкой, затем — с кашей, вдавив их поглубже в снег. Вдруг раздался такой удар, что лязгнули и простонал мост, и Витя услышал, как ложка запрыгала на дне кастрюли, жалобно прозвеневшей, точно струна гитары.

— Тебе не страшно? — спросила Нина и повторила: — Вот если убьет маму...

— Знаешь, Нина,— сказал вдруг басом Витя,— давай съедем кашу...

— А мама что? — спросила Нина.

— Все равно, когда ты говоришь, если маму убьет...

Они помолчали. Разрывы прекратились, ветер приостановился, и стало на минуту очень тихо.

— Ну а если маму не убьет,— сказала Нина,— а мы с тобой съедем кашу?..

Витя не ответил. Снова взорвались бомбы — раз, другой, третий... Выплыл, придвинулся к мостику и исчез черный замок.

— Ну а если маму убьет? — произнес еще более грубым голосом Витя. — Каша совсем замерзнет. На чем ее будем отогревать? Только больше чурок изведешь. А сейчас она еще мягкая... Съедем, Нина, а?

Нина подумала и сказала:

— Нет, Витя. Может, ее все-таки не убьет...

Не заговаривая больше, они дождались конца бомбежки, выползли на четвереньках из-под моста, окоченевшие, скорчившиеся, и пошли домой.

В воротах дома к ним кинулась мать и, обнимая их, забормотала какое-то неразборчивое слово, вроде «маленькие» или «миленькие», все стараясь что-то проглотить и задыхаясь.

В комнате, разогрев кашу на железной печке, она разделила ее поровну между детьми.

— Мама, а ты? — спросила Нина. — Почему ты не положила себе?

— Я уже поела, детка, кушайте, кушайте,— сказала мать, отворачиваясь от стола и копошась около огня.

Когда обед был кончен, Витя тихонько придвинулся к матери и поцеловал ее.

— Спасибо,— сказал он обыкновенным Витиным голосом.

Потом ушел в дальний, совсем темный угол комнаты и позвал оттуда:

— Нина, а Нин, поди сюда.

Сестра подошла к нему, он обцепил рукой ее шею и прошептал:

— Нагнись. Ну, нагнись, тебе говорят, я скажу на ушко... Ты знаешь... ты это.. не рассказывай маме про то, что мы говорили под мостом...

— Про кашу? — тоже шепотом спросила Нина. — Что я, разве дура? Конечно, ни за что не расскажу...

Холодный ветер сдувает с деревьев листья и гонит их по улицам маленького городка, затерявшегося в горах. На берегу реки горделиво возвышается крытый железом домик каменотеса Маргара.

Полдень. У ворот на каменной скамье — сам мастер Маргар, погруженный в думы. Кажется, он прислушивается к шелесту листьев, гонимых ветром. Но ни шорох листьев, ни плеск реки, извивающейся по долине, не привлекает внимания старика. Уставясь полужакрытыми глазами в землю, он ушел в себя.

...В начале Великой Отечественной войны в числе других отправился на фронт и сын Маргара, архитектор Арам. В первое время старик часто получал от сына письма. Всякий раз, получив письмо, усаживался он на покрытой ковром тахте, осторожно вскрывал конверт и долго молча читал... В эти торжественные минуты жепы мастера, старая Манушак, становилась перед мужем, скрестив на груди руки, и старалась по лицу его угадать содержание письма. Маргар читал письмо, жена — выражение его лица. Прочитав и уразумев содержание письма, мастер громко прочитывал его вслух, обстоятельно поясняя жепе смысл каждой фразы и каждого слова.

Но письма Арама вдруг иссякли, как источник в зной. Сперва мастер Маргар видел в этом только обычный перерыв, но когда этот перерыв затянулся, в сердце старика вкралось мрачное подозрение: «Неужели с ним что-нибудь случилось?» И эта мысль пугала его. Он никому не говорил о своей тревоге, бодрился, подбадривал старуху и подолгу заслушивался радио, точно оно могло сообщить, где его сын.

Время шло, но от Арама писем не было. И вот однажды Маргар услышал по радио желанную весть: «Победа!» Он вскочил бойко, точно юноша, запрыгал и крикнул жепе:

— Победа, женушка, радуйся!

Старуха ласково улыбнулась, но эта улыбка скоро исчезла. Старуха застонала:

— От Арама, от Арама моего нет весточки!..

Ее слова, как нож, вонзились в сердце Маргара. Он ужаснулся, взглянув на жепу.

— Вернется, женушка, вернется, — проговорил старик, с трудом сдерживая волнение.

И, выйдя на балкон, он долго всматривался в шоссе, спускающееся с горы Ласт; по этому шоссе возвращались бойцы с фронта.

Утром Маргар отправился на шестой родник, построенный им. Женщины, пришедшие по воду, молча поздоровались и ушли. Обыкновенно всякий раз, когда он останавливался перед тем или иным родником, женщины, обступая старика, заводили с ним долгую беседу. А теперь они точно избегали его. Почему бы это? «Да, да, все знают, что моего Арама нет. Знают, но не говорят, жалеют меня», — подумал мастер.

Каждый родник, построенный мастером Маргаром, имел свою историю. Но шестой, перед которым он теперь стоял, был заветным. Он заложен был в тот самый день, когда приехал из Еревана Арам, успешно окончивший свои занятия по архитектуре. Вместе с сыном Маргар достроил шестой родник. Надо было заложить еще один, седьмой по счету. Маргар это дело поручил сыну. Но мечта старика не осуществилась. Арам отправился на фронт.

И вот однажды, когда Маргар сидел на своем излюбленном месте, на каменной скамье у ворот, он вдруг заметил, что прямо к его дому подходят районный военный комиссар и секретарь райкома. Когда они приблизились, мастер Маргар подметил в их глазах затаенную скорбь и весь затрясся: такое лицо бывает у людей при посещении родных покойника.

— А мы к тебе, мастер, — заговорил военком, избегая глядеть старику в глаза.

Маргар пригласил гостей к себе. На стене, против двери, висел большой портрет Арама. Старик заметил, с каким сожалением взоры гостей скользнули по портрету сына.

— Присядьте, — через силу молвил он.

Но гости не сели. Военком достал из портфеля красную подушечку, и Маргару все стало ясно. Комната закружилась перед ним, в горле стало сухо, ноги подкосились, однако и теперь у него хватило сил овладеть собою.

— Орден Арама, — сказал военком.

— Понимаю, сынок, и без того понимаю, — ответил Маргар и склонился над подушечкой.

Когда он прижал губы к ордену, ему почудилось, будто он целует лоб сына. В глазах у старика защемило, на подушечку закапали слезы. Потом он выпрямился, вытер глаза и тяжело вздохнул.

— Так я и знал, дети мои, сердце не ошибается.

Дверь открылась, вошла Манушак. Гости переглянулись: «Как быть со старухой?»

При виде таких почтенных гостей старуха растерялась.

— Подойди, Манушак, — обратился к ней Маргар, скрывая волнение, — подойди, вот орден Арама.

Старуха быстро подошла к столу. Разглядев блестящий орден, она улыбнулась и вопросительно посмотрела на мужа.

— Поцелуй его, Манушак, — продолжал старик.

Старуха нагнулась и трижды припала к ордену горячими губами.

— Но где же мой Арам, скоро ли приедет?

— Приедет, — глядя жене в глаза, твердо ответил Маргар.

— Да когда же?

— Когда? — повторил старик и, помолчав с минуту, отчеканил: — Когда построим седьмой родник, в тот день и Арам приедет.

Старуха поверила. Уже полвека живут они с Маргаром спокойно и мирно. За пятьдесят лет Манушак ни разу не слышала от мужа неправды. Поверила она теперь и облегченно вздохнула.

Всю эту ночь мастер Маргар не мог сомкнуть глаз. Он разбирал бумаги сына, хранившиеся в большом сундуке. И вдруг попался ему проект седьмого родника.

Сердце старика забилося. Проект был составлен Арамом незадолго до ухода на фронт. Это был его первый водческий опыт.

Долго рассматривал Маргар чертеж. С каким жаром, с каким увлечением сын создавал свой проект! Да это будет красивейший из городских родников!

Глаза старика налились слезами.

Положив на место проект, Маргар сел на тахту, устремил в потолок неподвижный взор и отдался думам.

«Надо строить седьмой родник,— повторил он про себя. И эти слова точно облегчили его горе. — Построю, чтобы заветная мечта моего Арама не осталась тщетной».

На другой день мастер с проектом седьмого родника отправился к секретарю райкома.

Секретарь принял его у себя в кабинете. Солнце заливало лучами всю комнату. Секретарь поспешно подошел к старику.

— Пожалуйста, мастер, присаживайтесь.

Маргар уселся и, сдержав глубокий вздох, молвил:

— Я хочу построить седьмой родник, товарищ секретарь. — Потом, как бы про себя, продолжал: — Этот родник будет вечным памятником нашим погибшим сыновьям.

Секретарь внимательно слушал его.

— Седьмой родник станет украшением нашего города и будет памятником героям.

— Мысль отличная, мастер Маргар. На этот счет имеются указания правительства. Получим проект и построим.

Старик протянул ему проект.

— Вот проект седьмого родника, товарищ секретарь. Это — работа моего сына, первый его архитектурный труд.

Секретарь пообещал всяческое свое содействие.

Прощаясь с секретарем, Маргар сказал со вздохом:

— Тяжелые потери мы понесли.

— Да, тяжелые! Но эти жертвы дали нам свободу, счастливую жизнь и мир. Пусть же отныне ни один отец не потеряет сына, пусть больше не будет войны, мастер Маргар.

Спускаясь по лестнице, старик в уме повторил слова секретаря: «Пусть же отныне ни один отец не потеряет сына, пусть больше не будет войны». Потом громко сказал:

— Умные слова, которые у всех нас в сердце!

Дня через три на ранней зорьке мастер Маргар, захватив мешок с каменотесными орудиями, вышел из дому.

На краю города, над рекой, изгибался дугой каменный мост, построенный им и его отцом, тоже мастером, полвека назад. Старик поднялся на мост и взглянул на солнце, выходявшее из-за горы Ласт. Сколько раз он любовался отсюда солнечным восходом! Как он верил, что вот-вот придет победа и с нею вернется Арам!

Победа пришла и озарила душу ярче солнца. Но Арама нет. Он не вернется...

Пройдя вдоль широкого шоссе, старик остановился. Здесь колхозники расчищали место для родника-памятника. Одни свозили на подводах камень, другие просеивали песок. Все работали с жаром, дружно.

— Ах, ты пришел, мастер Маргар, добро пожаловать! Построим седьмой родник,— заговорили колхозники.

— Построим,— отозвался мастер,— воздвигнем нашим погибшим героям памятник-родник. Родник мира.

У края шоссе, в густой зелени, пробивался студеный ключ. Его струями Маргар освежил лицо и присел у родника. Это и есть то самое место, где Арам собирался создать седьмой родник.

Оторвавшись от дум, Маргар поднялся, взялся за тесло и начал обтесывать первый камень.

Едкая пыль ложилась на его седые волосы, на лицо, смешиваясь с пылью, пот капал на камни. Но старик продолжал тесать и тесать...

Камни оживали под ударами мастера; камням старик отдавал свое искусство, сердце, жизнь, камням он поверял свои надежды, несбывшиеся мечты... В мыслях он то носился по бранному полю и вместе с сыном вступал в бой, то стонал, как раненый, уронивший голову на колени медсестры, то вспоминал невозвратное детство Арама и погружался в думы, потом тесал, снова задумывался и снова тесал...

Тучи мчались над головой Маргара. Ему хотелось задержать их, приковать к камням. Но не остановишь тучи. В мыслях его проносились картины боев, а рука высекала на камнях орнаменты из цветов, вечно зеленых, мирных цветов. Цветами были украшены его шесть родников в городе.

...Прошло лето, настала осень. Яркий пурпур ее, отливая золотом, расстился в долине Варарака и на горе Ласт. Когда были уже возведены своды седьмого родника, Маргар над самым высоким — средним сводом — изваял голубя мира. Голубь реял с распростертыми крыльями, с веткой мира в клюве, — реял, как мысли в голове Маргара.

Под изваянием голубя мира высечена короткая надпись:

«Да будет долгим и прочным мир во всем мире!»

Перечитав эту надпись, мастер Маргар присел на пьедестал родника, прислушиваясь к мирной песенке воды, струившейся по всем семи желобкам.

Седьмой родник обступили люди. Гладко обтесанные камни, высеченные на них цветы и голубь мира привлекали взоры и сердца всех. Люди читали надпись и говорили, улыбаясь:

— Да проживет голубь мира тысячи лет, мастер Маргар!

Мастер смотрел на собравшихся, и ему казалось, что они явились сюда с поздравлением по случаю возвращения Арама живым и здоровым с поля битвы. Он хотел поделиться своими чувствами и мыслями с Манушак и, увидев ее на шоссе, поднялся ей навстречу...

Взволнованная, она шла быстро. Старуха торопилась. Люди, расступаясь, давали ей дорогу. Было тихо. Слышалось только, как журчали струйки родника. Манушак подошла к мужу. Она заглянула ему в глаза глубоким взором и сразу все поняла...

Манушак долго стояла перед родником, потом, обернувшись, промолвила:

— Вот он, седьмой родник — мой Арам.

Потом она долго всматривалась в изваяние голубя мира и заметила высеченные под ним слова.

И старик Маргар, как бывало читал ей письма от сына, прочел эти простые слова:

— «Да будет долгим и прочным мир во всем мире!»

Он вырвался на волю, словно птица из клетки, — взъерошенный, худой, с сердцем, замиравшим от простора. Ни на минуту не согласился оставаться в лагере, едва только ворота распахнулись настежь и эсэсовцы с караульной вышки убрались прочь. Какой пьянящий простор вокруг! Да будут прокляты немецкие слова — «хальт», «цурюк», «тод»! Набрать полные легкие воздуха и лететь. Машите, крылья, пой, глотка, — он свободен. Старый галльский петух еще покажет, на что он способен.

Эти русские — деловые ребята. Они приказали открыть лагерный склад продуктов и велели заключенным хозяйничать самим. Им некогда, надо выходить к морю. Лагерь находился в Померании. Анри-Жак подумал, что нечего долго канителиться с хозяйством, надо торопиться домой, это же преступление оставаться в неволе хотя бы еще одну ночь, когда перед тобой распахнуты двери в мир. Он взял тачку, к которой привык за три года, бросил на нее кое-какие пожитки, положил продукты, нацепил маленький, на проволочке, французский флажок и под хохот и приветственный свист выкатил за ворота.

— Постой, парень, — кричал ему один, — не наступи себе на бороду!

— Брось тачку! — орал другие. — Не компрометируй Францию!

Анри-Жак, едва только углубился в лес, вдруг почувствовал, что он свободен, что мир вокруг, от верхушки каждой сосны до ее корней, принадлежит ему, что хмурое нависшее небо все же просветливает голубизной, что Франция ждет его и он должен торопиться.

— Парикмахер! — закричал Анри-Жак, с удовольствием слушая свой голос. Он повесил полотенце на сосновую ветку, наклонился и взглянул на себя в зеркальце воды, набежавшей в ложбинку по мшистому скату, вы-

пул лезвие безопасной бритвы, которым обслужил стольких товарищей в лагере, и наголо снял бороду, оставив усы. Это было хорошее испытание для нервов: словно с тебя живого сдирают кожу! Из глаз лились слезы, кровь текла по щекам, Анри-Жак чертыхался и покрывал:

— Что ты делаешь, чертов мастер? Опомнись, цирюльник, пока не поздно!

Наконец борода лежит под ногами. Анри-Жак из бородатого гнома превратился в бравого парня, немножко хрупкого и маленького ростом, с решительным, впрочем, взглядом и чудесными черными с проседью усами. Можно было трогаться дальше. Колесо тачки скрипело, как в милой детской песне, Анри-Жак держался за ручки и пел. Какая прекрасная штука — свобода! Земляки в лагере советовали ему подождать, набраться сил, идти на родину всем вместе. Черта с два, друзья, коллектив превосходная вещь, но не тогда, когда зовет свобода! «Дижон! — пела тачка. — Когда расходится предутренний туман! Дижон! Бургундцы — славные ребята, не пропускают кабаков!»

Его Бургундия, конечно, была лучшим местом в мире, его крестьянская жизнь стоила тех затрат, которые понес господь бог, вылепливая бургундца из глины, увлажненной добрым вином. Земля всюду требует работы, и его бургундская земля не составляла исключения, скорее наоборот — она требовала двойного труда. Плодородные поля, виноградники, сколько надежд, разочарований выросло под вашим небом! То землевладелец вдруг повысит размер аренды, то кламсийская божья мать своевременно не пригонит дождевых туч, то парижские покупатели понизят цены на приличный урожай. Ладно, не стоит волноваться, только бы дорваться до этой самой бургундской земельки!

Говорили же парни, из-за которых попал он в лагерь: «Погоди, Анри-Жак, вот только бошей прогоним! Тогда уж примем меры, чтобы ты перестал платить аренду за землю, которую ее хозяин и в глаза не видел, а прадед твоего прадеда уже был на ней старожилом. Не дрейфь, Анри-Жак, твое здоровье!» Анри-Жак выпивал, — почему не выпить, когда угощают, — и делал разные нужные для этих ребят дела. Он не был партизаном, нет. К сожалению, у него не хватало мозгов, чтобы пойти в «маки». Он жил дома, платил налоги маршалу Петэну, помогал

настоящим французам, но не уберется, попался на крючок. Для очистки немецкой совести его упрятали в лагерь.

Свобода! Анри-Жак жутким голосом прогорланил «Марсельезу», впервые разобрав ее суть, а не так, как пел раньше по обязанности — в школе, на разных церемониях, в армии. Немецкий лес с удивлением выслушал его песню, даже не удостоив помочь своим эхом. Старенький темный берет лихо сидел на бургундской седеющей голове. Анри-Жак вытащил заветную трубочку, сделанную из родной глины, с вишневым чубуком, набил ее эрзац-табаком и с наслаждением затянулся в состоянии полного опьянения от воли.

К чертям войну! Он не обязан интересоваться разной дрянью. Слава богу и бургундским святым, котелок на его шее еще варит! Ребята в лагере что-то там пропагандировали, но он твердо знал, что пока война не занимает его мыслей, она не существует вовсе. К дьяволу эту солидарность, — сушь им только палец, а руку сами схватят! Нет, шутишь, он прожил неплохую жизнь, пусть кто-нибудь скажет, что он прочел хоть одну газету лишнюю, — от этого куска бумаги все войны и получаются! Он французский крестьянин, не адвокат и не рабочий, нечего ему совать нос в политику, пусть этим занимаются другие, кто к этому имеет охоту и способности.

Да, да, он в лагере попал в стоящую компанию: адвокат-католик, парочка социалистов, двое коммунистов, еще какие-то политики. Для одного деревянного курятника даже чересчур много. И каждый хотел перетянуть его в свою веру. Вот уж неугомонная человеческая натура, — вокруг колючая проволока, полсотни бошей со сварками, пулеметы, домашний крематорий, а они спорят между собой и делят шкуру убитого медведя. Анри-Жак занимал койку на третьем ярусе; там застаивался тяжелый воздух под потолком, но было теплее и не сыпалась в глаза соломенная труха с верхней койки, как это было на первом и втором, можно было чувствовать себя над всеми. Через борт от него спал русский, — да, да, настоящий совет, только жил он во Франции и попал в лагерь как француз.

Скорее всего, он не был коммунистом. Анри-Жак не замечал, чтобы два коммуниста из его загородки относились к нему как к партийцу. Но он был существо из другого мира, он представлял страну, имя которой само по себе звучало как коммунизм. Мосье Нико (его настоя-

щего имени никто не мог выговорить) был степенный пожилой человек, кажется, он считался художником или каким-то скульптором, вечно лепил из всякой дряни забавные фигурки. Анри-Жак попросил его сделать по знакомству небольшую кламсийскую мадонну, чтобы было перед кем проклинать бошей. Мосье Нико здорово слепил святую деву и при этом не смеялся над Анри-Жаком, как остальные ребята, а грустно говорил о Бургундии: «Спойте еще про Дижон,— просил он Анри-Жака,— я словно вижу этот предрассветный туман и кабачок, куда забежал погреться бургундец...»

Лес вокруг шумел, как сонный немец, запах был бошевский, сырой какой-то и невкусный. Анри-Жак шел, и ему казалось, что со стороны любо посмотреть на его молодецкий шаг, беретик пабекрень, послушать его залихватские песни. Но со стороны он выглядел как маленький измученный мальчик с усами, через силу кативший тачку, и слабый его голос уже не достигал даже ближайших кустов у дороги. Более внимательный глаз заметил бы и его опухшие щеки, и другие явные признаки дистрофии.

Хорошо, черт побери, окунуться в свободу! И ни души вокруг. Эти молодчаги русские не очень-то церемонятся с фрицевской империей,— так дали, гонят, словно зайца. Ну, пусть дрожит проклятый бош! Так тому и быть. Анри-Жак не посчитается со временем,— один какой-нибудь завалящий город он возьмет персонально на себя: вытащит за шиворот их пожарных и прикажет жечь все дотла. А сам станет в стороне, спокойно закурит трубку...

Тем временем, однако, будущий нарушитель немецкого покоя и грозный мститель за разрушенные советские города через силу передвигал ноги, а тачка казалась ему с воз, с вагон, с гору. Стоп! Пикник на немецкой природе! Анри-Жак энергично, как ему казалось, завернул к столбу с указателем и начал хлопотать с обедом. Несколько раз он сидя засыпал, огонь гас, он должен был снова и снова раздувать едва тлевшие угли. Настал вечер. Из-под каждой сосны пополз туман, низко стелясь по земле. Анри-Жак страшно закашлялся, стал бегать вокруг костра, чтобы согреться, и это была одна из самых длинных ночей в его жизни.

Но он не сдался. Не думаете ли вы, господин лес, что он прикатил сюда только для того, чтобы сдохнуть под вашими паршивыми деревьями? Зачем же тогда вы наби-

ваете ему в легкие столько тумака и не даете спокойно поспать? Анри-Жаку ничего не стоит просто спалить вас до последнего пня, чтобы погреться, как полагается доброму христианину. Ага, дошло? Теперь вы изволите окутывать человека горячим паром, но это тоже не метод! Анри-Жак страдал до утра и встретил день на ногах только благодаря своему бургундскому темпераменту.

Тачку он бросил. Вернее, сжег ее ночью, когда ему казалось, что он не доживет до расплаты за Сталинград. Он пошел, неся за плечами рапек, падающим торчал тот же флажок, с которым он вышел из лагеря. Без тачки идти было легче. Но Анри-Жаку больше хотелось бы лежать, чем без конца переставлять ноги и удерживать равновесие в борьбе с какими-то неведомыми силами, которые так и норовили свалить его наземь. Вот его догнал и пошел рядом с ним мосье Нико. Прощай, друзья, мы же с вами похоронили мосье Нико возле лагеря? К чему же эти шутки? Только потому, что я не подождать, пока вы соберетесь и осмелитесь расстаться наконец с проклятым лагерем? Нехорошо так поступать с французом только потому, что он беспартийный крестьянин!

Советская регулировщица, стоявшая на довольно безлюдном в ту пору перекрестке дорог, заметила Анри-Жака, как только тот вышел из леса дорогой, которой и сами немцы пользовались редко. Катя Шубина много всего перевидала в этой заграничной стороне: беженцев, пленных, невольников, у нее выработался наметанный глаз и верная реакция. Анри-Жак подошел к ней, как полагается представителю суверенного государства, в трех шагах стал смирно и отдал честь скромному красному флажку, который держала Катя. Шубина с улыбкой ответила и тотчас вынуждена была подхватить ослабевшее тело гражданина Франции и осторожно посадить прямо на землю подле плагбаума.

— Вот несчастье,— сказала Катя, дав хлебнуть Анри-Жаку глоточек русской водки,— откуда они берутся на мою голову, эти голодающие индусы!

Анри-Жак с благодарностью наслаждался неземным букетом райского напитка, впервые попавшего в его глотку.

— Рус бьен,— прошептал он,— совет карош, вив ля Франс, спасибо Красна Армия.— И этим он исчерпал почти все русские слова, усвоенные от мосье Нико.

— Ладно, — ответила Катя Шубина, — если ты француз, тогда у нас будет другой разговор. Вон там, видишь, стоит фрицевская ферма. Катай туда и получай полный отдых. Скажешь там киевской Христе, чтобы все было в порядке, как в «Интуристе», ферштейн?

Но Анри-Жаку не до того было, чтобы понимать. Пришлось солдату, околавивавшемуся возле Кати в надежде на попутную машину, отвести представителя союзной Франции на ферму, и солдат больше нес Анри-Жака, чем вел. Христи не было, она ушла на поле, как пояснил солдату славянин неизвестной национальности, качавший из колодца воду. Солдат примостил Анри-Жака на скамеечке, стоявшей посреди двора, и быстро помчался к регулировщице, откуда ему слышались сигналы автомашины.

Славянин, занятый своим делом, не замечал и не беспокоил Анри-Жака, за что и получил нагоняй от Христи, прибывшей на велосипеде с поля и успевшей уже по дороге увидеться с регулировщицей Катей.

— Ой, лишенько, — запричитала Христия над Анри-Жаком и всплеснула руками, — да ведь оно же помрет тут среди двора!

Анри-Жак появлялся, что несчастье подкосило его в самом начале вольной жизни, но положение не казалось ему таким трагическим, чтобы стоило впадать в отчаяние; он сделал попытку улыбнуться Христе и подкрутить левый ус.

— Мадам, прошу вас не измять мой национальный флаг на ранце...

— Смотри, еще и смеется? — удивилась Христия, и ее сильные руки так заматались вокруг Анри-Жака, что он сразу почувствовал себя младенцем, спеленутым несколькими свивальниками. Жаль, что не понимал он чужого языка: Христия на протяжении двух минут изложила свои мысли по поводу физического состояния Анри-Жака, высказала несколько крепких пожеланий лагерным эсэсовцам, а также родным, и просто знакомым этих эсэсовцев, посетовала, что и она бывшая невольница, что надо помогать друг другу, хотя бы ты и был бедным французом по происхождению...

Славянину, которого Христия звала просто Грицком, не вслушиваясь в звучание настоящего его имени, было поручено выкупать Анри-Жака. Тем временем Христия подоила корову, дала корму лошадям, загнала на ночь кур,

принесла воды, растопила плиту и подошла к Анри-Жаку уже тогда, когда тот лежал за занавеской, чистый и умиротворенный, в белье бывшего Христиного хозяина — бауэра, а Грицко сидел около него молча, слушая болтовню француза и изредка вставляя словцо. В молодости он ездил во Францию на заработки и теперь был для Анри-Жака почти голосом родины. Потом Грицко рассказал французу про Христа.

Силы небесные, богоматерь кламсйская, так ведь это же его поля ягода, эта некрасивая девушка не первой уже молодости, привыкшая к работе на земле, вывезенная в неволю к немецкому бауэру! Какого же черта она торчит тут, на этой вонючей ферме, когда ее войско штурмует Берлин? Не лучше ли поджечь ферму, как это делали на ее родине гитлеровцы с миллионами ферм, и убраться отсюда прочь? Не будь он Анри-Жаком, если не растолкует этой несчастной все ее права и обязанности, вот пусть только немного поправится!

— Как тебя звать? — спросила Христя. — Ферштейн?

— Анри-Жак, — ответил француз. И подмигнул Христе: — Совет карош!

— Хорош-то хорош, — рассердилась девушка, — только ты, Андрийчак, пожалуйста, без шуток, держись за этот свет обеими руками!

Христя принесла больному стакан горячего молока, на четверть долитый растопленным смальцем, и заставила в ее присутствии выпить. Стали собираться на ферме гости: пришла, сменившись, Катя Шубина, заехала военоторговская трехтонка, явились с соседних ферм девушки, недавние невольницы, и Анри-Жак провел расчудесный вечер. Занавеску отодвинули, хмурый фрицевский дом еще никогда не слышал столько смеха. Христя угостила всех настоящими варениками с творогом и сметаной, потом предложила компот из сухих фруктов и на закуску вытащила привезенную из дома гитару, организовала небольшой хор, которому Анри-Жак подыгрывал на заветной своей окарине, наскоро приспособляясь к новым мелодиям.

И пошла у бургундца роскошная жизнь. Пригрело солнышко, а это такая штука, что мертвого вытащит на воздух, распустилась в бошевской стране весна, запахла земля. Анри-Жак стал чихать от удовольствия и нетерпения: пора двигаться в путь. Но война еще продолжалась,

шел последний штурм, хочешь не хочешь — приходилось ждать.

Он был такой же худой и взъерошенный, одежда бауэра висела на нем, как мешок, но в походке его снова оживали привычные непокорность и нетерпение, в руках — сила, в глотке — песни. Он незаметно втянулся в работы по ферме, наладил плуг, просушил посевное зерно, ревниво следил за чистотою двора и даже полез однажды чинить немецкую крышу, откуда его с позором согнала Христя.

— Гляль, Андрийчак, — пристыдила его девушка, — у тебя еще рабская психология! На какую погибель слалась тебе эта немецкая хата?

Анри-Жак педоумевал, погопя коней в плуге, за которым уверенно шла Христя, — зачем же ей в таком случае торчать здесь, зачем пахать, сеять, кормить коров и лошадей, присматривать за вражеской фермой, которая еще так недавно была ей каторгой? Грицко уже рассказывал ему, как удирал от русских Христин хозяин со всей своей родней, а за ним и население нескольких дворов хуторка; как старуха, мать хозяина, хотела отравить Христию, а когда это не удалось, — запереть в сарай и сжечь; как бауэр не успел перерезать скотину и даже собраться толком, вскочил на подводу и помчался без оглядки; как старая немка выпила отраву, когда сын ее бросил и она увидела Христию перед красным автоматчиком с хлебом-солью в руках.

Христя шагала бороздою за плугом и хохотала, представляя себе удивленные лица односельчан, когда она расскажет им, как хозяйничала без немцев, без бауэра, с помощью каких-то французов. Громкий Христин смех падал в борозду, как посевной материал и тут же допахивался, а Анри-Жак, не разобрав, что к чему, отвечал ей тем же, но у него это больше походило на кашель и на воронье карканье, чем на смех.

Хороша девка, дьявол заberi всех ее врагов! Анри-Жак чувствовал, как под вязаной бошевской жилеткой у него что-то сладко замирает в левой стороне груди. Немецкое небо казалось более голубым, чем до этого, весна напоминала о себе настойчиво и громко, жаворонок рассыпал свои трели над головой, и Анри-Жак, вдруг увидел у межи едва приметный весенний цветок. Он оставил лошадей, наклонился к робкому вестнику собственного сердца, сорвал и тут же подарил Христе. Девушка взглянула на

цветок и тотчас же стала утирать слезы, вспомнив родные поля, и весну дома, и непередаваемо сладостный родной дух земли.

Нет, другой такой хозяйки не найдешь: от нее веет энергией и смекалкой, словно она всю жизнь управляла фермой, вела большое хозяйство. Да, такую девушку привези в Бургундию, — она в момент накопит кучу добра на земле, обещающей ребятам из «маки». Напрасно молчаливый Грицко объяснял бургундцу, что Христия ни за что не променяет колхоз на Францию, Анри-Жак сердился, кричал на славянина и наступал на него, как боевой петух. Кто откажется от приличного куса собственной бургундской земли? Кто?

Христия серьезно выслушала Анри-Жака и только снисходительно усмехнулась. Она, может, и пошла бы, заговори этот Андрийчак о любви, о невозможности жизни без нее, — как сладко было бы это услышать, и тогда, чем сердце не шутит, она бы еще подумала. Вполне понятно, что ни о какой Франции не могло быть и речи, но кто б ей помешал пригласить с собой Анри-Жака? Но, увы, о любви он не сказал вслух, а без этого к чему ей слушать?

Рассказать ему про колхоз? Анри-Жак до конца жизни потом будет вспоминать этот немецкий дом, тяжелый и неуютный, большую комнату в нижнем этаже, пылающее лицо девушки и ее речь, бедными французскими словами пересказанную человеком по имени Грицко. И такое очарование исходило от Христия, такие горячие чувства вдохновляли ее слова, что Анри-Жак почувствовал вдруг зависть к Грицко и даже боль неминуемой разлуки.

— Скажи ей, друг, — произнес наконец влюбленный, — деликатными словами намекни, что не могу же я через тебя передавать свои чувства и я завидую тебе и завидую даже теленку, хоть телячий язык тоже без пользы, как и мой, но теленок хоть руки ей лижет...

В конце концов Анри-Жак так пал духом, что почти растерял свой бургундский юмор и насмешливый свист и ходил следом за Христией и повторял ничем не замаскированные слова любви. Было уже поздно, момент упущен. Девушка расцвела от его слов, как и каждая бы на ее месте, но от темы уклонялась, рассказывая Анри-Жаку, сколько земли у них в колхозе, какая была ферма, кто получил ордена за высокий урожай, чье звено дольше

всех держало знамя соревнования. Она призналась Анри-Жаку, что у нее самой есть медаль «За трудовую доблесть», а у ее матери — медаль участника Всесоюзной сельхозвыставки.

Все крепче и крепче нажимала весна, кусты цвели, поля дружно зеленели, будто все, к чему прикасалась Христина рука, должно было петь от счастья, от прилива жизни. Анри-Жак задумчиво подкручивал молодецкие усы и чувствовал себя мальчишкой, к которому никто не пришел на свиданье. Уехал славянин Грицко, оборвав этим последнюю возможность более или менее пространной беседы с Христей. Прибыл какой-то затурканный немец с женой и четырьмя детьми, — им немецкий комитет приказал занять ферму. Немец тоже отсидел несколько лет в лагерях, по привычке ходил неслышно, как привидение. Анри-Жак все продолжал болтаться на ферме, чувствуя себя просто тряпкой.

Наконец пришла и Христина очередь. Комендант предоставил в ее распоряжение машину, она забрала всех своих девчат, которыми командовала на немецких хуторах, прибыли подарки, присланные от того же коменданта, понимавшего, что с каторги человек должен возвратиться домой в полном порядке. Анри-Жак стоял за воротами в своем беретике, с трубкой в зубах и делал вид, что интересуется тучкой на далеком небе. Христя попрощалась с ним, а потом, движимая добрым сердцем, и поцеловала. Села в кузов машины, махнула ручкой, и вот Анри-Жак снова один в дороге, флажок Франции грустно вьется на его ранце, под флажком прицеплен красный бант, сделанный из Христиной ленты, а новая регулировщица, стоящая на месте Кати Шубиной, машет ему в направлении его Бургундии.

Так встретился Анри-Жак с сильным чувством и унес его с собою неразделенным, понимая, как все должно ему завидовать и его же жалеть. Немецкая земля полна была весны, поляны манили отдохнуть, ручьи пели что-то совсем не немецкое. Анри-Жак ничего не замечал, потому что только в движении находил отраду. Иногда его подвозили советские грузовые машины, коменданты городишек кормили и сочувственно хлопали по плечу, возвращая документ о пребывании в лагере. Немцы были боязливо предупредительны, и Анри-Жак никогда не отказывал себе в удовольствии проходить мимо них, заодно наигрывая на окарине «Марсельезу».

Мосье Нико не раз рассказывал в свое время о душе советского человека, теперь он сам видел этих людей в роли победителей — и Анри-Жак преклонялся перед их скромностью. Как-то, уже за Лейпцигом, его догнал на дамском велосипеде советский солдат. Он спешил, пошел рядом, ведя велосипед за руль. Что ему было нужно, Анри-Жак так и не узнал. Солдат шел молча, поглядывая на французский флажок, угостил чудесным табачком, похожим на опилки, но бешеной крепости. Со вкусом, по-крестьянски, помолчали, шагая краем автострады. Солдат сказал, что до Франции еще очень далеко. Анри-Жак вяло повел плечом, но не забыл подкрутить левый ус. Мол, чего нам волноваться, разве родина может быть далеко? Потом солдат остановил военную машину, пожал Анри-Жаку руку и уехал, сказав на прощанье:

— Владей двумя колесами! Кати прямо на Париж!

Анри-Жак остался на дороге с велосипедом в руках и, к своему стыду, не чувствовал неловкости, — так приятно и красиво это было сделано. Он тут же осмотрел подарок; велосипед ему очень понравился. Можно было мчаться, как ветер, по этой неприятной стране. Советский солдат правильно заключил, что и Анри-Жак должен почувствовать победу, хотя бы в способе передвижения. В одной парикмахерской, куда Анри-Жак зашел, чтобы навести красоту, парикмахер предложил ему свой велосипед в обмен на дамский. Видите ли, у него жена — любительница велосипедной езды, так почему бы и нет, за такую машину не жаль и доплатить, если господин француз согласится. Господин француз разгневался и сказал парикмахеру, чтобы немедленно заткнулся, потому что его машина — подарок, и цены ей нет.

В последней советской комендатуре его отвели в столовую, накормили и выдали продукты на дорогу, в ведомости Анри-Жак расписался полным именем, с указанием деревни и департамента, а также нашел нужным дописать слова благодарности. При этом он так вспотел, что вынужден был выпить лишнюю кружку пива. Так или иначе, он попрощался с советской зоной оккупации Германии и направился в американскую — к границам Баварии, оттуда недалеко уже до Рейна, а там и до Франции, до родных мест.

У советского шлагбаума стоял часовой, он позвонил в караулку, появился офицер. На документе Анри-Жака столько было дописок, подписей, печатей, словно владе-

лец его шел с петицией к самому президенту. Было обозначено, сколько и где он получал довольствия, где проходил санобработку, в каком городе ночевал. Некоторые из первых его благодетелей просили письменно всех последующих проявить к нему внимание и накормить, «потому что этот француз гордый, сам не попросит!» Были шуточные пожелания счастливого пути и просто надписи, сделанные шоферами попутных машин, к которым Анри-Жак обращался за визой: «Давай, камрад, жми на Францию! Возражений нет!»

Советский офицер внимательно перечитал этот, весь обросший приложениями паспорт и, понимая, что перед ним за человек, сделал запись в контрольной книге и отпустил его. Анри-Жак отдал честь советской стороне, прощаясь с нею, и прошел пешком полкилометра до американской заставы. Он не сел на велосипед, потому что считал этот отрезок пути очень важным местом, где пужно было сосредоточиться: в какой мере союзники похожи друг на друга? Черт возьми, простому человеку никто не подскажет...

Вблизи американского шлагбаума часового не было. Анри-Жак остановился и стал терпеливо ждать. Те же немецкие сосны покачивали головами, от ржаво-коричневой земли тянуло сыростью, на свежей траве валялись банки из-под консервов. Прошел час, но Анри-Жак не имел права без разрешения переступить линию шлагбаума. Наконец из соснового новенького домпка послышался свист, каким зовут собак. Анри-Жак оглянулся — звали его. На пороге караулки стоял американский солдат в каске, зеленоватой блузе и длинных штанах, заправленных в желтые ботинки. Анри-Жак подошел, четко отдал ему честь и протянул многострадальный документ, сплошь исписанный французскими, немецкими и русскими словами. Солдат выхватил документ, брезгливо осмотрел со всех сторон, как что-то грязное и такое, что совершенно не нуждается в прочтении. После этого захотел, мазнул Анри-Жака по усам и заржал, а когда тот, не помня себя, полез в драку, схватил его в охапку и потащил в домик. Там силком посадил на лавку, стал что-то рассказывать друзьям и снова хохотать. Только в концлагере Анри-Жак чувствовал такую беспомощность. Солдаты обыскали Анри-Жака довольно умело и нашли у него окарينو. Это прибавило им веселья. Появились на столе консервные банки с пивом, все выпили, потом Анри-

Жак должен был в паре с хмурым американцем, фальшивившим на губной гармонике, играть неизвестные ему мелодии. Его сделали объектом развлечений, как приблудившегося щенка, кошку или подбитую птицу.

Солдаты обнимали Анри-Жака так, что у него хрустели кости, и напрасно он пытался втолковать союзникам, что он не немец, а гражданин Франции,— они тут же окрестили его лягушатником, стали квакать и прыгать по-лягушечьи и заявили Анри-Жаку, чтобы он не очень пыжился, потому что Франция уже закрыта, а другие нации ожидают своей очереди — у них, у американцев, все идет по-деловому, о'кей!

Кинокрасотки, которыми густо были облеплены деревянные стены караулки, начали уже подмигивать Анри-Жаку, у него кружилась от пива голова, болели уши от жуткого рева любителей пепия, когда солдатам вздумалось поиграть в футбол. Они напялили Анри-Жаку поверх его берета каску, дали в руки палку и поставили вместо себя на пост у шлагбаума, а сами побежали на соседнюю полянку погонять мяч. Время от времени то один, то другой футболист подбегал к Анри-Жаку и долго хохотал, хватаясь за живот, словно перед ним стоял не приличный француз, а бог весть какое чучело.

Примчался маленький «джип», который зовется у русских «виллисом». Анри-Жак заметил его только тогда, когда он резко затормозил на полной скорости позади него, офицер соскочил на дорогу и стал орать как недорезанный. Но бедный часовой не понял ни единого слова и только грустно бормотал, что он направляется во Францию. Солдаты прибежали с полянки и услышали новую порцию ругательств от офицера, после чего «джип» крутнулся на месте и помчался обратно. На заднем его сиденье трясся и подлетал выше шофера худенький Анри-Жак с пустым ранцем и флажком на нем, оставив в караулке свои пожитки, документы и драгоценный подарок русского солдата — дамский велосипед.

Куда они его везут? Офицер ведь понял, что он француз, а не немец, возвращается на родину из концлагеря, но от этого Анри-Жаку не стало легче. Где же свобода, что вела его по земле? Неужели снова чужой произвол? Душу Анри-Жака то обжигало огнем, то бросало в холод. Сколько же можно мучить человека, хотел спросить несчастный, но вынужден был крепко стиснуть зубы: «джип» подбрасывал его, словно что-то неживое. Анри-

Жак недаром был бургундцем, — даже сквозь стиснутые зубы он напевал, пусть не думают американцы, что он им покорится: «Дижон! Когда расходится предутренний туман!..»

Снова «джип» влетел на полной скорости в какие-то ворота, у которых Анри-Жак увидел полицейского в немецкой синей униформе, с повязкой на руке. Боже мой, это снова был лагерь! Вмиг Анри-Жака сфотографировали, он принял приличную позу и подкрутил усы. Пленка зафиксировала его берет, решительный нос, долгополый бауэрский пиджак с засученными рукавами, лыжные штаны, заправленные в ботинки армейского образца, ранец с флажком. Ладно, снимайте в профиль, будьте вы прокляты с вашими порядками. Неужели Франция так опустилась, что с ее гражданами обращаются, как с мазуриками?

— Надеюсь, мосье не коммунист? — спросил регистратор.

— К черту ваши надежды, — вежливо проворчал Анри-Жак, — с какой стати вы лезете ко мне в душу? Хватит с меня проклятых бошей!

— Что ж, запишем иначе: распропагандирован коммунистами...

— Нет, молодой человек, не будем мелочны, — печатайте на вашей машинке просто «коммунист». Пусть простят меня подлинные коммунисты, но я иначе не могу!

Так, совершенно неожиданно для себя самого, Анри-Жак попал в категорию людей, для которых пребывание в лагере перемещенных лиц очень усложнилось. Когда Анри-Жак отсидел положенное время в санизоляторе, странным образом напоминавшем скорее карцер, а потом прошел обработку допросами, его впахнули в грязное общежитие, и он получил право бродить вдоль улочки между бараками. Кого там только не было! О некоторых национальностях Анри-Жак даже не слышал у себя дома. Почему же они не торопятся к своим? Вот вам и американцы, да они сами, как немцы, — смотри, пожалуйста, держат в неволе людей!

Но уже в ближайшее время Анри-Жак кое-что понял. К нему подошел возле общей уборной пеамериканец в американской форме и принялся его избивать. Это произошло так неожиданно, что Анри-Жак даже не защищался. Он очутился на земле и почувствовал, как его

топчут подкованные сапоги. На его счастье, кто-то помешал бандиту и потом помог искалеченному добраться до койки, торжественно осененной его французским флажком с красным бантом.

— Что это за тип? — пошевелил опухшими губами Анри-Жак.

— У себя на родине он служил Гитлеру, — ответили ему шепотом.

— Понятно, — вздохнул Анри-Жак, хотя по-настоящему разобрался в этом значительно позднее.

Ему пришлось пробыть в этом милом обществе целый месяц, пока один случайный посетитель лагеря, журналист-француз, не вмешался в его судьбу; а до этого всякое бывало: его шкура прошла полную политическую закалку, и ребра — также. Трудно однако было привести к покорности такого человека, как Анри-Жак! Вот когда он пожалел, что не подкован теоретически! Когда ему придется вступать в партию, это было бы очень полезно. Впрочем, его мощный крестьянский голос не давал спуска ни одной бестии, он научился распознавать их, как бурьян среди нивы, и допекал, чем только мог. Например, он любил вечерами рассказывать (со слов Христи) о колхозах, о светлом будущем этого движения и чуть не довел до резни в лагере, когда мнения разделились и его самого едва не задушили.

Француз-журналист вызволил его отсюда довольно своеобразным способом. Напившись в баре с американским офицером, француз обыграл офицера в карты, а потом посадил его на «джип» и ночью заставил поехать с ним в лагерь, где томился Анри-Жак. Там офицер разбудил штатского начальника и пьяным голосом приказал ему с первыми лучами утреннего солнца открыть лагерные ворота для друга его французского собутыльника.

Таким образом, на следующий день Анри-Жак снова был на воле: с американским офицером шутки плохи, даже если он и навеселе. Начальник лагеря выставил пленника за ворота вместе с бумажкой, добытой журналистом для земляка, в которой Анри-Жаку разрешалось путешествовать до самой Франции беспрепятственно.

Снова за плечами у бургундца был его походный ранец, увенчанный тем же флажком. В лагере ему боялись сочувствовать, однако на дорогу неизвестные лица снабдили его скромной едой. Когда Анри-Жак отошел от лагеря и приблизился уже к небольшому городку, его

окликнул человек, в котором он узнал одного из тех, кто был в лагере.

— На минутку зайдем куда-нибудь,— сказал он по-французски,— я должен вас предостеречь...

Они зашли за ограду,— Анри-Жак знал, с кем имеет дело. Там ему было сказано, что он, как коммунист, хорошо сделает, если задержится в городке и выскользнет оттуда только с темнотой. Потому что люди, с которыми он спорил о колхозах, решили его «встретить». Анри-Жак возмутился и стал громко доказывать, что он не премьер-министр, который должен бояться покушений! Дьявол им в душу, пусть подстерегают, что он сделал такого, скажите на милость? Да хоть бы и в самом деле он был коммунистом, разве из-за этого нужно убивать? Вишь, где им колхозы поперек горла стали!

И вот Анри-Жак приблизился к леску. Нигде ни души. Он чувствовал, как под сердцем что-то сосало и ныло: зачем все-таки по-глупому лезть в яму? А вдруг им и в самом деле нужна его жизнь? Вдруг они появятся из того сосняка, как предупреждал доброжелатель? Так и есть: из-за сосен навстречу вышли двое; он не поверил собственным глазам. Они поджидали его на дороге.

— Эй, дай прикурить,— сказал один из них.

Второй взглянул на дорогу,— вправо, влево, хотел зайти сзади. Анри-Жак отскочил, чтобы иметь обоих перед глазами. Этих типов он знал, их должны были перебросить самолетами на Карпаты, в совет,— об этом в лагере говорили знающие люди. Это были террористы, для них убить человека — привычное дело. Но зачем он им? Денег у него нет. Он слышал, как их называли.

— Мосье,— произнес Анри-Жак,— я понял ваши приготовления, но зачем вам моя жизнь? Вы ж не воюете с Францией?

— Пес тебя знает, что ты там бормочешь,— сказал первый бандит.

— Наше дело десятое,— мирно добавил другой,— если ты коммунист, да еще и за колхозы...

В голове Анри-Жака блеснула четкая мысль, что в ближайшую минуту он получит удар ножом в горло. Он рванулся бежать, но почувствовал, что его уже крепко держат за руки. «Вот дурацкий случай,— подумал Анри-Жак,— я даже не могу им ничего сказать...» И он почувствовал, что не имеет права уйти из жизни, как безъязыкая скотина, он будет говорить, он должен стать выше

убийц. Вмиг промелькнула перед ним жизнь в концлагере, беседы коммунистов, трогательные рассказы мосле Нико о своей родине, Красной Армии...

— Ура! — выкрикнул Анри-Жак гордо и вдохновенно. — Совет карош! Вив ля Франс!

Бандиты оцепенели на минуту, и эта минута спасла Анри-Жаку жизнь: рядом затормозила грузовая машина-пятитонка так резко, что от тормозов пошел дым. Улыбающееся черное лицо выглянуло из кабины.

— Камрад, — сказал негр по-французски, — я вижу флаг Франции, ты меня понимаешь? Прыгай в кузов!

— Маленький момент, камрад негр, — ответил Анри-Жак, ни капельки не удивленный, будто так и должно было случиться, — я мечтаю вернуть один политический должок...

Он отвесил обалдевшим бандитам, каждому в свой черед, по здоровенной оплеухе и сел к негру в кузов, отряхивая руки после прикосновения к грязи.

1947—1948

ОБ АВТОРАХ

Айтматов Чингиз — киргизский советский писатель.

Родился в 1928 году в кишлаке Шекер Киргизской ССР. Окончил Киргизский сельскохозяйственный институт, работал зоотехником.

Первый рассказ — «Газетчик Дзюйдо» опубликовал в 1952 году. После окончания Высших литературных курсов в Москве редактировал журнал «Литературный Киргизстан», работал собственным корреспондентом газеты «Правда» в Киргизии.

Книга Ч. Айтматова «Повести гор и долин», в которую вошли повести «Джамиля» (1958), «Тополек мой в красной косынке» (1961), «Верблюжий глаз» (1961), и «Первый учитель» (1962), удостоена Ленинской премии 1963 года, повесть «Прощай, Гюльсары!» (1966) — Государственной премии 1968 года.

В 1970 году опубликована повесть «Белый пароход», в 1975-м — «Ранние журавли».

Астафьев Виктор Петрович — русский советский писатель.

Родился в 1924 году в Красноярском крае, воспитывался в игарском детском доме. Окончил школу ФЗО, работал составителем поездов. В 1942 году ушел на фронт, был солдатом. После демобилизации в 1945 году работал на заводах Урала, затем в газете «Чусовской рабочий». Печататься начал в 1951 году. Учился на Высших литературных курсах.

Первый сборник рассказов — «До будущей весны» (1953).

В. Астафьев — автор романа «Тают снега» (1958), повестей «Перевал» (1959), «Стародуб» (1960), «Звездо-

пад» (1960), «Кража» (1966), «Последний поклон» (1968), «Пастух и пастушка» (1971), книги «Царь-рыба. Повествование в рассказах» (1976) и др.

Лауреат Государственной премии РСФСР 1975 года.

Бакланов Григорий Яковлевич — русский советский писатель.

Родился в 1923 году в Воронеже. Участник Великой Отечественной войны, строевой командир-артиллерист. Окончил Литературный институт имени М. Горького.

Печататься начал в 1950 году. Первая повесть — «В Снегирях» (1954), рассказы и очерки посвящены жизни послевоенной деревни. Известность принесли повести об Отечественной войне: «Девять дней» («Южнее главного удара», 1958), «Пядь земли» (1959), «Мертвые сраму не имут» (1961), роман «Июль 41 года» (1964).

Г. Бакланов — автор романа «Друзья» (1975), книги «Темп вечной погони (Месяц в Америке)» и др.

Березко Георгий Сергеевич — русский советский писатель.

Родился в 1905 году в городе Вильна. В 1919 году вступил в Красную Армию. Окончил историко-этнологический факультет Московского государственного университета. Работал кинорежиссером. Участник Великой Отечественной войны, с которой связаны темы большинства произведений писателя.

Первый рассказ напечатан в 1942 году.

Г. Березко — автор повестей «Красная ракета» (1943), «Командир дивизии» (1944), «Ночь полководца» (1946), «Любить или не любить» (1963), «Вечер воспоминаний» (1976), романов «Мирный город» (1954), «Сильное атома» (1959), «Необыкновенные москвичи» (1967), «Дом учителя» (1973).

Богомоллов Владимир Осипович — русский советский писатель.

Родился в 1926 году в Подмоскowie. Участник Великой Отечественной войны, о которой написаны все его произведения.

Первое произведение — «Иван» напечатано в 1958 году.

В. Богомолов — автор повести «Зося» (1965), рассказов «Первая любовь», «Кладбище под Белостоком», «Второй сорт», «Сердца моего боль» (1964) и др. В 1974 году опубликован роман «В августе сорок четвертого...» — о работе советских контрразведчиков в годы войны.

Буков Эмилиан Нестерович — молдавский советский писатель.

Родился в 1909 году в Новой Килии на Дунае, на юге Бессарабии. Учился на литературно-философском факультете Бухарестского университета (1931—1936 гг.). Участвовал в подпольной революционной работе как член Союза коммунистической молодежи Румынии. Сотрудничал в прогрессивных румынских журналах.

Первый сборник стихов — «Труд кипит» (1932).

После образования в 1940 году Молдавской ССР пишет о преобразовании жизни молдавского народа. Автор многих стихотворных сборников, сборника рассказов «Искры сердца» (1965), романа в стихах «Город Реут» (1956) и романа «Магистраль» (1969), пьесы «Дунай — беспокойные воды» (1956), популярной сказки «Андриеш» (1946) и др.

За сборник стихотворений и поэм «День настоящий, день грядущий» удостоен Государственной премии Молдавской ССР 1966 года.

Быков Василь (Василий) Владимирович — белорусский советский писатель.

Родился в 1924 году в деревне Бычки Витебской области БССР. В годы Великой Отечественной войны окончил военное училище, служил в пехоте, потом командовал огневым взводом в истребительной противотанковой артиллерии. Война определила темы его произведений. Первая повесть — «Журавлиный крик» — вышла в 1960 году.

В. Быков — автор повестей «Третья ракета» (1962), «Альпийская баллада» (1964), «Атака с ходу» («Проклятая высота», 1968), «Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1970), «Волчья стая» (1974), «Его батальон» (1976) и др.

За повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета», опубликованные в 1972 году, удостоен Государственной премии СССР 1974 года.

Грибачев Николай Матвеевич — русский советский писатель.

Родился в 1910 году в селе Лопушь Брянской области. Окончил гидромелиоративный техникум, работал на Севере. С 1932 года — на журналистской работе. Во время Великой Отечественной войны был командиром саперного батальона, затем дивизионным инженером, работал в военных газетах. С 1948 года — корреспондент «Литературной газеты», с 1950 года — редактор журнала «Советский Союз».

Автор стихотворных сборников «Северо-Запад» (1935), «По дорогам войны» (1945) и др. Широкую известность принесли поэмы «Колхоз «Большевик» (1947) и «Весна в «Победе» (1948), удостоенные Государственной премии СССР.

Н. Грибачеву принадлежат сборники рассказов «Августовские звезды» (1958), «Любовь моя шальная» (1967), «Белый ангел в поле» (1967), а также публицистические произведения «Желевский репортаж» (1954), «Звезды австралийские» (1956), «Орбита века» (1961), «А она вертится» (1965) и многие другие.

Н. Грибачев — лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда.

Казакевич Эммануил Генрихович (1913—1962) — русский советский писатель.

Родился в городе Кременчуге. Окончил Харьковский машиностроительный техникум. Работал на Дальнем Востоке на стройках, в радиокомитете, в газетах. В 1932 году вышла первая книга стихов.

Во время Великой Отечественной войны прошел путь от бойца до помощника начальника отдела разведки армии. Война — основная тема произведений Э. Казакевича, за первую повесть — «Звезда» (1947) он удостоен Государственной премии СССР 1948 года. Автор повести «Двое в степи» (1948), романов «Весна на Одере» (1949, Государственная премия СССР 1950 года), «Дом на площади» (1956), повести «Синяя тетрадь» (1961), в которой создан образ В. И. Ленина.

Катаев Валентин Петрович — русский советский писатель.

Родился в 1897 году в Одессе.

Начал печататься в 1910 году.

В первую мировую войну был на фронте. В годы гражданской войны участвовал в боях против белогвардейских войск Деникина, работал в ЮгРОСТА (Российское телеграфное агентство), писал рассказы — «В осажденном городе» (1922), «Записки о гражданской войне» (1924) и др.

С 1923 года сотрудничал в газете «Гудок», журнале «Крокодил» и других, писал сатирические произведения — повесть «Растратчики» (1926), комедия «Квадратура круга» (1928) и др. В 30-е годы вышли роман «Время, вперед!» (1932), повесть «Я сын трудового народа» (1937).

В годы Великой Отечественной войны работал в Радиокомитете и Совинформбюро, был военным корреспондентом «Правды» и «Красной Звезды», писал рассказы, повести. За повесть «Сын полка» (1945) удостоен Государственной премии СССР 1946 года.

В. Катаев — автор тетралогии «Волны Черного моря»: «Белеет парус одинокий» (1936), «Хуторок в степи» (1956), «Зимний ветер» (1961), «Катакомбы» (1948—1951), лирико-философских мемуарных повестей «Святой колодец» (1967), «Трава забвенья» (1967), «Кубик» (1969), «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1972), «Кладбище в Скулянах» (1976). Публицистическая повесть «Маленькая железная дверь в степе» (1964) посвящена В. И. Ленину.

В. Катаев — Герой Социалистического Труда.

Каушутов Ата (1903—1953) — туркменский советский писатель.

Родился в селе Безмеин (ныне город Безмеин Ашхабадского района). Учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве. Печатался с 1925 года. Литературную деятельность начал как поэт и драматург. Драма «Джума» (1939), повести «Последний старшина» и «Туркменские кони» (обе 1951) явились значительным вкладом в туркменскую литературу. Автор романов «Мехри и Вепа» (1946) и «У подножья Копет-Дага» (1947—1949).

Кетлинская Вера Казимировна (1906—1976) — русская советская писательница.

Родилась в Севастополе, в семье морского офицера. В молодости работала на заводе, была на комсомольской и партийной работе.

Печататься начала в 1928 году.

Первая повесть — «Натка Мичурица» (1929). В 1934 г. вышел роман «Рост», в 1938 — роман о строительстве Комсомольска-на-Амуре «Мужество».

В годы Великой Отечественной войны В. Котлинская находилась в блокированном Ленинграде, героической обороне которого посвящен ее роман «В осаде» (1947), удостоенный Государственной премии СССР 1948 года.

После войны написаны романы «Дни нашей жизни» (1952), «Иначе жить не стоит» (1960), сборники рассказов и повестей «День, прожитый дважды» (1964), «Здравствуй, молодость!» (1967), книга воспоминаний «Вечер. Окна. Люди» (1972).

Кожевников Вадим Михайлович — русский советский писатель.

Родился в 1909 году в Нарыме, в семье политического ссыльного. Работал на Шатурской электростанции, на строительстве газопровода. В 1933 году окончил литературно-этнологический факультет Московского государственного университета, работал корреспондентом газеты «Комсомольская правда» и журналов «Смена», «Наши достижения», «Огонек».

Первый рассказ — «Порт» опубликован в 1930 году. В 1939 году издал первый сборник рассказов — «Ночной разговор».

В годы Великой Отечественной войны В. Кожевников — военный корреспондент газеты «Правда», в это время опубликовал повести и рассказы — «Рассказы о войне» (1942), «Март — апрель» (1942), «Любимые товарищи» (1943), «Труженики войны» (1944) и другие.

С 1944 года — редактор отдела, затем член редколлегии газеты «Правда». С 1949 года — главный редактор журнала «Знамя».

Автор романов «Заре навстречу» (1957), «Щит и меч» (1965), «В полдень на солнечной стороне» (1973), а также повестей: «Степной поход» (1937), «Знакомьтесь. Балув» (1960), «День летящий» (1962) и др.

За повести «Петр Рябинкин» (1968) и «Особое подразделение» (1969) удостоен Государственной премии СССР 1971 года.

В. Кожевников — Герой Социалистического Труда.

Лацис Вилис Тенисович (1904—1966) — латышский советский писатель и государственный деятель, народный писатель Латвийской ССР.

Родился в селе Рипужа под Ригой, в семье портового грузчика. В 1917—1918 годах учился в Барнаульской учительской семинарии. Печататься начал в 1920—1921 годах.

В буржуазной Латвии был портовым рабочим, рыбаком, кочегаром на судне.

Автор трилогии «Бескрылые птицы» (1931—1933), романов «Сын рыбака» (1933—1934), «Старое моряцкое гнездо» (1937), «Земля и море» (1938) и др. После восстановления Советской власти в Латвии в 1940 году В. Лацис стал членом народного правительства и ЦК КП Латвии. В 1940—1946 годах был Председателем Совпаркома, в 1946—1959 годах — Председателем Совета Министров Латвийской ССР.

В годы Великой Отечественной войны принимал участие в создании латышских воинских частей Советской Армии, в руководстве партизанским движением Латвии.

В 1945—1948 годах В. Лацис создал роман-эпопею «Буря», а затем роман «К новому берегу» (1951), удостоенные Государственных премий СССР. В 1954 году вышел роман «Поселок у моря», в 1962 г. — роман «После грозы».

Мележ Иван Павлович (1921—1976) — белорусский советский писатель, народный писатель БССР.

Родился в деревне Глинище Гомельской области БССР. Участник Великой Отечественной войны.

В 1945 году окончил филологический факультет Белорусского государственного университета.

Стихи начал печатать в 1939 году. Первый рассказ, написанный в госпитале, опубликован в 1944 году. Событиям войны посвящены сборник рассказов «В метель» (1946), роман «Минское направление» (1952) и фронтовой дневник «В начале войны» (1969).

И. Мележ — автор сборников рассказов и очерков «Горячий август» (1948), «Близкое и далекое» (1954), «В горах дожди» (1957), пьесы «Пока вы молоды» (1956) и историко-революционной драмы «Дни нашего рождения» (1958).

За романы «Люди на болоте» (1961) и «Дыхание грозы» (1965), составившие «Полесскую хронику», удостоен Ленинской премии 1972 года.

Мянник Эдуард (1905—1966) — эстонский советский писатель, заслуженный писатель Эстонской ССР.

Родился в городе Тарту в семье рабочего. Был землекопом, шахтером, строителем. Сотрудничал в газетах.

В 1930 г. опубликовал роман «Старый дом».

Участник Великой Отечественной войны, которой посвящены сборники рассказов «Испытание сердец» (1946), «Пятнадцать шагов» (1947), повесть «Борьба продолжается» (1950).

Автор сборников повестей «За колючей проволокой» (1954) и «Люди на чаше весов» (1959).

Нагибин Юрий Маркович — русский советский писатель.

Родился в 1920 году в Москве, в семье служащего. Учился на сценарном факультете ВГИКа. Участник Великой Отечественной войны. Печатается с 1940 года. Первые сборники рассказов — «Человек с фронта» (1943) и «Большое сердце» (1944).

Автор сборников рассказов и повестей «Зимний дуб» (1955), «Перед праздником» (1960), «Ранней весной» (1961), «Погоня. Мещерские были» (1963), «Далекое и близкое» (1965), «Не дай ему погибнуть» (1968), «Переулки моего детства» (1971), «Пик удачи» (1971) и других, многие из которых были экранизированы по сценариям автора.

Носов Евгений Иванович — русский советский писатель.

Родился в 1925 году в Курске в семье рабочего.

Участник Великой Отечественной войны.

Печатается с 1947 года. Окончил Высшие литературные курсы.

Е. Носов — автор сборников рассказов и повестей «На рыбачьей тропе» (1958), «Тридцать зерен» (1961), «Где просыпается солнце» (1965), «Ракитовый чай» (1968), «Мост» (1974), «Повести о детстве» (1976) и др.

В сборнике рассказов «Красное вино победы» (1971) отразились события военных лет.

За книгу «Шумит луговая овсяница» удостоен Государственной премии РСФСР 1975 года.

Папч Петро (псевдоним **Петра Иосифовича Папченко**) — украинский советский писатель.

Родился в 1891 году в городе Валки Харьковской области УССР. Окончил землемерную школу в Полтаве и Одесское артиллерийское училище. В годы гражданской войны служил в Красной Армии. В 1941—1945 годах был ответственным редактором радиостанции «Советская Украина». Печататься начал в 1921 году.

Автор сборников рассказов и повестей «Голубые эшелоны» (1928), «Рождение» (1932), «В пути» (1959) и других, романа «Осада ночи» (1935) и исторического романа «Клокотала Украина» (1954), сборников рассказов для детей.

За автобиографическую повесть «На калиповом мосту» (1965) удостоен Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко 1966 года.

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — русский советский писатель.

Родился в Москве. Учился в Киевском университете. В 1912 году опубликовал первый рассказ «На воде».

После Октябрьской революции 1917 года сотрудничал в газетах, работал в РОСТА — ТАСС. Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом.

Автор романа «Блистающие облака» (1929), повестей и сборников «Кара-Бугаз» (1932), «Колхида» (1934), «Черное море» (1936), «Созвездие гонимых» (1937), «Северная повесть» (1938), «Летние дни» (1937), «Мещерская сторона» (1939), «Жильцы старого дома» (1941) и других, биографических повестей об И. Левитане, О. Кипренском, Т. Шевченко, «Повести о лесах» (1949), повести о писательском труде «Золотая роза» (1955) и автобиографической «Повести о жизни», состоящей из шести тесно связанных между собою книг: «Далекие годы» (1945), «Беспокойная юность» (1955), «Начало неведомого века» (1957), «Время больших ожиданий» (1959), «Бросок на Юг» (1960), «Книга скитаний» (1963).

Платонов Андрей Платонович (1899—1951) — русский советский писатель.

Родился в Воронеже, в семье слесаря. Подростком пошел работать на паровозоремонтный завод. В годы гражданской войны служил в Красной Армии. В 1924 году окончил Воронежский политехникум. Работал губерпским мелиоратором, занимался электрификацией сельского хозяйства.

В 1921 году издал публицистическую книгу «Электрификация», в 1922-м — сборник стихов «Голубая глыбина», в 1927 году — первый сборник повестей и рассказов «Епифанские шляузы». В 20—30-е годы вышло более десяти сборников повестей и рассказов А. Платонова.

В годы Великой Отечественной войны работал специальным корреспондентом газеты «Красная Звезда», писал корреспонденции, очерки, рассказы, часть которых была опубликована в сборниках «Броня» (1943), «Рассказы о Родине» (1943), «В сторону заката солнца» (1945), «Солдатское сердце» (1946).

Проскурин Петр Лукич — русский советский писатель.

Родился в 1928 году в поселке Косицы Брянской области, в крестьянской семье. Работал шофером, лесорубом.

Печатается с 1958 года. Окончил Высшие литературные курсы.

Автор сборников повестей и рассказов «Цена хлеба» (1961), «Любовь человеческая» (1965) и других, романов «Глубокие раны» (1960), «Горькие травы» (1964), «Исход» (1966), «Имя твое» (1977) и др.

За роман «Судьба» (1972) удостоен Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького 1974 года.

Толстой Алексей Николаевич (1882—1945) — известный русский советский писатель.

Родился в Николаевске. Окончил Самарское реальное училище, учился в Петербургском технологическом институте.

Печататься начал в 1905 году. Первый рассказ — «Старая башня» издан в 1908 году.

Автор повестей и рассказов о жизни разоряющегося дворянства, романов «Чудаки» (1911) и «Хромой барин» (1912), серии рассказов и очерков о первой мировой войне, ряда пьес.

Во время эмиграции за рубежом написана автобиографическая повесть «Детство Никиты» (1920).

В 1923 году возвратился в СССР, много писал. За трилогию «Хождение по мукам» (1921—1941), исторический роман «Петр I» (1930—1945) и драматическую дилогию «Иван Грозный» (1943) он был трижды удостоен Государственных премий СССР — в 1941, 1943 и 1946 годах.

В годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал в печати, писал публицистические статьи и рассказы, пронизанные глубоким патриотизмом.

А. Толстой был избран академиком АН СССР.

Федин Константин Александрович (1892—1977) — русский советский писатель.

Родился в Саратове. Окончил коммерческое училище в городе Козлове (ныне Мичурииск), учился в Коммерческом институте.

Печататься начал с 1913 года. Первый сборник — «Пустырь» издан в 1923 году.

Автор романов «Города и годы» (1924), «Братья» (1928), «Похищение Европы» (1935), «Санаторий Арктур» (1940).

Во время Великой Отечественной войны написал пьесу «Испытание чувств» (1942), рассказы и очерки, наиболее значительные из которых вошли в циклы «Несколько населенных пунктов» (1943) и «Свидание с Ленинградом» (1944).

В послевоенные годы написаны романы «Первые радости» (1945) и «Необыкновенное лето» (1948), отмеченные Государственной премией СССР 1949 года, и завершивший трилогию роман «Костер» (1965).

К. Федин был удостоен звания Героя Социалистического Труда, был избран академиком АН СССР, членом-корреспондентом Германской академии искусств, доктором honoris causa Берлинского университета имени бр. Гумбольдт.

Ханзадян Серо Николаевич — армянский советский писатель.

Родился в 1915 году в городе Горис Армянской ССР, в крестьянской семье. Окончил педагогический техникум и работал сельским учителем. Участник Великой Отечественной войны.

В 1950 году опубликовал первый роман «Люди нашего полка» — о защитниках Ленинграда.

Автор романов «Земля» (1955), «Мхитар Спарамет» (1961), «Каджаран» (1965), сборников рассказов «Красные лилии» (1958), «Потерянные тропы» (1964), «После дождя» (1969), «Каждому — дайте воды» (1972), в который выпел также фронтовой дневник — «Три года 291 день» (1970).

Яновский Юрий Иванович (1902—1954) — украинский советский писатель.

Родился в Елизаветграде (ныне город Кировоград) на Украине, в семье заводского служащего. Учился в Киевском политехническом институте, работал художественным редактором на Одесской кинофабрике.

Первый сборник рассказов — «Бивни мамонта» (1925), книга стихов — «Прекрасная УТ» (1928).

Автор романов «Мастер корабля» (1927), «Четыре сабли» (1931), «Всадники» (1935), «Мир» (1954), пьес «Завоеватели» (1932), «Потомки» (1940), «Дума про Британку» (1938), «Дочь прокурора» (1954).

В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, ответственным редактором журнала «Украинская литература». Был корреспондентом на Нюрнбергском процессе, написал книгу «Письма из Нюрнберга» (1946).

За сборник «Киевские рассказы» (1948) удостоен Государственной премии СССР 1949 года.

ПОВЕСТИ

Георгий Березко. Красная ракета	7
Владимир Богомолов. Иван	43
Василь Быков. Сотников. <i>Перевод с белорусского автора</i>	103
Эммануил Казакевич. Звезда	249

РАССКАЗЫ

Чингиз Айтматов. Свидание с сыном. <i>Перевод с киргизского автора</i>	325
Виктор Астафьев. Сибиряк	339
Григорий Бакланов. Почему фунт лиха	357
Емилкан Буков. Молчание. <i>Перевод с молдавского П. Сиркеса</i>	371
Николай Грибачев. День и две ночи	379
Валентин Катаев. Флаг	397
Ата Каушутов. Семья охотника Кандыма. <i>Перевод с туркменского Г. Савельева</i>	403
Вера Кетлинская. На одной из крыш	415
Вадим Кожевников. Март — апрель	423
Вилис Лацис. Благодарность Тениса Урги. <i>Перевод с латышского М. Михалевой</i>	442
Иван Мележ. Одна. <i>Перевод с белорусского Б. Кобзаревского</i>	453
Эдуард Мянник. Стальной трос. <i>Перевод с эстонского Т. Вайно</i>	469
Юрий Нагибин. Ваганов	476
Евгений Носов. Красное вино победы	485
Петро Панч. Черный крест. <i>Перевод с украинского Б. Турганова</i>	513
Константин Паустовский. Бакенщик	520

Андрей Платонов. В сторону заката солнца .	525
Петр Проскурян. Снова дома	534
Алексей Толстой. Русский характер	559
Константин Федин. Брат и сестра	567
Серо Ханзадян. Седьмой родник. <i>Перевод с армянского П. Хачатрянца</i>	571
Юрий Яновский. Путь во Францию. <i>Перевод с украинского Т. Стас</i>	577
Об авторах	594

П 42 Повести и рассказы о Великой Отечественной войне. Сост. и подготовка текста И. Козлова. М., «Худож. лит», 1977.

607 с. (Б-ка Победы)

В сборник вошли повести и рассказы советских писателей о Великой Отечественной войне, написанные за четыре военных и тридцать мирных лет. В них рассказывается о героической борьбе народа на фронте и в тылу врага, о величии характера советского человека, отстоявшего в жестоких сражениях свободу и независимость своей родины.

П $\frac{70500-337}{028(01)-77}$ 93-77

С6

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ О
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**

Редактор Л. Полосина
Художественный редактор Ю. Боярский
Технический редактор Л. Витушкина
Корректоры Л. Овчинникова и В. Широкова

ИБ № 518

сдано в набор 28.I. 1977 г. Подписано в печать А13355 16.VIII 1977 г.
Формат 84×108 $\frac{1}{2}$. Бумага типографская № 1. 19 печ. л. 31,92 усл.
печ. л. 33,54 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 1078. Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.



«БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ»

В ознаменование 30-летия Победы над германским фашизмом издательства Советского Союза, Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Польской Народной Республики, Чехословацкой Социалистической Республики осуществляют совместное издание «Библиотеки Победы».

В «Библиотеку Победы» включены многие лучшие произведения писателей этих стран, созданные в годы войны и послевоенное время. Литература стран, участвующих в издании «Библиотеки Победы», представлена в ней разными жанрами: романами, повестями, рассказами, пьесами, поэмами и стихами.

«Библиотека Победы» будет издана в 35-ти томах в течение 1975—1980 годов.